ПАДЕНИЕ
ЦАРСКОГО РЕЖИМА

СТЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства

РЕДАКЦИЯ
П. Е. ЩЕГОЛЕВА

Т. VI.

ДОПРОСЫ И ПОКАЗАНИЯ:

гр. П. Н. Игнатьева, гр. С. И. Велепольского, Н. В. Плеве, А. Н. Хвостова, А. А. Рейнбота (Резвого), кн. В. М. Волконского, И. Н. Лодыженского, Н. Е. Маркова, А. А. Нератова, А. Н. Веревкина, А. И. Гучкова, П. Н. Милюкова, Д. Н. Дубенского

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД

Государственное
Издательство
типография
ПЕЧАТНЫЙ
ДВОР
Ленинград
Гатчинская-46.

Гиз № 10632.
Ленинградский Гублит № 22507.
$26^{1}/_{4}$ л. Отп. 10.000 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В галлерее деятелей царского режима, показанной в пяти томах нашего издания, появляются новые лица. Одни из них допрашиваются, другие «показывают». Интерес этого тома сосредоточивается как раз на показаниях. П. Н. Милюков дал обширный исторический очерк предреволюционного периода; такой же очерк политического положения дал и А. И. Гучков. Историк не обойдет вниманием их показаний. Ценны и рассказы графа Игнатьева, бывшего министра народного просвещения, о высших представителях и политике царского правительства. Товарищ председателя Государственной Думы, перешедший в товарищи министра внутренних дел, кн. В. М. Волконский рассказал о том, как он налаживал отношения Думы и правительства. А. А. Нератов дал обстоятельное показание об «удивительной» деятельности Штюрмера по министерству внутренних дел, а И. Н. Лодыженский, управляющий делами совета министров, открыл любопытные подробности действий аппарата, именовавшегося советом министров. Показания графа С. И. Велепольского освещают отношения царя и его правительства к польскому вопросу. Допросы бывшего московского градоначальника А. А. Рейнбота, товарища министра юстиции А. Н. Веревкина и известного вождя черной сотни Маркова 2-го вводят нас в знакомую нам по предыдущим томам область убийств, совершенных членами «союза русского народа», подкупов на казенные деньги, провокаций и произвола. Особенно любопытны ответы Маркова по своей совершенно беспардонной наглости и самоуверенности.

Особое место занимают показания генерала Дубенского, историографа царских поездок на фронт (и такие бывали!). Генерал Дубенский присутствовал в царском поезде в исторические дни 1 — 2 марта 1917 года. Его рассказ о последней поездке Николая и об его отречении вносит немало новых и ярких подробностей этого события.

П. Щеголев.

LXIII.

ДОПРОС гр. П. Н. ИГНАТЬЕВА.

Содержание: Вступление Игнатьева в министерство земледелия. Переход в министерство народного просвещения. Либеральная политика министерства народного просвещения при Игнатьеве. Отношение Игнатьева к общегосударственной политике совета министров. Польский вопрос. Борьба с Горемыкиным. Учреждение особых совещаний. Перемены в составе совета министров в июне 1915 г. и отношение его к Государственной Думе. Увольнение либеральной группы совета министров в отставку. Отношение совета министров к смене в верховном главнокомандовании. Кандидаты в министры: А. Н. Хвостов. Заседания совета министров в ставке. Малый совет министров. Назначение Штюрмера. Митрополит Питирим. Борьба Игнатьева с новым составом совета министров. Дело об отпуске 5 миллионов рублей. Получение А. Н. Хвостовым 1 300 000 рублей. Совет министров о роспуске Государственной Думы и выборах в нее. Вопрос об учреждении в России наместничеств. События последней четверти 1916 года. Назначение Протопопова. Курлов. Проект резолюции Государственной Думы об «измене». Уход Игнатьева. Отношение народа к Игнатьеву в Февральские дни. Отношение группы Игнатьева к пользованию 87 ст. основных законов.

Председатель. — Павел Николаевич, вы изволили быть министром с января 1915 года по 27 декабря 1916 года и, таким образом, пробыли в составе совета министров весь 1915 — 1916 гг. Вы имели председателями совета министров Горемыкина, Штюрмера, Трепова и даже кн. Голицына.

Гр. Игнатьев. — Нет, я за два дня до вступления Трепова подал прошение об отставке.

Председатель. — Может быть, вы будете добры дать очерк общей политики министерства в ваше время, смену этой политики по основным линиям и попытку обоих министров (в особенности в 1916 году) и председателя совета министров работать и решать вопросы вне круга совета, а также и рассказать нам о тех влияниях, которые вы и некоторые ваши товарищи испытывали на себе, влиянии безответственных сил и, наконец, об отношении ко всем этим течениям представителя верховной власти, поскольку вы в докладах своих имели с ним дело. Вот те общие рамки, в которых мне хотелось бы удержать нашу беседу.

Гр. Игнатьев. — Для того, чтобы яснее осветить общую политику, мне придется несколько объяснить мое положение во время моего служения. Как вы совершенно правильно отметили, оно продолжалось два года. За исключением, кажется, Барка и Григоровича, никто столько времени за этот период не был в ответственных ролях. Поэтому многие даже удивлялись, зная меня по прошлой моей жизни и по моим убеждениям со школьной скамьи, каким образом я мог удержаться два года. Хотя неловко говорить про себя, но мне придется коснуться, почему во многих вопросах политики совета министров я оставался профаном и многое для меня до сих пор совершенно не ясно, почему делалось то, а не другое, — так как я держался значительно в стороне. Дело в том, что попал я в центральное управление, будучи убежденным местным работником, в сущности, против своей воли, под настойчивым давлением Кривошеина, который уже в 1909 году совершенно ясно понял и высказывал в конце, что одной из причин гибели русской государственности было противоположение: «мы и они». Во мне он видел человека другого края, не чуждого известного бюрократического уклада, но ставившего основу своего верования так, что только в тесном единении с общественностью и в слиянии с ней государственности можно вести Россию по правильному пути. Вот почему он настаивал в течение ряда месяцев (и даже приезжал в Киев, когда я там работал), чтобы я непременно пошел к нему в ведомство. В землеустройство я не хотел итти и говорил, что единственно куда меня тянет по убеждению с детства, это в земледелие. И вот он взял меня в земледелие. Но, войдя туда, я от политики землеустроительной сразу уклонился и говорил: «Я не иду по вашему пути, так как культурная работа в толще населения, это—мое основное верование, этим путем можно достигнуть совершенствования государственного строя, а не политическими выходками и жонглерством». Назовите это карьеризмом, но я назвал жонглерством. Так я и прошел всю свою службу в земледелии. Я взял на себя только культурную часть ведомства, т.-е. департамент земледелия, гидротехнику, земельные улучшения и сельскую экономию. Все это создало для меня такое впечатление, что Кривошеин видел во мне человека, открещивающегося от той политики, которая велась, и готового работать лишь в области культурных мероприятий. Поэтому он несколько раз — может быть, в шутку, может быть, серьезно, — предлагал мне перейти в министерство внутренних дел. Но он знал, что получит категорический отпор. Когда в ноябре стало ясно, что Кассо умрет (он, кажется, скончался в декабре), Кривошеин меня вызвал и говорит: «Ну, хорошо, в министерство внутренних дел вы не пошли, но вас интересует просветительная работа? В ведомстве много политики». Я отвечаю: «Я на это пойду, но я вообще против министерской деятельности, а самое лучшее — освободите

меня совсем, так как сейчас киевское земство как раз зовет меня к себе, и я охотно туда пойду; мне не хочется в широкое море». Он говорит: «Для России нужны работники». Тут я назвал ему Платонова и сказал: «Люди найдутся, а я местный работник». На том разговор и кончился. Оказывается, Кривошеин сказал об этом Горемыкину. Меня вызвали к Горемыкину, но прежде вызвал к себе Кривошеин, которому я заявил: «Если только мне дадут свободу работать, тогда я могу пойти». Вот эти условия я поставил, и, когда в декабре Горемыкин меня вызвал к себе, я сказал: «Мне не хочется итти на такое высокое административное место, так как я люблю земледелие». Но Горемыкин настаивал, и я согласился, под условием известной программы и что мне мешать никто не будет, и сказал: «Я не вмешиваюсь в ваши дела, и если мои услуги нужны для общего просвещения, я пойду, но и вы в мою политику не вмешивайтесь». На это он сказал: «Вы требуете слишком большого, но в течении работы это выяснится. Я тоже очень люблю народное просвещение, но я мало понимаю и поэтому мешать вам не буду». Вот его слова в декабре 1914 года. Но я ему еще сказал: «Дайте мне обещание, что вы представите нескольких кандидатов, и я буду назван среди других, чтобы верховная власть могла остановиться на ком-нибудь другом». Он говорит: «Хорошо, я эту последнюю уступку вам делаю». На том мы и расстались. Таким образом, я думал, что он представил какого-нибудь другого кандидата, потому что это было в декабре, и до 7-го, 8-го января я ничего не знал. Как-то я спросил Кривошеина, он ответил: «Нам ничего не говорят; может быть, имеют своего кандидата». Вдруг 8-го января меня вызывают в Царское, и тогда я в течение 40 минут убеждал верховную власть, что не гожусь, что если я пойду, то только с определенными взглядами на вещи. Конечно, первая моя задача была поставить высшую школу в определенное положение, затем техническое образование... Все было принципиально одобрено.

Председатель. — Вы не скрывали противоположности вашей политики политике вашего предшественника, или вы не ставили этого вопроса?

Гр. Игнатьев. — Я сказал, что не гожусь потому, что всегда шел рука об руку с общественностью и с людьми местными. Я помню фразу: «Не страна для нас, а мы для страны». Это — старинная точка зрения моего отца и нашей семьи, несколько славянофильского направления, которая говорит: «Величие России было в единении царя с народом, а бюрократическое средостение гибельно». Вот та формула, на которой мы всегда стояли. А против этого средостения я решил, что моей первой задачей, если удастся что-нибудь сделать, будет уничтожение того ужасного явления, когда ведомство, которое должно быть самым любимым детищем страны, является ненавистным установлением, что должно

привести всякого к содроганию и в ужас; такова первая задача, а все остальное технически приложится и выльется в дальнейшем. Это было признано правильным, и затем, в докладах, через 2 — 3 недели, уже с материалами в руках, я говорил, почему это осуждение ведомства создалось. Должен сознаться, что верховной властью, повидимому, мои слова были поняты, и мне никаких препятствий не чинилось. Мне каждый раз санкционировали все шаги, которые необходимо было сделать, и если я встречал препятствие, то скорей в дальнейшем.

Ольденбург. — Может быть, этим и можно объяснить, почему ваша политика была таким оазисом среди всего остального и так всегда отмечалась общественностью, что министерство народного просвещения может делать то, чего не может делать другое ведомство? Очевидно это объясняется первоначальной постановкой.

Гр. Игнатьев. — Да, я иначе не мог. Но уже в мае 1915 года, в сущности, по небольшому вопросу, но, по моему мнению, имевшему большое значение с точки зрения успокоения в средних учебных заведениях (перехода из класса в класс без экзаменов, некоторые облегчения для детей и братьев состоящих на военной службе, чтобы для всех было одинаково, но придется поступать по usus'ам, которые были раньше . . . Это отозвалось более благоприятно для евреев), я, встретив в совете министров отпор, получил санкцию здесь, в Царском, и сказал: «я это сделаю». Тогда министерство торговли и промышленности и др. не сделали этого расширительного толкования, а министерство народного просвещения провело его. И вот, чтобы получить это, мне пришлось в мае сказать, что так как условия мои не исполняются, я ухожу. Я сознаюсь сейчас, это надо проводить иначе. Мне не удалось провести постановки образования в полном объеме, как я понимал, но здравый смысл говорил, что известные ограничения самого себя необходимы. Нельзя же лететь как на аэроплане! Как представителю реальной политики мне кое-что все-таки удавалось проводить этим путем.

Председатель. — Если остановиться на вопросе, поставленном Сергеем Федоровичем, то нужно сказать: внешнее сопоставление вашей беседы с верховной властью и тот факт, что министерство народного просвещения было, действительно, некоторым оазисом, на котором отдыхала русская общественная мысль, еще не выясняют дела. Каковы были корни этого? Как удалось вам то ведомство, которое было так уронено в смысле вторжения политики, в момент распада государственной власти и в момент судорожного проникновения политики министерства внутренних дел во все ведомства, как вам удалось удержать от этого ваше? Ведь верховная власть осталась, момент политический был еще более острый, и, тем не менее, вам удалось? Вы ставили вопрос о вашем

уходе, но была какая-то внутренняя сила, которая стояла за этим внешним фактом, что-то вам помогало.

Гр. Игнатьев. — Мне думается помогли два фактора: один тот, что верховная власть знала меня еще 20 лет тому назад, когда я был солдатом, когда отбывал воинскую повинность в Преображенском полку. Я всегда относился к делу добросовестно, и мои отношения к солдатам были такие, какие сейчас устанавливаются. И в глазах верховной власти оставался один пример: бывший государь как раз отбывал ценз батальонного командира, а я был унтер-офицером в своей роте, был запевалой своей роты и заведывал школой грамотности в роте. И вот, в первый лагерный сбор, очень тяжкий (это было в 1893 г.), стояла страшная жара, люди страшно страдали, и наша рота шла без офицеров, потому что все офицеры выбыли из строя. Я помню, герцог Лейхтенбергский уехал, и командиром роты был фельдфебель В., который заведывал хозяйством, затем Х., который был потом швейцаром военного министра, и унтер-офицер Игнатьев. И вот мы, три унтер-офицера, вели роту, и она была всегда так блестяща, что помню, когда мы входили в Гатчино, все роты подходили под командой «смирно», а 15-я рота всегда с песнями, и унтер-офицер Игнатьев был запевалой. Очевидно, это оставило впечатление, что у меня с солдатами и крестьянством очень близкие отношения. Действительно, со школьной скамьи, под влиянием Льва Николаевича, я ушел в деревню, где пробыл 14 лет безвыездно, занимаясь сельскохозяйственными делами, потом земством, и затем был предводителем дворянства. Таким образом, все время жил общественной жизнью. Должен засвидетельствовать, что у верховной власти была большая нежность к нижнему чину — к солдату, и эти отношения оставили в нем впечатления. Например, в тяжелые походы, у меня в ранце всегда было несколько бутылочек со всякими освежающими вещами: например, дурно кому-нибудь — вынешь, дашь понюхать, или выпить, или закусить мятными лепешками; все это очевидно оставило впечатление. После военной службы я уехал, и в течение 14-ти лет приезжал только на Рождество и Пасху проведать моих родителей, а все остальное время сидел в Киевской губернии, в Липовецком уезде. Что впечатление осталось, я думаю потому, что когда я, в качестве директора департамента, являлся к бывшему государю, то про этот поход он еще вспоминал. А ведь прошло 16 лет (с 1893 года), а это было в 1909 году! Второе, о чем вы изволите говорить, а именно, почему я в моей первой беседе, сказал, что не гожусь, я прямо указал причину и назвал по фамилии — это был Маклаков. Я с Маклаковым еще в Киеве всегда расходился. И тут я сказал опять: «Я не могу вступать в министерство, ведь там Маклаков, он России не понимает, в российской общественности не смыслит. Как же мы можем с ним быть в одном совете?» На это мне было сказано: «он поймет».

Так что я с полной откровенностью поставил вопрос. Затем, причиной, может быть, являлось и то, что у верховной власти всегда была слабость к бывшим преображенцам. Правда, однополчанином я был всего 8 месяцев, так что это мимолетное было, но все-таки считался бывшим преображенцем. А затем я с самого начала 40 минут докладывал все те препятствия, которые видел на пути к необходимой мирной и дружной работе. Я прямо скажу, что иначе, как в тесном единении с общественностью и с местными силами, в широкой децентрализации, путем передачи целого ряда функций не должностным лицам, а элементам, уже работающим и в области педагогии и на этом пути, я вижу возможное оздоровление ведомства и сообщение ему тех симпатий, без которых оно жить не может. Так продолжалось все время. В мае пришлось поставить вопрос о льготных переводах.

Председатель. — Вы поставили его в связи с теми возражениями, которые делались верховной власти?

Гр. Игнатьев. — Я делал маленькое беззаконие. Дело в том, что был вынесен журнал совета министров, в котором было сказано (после больших споров), что только детям участников войны могут быть предоставлены некоторые льготы по приему в учебные заведения. Мне казалось, что кроме этих детей, есть дети разных родителей, усыновленные и т. д., одним словом, нельзя так узко смотреть, и я настаивал, что в такой момент борьбы, когда все силы напряжены, надо сделать все, чтобы несколько облегчить, и что их толкование неправильно. Но большинство министров было против этого журнала. Тогда я доложил, что не могу с этим согласиться и что надо апеллировать к верховной власти, так как в журнале не сказано: «законные дети» или какие, а просто — «дети», т.-е. усыновленные и другие. В ведомстве народного просвещения мы так и понимали, что это все те дети, — от кого бы они ни зависели, от родителей или от кого другого, но состоящих на военной службе, — эти дети являются, если не физическими, то моральными их сыновьями, и одинаково тяжело переносить заботы о них. Когда я в совете министров о том заявил, мне говорят: «это невозможно». «Тогда я буду просить, чтобы меня освободили; я не могу толковать вопрос иначе». Я коснулся этого, чтобы объяснить вам, что мое положение в совете министров было очень сложно и особенно. В первом составе единственные люди, с которыми я был сравнительно близок, это — Кривошеин, Харитонов и Сазонов. По существу политики я сходился с Харитоновым и Сазоновым, а по общей психологии с Кривошеиным, но по некоторым вопросам политики мы несколько разных взглядов. В общем же мы составляли группу. Для меня было ясно, что все усилия Кривошеина сводятся к тому, чтобы руководить Горемыкиным и вести его к принятию определенной политики. В чем была эта политика по существу, я бы даже не сумел формулировать, потому

что желал сохранить своему ведомству аполитичность. В этих частных совещаниях министров по вопросам политики внутрених дел и финансов, главным образом, принимал участие Харитонов. Я тогда не принимал участия. Они тогда приходили к заключению, что во время войны нужно войти в контакт, наиболее близкий с Думой, — это было течение одной группы. В другой группе играл наиболее выдающуюся роль Щегловитов, который к себе притягивал Маклакова и некоторых других. Это течение было, напротив того, за усиление центральной власти, за усиление административной власти и, по возможности, отмежеваться от Государственной Думы, сократить ее влияние на внутреннюю жизнь и, главное, отмежевать ее от войск. Вероятно, вам известно, что верховное управление армии в то время было склонно и всегда стремилось войти в известный контакт с законодательными палатами и с общественностью: отсюда поддержка земского и городского союзов, предположение дать им целый ряд задач и т. д. Мы это поддерживали, кто как мог, а та группа всегда против. Должен сказать, что в первой части 1915 года политической жизни почти не было. Горемыкин жил, но уже шел вниз. Все были убеждены, что война скоро кончится. Мне приходилось подчеркивать, что военные представители нас, гражданских, в этом поддерживали еще в начале 1915 года, говоря: «Еще два, три месяца, и всему будет конец. У нас все заказано, все будет». Поэтому мы так горячо в этой политической жизни все принимали, что — «приедет барин» после войны и «все рассудит», и что особенно бороться не приходится. Так продолжалось приблизительно до мая, июня, когда для нас стало ясно, что это не то.

Ольденбург. — Когда начались отступления и Сухомлиновская политика вся раскрылась?

Гр. Игнатьев. — Да, мы поняли, что нас убаюкивали и говорили, что надо что-нибудь делать. Если память мне не изменяет, около этого времени поднялся польский вопрос, который был подчеркнут.

Ольденбург. — Это Горемыкин подчеркнул?

Гр. Игнатьев. — Да. Мне помнится, что в мае наша группа выдвигала этот вопрос одним из первых: надо что-то сделать полякам, ведь им обещано; что это обман. И тут мне, как бывшему деятелю Западного края, пришлось высказаться по этому вопросу à livre ouvert, что действительно это больной вопрос, который должен быть решен, что без разрешения его нам нельзя воевать, не зная, кем мы окружены — друзьями или врагами. В то время ставка требовала некоторого прояснения политики. Тут состоялся целый ряд обращений, и всегда та группа вносила дезорганизационную точку зрения, в ущерб ясности и лойяльности, и на этой почве у нас были столкновения. К несчастью, председатель никогда не доводил до конца, до заявления в Думе. Насколько мне

помнится, нам не дали окончательной редакции того, что же санкционировано верховною властью в отношении Польши.

Председатель. — Павел Николаевич, вы изволили сказать, что Кривошеин стремился направить Горемыкина в известном направлении. Скажите, пожалуйста, разве вам представлялось и представляется теперь, что Горемыкин был способен на то, чтобы им руководили? Не представлял ли он, хотя и дряхлеющую, но самостоятельную фигуру?

Гр. Игнатьев. — Мне представляется, что приблизительно до мая — июня он поддавался известному руководству, потому что некоторые вещи подсовывались с той стороны, и Горемыкин склонялся к мнению этой группы. Мне кажется, что Кривошеин влиял, но только до мая — июня. Здесь с Горемыкиным произошло что-то странное, но для меня совершенно необъяснимое. Между нами ходила фотография, которой мы хотели объяснить себе этот перелом. Фотография была напечатана в журнале «Столица и Усадьба». Это — вид больницы, которую он устроил у себя в доме, где представлена г-жа Горемыкина, Рубинштейн и Манус. Должен сказать, что в насмешку, когда мы увидели, что старик совершенно отбился от рук и никаких советов, ни Кривошеина, ни Харитонова, не хочет слушать, кто-то принес этот журнал и говорит: «вот причина». Я говорю, что это, конечно, анекдот, но это, действительно, случайно совпало. Названные лица казались, если не подозрительными, то сомнительными, и мы думали: что может быть общего между г-жею Горемыкиной и Рубинштейном и Манусом? Вот этим мы и объяснили себе резкую перемену. Я знаю, что прежде Горемыкин иногда просил Кривошеина вечером заехать поговорить, а потом перестал вызывать Кривошеина. Вот как, приблизительно в июне, начинается политическая жизнь нашей группы. Кривошеин стал собирать нас у себя. Группа была уже более обширной: там были Кривошеин, Поливанов, Харитонов, Барк и я — всего пять человек. Мы собирались и обсуждали некоторые животрепещущие вопросы. В уничтожении Сухомлинова, конечно, большую роль сыграл Родзянко, но много поработал и Кривошеин, несколько раз говоривший нам, что дальнейшее существование Сухомлинова невозможно. Таким образом, мы собирались и толковали и приблизительно в июне уже обсуждали необходимость ухода Горемыкина, что дальше так итти нельзя. Ему ставилась в вину не самая его программа, а отсутствие программы, и мы формулировали: пускай какая угодно будет программа, но ясная и определенная как для нас, его коллег, так для страны и законодательных палат, пускай будет ясен путь, которым нужно итти, чтобы выбраться из этого тяжкого положения, а плыть без руля и без ветрил мы не можем. Тут возник вопрос об устройстве особых совещаний (сейчас я точно не помню, в законодательных палатах или в совете министров).

Ольденбург. — Они были законом оглашены 19-го августа. Ведь, началось сперва с особого совещания под председательством Сухомлинова, куда входил и Родзянко, а потом был выработан законопроект об особых совещаниях.

Гр. Игнатьев. — Вот, вот. Это одна из первых побед, где наша группа настаивала на привлечении общественных элементов к разрешению военных вопросов и к распределению заказов. Это началось при Сухомлинове. Мы говорили, что нельзя исполнительной власти уединяться: тогда вся ответственность падет на нас. Это произошло после доклада. Родзянко нашу мысль поддержи-вал. Сначала была бесформенная организация, затем постепенно оформлялась и дошла до законодательных палат. Когда вопрос о совещаниях обсуждался, в июне, у нас начались резкие столкновения по поводу бытия или небытия законодательных палат. Мы были за работу; та половина — против. Мы прямо говорили, что если Горемыкин против, то он должен уйти. Постепенно большинство членов совета, почти единогласно, перешли на нашу сторону. В это время Щегловитов ушел и был заменен Хвостовым. Маклаков тоже ушел и был заменен кн. Щербатовым. Все эти назначения были под влиянием Кривошеина.

Председатель. — Позвольте на минуту остановить ваше внимание. В какой форме был поставлен вопрос о законодательных палатах? В форме ли перерыва в заседаниях или тут был поставлен вопрос о роспуске?

Гр. Игнатьев. — В форме перерыва. Большинство, самые горланы — мы, говорили, что мысль о роспуске недопустима.

Председатель. — А другие как?

Гр. Игнатьев. — Они не поднимали вопроса, а только говорили о перерыве. О роспуске первой раз заговорили во второй половине августа, когда было собрание особого совещания в Зимнем дворце.

Ольденбург. — 19 августа прошел закон. Это, должно быть, было в конце августа, когда государь открывал собрание речью в Зимнем дворце?

Гр. Игнатьев. — Вот я и говорю, что под влиянием Кривошеина состав совета министров значительно изменился: вошли элементы правого крыла, но общественно настроенные.

Председатель. — Павел Николаевич, вы считаете, конечно, что события на театре войны очень помогли успеху Кривошеина?

Гр. Игнатьев. — Конечно. Хотя должен сказать, что борьба Маклакова с Кривошеиным была еще раньше. Я застал уже, что они в совете министров не давали друг другу руку и говорили: «министр внутренних дел» и «управляющий земледелием», не называя по имени. Для меня было ясно, что это должно чем-то кончиться. Затем, Кривошеин не переносил Саблера, и было ясно, что против этих лиц он поведет ту или другую атаку. Я теперь не помню, кто раньше вышел — Саблер или Маклаков?

Председатель. — Маклаков раньше. Он был заменен Щербатовым.

Гр. Игнатьев. — К открытию сессии Саблера уже не было. Конечно, события, без сомнения, помогли. Но, когда в течение августа мы собирались на своих совещаниях, я говорил, что дальше так итти нельзя, что нужна определенная программа и (с председателем совета министров у меня отношения пока еще не обострились) единственно, что мешает планомерно развиваться деятельности министерства народного просвещения, это то, что оно идет своей дорогой, а общественной политики не знает и не может с ней поэтому считаться, что вообще разрозненность действий невозможна и ведет к гибели как на фронте, так и внутри, — раз. Вторым мотивом моих сетований было то, что формула «все для войны» понимается узко, в предположении, что это исключительное оружие армии, забывая, что самое усовершенствованное оружие без правильно организованного тыла, спокойно поддерживающего армию, — пустой звук, и что мы этим всего для войны не делаем, а делаем только часть. Темою разговора был призыв молодежи и народных учителей в армию. Призывают всех, а что с ними делать, что в тылу останется, на это не обращают достаточного внимания. Тут я прямо поставил вопрос об отставке, но предупреждал, что так дальше итти нельзя, если будем расстраивать недра школы. В то время состоялось распоряжение принца Ольденбургскаго — занять все учебные заведения. Это было одно из столкновений. Тогда Кривошеин просил не ставить вопрос остро, в надежде, что может быть удастся, в конце концов, свалить министерство и сменить председателя совета министров. Я убежден, что Кривошеин сам лично стать во главе не хотел, и думал, что тут должно было бы быть широко общественное лицо. Ходили слухи о Родзянке, о Г. Е. Львове, А. И. Гучкове, а в последний момент говорили о Поливанове. Мы о Поливанове высказывались в том смысле, что сейчас военное время, отступление и т. д., что сейчас для войск и, может быть, для страны увидеть во главе совета министров генерала, к которому Государственная Дума всегда относилась с известной симпатией, будет обозначать шаг вперед. Так что в последнее время склонялись к этому. Таким образом прошел июль и август. В августе состоялось особое совещание, когда был дан большой бой, и мы все должны были выйти в отставку. Все министры хотели уйти и все об этом письменно заявили, кроме Хвостова, который, по существу, с нами был совершенно согласен, но из своих дружественных отношений с Горемыкиным не решился это формулировать. Но нас не пустили, и мне между прочим, было сказано, что «из окопов не бегут». И мы продолжали работать. Но это была уже не работа, это была мука, потому что Горемыкин не подчинился и чуть не каждый вопрос

приходилось брать с боя. Дезорганизация шла далее. В октябре Кривошеин был удален, затем Щербатов и т. д.

Председатель. — Это было в сентябре?

Гр. Игнатьев. — 26 сентября я имел доклад у верховной власти, где заявил, что больше не могу.

Председатель. — Это уже в третий раз?

Гр. Игнатьев. — Если считать коллективное заявление, в третий. Мне опять повторили фразу: «Неужели вам не жаль школы? Прошу вас для России, продолжайте». Я говорю: «Я не буду считаться с ними». — «Вы мне лично докладывайте изменения».

Председатель. — Во время своих докладов вы касались политики кабинета, т.-е. приходилось вам становиться на ту точку зрения, что при всем желании министра народного просвещения быть аполитичным, тем не менее, безумная политика кабинета или части кабинета мешает вам работать, например, допущение принца Ольденбургского, и т. д.?

Гр. Игнатьев. — Вообще я докладывал не часто, не более одного, двух раз в месяц.

Председатель. — Вы изволили сказать, Павел Николаевич, что в августе, в связи с совещанием, все подали в отставку; повидимому, сентябрьская отставка и была несколько замедленным ответом на вашу просьбу?

Гр. Игнатьев. — Да, мы подали ее в день заседания, а в тот же вечер произошла смена командования: вел. кн. Николай Николаевич был отправлен на Кавказ, и бывший государь вступил в командование.

Председатель. — По этому вопросу тоже были известные суждения?

Гр. Игнатьев. — Да, мы сказали через своего лидера, что считаем шаг опасным и вредным, зная характер верховной власти, легко поддававшийся известным влияниям. Мы боялись, что в ставке легко, под влиянием каких-нибудь лиц, может быть изменение целого широкого плана; а второй мотив, что это—последняя ставка, и вся ответственность за неуспехи, которые должны были быть, как следствие всего того, что происходило в конце, падет на одно лицо, и в эту минуту вступать в управление тому, кто является верховным вождем, нельзя: все равно он исправить физически ничего не может. К счастью, наступление остановилось, но если бы немцы дальше пошли, если бы у них хватило еще перцу дальше итти, то... Мы говорили: «последнюю ставку ставить безнадежно». Мы считали это неправильным. А затем, тот мотив, что раз не выработана программа, нет определенных директив, в такое время оставлять государство нам казалось слишком рискованным шагом. Вот приблизительно то, что было сказано от нашего лица на совещании.

Председатель. — Как вам представлялось, — эти смены и выбор кандидатов — дело рук Горемыкина, который одержал в некотором роде верх над вашей группой, или вы замечали, что кандидаты диктуются даже не Горемыкиным?

Гр. Игнатьев. — Я этот вопрос ставил Кривошеину, так как мне казалось, что он больше в курсе, но и он не отдавал себе отчета. Некоторые кандидаты прошли безусловно под влиянием Горемыкина, но некоторые совершенно непонятно для нас откуда были; например, А. Н. Хвостов, — совершенно неизвестно, откуда его выкопали. Между нами говорили, что были какие-то темные влияния, но конкретно ничего нельзя было сказать. Они считали меня вообще профаном. Может быть, Кривошеин и знал, но хотя у меня с ним были хорошие отношения, не хотел меня посвящать. Одним словом, для нас было загадкой, откуда Хвостов? И общее впечатление этого периода — что Горемыкин действовал не самостоятельно и отошел от нашего влияния. Мы в августе поссорились. Второе заседание происходило в ставке, где нам был сделан реприманд и нас призывали к дружной работе. Мы сказали, что дружно работать можно сколько угодно, но дайте нам определенную общую программу, а без руководителя невозможно. Тут от Горемыкина мы совершенно отмежевались, и он остался сам-друг с Хвостовым; остальные устранились. После реприманда, который мы получили в ставке, начались смены.

Председатель. — Пожалуйста, остановитесь несколько подробнее на этих двух заседаниях — в ставке и на предшествующем.

Гр. Игнатьев. — Вообще я на них остановился потому, что я, кроме присутствования, своего личного участия не проявлял и только заявил, что присоединяюсь к сказанному Сазоновым. Первое заседание было здесь, перед отъездом бывшего императора в армию, накануне 19 августа. Мы собрались объяснить, что без руководящих указаний уезжать в армию и оставлять все так нельзя, почему и считали вступление в командование армией самого бывшего императора в данный момент неполитичным, опасным, грозящим бедствиями и ставящим членов совета в невозможность нести дальше ответственную службу. Тут выступал Харитонов, по нашему поручению, затем Щербатов и, кажется, Кривошеин. Остальные только отдельными фразами поддерживали эти заявления.

Председатель. — Что же говорилось со стороны ваших противников по совету министров?

Гр. Игнатьев. — Тут никого не было, а Горемыкин молчал.

Председатель. — А Хвостов был?

Гр. Игнатьев. — Да, были все министры.

Председатель. — Что же вам было отвечено верховной властью?

Гр. Игнатьев. — Что в такой критический момент страны верховный вождь армии должен стоять во главе.

Председатель. — Долго продолжалось это заседание?

Гр. Игнатьев. — Нет, очень недолго. Может быть, минут 35 — 40. А второе заседание было в ставке. Так как оно происходило после подачи заявлений об уходе, то нам сказали, что это нечто в роде дезертирства — бросать службу в такое время, когда нужно напрячь все силы в дружной совместной работе для доведения спасения России до конца.

Председатель. — Это когда было?

Гр. Игнатьев. — Я не могу вспомнить. К сожалению, я не записывал. Это заседание записывал Поливанов.

Председатель. — Когда я в первый раз поставил вопрос, вы ответили, что присутствовали люди только вашей группы, а потом выяснилось, что был Горемыкин и другие министры. Что же, не пытались они возражать на эти ваши два бесспорные положения: относительно опасности принятия командования в такой момент и относительно невозможности жить без связи тыла с армией?

Гр. Игнатьев. — Что касается второго положения, то было сказано, что будут приезжать сюда и будут нас вызывать туда чаще.

Председатель. — Но вы ставили вопрос о связи тыла с армией и о невозможности вести войну изолированно?

Гр. Игнатьев. — Это вполне признавалось; что это задача министров — установить связь.

Председатель. — Вы сказали, что это второй вопрос, который вы считали принципиальным, а какой первый?

Гр. Игнатьев. — Мы говорили, что нет программы; что программа должна быть в выяснении тех форм и тех способов, которыми правительство устанавливает свою связь со всеми элементами страны — с организациями земскими и городскими, готовыми помочь государственной власти довести до конца, вместе с Государственной Думой, борьбу благополучно. Другой программы нет. На это был ответ Горемыкина: «Это не так, мы идем с земским и городским союзами и даже с Думой». Приблизительно тот же ответ, который он дал Сазонову на совещании в ставке, когда Сазонов правильно указывал на свой опыт по Западной Европе. Горемыкин говорил то же самое, и Сазонов только махнул рукой, говоря: «Совсем не то». Это было в совещании перед 19 августа, затем 19 августа было совещание с представителями Думы и совета, потом отъезд и вызов нас (я не помню числа) в ставку, — там реприманд, на который ответил Сазонов, также выступал Харитонов, немного прибавил Кривошеин и несколько слов сказал Самарин, остальные подтвердили, что они того же мнения, что так итти не может, что мы повинуемся и будем работать, но без программы нельзя. На этом мы вернулись в Петроград и продолжали работать.

Председатель. — Останемся в пределах общего очерка. В чем изменилась линия поведения отдельных ведомств, дававшая в совокупности некоторое представление об общей политике?

Гр. Игнатьев. — Здесь пошла политика антиобщественная, которая прикрывалась общественностью, но министр внутренних дел все время ставил палки в колеса. Что особенно было тяжело нам и, в частности, мне, как общественнику, это, что в ставке, в присутствии еще государя, все шире и шире привлекали земский союз к сотрудничеству. Значит, санкция верховной власти была. А здесь все время министр внутренних дел противодействовал и приходилось каждый раз осаживать: если так, апеллируйте в ставку. Уже тогда начала появляться тенденция образовать маленький совет отдельно, под предлогом, что нас довольно много. Мы являлись министрами мало заинтересованными в снабжении армии, поэтому составилось маленькое совещание без нас.

Председатель. — То-есть из тех же членов совета министров, но не в полном составе?

Гр. Игнатьев. — Оформилось это совещание, главным образом, при Штюрмере, при Горемыкине же оно не было организованным и постоянно действующим. Основания к этому некоторые были, потому что образовалось особое совещание со своим председателем. Вот под этим предлогом они образовали под председательством председателя совета министров особый супер-арбитр. Под этой формулой постепенно создался такой коллектив, который был сильнее совета министров. Уже вопросы снабжения армии почти до совета министров не докатывались, а вершились особым совещанием и давались указания чиновникам в этом малом коллективе, а мы совершенно были отстранены. Повторяю, при Горемыкине совещание не имело организованного и постоянного характера. Я должен сказать, что, главным образом, этим мы обязаны Поливанову, ибо Поливанов, когда видел несогласие, апеллировал неофициально в совет министров о том, что остался один вопрос невыясненным в совещании.

Председатель. — А отношение голосов в малом совещании складывалось в пользу группы ваших противников и во вред вам?

Гр. Игнатьев. — Скорее, да. Там, все-таки, были лица, которые не так твердо стояли за значение общественного элемента. Там были Рухлов, Шаховской, Поливанов, Кривошеин. Кривошеин был бюрократ по крови, он воспринял общественность не по нутру, а по умственному убеждению. Поэтому, когда он в обстановке иной бывал, его сбивали. Так что в малом совете, действительно, Поливанов был, в сущности, один более или менее верующий в это нутром, а у нас в совете еще шире развивалась эта мотивировка, что относилось более к верованиям, чем к убеждениям. Барк присоединялся обыкновенно к нам, так что создавалась атмосфера более благоприятная.

Председатель. — Какие поднимались важные вопросы за этот период?

Гр. Игнатьев. — Шло вымирание председателя с его политикой. Кривошеина тогда уже не было. Для большинства явилось совершенно неожиданным вступление Штюрмера. Последний мой доклад до этого состоялся, кажется, 2 декабря: о необходимости такого председателя, который бы что-нибудь сделал для связи с законодательными палатами, что без этого выхода никакого нет, что Государственная Дума есть минимум общественности и последняя зацепка для бюрократической власти и что если с ней не сговориться, то с кем же сговориться. Мне сказали, что это совершенно верно, что такие задания даны и «вы скоро увидите». А в январе произошла уже перемена Горемыкина на Штюрмера.

Председатель. — Так что Штюрмер казался вашему собеседнику, т.-е. представителю верховной власти, так сказать, лицом, удовлетворяющим требованиям сожительства с общественностью?

Гр. Игнатьев. — Я думаю, что такое именно было представление. Когда, 20-го, последовал указ, я сейчас же попросил приема, и 22-го января был принят. Перед этим я отправился к Штюрмеру и объявил ему, что не вижу возможности совместной работы. Мотивы такие: мои старые коньки — общественность и т. д. Он говорит: «Это — моя задача». Я говорю: «Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но едва ли так». Тогда он мне говорит: «Помните Тверь? Ведь меня там приняли в палки, а потом было очень хорошо». Я ему ответил: «А помните Новгород?» У него там вышло недоразумение; мой beau-frère Васильчиков был там предводителем дворянства, и он мне рассказывал. Я говорю Штюрмеру: «Вы должны сделать мне эту услугу, которую я единственно прошу — подтвердить, что не можете со мной работать». Он говорит: «Напротив, мне поставлена задача поддержать отношения, и я смею надеяться, что мне это удастся и рассчитываю на вас». Я говорю: «На меня не рассчитывайте; я еще раз заявляю, что ухожу». Он говорит: «Делайте, что хотите; я думаю — вас не отпустят». И он был прав.

Председатель. — Так что вам бывший император ответил почти теми же словами, как Штюрмер?

Гр. Игнатьев. — Вот почему я и думаю, что это была не самостоятельная мысль, что это было кем-то рассказано и было еще свежее впечатление. Ясно, что кто-то представил картину, и что цель была — именно установление отношений. Когда блок в Думе составился (это произошло еще в 1915 году), я помню тогда, 21 января, мне пришлось два раза этого коснуться. Первый раз по поводу союза русского народа в Новгороде. Помните, там был съезд союза русского народа, где про меня сказали, что я послушный раб думского блока. А в другой раз сказали, что Дума еще способна спасти Россию и предлагает самую льготную формулу.

Она создала блок, отделив крайние элементы, и дает возможность с ним сговориться. Если они увидят, что по всем вопросам с ними пойдут и по какому-нибудь одному, который покажется острым его величеству, может быть, они поддадутся, то легко сговориться. Если на это идет Штюрмер, я готов ему помочь, хотя мы с ним давно разошлись. Я встречал его в семье моего дяди, покойного Алексея Павловича (и там я тоже расходился в политических убеждениях), и мы с ним несколько раз спорили. Я с ним знакомства не вел, и мне неприятно было с ним встречаться. Я сказал государю: «Мы с ним ничего общего не имеем, но я готов помочь». Государь говорит: «Ему сказано — установить отношения и в подробности не входить; во всяком случае, он вам мешать не будет».

Председатель. — У вас не составилось такого представления, или, может быть, вам прямо сказал Горемыкин, что его отставка и для него явилась полной неожиданностью?

Гр. Игнатьев. — Впечатление было такое, что это неожиданность.

Председатель. — Вы не помните, что некий кн. Андронников, первый и совершенно неожиданно, уведомил старика о том, что он уже не председатель совета министров?

Гр. Игнатьев. — Этого я не знаю. Мы сидели в заседании совета, он пришел, и мы видим, что что-то случилось. Я сидел рядом с Шаховским, который был всегда более в курсе и говорит: «Говорят, уже председателя нет». А после заседания Горемыкин нам сказал.

Председатель. — Какое представление составилось у вас об этой отставке?

Гр. Игнатьев. — Была мысль о том, что тут какие-то закулисные ходы, в которых замешан как будто Питирим и еще кто-то.

Председатель. — Может быть, Манасевич-Мануйлов и Распутин?

Гр. Игнатьев. — Скорее Распутин. Штюрмер жил на углу Конюшенной и Мойки, где мы и собирались. 9-го февраля открывалась Государственная Дума. Ждем, ждем. Никакой декларации нам не хотят сообщить. Что же, правительство в Думе скажет что-нибудь? Вот мы, несколько министров, между прочим, Волжин, еще кто-то, приехали к Штюрмеру и пристали к нему: «Если вы будете выступать, скажите, что выступаете от Штюрмера, или совсем не выступайте, потому что вы нас не поставили в известность, что будете говорить». Он отвечает: «Это не обязательно для председателя совета министров сообщать все своим коллегам, но если хотите, я в общих чертах вам сообщу». Он начал говорить и как-то в своей речи задел св. синод. Тут Волжин вспылил, и не помню, что он сказал, но что-то в таком роде: «Может быть, это вам Питирим сказал?» Тогда я спрашиваю Волжина: «Что

такое?» Он говорит: «Ну, батенька, вы не знаете». Я говорю: «Какая грязь!» Вот это единственный намек. Я убежден, что без Питирима он бы не попал. После моего заявления, что с ним работать не могу, я еще далее в стороне держался, но в своих докладах стал все более и более развивать теорию о вреде бюрократии и бюрократического уклада, о необходимости децентрализации. У себя я даже составил целую комиссию по децентрализации. Я считал необходимым привлечь земские и городские организации, и схема эта развивалась перед верховной властью, при чем я говорю, что все время встречаю противодействие со стороны совета министров. Раз мне сказали «из окопов не бегут», — я не бегу, но после каждого доклада указывал на непосильную работу, на идущую все время борьбу. Был вопрос о психоневрологическом институте. Большинство совета министров требовало применения в частной школе всех старых законов и норм казенных установлений, хотя закон 1914 года давал возможность применения гораздо более усовершенствованных форм. В течение всей весны и всего лета у меня постоянно была борьба; засим образовалась совершенно определенная группа из пяти министров, ведающих всем, и продовольствием, и топливом, и поставкой, а мы совершенно отстранены. И вот, если я не ошибаюсь, в июле, отсрочили начало занятий в Петрограде, не предупредив министра народного просвещения. Я прочел в газетах приказ председателя особого совещания, которого он не имел права делать без министра народного просвещения. Я запротестовал и вышла большая ссора с советом министров: я назвал это управление турецким и персидским, а не европейским. Мне ничего не ответили и хотели сделать выговор потом. Помните, японцы приезжали и был завтрак в Мариинском дворце. Штюрмер меня вызывает на средину зала и говорит: «Ваши коллеги на вас обиделись». Я говорю: «Тут не место, я дам объяснения в совете министров». Весь этот эпизод я доложил верховной власти.

Председатель. — Кто же отсрочил занятия в Петрограде, — Штюрмер?

Гр. Игнатьев. — Да, приказом Штюрмера. Сделали это в августе, когда уже все съезжались. Занятия должны начаться 15-го августа: вдруг объявляют, что они отсрочиваются до 15-го сентября.

Председатель. — Вы можете вспомнить еще случай, где Штюрмер действовал бы втихомолку, не только в малом совете министров, но, может быть, без всякого коллектива, без всякой коллегии, или чтобы он забежал в Царское Село и старался, грубо выражаясь, заткнуть вам рты высочайшим повелением?

Гр. Игнатьев. — Есть одно дело, где мне пришлось выступить и раскрыть глаза верховной власти, — какие-то миллионы.

Председатель. — Пять миллионов?

Гр. Игнатьев. — Может быть, пять миллионов, которые хотели провести помимо совета министров, но в последнюю минуту, когда уже было получено разрешение, захотели это оформить. Когда кончилось заседание, я случайно наткнулся на это в кипе журналов. Там всегда камер-лакей разносил журналы, которые уже напечатаны, и мы наносили подписи. Их машинально подписывали, зная, что все уже просмотрено. Я смотрю: какой-то журнал, не печатный. Если бы он был печатный, вероятно я бы его подмахнул, не отдавая себе отчета; и этот я подмахнул, но он был другого вида. Я поглядел: что такое? Ко мне подходит Поливанов, я говорю: «Посмотрите, что такое; может быть вам нужно по военному ведомству такое ассигнование?» Поливанов говорит: «Нет, едва ли это мое» ... Это было ликвидировано.

Председатель. — Это вызвало, между прочим, протест Наумова?

Гр. Игнатьев. — Потому что от Поливанова журнал шел к Наумову.

Председатель. — Вы взяли это с двух ударов: во-первых, по докладу Барка была поставлена под контроль вся сумма, а затем, кажется, уже по докладу самого Штюрмера, была уничтожена вовсе.

Гр. Игнатьев. — Через два — три дня, после того, как это случилось, я был с докладом и говорю: «Ваше величество, я перед вами виноват». — «Чем?» — «Я подписал журнал против совести». — «Как так?» — «Вот это ассигнование я подмахнул, не читая его, потому что оно было в общем числе 20 или 30 журналов, уже проверенных». — «Вам подсунули?» — «Я считаю, что это подсунуто». — «В чем дело?» Я рассказал и говорю: «Слава богу, на этот путь Россия еще не становилась. Может-быть, за границей уже привыкли, но у нас до сих пор не слышно было об этом, да мы и не сумеем сделать, мы оскандалимся». Так как общее мнение всех членов совета было, что они подведены, то через несколько же дней ассигновку отменили. Кажется, даже не было ничего израсходовано. Потом был составлен журнал об уничтожении этого.

Председатель. — Вы не заметили, что здесь Штюрмер, повидимому, действовал по соглашению с А. Н. Хвостовым?

Гр. Игнатьев. — Думается мне, что да, так как, повидимому, Хвостов был очень сконфужен. Когда я журнал из пачки взял, передал Поливанову и говорю «обратите внимание», то Хвостов отвернулся.

Председатель. — Как вам мотивировал Штюрмер необходимость ассигнования этой суммы?

Гр. Игнатьев. — Он говорил только, что во время войны необходима контр-разведка и секретные сведения. Мы понимали это так, что вероятно деньги нужны на печать. Но не из его

мотивировки, а потому, что за несколько заседаний перед тем Хвостов говорил, что органы печати невозможны, что необходимо давление на печать и что надо на этот путь встать.

Председатель. — Когда вы докладывали государю и формулировали ваше отношение так — «мы не сумеем этого сделать и только оскандалимся», вы имели в виду подкуп и денежное влияние на выборы?

Гр. Игнатьев. — Я имел в виду влияние на политических деятелей и не думал, что на печать нужно пять миллионов. При Штюрмере, если не ошибаюсь, поднимался польский вопрос и вопрос о пособии полякам, попавшим в затруднительное положение. Тут высказывалось, что не следует им помогать совсем, и мне пришлось с особым мнением выступить. Я считал, что, может-быть, можно говорить об опасности продовольственной помощи, но поляки просили денежную помощь, чтобы усилить их способность бороться с немецким населением, и я полагал, что это опасности не представляет.

Председатель. — Скажите, вам, как члену совета министров, не было известно, что незадолго перед тем А. Н. Хвостов, под предлогом выборов, взял сумму в миллион триста тысяч?

Гр. Игнатьев. — Нет.

Председатель. — Если он это сделал, то без ведома вашего и ваших товарищей по совету?

Гр. Игнатьев. — А такой журнал есть?

Председатель. — Нет, это тоже особым способом получено.

Гр. Игнатьев. — Не помню. Мы с Хвостовым вместе были в совете по делам местного хозяйства при Столыпине. Меня, как местного деятеля, в совет вызвали, а он был представителем крайнего правого крыла, и мы с ним часто сталкивались.

Председатель. — Скажите, в связи с выборами обсуждались какие-либо вопросы в совете министров?

Гр. Игнатьев. — Нет, я не помню, чтобы при мне возникал вопрос о выборах.

Председатель. — То-есть о том, благовременно ли сейчас распускать Думу, или нет, и не нужно ли в связи с этим готовиться к выборам?

Гр. Игнатьев. — Это возникало. Когда вопрос об этом возник, я даже не в очередь сказал: «Прощайтесь с 4-й Думой, такой не получите». Это была моя определенная точка зрения.

Председатель. — Вы не могли бы припомнить, что какие-то соглашения происходили между отдельными министрами, по крайней мере, между Хвостовым с председателем совета министров?

Гр. Игнатьев. — Безусловно. Для меня было ясно, что в совет министров вносились вопросы только бесспорные. Раз образовалось совещание, могли на него приглашать кого угодно, и я никогда не оказался нужным; кажется, за все время один раз меня позвали.

*

Председатель. — Не помните ли вы, чтобы проходил через совет министров вопрос о желательности разбить Россию на 10, 12, 15 областей и во главе каждой поставить наместника?

Гр. Игнатьев. — Нет, этого я не помню. В смысле продовольствия?

Председатель. — Нет, в смысле административном. Это такой гомерический проект... С одной стороны, он покрывался принципом децентрализации, а с другой — очень странным мотивом: дать законодательную жвачку Думе, которая стремилась провести закон о волостном земстве и вообще о земской реформе. Я даже могу сказать вам дату высочайшего доклада, это — 7-е июля 1916 года.

Гр. Игнатьев. — Не помню.

Председатель. — Вы в первый раз об этом слышите? Так что проект такой крупнейшей реформы не проходил через совет министров?

Гр. Игнатьев. — Я удивляюсь, что у меня в памяти не осталось этого. Когда в Государственной Думе бюджетная комиссия обсуждала мою смету, то был возбужден вопрос об уничтожении округов.

Председатель. — Так что вы не знаете даже и того, что такой проект был выдвинут, чтобы отвлечь Думу от острых вопросов, что Штюрмер передал этот проект А. А. Хвостову, своему преемнику, и что тот испросил другое высочайшее повеление, несколько видоизменявшее высочайший ответ, данный Штюрмеру? Это все вам, как члену совета министров, осталось неизвестным?

Гр. Игнатьев. — Это мне совершенно неизвестно.

Председатель. — Если ничего особенного не случилось за летнюю сессию Думы, 16 мая — 20 июня, тогда, быть может, мы сразу перейдем к Думе 1 ноября — 16 декабря 1916 года.

Гр. Игнатьев. — Когда у меня отношения со Штюрмером обострились, я в августе опять пристал к государю, чтобы он меня освободил, что я не могу, что это сверх сил моих, что мои надорванные силы не выдержат этой борьбы: «Отпустите меня, я посидел в окопах больше других». Он говорит: «Нет, поезжайте, отдохните и приезжайте, набравшись сил». Я уехал к матушке своей в Киев, провел там некоторое время. Мне Кривошеин туда пишет: «Напрасно вы сидите, в Петрограде делаются дела». Это было начало октября. Тут был назначен Протопопов.

Председатель. — Это было 16 сентября.

Гр. Игнатьев. — Совершенно верно, а я приехал в начале октября в Петроград. Должен сказать, ехал я под впечатлением, что Протопопов взят из Думы. Я его не знал; в комиссиях, где он работал, я не бывал; так что мы с ним не были почти знакомы. Только как вице-председателя я его встречал, и он делал впечатление благоприятное. Думаю: члена Думы взяли, значит теперь все

пойдет. Приезжаю в Петроград и говорю: «Вы первая ласточка, все теперь пойдет». Вдруг он меня огорашивает: «Да, я должен был решиться. Я люблю, меня любят, и я сделаю все для них». Я приехал к нему через один — два дня после приезда, так как он завез мне карточку. Он говорит: «Будемте дружно работать». Я спрашиваю: «Как все это случилось?» Он говорит: «Я так их полюбил, я готов все для них сделать. Надо спасти Россию». Меня удивила эта формула: «Я люблю, меня любят». Думаю, что такое случилось? В то время (это было в октябре) рассматривался продовольственный вопрос в бюджетной комиссии Думы. Как раз его проект о передаче продовольствия из министерства земледелия. Тут все-таки были известные традиции, известный состав служащих, которые привыкли работать с общественными организациями, затем даже члены законодательных палат принимали участие, и мне казалось, что в такой момент передавать губернаторам все дело — просто беда. Поэтому я готов был сейчас же возражать. Назначается заседание у Штюрмера по вопросу о споре между Бобринским и Протопоповым о передаче продовольственного дела из министерства земледелия в министерство внутренних дел. В первом же заседании мне Протопопову пришлось возражать с точки зрения несвоевременности, и я сказал: «на перевозе не перепрягают, а припрягаются, извольте помогать». В такое серьезное время передавать дело я считал преступным и с точки зрения интересов дела и с точки зрения охраны порядка. Самая мысль неправильна: «вы на него возлагаете охрану порядка, а с другой стороны — просите дать продовольствие, но продовольствием он не может ведать, потому что транспорт не действует и потому что у этого органа еще меньший контакт с общественностью, чем у министерства земледелия». Тогда произошло что-то странное. В первом заседании я был в единственном числе с Бобринским против него. Отложили до следующего заседания. В следующем заседании мнения раскололись, составился журнал, которого мы так и не видали. В это время было заседание комиссии, которая высказалась против передачи, и журнал о передаче продовольственного дела из ведомства земледелия в ведомство внутренних дел где-то пропал. Совет министров его видел. Это была первая стычка с Протопоповым. Потом стало ясно, что он закусил удила. Появилась бумага за подписью Курлова, совет министров об этом не знал, я устроил скандал, сказал, что мы обманываем верховную власть, и наговорил грубостей Протопопову; думал, что он меня вызовет, но он меня не вызвал. Я ему напомнил о выступлении с кафедры против Курлова, когда Курлов был у него на квартире. Я знал Курлова по Киеву и стал его ругать, а Протопопов говорит: «Вы напрасно, он жил у меня в доме». Я говорю: «Как, а вы выступали против него в Государственной Думе?»

Председатель. — Это когда произошло?

Гр. Игнатьев. — Когда был запрос о неправомерных действиях Курлова. Я случайно был в Думе и, так как я Курлова ненавидел, то, когда Протопопов вышел на кафедру против него, я думаю: «Слава богу, накладет ему». Порвались отношения с Протопоповым сразу. Открылась сессия Думы. Собирают нас у Штюрмера, — так как у него болела нога, — и началась речь о резолюции, где говорится об измене, и т. д.

Председатель. — Это проект резолюции блока?

Гр. Игнатьев. — Да. Там есть слово «измена», еще какое-то резкое положение, которое надо доказать. Когда резолюцию прочли, она всех возмутила; меня она не возмутила, но смутило по отношению к Государственной Думе то, что выдвинуто в резолюции выражение «измена» и какие-то действия по отношению к Румынии.

Председатель. — Что если заключат договор, то надо было своевременно послать войска?

Гр. Игнатьев. — Что-то насчет иностранных сношений. Нельзя слово «измена» формулировать на всю Европу. Это — с одной стороны; с другой стороны — армия; с третьей — враги. Государственная Дума может это делать в речах, в пылу красноречия, но в резолюции, заготовленной заранее, должны быть выражения ответственные, которые могут иметь доказательства; если же доказательств нет, то таких выражений не должно быть. У меня доказательств измены не было. Правда, я был в совете министров от политики немного в стороне; но, думается мне, что формула «измена» доказана не могла быть. Могло быть предположение, но данных не было, и мне казалось, что Думе рискованно выступать, для ее авторитета. Когда была прочитана резолюция — молчание. Потом Трепов говорит Штюрмеру: «Вам надо переговорить с председателем». — «Председатель со мной не будет говорить». — «Как, председатель Государственной Думы не будет разговаривать с председателем совета министров? Какие же у вас отношения?» Я не знал, что произошло столкновение между Штюрмером и Родзянко. Поэтому он вызвать его к телефону не считал возможным. Какой же способ найти? Может быть, другой кто-либо может переговорить с Родзянко? Все отказываются. Тогда Штюрмер говорит: «Граф, может быть, вы нам поможете?» Я вспылил и говорю: «Я такому совету министров помогать не могу. Я прошу, чтобы меня отпустили, а вам помогать в таком деле, когда вы его довели до этого, я не считаю себя в праве». Потом говорю: «Хорошо, я поеду и буду говорить, но не для вас и не для совета министров, а для Думы»... Бывают выражения, уместные в речах (чему следовал Милюков), но в резолюции негодные. Я сказал: «Хорошо, я поеду, но под условием, чтобы никто из членов совета, кроме Покровского, не имел с членами Государ-

ственной Думы разговора полемического характера в смысле застращивания, указывая на возможность роспуска, потому что тогда я окажусь подлецом перед членами Думы. Они не могут знать, что члены совета со мной не солидарны». Но так это и произошло. Тот самый член Думы, который, повидимому, передал резолюцию, оказался и передаточной инстанцией для застращивания тем, что Думу распустят, лишат жалования и будет призыв на военную службу. Разговор происходил в субботу, а в воскресенье мы собрались у Штюрмера. Тогда уже признавали, что некоторые выражения недостаточно осторожны. Те формулы, которые предлагались, были сокращены под влиянием застращивания. Я это узнал от своих друзей. Члены совета не исполнили слова, ими данного. Я говорю: «Видите, какой у вас министр внутренних дел!»

Председатель. — Это в присутствии Протопопова?

Гр. Игнатьев. — В присутствии всех. После этого я ушел из заседания и решил, что больше не могу. Я просил приема, который и был мне назначен в ноябре, числа 19-го. Был долгий прием, я доложил все и сказал, что соучастником преступления быть не могу. Мне тогда формулировали: «Для родины оставайтесь на вашем месте!» Я говорю: «Я могу быть только вреден и настаиваю, чтобы меня освободили». В октябре и ноябре я не принимал участия и торопился закончить свои дела в полном убеждении, что дальше работать не буду. В это время произошла перемена Штюрмера на Трепова. Тогда у меня воскресла надежда; я к Трепову. Он меня просил не настаивать об уходе и говорил, что есть надежда, что уйдет Протопопов. Наши требования были очень скромные: не ответственное министерство, а чтобы Трепов выхлопотал право представить свой список и чтобы этот список был утвержден. Трепов сказал, что это его желание. Когда оказалось, что Протопопов утвержден, я сейчас же по телефону Трепову говорю, что ухожу. Просил государя меня принять. Меня приняли 21 декабря, кажется, как раз в день привоза Распутина сюда. Прошение у меня было уже написано, и я оставил его, при чем была длинная мотивировка относительно средостения бюрократического, о необходимости войти в соглашение с общественными элементами, что Дума дает все данные для этого и надо таким случаем воспользоваться, что только тогда можно спасти страну, что, конечно, есть другой способ — диктатура, но чтобы осуществить диктатуру, нужно иметь опору; опорой может быть только армия, но армии нет — есть вооруженный народ.

Председатель. — У вас не сохранились копии или черновик вашего прошения?

Гр. Игнатьев. — Черновик есть.

Ольденбург. — Оригинал у государя остался?

Гр. Игнатьев. — Государь сказал, что он оставит прошение у себя.

Председатель. — Вы дадите нам ваш черновик?

Гр. Игнатьев. — Скажите, а это не для опубликования? Тогда я вам его дам (дает прошение). Я бы не хотел, чтобы оно было опубликовано. В декабре месяце я изложил свое credo на политику и, должен сказать, меня поразило, что вопрос о средостении бюрократии и о необходимости контакта со страной встречал полное сочувствие и понимание: «Так для чего же я Думу дал? — Для уничтожения средостения бюрократии и для контакта». Я говорю: «Совершенно верно, но Дума не использована в полном объеме. Она рвется спасти Россию, а вам докладывают, что она является источником гибели России». Это был широкий и взволнованный доклад.

Председатель. — Это когда было?

Гр. Игнатьев. — 21 декабря, а 27-го, без причисления куда-либо, без назначения, без рескрипта, я был уволен. Повидимому, старика Фредерикса это взволновало. Он меня вызвал 31 декабря и говорит: «Как, ничего нет?» Я говорю: «Ничего, и я очень рад». Он говорит: «Я не могу этого допустить, не для вас, а для них». И тогда я был дополнительным указом возведен в звание шталмейстера. Я думаю, это по докладу Фредерикса; значит, какие-то силы были против, а Фредерикс — за. Я на учете не состою, но по возрасту мог бы быть призван (мне 47 лет), и я счел своим долгом явиться, как прапорщик запаса. Шуваев был против этого. Не знаю, сделал ли это Шуваев или Фредерикс, может быть, и Шуваев, так как звание шталмейстера освобождает от воинской повинности. После этого я был у государя. Со всеми этими господами я не прощался, был только у Шаховского.

Председатель. — Что же, во время последней беседы, ваш собеседник обнаружил некоторое опасение за себя, за сына, за династию, может быть, даже за Россию, которая в его представлении, вероятно, была связана с династией?

Гр. Игнатьев. — Я думаю, что он отдавал себе отчет. Когда прощался, он сказал: «Спасибо вам за правду, как вы ее понимаете». «Как вы ее понимаете» было сказано не сразу, а на меня посмотрели и сказали: «как вы ее понимаете». Как будто было колебание.

Председатель. — Вы не вели никаких записок?

Гр. Игнатьев. — Нет.

Председатель. — Вам ясно было во время доклада, 9-го января, что дело идет под гору?

Гр. Игнатьев. — Для меня было настолько ясно, что я еще на ноябрьском докладе в ставке прямо говорил: «на кого же вы опираетесь?», а в декабре я определенно говорил: «может быть другой выход — диктатура, но как же диктатура, когда у нас нет армии?».

Председатель. — Павел Николаевич, вы где переживали февральские события?

Гр. Игнатьев.—В Петрограде. Я болен с первых чисел февраля.

Председатель. — Было оказано какое-нибудь беспокойство вам непосредственно?

Гр. Игнатьев. — Я должен сказать, что кроме самой глубокой признательности к молодежи и солдатам, я ничего не имею. Доложу следующее явление, глубоко меня тронувшее. Был обход солдат, мастеровых ремонтной автомобильной части. Можете представить, что это за состав: это уже не строевые, а люди полурабочего уклада. Между ними один, уволенный из какой-то ремесленной школы Костромской губернии за время моего министерства. Входят в подъезд (я живу в особнячке на Фурштадтской, 52). Прислуга испугалась. Спрашивают: «Кто здесь живет?» — «Игнатьев». — «Какой?» — «Граф Игнатьев, бывший министр народного просвещения». — «Товарищи, идем!» Один говорит: «Нельзя ли на него посмотреть?» — «Он болен». — «Может быть, он нас примет?» Я, правда, был болен, одетый лежал на кушетке. Поднимается ко мне человек, весь трясется и говорит: «Лучше не впускайте». Я говорю: «Пожалуйста, позовите». Входят пять человек наверх, я привстаю и говорю: «Здравствуйте, что такое?» — «Хотели на вас посмотреть». — «Почему?» — «Разве мы вас не знаем, разве мы такие темные?» Один говорит: «Я уволен в ваше время очень правильно и рад видеть Павла Николаевича». — «Почему вы знаете, что я Павел Николаевич?» Он говорит: «Я ученик 4-го класса, был уволен в 1915 году». Это раз. Другой раз был еще больше тронут. У меня был автомобиль, и несколько раз приходили за ним. Раз компания, немного подвыпившая, хотела взять автомобиль. Молодой парень, который мне прислуживал, заметил отношение учащихся и, видя, что какой-то студент идет по улице, выбежал и говорит: «Здесь живет граф Игнатьев, объясните им, кто тут живет». Студент забежал во двор, там было человек 15, и говорит: «Товарищи, здесь нам не место, он нам будет нужен!» И вся толпа ушла. В следующий раз не было студента, пришли и автомобиль взяли, но обещали вернуть, и, действительно, автомобиль был вечером возвращен, при чем на нем ездили в Ораниенбаум. Менее милостивы оказались большевики: они забрали автомобиль и не вернули.

Председатель. — Так что, значит, случайные толпы народа, когда узнавали ваше имя, они его чтили?

Гр. Игнатьев. — Безусловно. У меня есть крестники из деревни. Однажды подходит группа, и один из этих крестников, мальчик, говорит: «Это — Игнатьев». Так что избаловали меня.

Председатель. — Скажите, Павел Николаевич, какое у вас, в вашей группе было отношение к пользованию 87 статьей, т.-е. законодательствованию без Думы?

Гр. Игнатьев. — Наша группа не любила 87 статью. Мы всегда высказывались против и только в крайних случаях прибегали к ней, только тогда, когда трудно было иначе поступить. Техника законодательства настолько была затяжная, что мы иногда шли на 87 статью по совершенно бесспорным вопросам. Но когда случались спорные вопросы, мы говорили, что этого не следует делать. Хвостов, министр юстиции, всегда высказывался против.

Председатель. — Не помните ли вы, что в начале кабинета Трепова было признаком, так сказать, хорошего политического тона сказать: «Господа, мы будем воздерживаться от пользования 87 статьей»?

Гр. Игнатьев. — Безусловно.

Приложение.

Всеподданнейший доклад министра народного просвещения.

Ваше Императорское Величество, государь всемилостивейший. Девятнадцатого ноября в ставке Вашего Императорского Величества я счел своим долгом, налагаемым на меня совестью и присягой, докладывать о тех опасениях, которые возникли у меня в связи с действиями некоторых лиц и ходом политической жизни страны. Я умоляю Ваше Императорское Величество не принуждать меня быть соучастником тех лиц, действия коих по совести я считал гибельным для престола и Родины.

В твердом убеждении, что полезна Вашему Императорскому Величеству и Родине лишь правительственная власть, объединенная единством мысли государственной, пониманием основных целей управления и путей к их достижению, считаю верноподданническим долгом своим покорнейше просить Ваше Императорское Величество снять с меня непосильное бремя служения против велений совести.

Верьте, государь, что умолять об этой милости заставляет меня унаследованная от предков веками испытанная верность исконным началам, на которых создалась и крепла мощь державы российской в единении царя с народом.

И вдали от непосредственного участия в делах управления, по заветам и примеру отца, я останусь тем же верным слугой Вашего Величества, престола и родины!

Вашего Императорского Величества верноподданнейший слуга в должности шталмейстера граф Павел Игнатьев.

LXIV.

ДОПРОС гр. С. И. ВЕЛЕПОЛЬСКОГО.

14 июля 1917 года.

Содержание: Воззвание к полякам верховного главнокомандующего. Записка о Польше Велепольского. Декларация правительства 18 июля 1915 г. о Польше. Задержка с реализацией обещаний, данных Польше. Управление Галицией. Отношение бывш. государя к польскому вопросу. Деятельность польского «Коло» после занятия Варшавы. Записка правительства по польскому вопросу. Совещание по делам Польши, учрежденное 6 июня 1915 г. Посещение ставки Велепольским в июле 1916 года. Эпизод с посылкой телеграммы Велепольского за границу. Прием Велепольского бывш. государем 23 декабря 1916 года. Отношение к польскому вопросу бывш. министра иностранных дел Сазонова. Отношение совета министров к польскому вопросу. Особое совещание по польскому вопросу в феврале 1917 года. Объяснения Штюрмера по поводу записки Велепольского.

Председатель. — Граф Сигизмунд Иосифович, вы перед лицом Чрезвычайной Следственной Комиссии, учрежденной актом Временного Правительства. Нам интересно знать все то, что вам известно о политике министров последних лет в отношении Польши. Мы выясняем неправильные действия властей старого порядка не только с точки зрения уголовной, но и с точки зрения государственной. Народное правительство заинтересовано в том, чтобы знать правду отношений власти последних лет старого режима к Польше, и так как нам известна ваша деятельность и ваша борьба за интересы Польши, мы позволили себе пригласить вас в наше заседание. Быть может, исходной точкой вашего рассказа удобнее взять начало войны и известный как вам, так и нам, акт верховного главнокомандующего в отношении Польши. Нам бы хотелось знать о тех шагах, которые предпринимали вы, стоя на точке зрения интересов Польши, о тех препятствиях, которые встречали вы со стороны лиц, бывших у власти, о той борьбе, которая велась в рядах правительства около польского вопроса, и все течение польского вопроса с этого момента, с известного события, по конец февраля 1917 года. Вот рамки ваших объяснений, вот та цель, для которой мы позволили себе вас беспокоить.

В интересах истины, просим вас изложить все, что вы можете сказать нам по этому поводу.

Гр. Велепольский. — Я могу вам дать совсем точный ответ, так как с самого начала я делал известные заметки, и они у меня почти все находятся налицо.

Председатель. — Вы можете пользоваться этими заметками.

Гр. Велепольский. — Я был предупрежден А. Р. Ледницким, который мне сказал, что объяснения будут касаться последнего времени, когда председателем совета министров был Штюрмер. Что же касается прежнего времени, то я могу дать некоторое более широкое объяснение, не такое точное. А если бы потребовалось более точное объяснение, то я могу дать в другой раз.

Председатель. — Граф, может быть, сделаем так. Вы были одним из главных деятелей; события протекали перед вашими глазами. Нет никакого сомнения, что и до министерства Штюрмера вы достаточно знаете.

Гр. Велепольский. — Да, да.

Председатель. — Будьте добры изложить их в интересах цельности вашего рассказа. Но если вы что-нибудь вспомните после — либо мы заметим, то это не помешает вам восстановить, или в форме отдельного заявления, о чем мы вас очень просим, на имя Следственной Комиссии, или же в форме дополнения из устных объяснений, все пропущенное.

Гр. Велепольский. — С самого начала войны, когда я только что сюда прибыл, я имел сношение с тогдашним председателем совета министров Горемыкиным. Я говорил с ним до издания акта верховного главнокомандующего. Дня за три, за четыре я был по телефону вызван тогдашним министром иностранных дел Сазоновым, показавшим мне акт, о котором еще никто официально не знал, который еще не был опубликован, и просившим меня перевести его на польский язык. Я, конечно, этот акт перевел.

Председатель. — Значит, так понимали оба собеседника. И вы и ваш собеседник?

Гр. Велепольский. — Хотя мы об этом не разговаривали, но я видел из самого прохождения дела, что это так.

Председатель. — А до того вы или другие представители Польши не предпринимали никаких шагов?

Гр. Велепольский. — Напротив, мы предпринимали шаги. Я беседовал с председателем совета министров Горемыкиным, которому именно указывал на необходимость издания акта. Это было, кажется, на день раньше. И председатель совета министров, я помню, вызывал меня еще тогда. Это было на Островах. Вызывал меня до заседания совета министров. Так что я приехал и с ним беседовал, и настаивал, чтобы русское правительство издало акт по отношению к Польше.

Председатель.—А потом приглашал министр иностранных дел?

Гр. Велепольский. — Да. Была ли какая связь, я, конечно, не знаю, могу только факты указать. После этого я оставался здесь, в Петрограде. Я ездил в Варшаву на некоторое время лишь в первый год войны, до занятия ее немцами. Я только раза два или три ездил в Варшаву, а больше пребывал здесь. Конечно, я имел сношения тогда с Горемыкиным и со Штюрмером. В продолжение этого времени я несколько раз обращал внимание председателя совета министров Горемыкина на то, что делается у нас в Польше, и не всегда на то, что все акты, циркуляры, которые там являлись, были бы совсем в духе воззвания верховного главнокомандующего. Да, я должен сказать, председатель совета министров шел навстречу моим тогдашним указаниям, и некоторые циркуляры были отменены, как, например, циркуляр министерства народного просвещения (я не помню, это было, кажется, в Варшаве, 1-го ноября 1914 года), который касался того, что преподавание известных предметов не может быть возложено на учителей польского происхождения.

Председатель. — Позвольте несколько остановить ваше внимание на этом. Какие же вы помните акты правительственных лиц, расходившиеся с воззванием верховного главнокомандующего?

Гр. Велепольский. — Акты, которые исходили, я так вспомнить не могу. Но был именно тот акт министерства народного просвещения, о котором я говорил. Кроме того, был ряд фактов, касающихся религии римско-католического исповедания, стеснения в известном отношении. И об этом я записку отдал своевременно председателю совета министров. Но то было уже в 1915 году, вскоре после занятия немцами Варшавы. Эта записка была мною отдана в трех экземплярах. Один экземпляр я отдал варшавскому генерал-губернатору князю Енгалычеву, так как касался тоже министерства народного просвещения, один — председателю совета министров, один—графу Игнатьеву, кажется, и один—Маклакову, министру внутренних дел. Записка касалась деятельности на местах. Так как я мало пребывал в Варшаве, то мне очень трудно говорить о действиях местных властей. Моя роль больше сводилась к тому, чтобы иметь в виду действительное исполнение того, что было обещано верховным главнокомандующим, и мало-по-малу итти к этой цели. Конечно, я не знал, как события на поле брани будут развиваться, какое будет будущее, и считал, что Царство Польское будет по эту сторону, что мало-по-малу произойдут те перемены, те преобразования, которые нам необходимо нужны.

Председатель. — Граф, стесняли ли некоторыми распоряжениями и язык польский?

Гр. Велепольский. — Нет стеснений языка польского я не помню.

Председатель. — Так что вы помните мероприятия лишь в области школы и религии?

Гр. Велепольский. — В области школы и религии.

Председатель. — Вы не изволили обратить внимание председателя совета министров, что таким образом по отношению к Польше создается разноголосица и большая неопределенность действий правительства?

Гр. Велепольский. — Конечно, это была цель и заключение всех моих шагов, которые я тогда делал, которые вообще, может быть, нашли более определенный вид в записке, мною представленной, кажется, в мае или июне 1915 года, в двух или трех экземплярах. Одну записку я представил, я помню, на имя председателя совета министров, другую — князю Енгалычеву и третью — великому князю Николаю Николаевичу.

Председатель. — Граф, будьте любезны посмотреть, не идет ли дело об этой записке?

Гр. Велепольский. — Это письмо. Нет, то другая записка.

Иванов. — Потом, следующую переверните, граф!

Гр. Велепольский. — Вот эта записка.

Председатель. — Та, которую вы видите?

Гр. Велепольский. — Да.

Председатель. — Она датирована, кажется, апрелем?

Гр. Велепольский. — 27 апреля, я был в мае по новому стилю.

Председатель. — Нового стиля, слушаюсь. Значит, та самая записка?

Гр. Велепольский. — Та самая.

Председатель. — Господин секретарь, запишите, что графу был предъявлен, из дел канцелярии совета министров, о будущем устройстве Польского края и по его текущим делам, документ, который назывался: «Записка члена государственного совета графа Велепольского», графом подписанная 27-го апреля 1915 года, в Варшаве.

Гр. Велепольский. — Записка была мною составлена в Варшаве. После я приехал в Петроград, и последствием ее было назначение русско-польского совещания. До этого я представил еще дополнительную записку. Был протокол этого русско-польского совещания, и все наши мнения были высказаны. А я представил записку, касающуюся религиозных стеснений. Это я помню.

Председатель. — Граф, со стороны каких министров встречалось противодействие общему акту относительно Польши, изданному главнокомандующим великим князем Николаем Николаевичем?

Гр. Велепольский. — Это вопрос, на который очень трудно мне ответить. Противодействие было, но в разговорах так ясно не определялось. Можно было думать, что тот или другой противодействуют.

Председатель. — Повидимому, это был министр внутренних дел Маклаков и, затем, министр народного просвещения Кассо?

Гр. Велепольский. — Я честь имею припомнить вам, что, по моему мнению, Кассо был в то время в отставке, так что заведывал министерством народного просвещения Таубе, если я не ошибаюсь.

Председатель. — Пожалуйста, продолжайте.

Гр. Велепольский.—Потом, конечно, все эти дела должны находиться теперь в протоколах, в наших заявлениях этого совещания. Но я припоминаю еще одно. Когда Варшава должна была быть занята, 18 июля, кажется, предстояло открытие сессии государственного совета, и относительно декларации, которую от имени правительства сделал 18 июля Горемыкин, я с ним довольно долго беседовал. И не только я, но мы ездили к нему, представители законодательных палат; насколько я помню, со мной ездили член Государственной Думы Гарусевич и член государственного совета Шебеко. Мы ездили к Горемыкину, и были разговоры. В конце концов, 18 июля, явилась декларация правительства, которая до известной степени нас удовлетворяла. Я, во всяком случае, был удовлетворен. К сожалению, было слишком поздно сделано, — было официально высказано слово «автономия»; если не ошибаюсь, в тот момент это было сделано. После 18 июля мы, конечно, имели долгие разговоры с Горемыкиным еще, но фаза, в которую польская история вошла, была немножко другая, так как немцы заняли наш край; трудно было уже что-нибудь конкретное совершить, и наши намерения, наши давления, если можно так сказать, на правительство сводились к тому, чтобы оно издало какой-то широкий акт, в котором ясно было бы указано, что правительство твердо стоит на точке объединения и на таком устройстве польских земель, которое возможно широко отвечало бы тем требованиям, тем нуждам, которые мы находим необходимым удовлетворить.

Председатель. — Позвольте мне поставить вам вопрос, граф. В самом начале войны раздались торжественные слова о свободе Польши, возвещенные великим князем. Очевидно, стремления польских деятелей были направлены к тому, чтобы эти слова, имеющие характер торжественного обещания, отлить в какие-нибудь прочные государственные акты, неправда ли?

Гр. Велепольский. — Да.

Председатель. — Мне хотелось бы знать конкретно главнейшие этапы вашей борьбы в первый год войны до занятия Варшавы, когда, почти накануне этого события, с кафедры Государственной Думы мы услышали слова Горемыкина об автономии Польши. Какими аргументами останавливали реализацию данных обещаний?

Гр. Велепольский. — Единственный аргумент, который нам пришлось слышать, что это несвоевременно, что это, может быть,

слишком рано сделать. Вот. Конечно, против этого аргумента никто не мог бороться. Никто из представителей правительства и министров не мог бороться против мысли, которая была высказана в акте, но существовало отрицательное отношение к нему, что не во время таких великих событий возможен акт. И против этого мы боролись. Нам казалось, что с назначением кн. Енгалычева могут быть перемены в отношениях. Мы первый год не настаивали на немедленной перемене, понимая всю трудность, в которой находилось и правительство, и вся Россия. Но только со временем, когда мне лично показалось, после того, что я здесь видел и после кое-каких сообщений из края, что так дальше итти нельзя, что вся политика России, направленная не к немедленному удовлетворению тех нужд и желаний, которые я находил после уже воззвания верховного главнокомандующего необходимым удовлетворить, что действия в направлении более или менее отрицательном роняют доверие к России и народа, я счел необходимым написать ту записку, апреля—мая 1915 года, чтобы дать толчок к конкретному исполнению обещаний. Должен обратить ваше внимание, что записка составлена (потом события пошли очень скоро) именно в то время, когда были самые крупные успехи русской армии. После русские войска отошли из Галиции. Мы думали, что успехи примут твердую почву, что не будет неудач, которые потом были. Я считал нужным представить требования польского народа в виду того, что Галиция занята русскими войсками, что даже в известную минуту, так сообщал мне письмом Янушкевич, существовала опасность для Кракова быть занятым.

Председатель. — Значит, вам отвечали: сперва война, а потом свобода? Вам говорили — «несвоевременно»?

Гр. Велепольский. — Несвоевременно.

Председатель. — Ваши аргументы понятны. Но какими аргументами вам возражали? Пытались вы вскрыть содержание слова «несвоевременно»?

Гр. Велепольский. — На это очень легко ответить. В такой момент, что в то время, когда войска находятся в крае, когда военная власть—первая власть, нельзя практически ввести многое, потому что управление краем не находится вполне в руках данных министерств или данной гражданской власти.

Председатель. — Но вы не пытались стать на ту точку зрения, что необходимо издать законы и тем реализовать обещания?

Гр. Велепольский. — Конечно, законы издавать очень трудно, потому что для законов должны быть приглашены законодательные палаты, но мы стояли за то, что все циркуляры, которые были, по нашему мнению, циркулярами данного министерства, нужно отменить. И в моей записке (она находится в бумагах совещания), на целом ряде фактов, я указывал главную линию, по которой должна итти законодательная работа. А в другой части (или

есть другая записка) говорилось о всех мерах, которые, по моему мнению, могли быть приняты раньше, но которые необходимо принять сейчас же, постепенно, уже во время войны. Некоторые из них мы требовали отдельно, но изложение всего этого находится в записке.

Председатель. — Граф, вы должны были возражать против некоторых мероприятий в области школы и религии, шедших вразрез с обещаниями манифеста или воззванием верховного главнокомандующего. Но были вы удовлетворены временным управлением Галицией и, если нет, то, что вам казалось там идущим вразрез с польскими, а быть может, также и с русскими интересами, потому что, вероятно, некоторое совпадение интересов было?

Гр. Велепольский. — Конечно, все то, что делалось в Галиции, не могло найти одобрения у нас. Но так как мы представляли Царство Польское, то, хотя и разговаривали, но официально этим вопросом не занимались и не представляли официально.

Председатель. — Но вы, однако, говорили?

Гр. Велепольский. — Обращали внимание, что оно невозможно.

Председатель. — Что вам, в основных чертах, казалось недопустимым?

Гр. Велепольский. — Вот именно деятельность тех людей, которые самыми резкими оказались врагами поляков в Думе и участие их в управлении краем. Это у нас должно было возбудить тревогу. Можно было сказать, что там не будут считаться с нуждами местного элемента. Вообще, мы не могли согласиться на ту политику, которую правительство там вело. Потом, мы знали, что чиновники, посланные туда, тоже не отвечают своему назначению; но это всякий понимает; я думаю, многие русские отлично понимали. Но конкретными фактами мы не занимались.

Председатель. — За этот период времени вам приходилось обращаться к носителю верховной власти с просьбой о Польше?

Гр. Велепольский. — То-есть к государю императору?

Председатель. — Да.

Гр. Велепольский. — Приблизительно месяц спустя после воззвания верховного главнокомандующего, я был принят государем императором в Царском Селе и говорил довольно долго с ним об этом вопросе и нашел полное сочувствие тем взглядам, которые я высказывал.

Председатель. — А ваши взгляды были какие?

Гр. Велепольский. — Надо сделать решительный шаг, невозможно оставаться в таком положении после воззвания верховного главнокомандующего. Разговор был довольно длинный, и государь, по моему мнению, отнесся очень благожелательно к польскому вопросу. Я государя императора потом еще видел несколько раз.

Председатель. — До взятия Варшавы?

Гр. Велепольский. — Нет, кажется, до взятия Варшавы не видел.

Председатель. — Так что единственный раз. В последующем мы перейдем к дальнейшим событиям. Позвольте просить продолжать ваш рассказ.

Гр. Велепольский. — Потом настало время, когда, конечно, работа наша только могла относиться к провозглашению более широкого акта в отношении Польши, так как мы считали, что с момента занятия Варшавы немцы примут также меры, которые они впоследствии приняли и старались принять, которые до известной степени могут переменить направление, существовавшее, когда мы выезжали из края, направление в духе народонаселения центральных держав. Мы считали большой политической ошибкой, если бы Россия это допустила, ибо, по нашему мнению, всякое уклонение от той линии, которую большинство Царства Польского приняло с данного времени, нас отстраняло от лозунга, провозглашенного Россией, то-есть соединение польских земель. И мы настаивали перед правительством, чтобы оно точно и ясно это высказало. В это время была работа, может быть, менее личная, с отдельными министрами или министерствами, а была она уже в наших речах и наших заявлениях в Государственной Думе и государственном совете. Там наша мысль за это время совершенно точно высказана. И так прошло, может быть, до момента, когда председатель совета министров Горемыкин (это было в начале 1916 года) вышел в отставку, и его место занял Штюрмер.

Председатель. — Простите, граф. Господин сенатор просит меня задать вам вопрос. В вашей записке от 27-го апреля 1915 года вы говорите о широком законодательном и административном самоуправлении Польши в вероисповедной, судебной, просветительно-культурной и экономической областях и во внутреннем управлении. Что вы здесь понимали под словами «самоуправление Польши»?

Гр. Велепольский. — Я на это могу ответить. Я забыл один факт. Нам известно было в Варшаве, что существовала записка правительства, кажется, потом напечатанная в газетах. В ней мы видели известную опасность, если бы программа, которая там находилась, получила известное оформление. И поэтому явилась наша записка, потому что до некоторой степени она парализует написанное в той. Я не помню этой записки; но помню факт ее существования. Я знаю существо этой записки; кем она была разработана, я тоже не помню.

Иванов. — Вы изволили сказать, что бывший государь император, когда вы с ним беседовали, изъявлял полное согласие с вашими мыслями. Вы излагали, конечно, взгляды в вышеуказанном смысле. Он соглашался или не соглашался?

Гр. Велепольский. — С государем императором я тогда говорил не так конкретно. А конкретнее я говорил в последний раз, и об этом доложу современем.

Председатель. — Вы изволили довести ваш рассказ до Штюрмера.

Гр. Велепольский. — Относительно Штюрмера, позвольте потом. Здесь я могу сказать следующее. 3-го февраля 1916 года, думаю, что число почти верное, может быть, на день или на два могу ошибиться, я был после назначения председателем совета министров Штюрмера с моим коллегой, членом Государственной Думы Гарусевичем, у него и сделал представление о необходимости издать широкий акт в отношении Польши, и что он, как председатель совета министров, в своей программной речи в Государственной Думе должен в этом отношении иметь известный план, что мы желали бы знать то, что он скажет, ибо от этого будут зависеть также наши ответы в законодательных палатах. На это, я помню хорошо, председатель совета министров Штюрмер сказал: «А что бы вы хотели, чтобы я сказал?» И 4-го февраля 1916 года, на другой день, я с Гарусевичем явился к Штюрмеру, и ему текст желаемого мы представили. Но Штюрмер не согласился с нами. И 7-го февраля показал текст того заявления, которое он сделал в Думе и государственном совете и которое, по нашему мнению, было более узко, чем заявление Горемыкина 18-го июля 1915 года. Так что мы ему сказали, что это нас удовлетворить не может, что мы будем отвечать. Кажется, в Государственной Думе отвечал Гарусевич, а в государственном совете — Шебеко, я не помню деталей. Если 18 июля мы могли сказать — будем, конечно, поддерживать правительство, то в ответ Штюрмеру этого уже не было. Но текст того, что он говорил, конечно, известен. Это, может быть, личный взгляд. Но я нахожу, что сказано было узко.

Председатель. — Разрешите мне задать вам вопрос. Как держал себя с вами Штюрмер в первый раз?

Гр. Велепольский. — В первый раз, когда я пришел, он производил впечатление человека, который составил определенный взгляд на Польшу.

Председатель. — Он высказывал какие мысли?

Гр. Велепольский. — Нет, по моему мнению, Штюрмер очень мало знаком с польским вопросом. Это было видно из того, что даже исторических фактов последних лет он не знал. По-моему, он польского вопроса совсем не знал.

Председатель. — Совсем не знал, но пытался говорить с вами по польскому вопросу?

Гр. Велепольский. — Да, пытался. Я должен сказать, насколько я помню, это было 9-го февраля 1916 года, когда государь император приехал в Государственную Думу и государственный совет. Приблизительно тогда было. Я, еще до приезда государя импера-

тора в Думу, встретился со Штюрмером, в надежде, что, может быть, он переменит свое решение. Но он мне тогда сказал: «Ну, что сказано — сказано. Я ничего не переменю».

Председатель. — Значит, это первый ваш разговор со Штюрмером о Польше? Вы ему говорите о том, чего добивались все время, и что вам отвечает председатель совета министров?

Гр. Велепольский. — Он всегда очень лестно о поляках говорил, но по существу вопроса как-то очень уклонялся в сторону.

Председатель. — Поверхностно?

Гр. Велепольский. — Очень поверхностно по существу вопроса, и только потом, впоследствии я имел уже более...

Председатель. — Потом к этому вы и перейдете. Теперь, когда вы пришли на другой день или через день, кажется, вы сказали 4-го, и он прочел набросок своей речи для произнесения в Государственной Думе, а вы заявили, что она вас не удовлетворяет, то что же он сказал. «Вот, нужно помочь России. Вот поляки, которые держат себя совершенно лойяльно, они, выслушав заявление, говорят: «Господин председатель, это нас совсем не удовлетворяет». Что же он?

Гр. Велепольский. — Заявил совершенно определенно, что иначе не скажет.

Председатель. — Ссылался на верховную власть, которая ему мешает?

Гр. Велепольский. — Ни на что не ссылался. Сказал, что, по его мнению, совершенно достаточно.

Председатель. — Так что это сухой прием был?

Гр. Велепольский. — Нет, может быть, и любезный, по существу дела сухой ответ был.

Председатель. — Это совсем другое дело. Пожалуйста, продолжайте ваш рассказ.

Гр. Велепольский. — Потом я уезжал за границу. Я был в Париже, Лондоне, Риме, вместе с русской делегацией, которая ездила за границу. Так что я, кажется, вернулся только в конце июня 1916 года, и здесь был факт, единственный, может быть, характерный факт. Я 27 июня 1916 года, по возвращении из-за границы, поехал в ставку. Кажется, 27 июня 1916 года я был в ставке, и там встретился со Штюрмером, и здесь была в первый раз, так сказать, прямая борьба с председателем совета министров, то-есть та ответная записка на записку от 26 апреля, которую я завез тогда в ставку. 26 апреля 1916 года, как вам известно, на фронте записка была разослана даже в некоторые войсковые части, и в ней указывалось на какую-то нелойяльность поляков к России. И на ту записку мы дали свою, под заглавием: «Ответная записка на записку от 26-го апреля». Эта записка была подписана, если я помню, всеми поляками — членами законодательных палат. Я сам послал от себя и завез министрам, и в пер-

вый раз встретился со Штюрмером, который сказал мне: «Вы очень хорошо сделали, что эту записку послали».

Председатель. — Да, граф, позвольте вас спросить: та записка по государственному вопросу, — а польский вопрос являлся государственным, — которая была разослана, и даже на фронт, записка, которая содержала в себе серьезное, в особенности в тот момент, обвинение против части представителей польского народа, — вам известно, что она была составлена в департаменте полиции?

Гр. Велепольский. — Где она была составлена, я не могу знать. Она существовала и, конечно, мы могли только думать, что она была в духе нашего министерства внутренних дел, потому что, по-нашему, не могла быть составлена иначе. И тогда я счел долгом своим взять нашу записку во многих экземплярах. Я взял ее в одном экземпляре, но после разговора с Алексеевым, начальником штаба верховного главнокомандующего, взял, кажется, в 40 экземплярах, и послал Алексееву, который обещал разослать нашу записку в те части, в которых находилась та записка. По этому поводу А. Р. Ледницкий тоже составил записку. Мы отдельно писали, но там был личный вопрос, относительно Москвы; по существу же они одинаковые.

Председатель. — Вы изволите говорить о двух записках. Одна исходила от Польского Коло, а другая — от Ледницкого?

Гр. Велепольский. — Да. Но записка А. Р., которую я вполне разделяю, была нам известна. И вот, 27 июня 1916 года, после моего путешествия за границу, я разговорился с государем императором. Я ему указал на необходимость акта. После моего путешествия, после того, что я слышал и видел со стороны России, я еще раз обратил его внимание, и государь император мне сказал, что будет в скором времени акт относительно Польши.

Иванов. — Это которого числа?

Гр. Велепольский. — Это было тогда, когда я был в ставке, 27-го июня 1916 года, кажется.

Председатель. — Граф, но вам были известны ваши враги в составе правительства? Вот записка, как нам известно, составленная в департаменте полиции, и вот разговор с категорическим обещанием бывшего императора удовлетворить ваши желания, после которых ничего, однако, не последовало. Все это было в министерство Маклакова. Вы знали, что Маклаков—противник Польши?

Гр. Велепольский. — В то время Маклакова не было, тогда был министром внутренних дел Штюрмер.

Председатель. — Да, вы совершенно правы.

Гр. Велепольский. — И только после 27-го июня 1916 года, спустя несколько дней, он стал во главе министерства иностранных дел.

Председатель. — Ах, вот как! Граф, есть документ, который называется «Граф С. И. Велепольский. Анкета по польскому вопросу». Что это за документ? Вот, он имеется у меня в копии.

Гр. Велепольский (просматривает бумагу). — Я не помню. Это было какое-то интервью после моего возвращения. Но я не помню, где я это представлял, и как это было сделано.

Председатель. — Не помните?

Гр. Велепольский. — Видите, может быть (было такое тяжелое время для меня), это вышло из памяти, потому что, когда мой сын был убит на фронте, некоторые факты того времени я не так хорошо помню. Помню, что-то такое существовало, но где и как, я не помню.

Председатель. — Граф, чтобы нам покончить с предшествующим периодом, в нескольких словах расскажите о совещании, которое было учреждено 6-го июня 1915 года с равным числом поляков и русских для предварительного обсуждения вопроса о порядке осуществления манифеста.

Гр. Велепольский. — Одним словом, могу сказать, что с первого дня заседание показалось безнадежным, чтобы дойти до какого-нибудь соглашения. Я нахожу, что единственное значение, которое я за ним до сих пор признаю, историческое значение, было то, что в тех обстоятельствах, в каких мы тогда жили, оно послужило органом, где мы могли наши соображения ясно высказать, а то иначе было трудно. Записка всегда относится к одному лицу, она может остаться под зеленым сукном и света не увидеть, она во власти того, кому она представляется. Но чтобы какая-нибудь польза конкретная, или дойти думали до какого-нибудь соглашения, было ясно из самого состава совещания, что невозможно.

Председатель. — Почему? Там были лица, мало имевшие отношения к польскому вопросу?

Гр. Велепольский. — Нет, я не могу сказать. Представители Думы и совета слишком сильно были настроены в другом направлении, так что трудно. Вода с огнем не соединится никогда.

Иванов. — Скажите, граф, вы были не солидарны с другими?

Гр. Велепольский. — Польские члены были все солидарны между собою.

Иванов. — Все были солидарны?

Гр. Велепольский. — Я позволю обратить внимание, что в конце самого заседания все польские члены совещания представили свою отдельную записку, свой взгляд на строй Царства Польского.

Председатель. — Так что из этого совещания ровно ничего не вышло?

Гр. Велепольский. — Ничего конкретного не вышло.

Председатель. — Как в совещании по вопросу об учреждении этой комиссии, так и в самой комиссии?

Гр. Велепольский. — По существу ничего.

Председатель. — Тем не менее эта комиссия напечатала какой-то труд?

Гр. Велепольский. — Да, она напечатала и кончила тем, что, в действительности, во мнениях совсем разошлась. Насколько я знаю, есть протоколы заседаний, а с другой стороны, есть две записки: одна — русских членов, а другая — польских, которые совершенно обособились в своих мнениях, так что ни к какому заключению притти не могли.

Иванов. — Совещание происходило под председательством Крыжановского?

Гр. Велепольский. — Под председательством Горемыкина, а его помощником был Крыжановский. Горемыкин, кажется, присутствовал на одном или двух совещаниях.

Председатель. — Таким образом, вы довели ваш рассказ до июня 1916 года.

Гр. Велепольский. — Вот, 19-го августа 1916 года я был у Штюрмера в государственном совете, то-есть там мы назначили, чтобы встретиться. И я настаивал, основываясь на словах, высказанных государем императором, на скорейшем обнародовании акта относительно Польши, говоря, что момент очень уж настойчиво этого требует.

Председатель. — Простите, граф, нужно остановиться еще на одном моменте, прежде чем переходить к истории о том, что было в августе. К июлю месяцу относится, с одной стороны, заседание совета министров, посвященное польскому вопросу, с последующим докладом, который был в сентябре. И к июлю же относится ваше посещение как государя, так и бывшей императрицы.

Гр. Велепольский. — Здесь есть маленькое недоразумение. Это не касается меня, а моего брата. В июле, через неделю после меня, в ставку ездил мой брат, и был принят императрицею. Это брат Владислав.

Председатель. — Он имел беседу тоже по делам Польши?

Гр. Велепольский. — Да. Сообщить то, что он говорил, ему трудно, так как в настоящее время он больной, разбит параличем, и с ним трудно говорить.

Председатель. — Он где находится?

Гр. Велепольский. — Он здесь, на квартире у меня.

Председатель. — Вы, может быть, будете добры передать нам суть этой беседы, так как вы, наверное, интересуясь делами Польши и будучи в хороших отношениях с братом, знали ее содержание?

Гр. Велепольский. — Да.

Председатель. — Он представлялся государыне сперва?

Гр. Велепольский. — Нет, он сперва был в ставке. Это я наверное знаю. Даже наверное знаю число: это было, кажется, 11 или

15 июля. Он представлялся государю императору и, кажется, представил там записку на французском языке. Насколько я помню, должна быть его записка. А потом представлялся государыне императрице.

Председатель. — Граф, я должен сказать, было как раз наоборот. Память вам несколько изменила. У нас есть документ, из которого видно, что гр. Велепольский, значит Владислав Иосифович, был принят государыней 22-го июля, утром.

Гр. Велепольский. — А государем был принят раньше, это я наверное знаю.

Председатель. — Ах, вот как!

Гр. Велепольский. — Он был принят государем в ставке 15-го июля.

Иванов. — То-есть за несколько дней?

Гр. Велепольский. — 19-го июля он, кажется, сюда приехал.

Председатель. — Но предполагалось, что он еще раз будет в ставке?

Гр. Велепольский. — Нет, тогда не предполагалось.

Председатель. — Позвольте огласить копию телеграммы, отправленной 22-го июля 1916 года: «Его императорскому величеству, государю императору, в царскую ставку» председателем совета министров Штюрмером. Вот, что здесь говорится: «По повелению ее величества (это место было зашифровано) сегодня имел счастье видеть (зашифровано — государыню императрицу). Утром принимала гр. Велепольского, приказала довести до сведения вашего величества (зашифровано все это) просьбу задержать разрешение польского вопроса до приезда ее величества в ставку». Так что, видите, 22-го июля она просит задержать разрешение польского вопроса до приезда ее величества в ставку.

Гр. Велепольский. — Я первый раз слышу эту телеграмму; я понятия о ней не имел.

Иванов. — Значит, ваш брат 22-го июля был у государыни?

Гр. Велепольский. — Мой брат был сначала в ставке, потом приехал и явился к государыне императрице.

Председатель. — Вы правы, граф, и я ошибаюсь. Здесь, в телеграмме, так и написано, что государыня императрица принимала гр. Велепольского, а не говорится, чтобы до ставки, неправда ли? А просто принимала и приказала довести до сведения его величества просьбу задержать разрешение польского вопроса до ее приезда.

Гр. Велепольский. — А, до приезда ее величества в ставку!

Председатель. — Совершенно верно. Это разъяснено. Но, по существу, граф, почему ваш брат представлялся государыне, и как он вам об этом рассказывал?

Гр. Велепольский. — Мой брат, заведывавший княжеством Ловическим и очень часто принимавший государя императора,

когда тот приезжал в Спалу или Скерневицы, говорил с ним по этому вопросу.

Председатель. — Но в чем существо беседы? Почему Штюрмеру нужно было телеграфировать, чтобы задержать разрешение польского вопроса?

Гр. Велепольский. — Я не знаю. Известно, что я и мой брат в ставке говорили, и я думаю, что брат должен был затронуть у государыни императрицы этот вопрос. Но никаких сведений, я первый раз слышу. То-есть, мне А. Р. говорил на прошлой неделе, что существует такая телеграмма. Но он несколько иначе объяснял; он не знал ее, и я впервые узнаю, что такая телеграмма существует, что мог быть поднят такой вопрос. Надобности задержания я не понимаю.

Иванов. — Не могло исходить от вашего брата, чтобы он просил государыню?

Гр. Велепольский. — Нет, я этого не думаю.

Председатель. — Как же отнесся на этот раз бывший император к предстательству вашего брата за Польшу? Вы изволили сказать, что он благожелательно относился к вам. А в беседе с вашим братом?

Гр. Велепольский. — Тоже соглашался на все пункты, которые брат представил в записке на французском языке, но которая совсем сходна с теми пунктами, которые я представил в ставку. И я, и мой брат стояли на том ответе, который дал мне государь император, что будет специальный акт издан в скором времени. Так что мы довольно в этом отношении были спокойны и совсем удовлетворены. Только, когда акта не последовало до 9-го августа, я обратился уже к Штюрмеру с вопросом, что это значит? Конечно, мы это могли приписать той перемене, которая произошла в министерстве иностранных дел.

Председатель.—То-есть тому, что Сазонова сменил Штюрмер?

Гр. Велепольский. — Да.

Председатель. — Теперь позвольте вас попросить вспомнить некоторые частности вашей беседы со Штюрмером, когда вы добивались издания акта о Польше. Не отговаривался Штюрмер тем, что сперва нужно удовлетворить русский народ, а потом уже поляков?

Гр. Велепольский. — Этого я не помню. Я только одно помню, что в разговоре, который происходил 9-го августа и потом 18-го августа, я утверждал, что нам известно по данным, не совсем неопределенным, о подготовлении германцами какого-то акта о независимости; и мы настаивали, что должен быть издан акт в интересах России и Польши, и более широкий, чем немецкий. Это было исходной точкой всех наших разговоров.

Председатель. — Вы разговаривали с русским министром иностранных дел. Что же против такого непререкаемого, в смысле

государственных интересов России, соображения, говорил вам, возражая, министр иностранных дел?

Гр. Велепольский. — Это относится до двух или даже до четырех бесед, которые я имел в августе со Штюрмером, и до последней беседы 18-го августа. Я обратился к Штюрмеру и представил ему телеграмму, которую получил из-за границы от наших политических единомышленников, из Парижа. Содержание ее было такое (читает телеграмму на французском языке). И эту телеграмму я представил председателю совета министров с тем, что она побуждает меня дать уже определенный ответ, что из этой телеграммы ясно — германцы приготовляют какой-то акт, и я очень категорически ему заявляю, что, как представитель польского Коло и председатель Национального Комитета, считаю своим долгом настойчиво требовать решительного ответа. Я получил телеграмму 18-го августа, а 19-го был у Штюрмера. Телеграмму ему показал и на мое категорическое требование получил ответ, что председатель совета министров поедет в ставку. Спросил меня, может ли взять эту телеграмму с собою для представления государю императору и нет ли еще каких слов, которые я хотел бы добавить к телеграмме. Тогда я сказал председателю совета министров, что с удовольствием составлю маленькую записку, очень краткую, потому что времени мало, только 24 часа. И 20-го августа я поехал на Царскосельский вокзал, откуда Штюрмер уезжал, и отдал телеграмму, полученную из-за границы, и записку, требующую издания акта, на основании той мемории или той записки, которая была уже раньше представлена в ставку, во время моего там последнего пребывания. И Штюрмер тогда заявил, что я могу быть спокоен, что он как телеграмму, так и записку представит в ставке государю императору и приедет с точным указанием, как надо поступить. 26 августа, когда Штюрмер вернулся из ставки, я был у него и получил ясный ответ, что все будет сделано, только он не может определить точно время, когда это будет. Я сказал, что меня ответ его до известной степени мог бы удовлетворить, если акт появится очень скоро. Но считал своим долгом предупредить, что в Лондоне, в Париже и вообще за границей носятся разные слухи (там живет довольно много поляков и через Швейцарию, конечно, легче иметь сношения с Галицией, Познанью или Царством Польским), и что ответ на телеграмму я должен послать довольно определенный, каков будет акт и как скоро. На все это Штюрмер дал мне ответ, который меня довольно удовлетворил. И я сказал Штюрмеру, что в этом духе пошлю телеграмму.

Председатель. — Какой же он вам дал ответ?

Гр. Велепольский. — 27-го августа я послал телеграмму, и в ней было сказано, что скоро появится акт, удовлетворяющий требованиям июньской записки. Но так как я в этом отношении человек довольно осторожный и не хотел принять ответственность за то,

что делается, только на себя, то решился послать свою телеграмму в министерство иностранных дел для проверки, что я точно выразил мысль, которая Штюрмером была высказана. И в то время я эту телеграмму там оставил, и потом мне по телефону сообщили, что Штюрмер сделал в ней какие-то перемены. Я не знаю, какие перемены, по существу или нет, но телеграмма, присланная мною Штюрмеру, была совсем изменена. И так как я не решился послать ее, то сообщил министерству иностранных дел, через Гатищева, которому я по этому поводу телефонировал, что поправки Штюрмера несогласны с нашим разговором и не отвечают предъявленным нами требованиям, что это не удовлетворит жителей польского края, и я не принимаю на себя никакой ответственности, как может история обратиться потом в этом вопросе, и что никакой телеграммы не пошлю; и никакой телеграммы не выслал в ответ. Это был мой последний акт, и я сказал только, что всегда готов к услугам, когда председатель совета министров или министр иностранных дел затребует по польскому вопросу и будет со мною говорить в конкретных случаях. Но что в виду той перемены в 24 часа мысли, которую, мне казалось, я понял правильно, а председатель совета министров иначе понимает, я считаю своим долгом самый вопрос не возбуждать. Это был последний раз, когда я имел официальное сношение со Штюрмером. Потом произошел акт 6-го ноября, изданный германцами, со всеми последствиями.

Председатель. — И значит только после акта 6-го ноября, германцами изданного, был 12-го декабря 1916 года этот приказ армии и флоту?

Гр. Велепольский. — Да.

Председатель. — Граф, не будете ли добры сказать, в чем заключалась разница между текстом вашей телеграммы и тем, что вам говорил министр иностранных дел и председатель совета министров?

Гр. Велепольский. — Был изменен текст. Я не помню, какие слова вычеркнули; но мысль, высказанная мною, изменена. В исправленном рукою Штюрмера виде телеграмма у меня находится, так что я могу ее представить.

Председатель. — У вас нет с собою?

Гр. Велепольский. — С собою нет. Она коренным образом меняла мою успокоительную телеграмму, и только могла вызвать негодование и волнение, так что я сам сказал, что не решаюсь послать. То, что Штюрмер хотел, была одна фразеология без какого-нибудь решения вопроса. При этом Штюрмер защищался, что наша мемория не у него, а находится в ставке. Больше я никаких отношений с ним потом не имел. 23-го декабря я обратился к государю, и был им принят.

Председатель. — Будьте добры рассказать об этом. Про все предыдущие приемы вы изволили рассказать.

Гр. Велепольский. — Я про все рассказывал. Первый—в самом начале войны, второй — в ставке, и третий прием — 23-го декабря; больше я не имел. Три приема, насколько помню.

Председатель. — Так, так, пожалуйста.

Гр. Велепольский. — 23 декабря я обратился к государю императору, в связи с разговором, который имел в июне. Тогда я говорил (это мне было довольно легко) о распространяющихся слухах, что немцы подготовляют акт. Теперь это произошло. И вот, в виду появления приказа по армии и флоту, я обратился к государю императору с просьбою указать, как следует нам понимать слова «свобода Польши», потому что я должен был дать комментарии. Я спросил государя и получил ответ, выяснившийся из разговора (о чем мне было разрешено государем императором опубликовать, и это было напечатано), что Польше будет дарован собственный государственный строй с своими законодательными палатами и собственная армия. И это решение, это последнее отношение к польскому вопросу, как я заявил, всегда благожелательное, благосклонное у государя императора, могло только глубокое произвести на меня впечатление. В связи с этим была образована комиссия, под председательством, мне кажется, тогда уже Голицына. Относительно этой комиссии я только раз видел кн. Голицына, и с ним разговаривал довольно в общих чертах; ничего подробного, ничего конкретного из разговора я не вынес, кроме того, что она, на основании слов государя, вырабатывает строй будущей Польши и обнародует акт, и что к окончательной редакции акта будут приглашены представители поляков от законодательных палат.

Председатель. — Чем же вы объясняете такую недопустимую медлительность со стороны министра иностранных дел, а также и то обстоятельство, что в течение 24 часов этот человек отказывался от своих слов под предлогом, будто у него нет текста вашей записки и совершенно менял смысл сказанного в изустной беседе?

Гр. Велепольский. — По этому вопросу трудно мне ответить, так как я уже не беседовал со Штюрмером, а только считался с совершившимся фактом. Он может сказать, что иначе понял то, что мне сказал. Но телеграмма, которую я хотел послать и которая была изменена, — этот вопрос меня взволновал.

Председатель. — Граф, мне придется просить вас предъявить нам эту телеграмму для обозрения. Мы можем ее отдать, но нам необходимо ее обозреть. Позвольте забежать вперед и спросить вас, чтобы занести в протокол, что та телеграмма, которую вы представите нам, это ваш проект?

Гр. Велепольский. — Да. А вот, что карандашом написано, я получил из министерства внутренних дел.

Председатель. — Это написано рукою Штюрмера?

Гр. Велепольский. — Рукою ли Штюрмера, я не знаю. Мне было сказано, что она была на рассмотрении у Штюрмера.

Председатель. — А текст написан вашей рукою?

Гр. Велепольский. — Да.

Председатель. — Скажите, борясь за свободу Польши, вы представляли себе группу ваших противников? Можете вы дать очерк правительственных течений, представители которых разрешали польский вопрос не так, как вы и ваши единомышленники, и как, повидимому, разрешить следовало бы с точки зрения интересов русского государства? Какие были течения против вас в составе правительства?

Гр. Велепольский. — Во всех шагах, которые делались, видно было ужасно мало решительности; это во-первых. Потом все сводилось к тому, чтобы ждать, чтобы отложить. Я думаю, что это, может быть, ждать, как события пройдут, а мы понимали, что с этим вопросом надо торопиться. Какие были цели и взгляды правительства, трудно сказать. Но мы замечали всегда, что ужасно медленная работа и ужасная в этом отношении была неопределенность.

Председатель. — Скажите, а когда был министром иностранных дел Сазонов, то ведь отношение к вам, по крайней мере министерства иностранных дел, было иным?

Гр. Велепольский. — Да. Сазонов находился, правда, в другой период. Дело еще не было так велико, как оно развилось потом. Но, во всяком случае, министр Сазонов понимал польский вопрос, придавал ему большое значение и известный вес, по моему мнению. Так, я знаю, министр Сазонов настаивал на провозглашении польского акта уже в июне, кажется, 1914 года, что он находил непременно нужным. И в этом отношении, может быть, какая бы разница между нами и была в оформлении этого акта, но во всяком случае самый принцип он признавал спешным и необходимым.

Председатель. — То-есть до войны?

Гр. Велепольский. — Нет, в июне 1916 года, до своего ухода. Но и потом он принимал участие в составлении акта верховного главнокомандующего.

Председатель. — Следовательно, вы имели пред собою такое положение. Носитель верховной власти неизменно в беседах благожелательно к вам относился. . .

Гр. Велепольский. — Да, я это подчеркиваю.

Председатель. — Вы имели министра иностранных дел, который хочет опубликовать, еще в июне 1916 года, акт о Польше. Каковы были те силы, которые не позволяли ни министру иностранных дел реализовать свое желание, ни верховной власти реализовать свои беседы?

Гр. Велепольский. — Все те вопросы всегда шли на совещание совета министров, и очень часто случалось, что мы получали

ответ: дело будет рассмотрено в совете министров. Но какие там взгляды играли роль, на это трудно ответить.

Председатель. — Так что вопрос о Польше хоронился всегда в совете министров?

Гр. Велепольский. — Да.

Председатель. — Вы изволили в своем объяснении упомянуть о записке 31-го июля 1915 года. Это какая записка?

Гр. Велепольский. — Числа я не помню.

Председатель. — Это записка Польского Коло?

Гр. Велепольский. — Июля 1915 года. Это записка, которая была мною составлена в 1915 году, до занятия Варшавы, в апреле. А потом уже все записки были представлены в предварительное совещание, до того совещания, которое по польскому вопросу было.

Иванов. — Которое состоялось в июле, три дня, 13, 16 и 18?

Гр. Велепольский. — Чисел не помню.

Иванов. — Ну да, вот эти числа.

Председатель. — Граф, может быть, вы будете добры представить нам записку Польского Коло? Затем, ту телеграмму, которую вы получили от ваших политических единомышленников из-за границы, ту, которую вы изволили здесь огласить.

Гр. Велепольский. — Я думаю, эта телеграмма должна быть у меня.

Председатель. — А ответ с поправкой министерства иностранных дел? Скажите, вы сами принадлежите к какой политической партии?

Гр. Велепольский. — К партии реалистов.

Председатель. — Вы принадлежите к группе реалистов?

Иванов. — В особом совещании в феврале 1917 года, значит 8, 9 и 13, вы, представители Польши, не были?

Гр. Велепольский. — Никто не был вызван.

Иванов. — И попытки не было?

Гр. Велепольский. — Кн. Голицын мне говорил, что когда дело будет кончено, призовут представителей от Польши.

Иванов. — То-есть, когда?

Гр. Велепольский. — Когда совещание выскажет свои соображения. Для согласования их будут приглашены представители Польши. Но должен заявить, что, говоря с кн. Голицыным по этому поводу, я находил такое решение правильным. Дело русских государственных деятелей составить целый проект, а мы можем явиться только тогда, когда он будет готов, и не должны принимать участия в составлении его. Так что я против этого совсем не возражал.

Председатель. — Позвольте огласить часть объяснений Штюрмера, в связи с тем, что вы изволили сказать, что не припоминаете эту беседу. Может быть, это напомнит что-нибудь. — «Записка Велепольского была у меня. Поляки просили о том, чтобы воз-

можно скорее сделать это для них, то-есть дать независимые и самостоятельные учреждения, о которых все время была речь. Я думаю, что с этой просьбой Велепольский обратился к ее величеству. Я помню, что государыня спросила меня, когда я еду в ставку. И я сказал, что на этих днях не предвижу поездки. Я точно разговора не помню и, может быть, если бы ее величество была здесь, она бы сказала, что это не так. И я думаю, что это не могло быть иначе. Но, очевидно, поляки просили государыню; это для меня несомненно. Вы желаете знать, какое было мое мнение? Я вполне сочувствовал тому, что поляки все должны получить, и если бы Велепольский вспомнил об этом, то он бы сказал, что я никогда не опровергал их домогательств (тут бессвязно), вероятно, я ему не говорил, а может быть и говорил свой взгляд, чтобы русский народ прежде узнал, что он получит после войны, а потом уже поляки, и что теперь я уже считаю несвоевременным давать полякам, пока в русском народе не выяснено. Что же, мы ведем войну два года, полякам обещают и дают, а нам что?». Вот его объяснение. Вы не помните, он в таком роде с вами говорил?

Гр. Велепольский. — Если бы в таком роде было (но я этого не помню), я бы тогда ответил председателю совета министров, что один вопрос к другому никакого отношения не имеет, ибо вопрос русский, то-есть тот, который он подчеркивает здесь, есть, конечно, вопрос устройства России. А вопрос польский не есть вопрос устройства России, но политический, имеющий громадное европейское значение, ибо точка зрения, которую я всегда представлял Штюрмеру, была та, что от русского правительства и от нас зависит, в каком направлении будет решен польский вопрос. Будет ли он решен в направлении нежелательном, то-есть в духе центральных держав, или в орбите русской и коалиции, в орбите, как мы говорили, персональной унии, а теперь, конечно, полной независимости. Но тот, кто поставит и решит первым широко и ясно польский вопрос, будет в будущем иметь пользу в политическом отношении. Так что, по-моему мнению, говорить и мешать русский и польский вопросы... если это Штюрмер в разговоре со мною делал, то не мог остаться без такого ответа от меня, как я сказал.

Председатель. — И затем, второе объяснение. Не приходилось ли вам от него этого слышать? То, что я позволю себе огласить, сводится к следующим положениям. Что же нужно дать русскому народу? Из дальнейших объяснений видно, что нужно дать проливы. И вот объявить об этом русскому народу мешала ему политика Англии и Франции. Таким образом, польскому народу ничего не было дано потому, что не было объявлено о проливах русскому народу. Так что мне пришлось задать ему вопрос: «Значит, вы хотели дать русскому народу за войну проливы, но не могли об этом подарке опубликовать. А потому не опубликовали и акта

о Польше? Он говорил, что этот акт, с согласия Англии и Франции, ожидался ежедневно. Но мы знаем, как все медленно идет, и поэтому он имел полное основание докладывать, что нужно подождать с разрешением польского вопроса, что нужно опубликовать одновременно, и нельзя было польское объявление, как говорит он, пускать раньше. Так вот я позволил себе это огласить, чтобы задать вам вопрос: приводил он вам нечто подобное в качестве обоснования, я бы сказал, оправдания своей медлительности, или нет?

Гр. Велепольский. — Это слишком серьезный аргумент, чтобы не ответить на него. Может быть, он думал, я не уверен, но в разговоре со мной этого не было.

Председатель. — По крайней мере, не было признаков того, что он это думал, никаких внешних признаков не было?

Гр. Велепольский. — Я первый раз слышу.

Председатель. — Позвольте на этом кончить ваше объяснение и принести вам от имени Комиссии глубокую благодарность за то, что вы изволили пожаловать сюда.

LXV.

ДОПРОС Н. В. ПЛЕВЕ.

14 июля 1917 года.

Содержание: Внешняя обстановка деятельности Н. В. Плеве. Порядок роспуска Государственной Думы и государственного совета. «Рептильный фонд». Запрос в бюджетной комиссии Государственной Думы о «рептильном фонде». Суммы «рептильного фонда». Деятельность Н. В. Плеве в качестве помощника главного начальника петроградского военного округа. Дело о высылке Царевой. Дело Булацеля. Военная цензура. Высочайшие указания. Обязательность словесных распоряжений министерства внутренних дел для командующих армиями. Эпизод со статьею Амфитеатрова в «Русской Воле» о Протопопове. Отношения Н. В. Плеве к союзу русского народа. Деятельность Плеве в последние дни перед революцией.

Председатель. — Николай Вячеславович Плеве. Вы были товарищем министра внутренних дел с 7 марта 1914 года по 13 февраля 1916 года?

Плеве. — Да.

Председатель. — До этого вы изволили управлять делами совета министров?

Плеве. — Совершенно верно.

Председатель. — А после 13 февраля 1916 года?

Плеве. — После я был сенатором, и весной 1916 года или летом 1916 года, был назначен, вместе с тем, помощником главного начальника петроградского военного округа, Хабалова.

Председатель. — И оставались в этой должности до революции?

Плеве. — До революции, до конца, да.

Председатель. — Сколько времени вы пробыли в должности управляющего делами совета министров?

Плеве. — Я был назначен помощником управляющего делами совета 2 июня 1906 года, но фактически я исправлял обязанности управляющего, а затем был утвержден в должности сначала исправляющего должность, а потом и управляющего, с апреля 1910 года.

Председатель. — Это до того, как вы изволили занять должность товарища министра?

Плеве. — Да.

Председатель. — Скажите, пожалуйста, какой был порядок роспуска Государственной Думы и государственного совета в ваше время? Главным образом, вот на что хотелось бы мне получить ответ: был ли у вас такой порядок, что председатели совета министров, при вас, значит, Столыпин и Коковцов, получали бланковые подписи бывшего императора с текстом, в котором они сами вставляли даты роспуска Думы и государственного совета и время созыва?

Плеве. — Понимаю, понимаю. Я не помню, я таких документов не видел.

Председатель. — Но ведь по вашей должности вам близко знаком был этот порядок?

Плеве. — Нет. Мне представлялось, что давался указ к подписи государю. Может быть, председатель и имел такую бумагу, но он мог легко мне и не показать ее.

Председатель. — Но у вас сохранилось такое представление, что лицо, занимавшее пост председателя совета министров, отправлялось в резиденцию государя?

Плеве. — Или посылало с курьером проект указа.

Председатель. — Который возвращался подписанным?

Плеве. — Да.

Председатель. — В должности товарища министра внутренних дел какими отделами министерства вы заведывали?

Плеве. — Я заведывал земским отделом, управлением по делам о воинской повинности и только. Потом, уже в последующие годы, ко мне перешла часть заведывания беженскими делами, когда открылось беженское движение; значит, в 1915 году.

Председатель. — А в какое время вы заведывали главным управлением по делам печати?

Плеве. — Никогда.

Председатель. — Вы не заведывали? Кто же из товарищей министра заведывал главным управлением по делам печати?

Плеве. — Мне помнится, никто. Главное управление было в непосредственном ведении министров, так что начальник главного управления по делам печати как бы считался товарищем министра.

Председатель. — Вам не приходилось замещать министра внутренних дел за это время?

Плеве. — Да, управлять текущими делами министерства. На короткий срок, помнится, уезжал А. Н. Хвостов, и тогда на несколько времени управление и текущая переписка на меня возлагалась; одно время, когда я был старшим.

Председатель. — Что вам известно о субсидиях на печать, о так называемом рептильном фонде?

Плеве. — По службе мне ничего неизвестно. Если у меня есть кое-какие сведения, то основываются на том, что пишут в газетах, служебных сведений у меня нет.

Председатель. — Но, а неслужебные сведения какие?

Плеве. — Что будто бы существовал такой фонд.

Председатель. — Что же, вам не пришлось ни разу в бытность вашу товарищем министра внутренних дел встретиться с тем, что такие траты, действительно, производятся и что соответственные ассигновки действительно имеются?

Плеве. — Нет, никогда.

Председатель. — Так что в вашей служебной деятельности вы ни разу не встречались с субсидиями на правую печать?

Плеве. — Ни разу, нет.

Председатель. — Скажите, на что вы в разное время выдали 85.000 рублей Гурлянду?

Плеве. — Это, кажется, я выдавал не как товарищ министра, а по должности управляющего делами совета министров. По службе министерства внутренних дел я не помню таких выдач.

Председатель. — А по той должности?

Плеве. — Это было распоряжение либо Столыпина, либо Коковцова (я не помню) о выдаче денег, но на какой предмет, председатель меня не посвящал.

Председатель. — А из каких денег выдавалось ему? Были некоторые суммы, которые находились в вашем распоряжении?

Плеве. — Управляющий делами совета министров имел текущий счет в государственном банке. Кажется, он мне открыт был при Коковцове, а, может быть, при Столыпине еще; и из этого фонда по чекам выдавались деньги по приказанию председателя совета министров.

Председатель. — На какие же цели выдавались деньги?

Плеве. — Вот этого я не знаю. Я не спрашивал председателя.

Председатель. — Как же велика была та сумма, из которой вы тратили?

Плеве. — Кажется, 230 — 250 тысяч.

Председатель. — В год?

Плеве. — Нет, единовременно, и потом она постепенно таяла, и я передал остаток моему преемнику, Лодыженскому.

Председатель. — Сумма, которая была в вашем распоряжении, проходила по какой-нибудь смете?

Плеве. — Вероятно, нет. Я ее в сметах не видел.

Председатель. — Чем же объясняли вы тогда, что, не состоя в должности кассира и казначея, вдруг получаете в свое распоряжение подновляемую постоянно сумму в 250.000 рублей?

Плеве. — Нет, не подновляемую.

Председатель. — Единовременно всего только 250.000 и было вами израсходовано?

Плеве. — Я не помню, какая сумма была первоначально. Вы меня спрашиваете, не казалось ли мне это странным?

Председатель. — Нет, я об этом не спрашиваю. Но все-таки у вас было некоторое представление об этой сумме?

Плеве. — Да, что есть в государственном банке сумма, которой распоряжается председатель совета министров и из которой я должен выдавать. Вот мое представление об этой сумме.

Председатель. — Но почему же вы взяли на себя такую механическую должность казначея по какой-то сумме? Ведь вы занимали довольно высокий пост? Ведь то лицо, которое вам делало распоряжение, оно, несомненно, вам доверяло эту сумму? Эта сумма была лично на ваше имя положена?

Плеве. — Нет, по должности.

Председатель. — Тем более!

Плеве. — Председатель совета министров, вероятно, считал удобным, чтобы эта сумма числилась по должности управляющего делами совета министров, чем за председателем совета министров.

Председатель. — Вам не кажется, что такое объяснение о механическом исполнении противоречит взаимному доверию министра и заведывающего делами совета министров и просто противоречит человеческому, жизненному отношению?

Плеве. — Вы меня спрашиваете: почему он не говорил, для чего я должен выдавать деньги?

Председатель. — Вы просто отвечаете: «я механически выдавал, кому он приказывал». Но мне кажется такое объяснение нежизненным!

Плеве. — Оно совершенно правдиво. Я точно не знал, почему и на что тратятся эти деньги. Спрашивать председателя совета министров при каждом его распоряжении: «почему выдаете такому-то и в таком-то размере?» — конечно, я считал неудобным.

Председатель. — Траты этих денег производились тоже несколько необычным, я бы сказал, конспиративным порядком?

Плеве. — Отчего конспиративным, раз то лицо шло в государственный банк?

Председатель. — Т.-е., какое лицо?

Плеве. — То лицо, которому председатель совета министров приказывал выдать.

Председатель. — Это было определенное лицо?

Плеве. — Нет, это были разные лица.

Председатель. — Кто же приходил к вам за этими чеками?

Плеве. — Всякое лицо, которому председатель захотел выдать. Я сейчас не помню.

Председатель. — Так что вы были казначеем по известным суммам, которые по письменному распоряжению председателя совета министров выдавали?

Плеве. — Нет, не по письменному.

Председатель. — По устному?

Плеве. — Да.

Председатель. — Что же вам говорил председатель совета министров?

Плеве. — Выдать такую-то сумму.

Председатель. — Кому?

Плеве. — Такому-то лицу.

Председатель. — Отчеты в этих выдачах и в этих суммах шли через вас?

Плеве. — Так, периодически, я не помню, но, кажется, по некоторым суммам я получал отчеты, т.-е. я получал не для того, чтобы проверять их, а просто то лицо, так сказать, для осведомления председателя давало отчет. Но эти суммы, кажется, были не подлежащими контролю.

Председатель. — Из отчетов вам известно было, что суммы шли на печать, на разные издания?

Плеве. — Да. Помнится, когда как-то Гурлянд мне прислал отчет, я посмотрел, и вижу, что там на какие-то книжки, кажется, перед созывом какой-то Думы, четвертой.

Председатель. — Не перед созывом какой-то Думы; может быть, перед выборами в какую-то Думу, именно в 4-ю Думу. Что же вам стало известно из этих отчетов, через вас проходивших?

Плеве. — Мне ничего не было известно, потому что я их не проверял. Получивши их, я спросил председателя (тогда, кажется, Коковцов был:: «Что мне делать с этими отчетами?» Он сказал: «Пусть лежат у вас».

Председатель. — Какую должность занимал тогда Гурлянд?

Плеве. — Вот я так точно не припомню, но, кажется, он давно уже член совета министра внутренних дел. Так что, вероятно, он и тогда был.

Председатель. — Вы изволили сказать, что выдавали эти деньги по распоряжению председателя совета министров?

Плеве. — Да.

Председатель. — А не выдавали вы их также по требованию Гурлянда?

Плеве. — Нет, не помню. Может быть, по его просьбе; но тогда я всякий раз докладывал об этом председателю.

Председатель. — Такие выдачи бывали неоднократно?

Плеве. — Да, несколько раз.

Председатель. — И выдавали вы их в слепую, совершенно не интересуясь тем, на что идут эти деньги?

Плеве. — Нет. Вы же сами говорите, что на подготовку выборов в 4-ю Думу. Вот такое общее указание, я, может быть, и имел, но в виду больших занятий и в виду того, что меня в это не посвящали, я не интересовался, что собственно делается на эти деньги.

Председатель. — Это ваши письма на имя Гурлянда? (Предъявляется ряд писем за подписью Н. В. Плеве.)

Плеве. — Совершенно верно. (Просматривает бумаги.)

Председатель. — Все последующие письма по вашему заявлению по телефону?

Плеве. — Кажется, все в таком же духе. Все-таки, эти чеки выдавались не по просьбе Гурлянда, а по распоряжению председателя.

Председатель. — Но вызванному этой просьбой?

Плеве. — Т.-е. это могло быть так: либо председатель давал мне общее приказание выплатить Гурлянду некоторую сумму, и тогда по частям, по мере надобности, он мог попросить меня; либо каждый раз я докладывал председателю.

Председатель. — Нас не интересует то, что могло быть, а что было в действительности.

Плеве. — Я утверждаю: ни одна копейка, ни один рубль из этих сумм не был выдан только по просьбе Гурлянда и моему распоряжению. Суммой распоряжался председатель совета министров.

Председатель. — Вы изволили получить вот эту справку об израсходовании денег?

Плеве (просматривает). — Помнится, да.

Председатель. — Вы получили, прочли, ознакомились с ее содержанием?

Плеве. — Прочел.

Председатель. — Вы изволили обратить внимание на то, что здесь сказано: на издание и распространение журнала «Пастырь» 20.000 рублей?

Плеве. — Т.-е., когда обратил внимание, сейчас?

Председатель. — Тогда, когда вы ее получили.

Плеве. — Нет, специально не обратил внимания. Я не знаю, что это за журнал «Пастырь».

Председатель. — Кому еще, кроме Гурлянда, вы давали деньги?

Плеве. — Кажется, Грассу.

Председатель. — Еще?

Плеве. — Еще не припомню. Если у вас есть книжка чековая, то там написано, кому выдавались чеки.

Председатель. — Предъявляется чековая книжка на имя камергера двора его величества действительного статского советника Николая Вячеславовича Плеве. Так что это ваша личная книжка? Деньги были положены на ваш личный счет?

Плеве. — Нет, это управляющего делами совета министров.

Председатель. — Но этого не сказано?

Плеве. — Я, конечно, считал деньги моими служебными, а не личными.

Председатель. — Вот здесь: Грассу. Кто этот Грасс?

Плеве. — Это, кажется, один из сотрудников Гурлянда по министерству внутренних дел, но так как я не служил тогда в мини-

стерстве внутренних дел, то и не знаю, какую он должность занимал.

Председатель. — Саблеру. Мы знаем, кто такой Саблер; но по какому случаю вы выписывали ему 5.000?

Плеве. — Вот этого я, право, не знаю. Может быть, какое-нибудь пособие выдавалось.

Председатель. — Графу Бобринскому 25.000. На какую цель?

Плеве. — Не помню. Я не знал даже.

Председатель. — Члену Государственной Думы Гюббенету. Тоже не знаете?

Плеве. — Не знаю.

Председатель. — Доктору Живному.

Плеве. — Вот это я знаю. Кажется, редактор какой-то чешской газеты «Парламентер». Он находился в бедственном состоянии и обращался с просьбой.

Председатель. — Е. Д. Львову.

Плеве. — Это я не знаю.

Председатель. — Пуришкевичу. 10.000. На что?

Плеве. — Не припомню. Не знаю.

Председатель. — Но неужели ни разу вы не пожелали, по естественному чувству недопустимости для себя механических действий, по привычке нашей с вами к осмысленному труду, ни разу не поинтересовались узнать, почему собственно вас сделали кассиром и каким-то людям раздают какие-то, но, очевидно, казенные деньги?

Плеве. — Очевидно, казенные деньги. Но почему вы точно желаете меня уколоть, что я механически выдавал?

Председатель. — Вы изволите давать такие объяснения, что я должен выяснить.

Плеве. — Совершенно верно, ничего нет удивительного.

Председатель. — Я считаю, что вы не имеете основания говорить, что кто-нибудь желает вас уколоть.

Плеве. — Вы говорите: «по привычке к осмысленной деятельности»; что, тут есть неосмысленная деятельность? Это была осмысленная деятельность. Я знал, что председатель совета министров имеет казенные суммы, которые он предназначает тем или иным лицам, очевидно, оказывающим какие-либо услуги государству.

Председатель. — При чем, когда вы получили справку, вы узнали, что часть этих денег идет на книгу «Националисты в 3-й Думе» и на издание и распространение журнала «Пастырь»?

Плеве. — Это не могло поколебать моего убеждения, что деньги идут на дело, полезное для государства. Или должно было поколебать, по вашему мнению?

Председатель. — Но, по крайней мере, это прибавляло нечто к вашему неведению относительно расходования этой суммы, раз

она предназначалась на книгу «Националисты в 3-й Думе» и на журнал «Пастырь»?

Плеве. — Вероятно, издания, которые считались полезными для правительства. Так что справка меня еще более укрепляла в том, что эти суммы тратятся на издания и на дела, полезные для государства, о которых осведомлен председатель министров.

Председатель. — Позвольте считать, что такое, по крайней мере, представление о расходовании этой суммы было: она идет на издания, полезные с точки зрения правительства?

Плеве. — Но там есть другие выдачи. Саблеру 3.000 .

Председатель. — Но, между прочим, на издания полезные правительству. Скажите, вот этот отчет был исключением, что вам в этой сумме некто, Гурлянд очевидно, его дал? А другие лица вам давали отчеты?

Плеве. — Нет, это исключение. Я считал эти суммы не подлежащими отчету и контролю.

Председатель. — А был ли случай, что вы покупали паи товарищества «Нового Времени»?

Плеве. — Да, был случай.

Председатель. — Каким же образом это произошло?

Плеве. — Это случилось в марте 1911 года или 1910, я не помню.

Председатель. — В марте 1911 года.

Плеве. — Тогда Столыпин еще просил меня зайти к Крыжановскому и взять у него 25.000 рублей и купить паи «Нового Времени», что я и сделал.

Председатель. — С какой целью это нужно было сделать?

Плеве. — Я не знаю, с какой.

Председатель. — Вы где купили паи?

Плеве. — Кажется, в Волжско-Камском банке или в магазине «Нового Времени».

Председатель. — Значит, и тут вы совершенно механически исполняли поручение?

Плеве. — Я думал, что раз Столыпин приказывает, то он считает полезным.

Председатель. — Но, кроме представления полезности этой траты, у вас не было представления о том, для чего это делается?

Плеве. — Нет.

Председатель. — Это не подкрепляло тех сведений, — которые вы, как все граждане русские, имели, — что правительство интересуется некоторыми газетами и тратит на них деньги?

Плеве. — Конечно, подкрепляло.

Председатель. — 27 февраля 1914 года граф Владимир Бобринский вам пишет о получении им 25.000 рублей. Вы не помните, для чего графу Владимиру Бобринскому понадобились по вашему чеку эти 25.000 рублей?

Плеве. — Не помню. Было, кажется, приказание либо Столыпина, либо Коковцова.

Председатель. — Которое вы исполнили тоже механически?

Плеве. — Которое я исполнил, не спрашивая председателя, на какой предмет он дает эти деньги.

Председатель. — Гр. Бобринский пишет дальше: «я спешу принести вам мою глубокую благодарность за ваше доброе содействие сему благому делу». Эти слова письма гр. Бобринского остались для вас непонятными?

Плеве. — «Содействие». Вероятно, потому, что я был посредником между ним и председателем. Словом, я не знаю, на что Бобринскому выдавалось 25.000. Может быть, потому, что я участвовал в передаче суммы.

Председатель. — И не знаете за какое содействие? Т.-е. за содействие, вы изволили сказать, но какому благому делу вы содействовали и за какое содействие какому благому делу вас граф благодарил?

Плеве. — Не знаю.

Апушкин. — В чем могло выражаться ваше содействие в таком случае?

Плеве. — Т.-е. в получении этих денег?

Апушкин. — Да.

Плеве. — Правда, не знаю.

Апушкин. — В качестве управляющего делами канцелярии совета министров?

Плеве. — Если граф Бобринский желал действовать через меня, то он мог пойти ко мне и сказать, что ему на такой-то предмет нужны деньги; прошу попросить у председателя денег. Но я не помню того, чтобы граф Бобринский ко мне обращался; он был гораздо ближе знаком с председателем совета министров. Я даже не знал его до той поры. Так что он обратился к председателю совета министров.

Апушкин. — Но граф Бобринский не считал нужным назвать это «благое дело» своим именем, когда писал в письме: «это благое дело»?

Плеве. — Вы спрашиваете, знал ли я это «благое дело»?

Апушкин. — Интересно знать, в чем заключалось это «благое дело»? Вы не помните?

Плеве. — Нет, не знаю и тогда не знал.

Председатель. — И вы не спросили при встрече графа Бобринского, какому благому делу вы, совершенно для себя неожиданно, оказали содействие?

Плеве. — Я даже, может быть, с ним не встретился. С графом Бобринским у меня были самые отдаленные отношения.

Председатель. — Во всяком случае вы это письмо изволили получить? (Предъявляется письмо.)

Плеве. — Да. И вот даже пометка собственной рукой: 25.000 рублей.

Председатель. — Предъявлено письмо графа Бобринского к Николаю Вячеславовичу от 28 февраля 1914 года. Это ваша рука? (Показывает документ.)

Плеве. — Да.

Председатель. — Предъявлена расписка петроградского почтамта о посылке в Выборг, в совет Карельского братства, 2.000 рублей, 21 ноября 1913 года. Вам известно было, зачем вы посылаете эти деньги в совет Карельского братства?

Плеве. — Да.

Председатель. — Стало быть, вам известно, что это на издание «Карельских Известий»?

Плеве. — Да. Это считалось полезным изданием, и вот председатель велел.

Председатель. — В каком смысле полезным изданием?

Плеве. — Кажется, в том смысле, что они проводили русскую политику в Карелии и в Финляндии. Главным образом, в Карелии.

Председатель. — Русскую политику в Карелии и в Финляндии, хорошо. Тут есть расписка графа Бобринского о получении опять 25.000 от вас 15 ноября 1913 года. Вы не знаете?

Плеве. — Нет, т.-е. так я думаю, что граф Бобринский интересовался, кажется, галицийскими делами. Может быть, на эти дела. Я так себе объяснял, но что именно, не знаю.

Председатель. — Что значит «галицийские дела»?

Плеве. — Может быть, он противодействовал австрофильской политике, которая была там.

Председатель. — В какой форме?

Плеве. — Я не сумею сказать. Я лично с ним не был знаком и посвящен в подробности.

Апушкин. — Кто такой Куманин?

Плеве. — Это чиновник особых поручений при председателе совета министров.

Апушкин. — Какие функции у этого чиновника были?

Плеве. — Он был откомандирован в Государственную Думу и осведомлял председателя о ходе дел в Думе. Затем, встречал министров там, уведомлял их по телефону о том, какие дела идут.

Председатель. — Но занимался также и внутренним наблюдением за членами? Старался узнать, что там решено в совете старейшин? Вы не знаете?

Плеве. — Вероятно.

Апушкин. — Если вы не знаете, то чем вы можете объяснить ассигновку ему 2.000 за время с 23 февраля по 20 мая?

Плеве. — Вероятно, нужно было.

Апушкин. — Для чего? Осведомлять по телефону?

Плеве. — Нет, у него было целое делопроизводство.

Апушкин. — Какое делопроизводство?

Плеве. — В павильоне. Он регистрировал деятельность Государственной Думы, затем осведомлял министров. Так что у него целая канцелярия была.

Апушкин. — Эта сумма не относилась к канцелярским суммам или относилась?

Плеве. — Я, право, не знаю, на что они тратились. На что он тратил, очевидно, председателю представлял.

Апушкин. — Так что, будучи управляющим делами, вы, в сущности, не входили в управление этими самыми делами?

Плеве. — Нет.

Председатель. — Скажите, зачем у вас были эти вырезки? (Предъявляет.)

Плеве. — В составе каких бумаг? Не помню совершенно, так как эти бумаги просто не рассматривал; я не был обязан контролировать расходы по этой сумме. Я не знаю, в какой папке это было. В той ли папке, которая является отчетом Гурлянда, или нет?

Председатель. — У меня сейчас нет протоколов обыска, но вы изволите видеть, что это вырезки из различных газет со статьями Грасса, Добрынина и некоторых других лиц, которым вы выдавали деньги.

Плеве. — По этому поводу я могу сказать, что статей не смотрел, не читал и никакого отношения к ним не имею. Просто они механически у меня лежали.

Председатель. — Но представлены они были вам кем-нибудь?

Плеве. — Я не помню.

Апушкин. — А кто такой господин Снежков?

Плеве. — Не знаю. Ему тоже велись выдачи?

Апушкин. — Да.

Плеве. — Не знаю.

Председатель. — Предъявлены были вырезки газет, наклеенные на листе бумаги, в количестве шести штук. Таким образом, выдавая эти деньги, вы все-таки знали из отчета Гурлянда, что они идут на печать, на журнал «Пастырь». В случае посылки 2.000 — на «Карельские Известия». И вы сами изволили сказать, что это подтверждало ваши сведения о том, что правительство поддерживает некоторые органы печати. Скажите, пожалуйста, не пришлось ли вам присутствовать в заседании бюджетной комиссии в декабре 1915 года?

Плеве. — Как же, да.

Председатель. — Не зашла ли там речь о субсидиях правительства частным изданиям, частным газетам?

Плеве. — Да.

Председатель. — Там вы были представителем министерства?

Плеве. — Был.

Председатель. — Так вы изволите помнить вопрос члена Думы Гарусевича о том, что в Киеве издается газета «Киев», субсидируемая правительством, и с некоторого времени в ней появляются статьи по русско-польскому вопросу, как будто написанные немцем, совершенно в немецком духе. Этого члена Государственной Думы интересовал вопрос, действительно ли газета субсидируется? В связи с этим, вы сделали некоторое общее заявление по вопросу о субсидировании частных газет. Вы помните?

Плеве. — Да. Он меня спрашивал, но я не знал, субсидируются ли эти газеты.

Председатель. — Но вы изволили сделать такое заявление: «вообще министерство внутренних дел не субсидирует частных газет. У нас нет репгильного фонда для поддержания газет».

Плеве.—Да, очевидно, я думал, нет такого репгильного фонда.

Председатель. — Но вам не известно, что эта ваша мысль расходилась с действительностью?

Плеве. — Почему она расходилась?

Председатель. — Да потому, во-первых, что мы все, граждане, знаем, что сотни тысяч тратятся правительством на поддержку так называемой правой печати из народных денег, а не из денег правительственных лиц правого направления, а во-вторых, имеются даже документальные данные, отчеты по этого рода тратам.

Плеве. — Мне это не было известно. У меня таких данных не имелось. А затем, если бы даже знал, я не мог бы отвечать за министра, что у нас есть репгильный фонд.

Председатель. — Вы могли не отвечать, но если вы ответили, ваш пост обязывал сказать в этом отношении правду. Мне кажется странным положение представителя правительства, который на официальный запрос членов государственной палаты дает неверные сведения, имея при этом отношение к тратам на печать.

Плеве. — Нет, я не имел никакого отношения.

Председатель. — Вы же изволили сказать! По крайней мере, в тех случаях, когда вам давались отчеты. Даже и при условии механического отношения ко всем прочим тратам, вы изволили же знать?

Плеве. — Эти траты вовсе не на печать. Отсюда у меня не могло быть убеждения. Траты на что? На Гурлянда? За три года до этого заседания! И на «Карельский Вестник?» Это не есть печать.

Председатель. — Позвольте, что же такое газета «Пастырь» или «Карельский Вестник», которые должны проповедывать какие-то отношения в Карелии или Финляндии? Ведь это же на обычном языке называется органами печати?

Плеве. — Почему это репгильный фонд? Я не знаю. Кажется, это полуправительственные издания. Может быть, они издавались на казенные деньги.

Председатель. — Рептильный фонд следует понимать, таким образом, в связи с предыдущим утверждением: «вообще министерство внутренних дел не субсидирует частных газет». Народный представитель спрашивает вас: «Не идут ли народные деньги на тенденциозные, на правые органы печати?» Вы, представитель министерства внутренних дел, отвечаете: «Вообще министерство внутренних дел не субсидирует частных газет».

Плеве. — Да.

Председатель. — Но вы же сами передавали деньги, которые шли на субсидии частным изданиям?

Плеве. — Я говорил, как чин министерства внутренних дел. Как таковой, я никаких сумм не передавал и действительно не знал, что министерство субсидирует какие либо газеты. Скажем больше, если бы я даже выдавал эти деньги, я не знаю, был ли бы я в праве сказать: «да, министр внутренних дел имеет рептильный фонд». Тогда я тем более не исполнил бы своей обязанности.

Апушкин. — Так что в круг обязанностей входило говорить и неправду?

Плеве. — Если бы вы были товарищем министра, то, вероятно, вы бы тоже не сказали, что ваш министр...

Апушкин. — Предположение о том, как бы я поступил, здесь совершенно неуместно. Вопрос определенный. Вы сказали, что вам неизвестно: выдавались, или не выдавались деньги.

Плеве. — Мне, действительно, по министерству внутренних дел не было известно.

Апушкин. — А там вы категорически утверждали, что не выдавались?

Плеве. — Точнее было бы сказать, что мне неизвестно. Вы находите, в этом заседании я должен был сказать, что мне неизвестно?

Председатель. — Если хотите знать, наше мнение такое, что вы должны были сказать правду.

Плеве. — Значит, мы тут расходимся.

Апушкин. — Или отказаться от выступления. Может быть, вам неизвестно, что Гурлянд был руководитель и сотрудник газеты «Россия»?

Плеве. — Известно.

Апушкин. — А вам известно, что в числе членов Государственной Думы имелся и господин Снежков?

Плеве. — Нет, я его не знаю.

Апушкин. — То лицо, которому было выдано 500 рублей?

Плеве. — Он член Государственной Думы?

Апушкин. — Я спрашиваю, вам неизвестно?

Плеве. — Нет.

Апушкин. — А издание и распространение журнала «Пастырь», на что было выдано 20.129 рублей 34 коп. г. Гурлянду, тоже с вашей точки зрения не относится к печати?

Плеве. — Я не знаю, что это за журнал.

Апушкин. — В отчете, который вам представлен был Гурляндом, который вы утвердили. . .

Плеве. — Я не знаю.

Председатель. — Так что для вас осталось неизвестным, что на различные издания из рептильного фонда, так называемой «денежной помощи отвечающим видам правительства повременным и неповременным изданиям», из сметных кредитов министерства внутренних дел таких денег было выдано в 1914 году, предшествующем тому, в котором вы сделали заявление в бюджетной комиссии, в количестве 948.000? В 1915 году, в конце которого вы сделали заявление, в количестве 1.068.724 руб., и в следующем— в количестве 1.620.286 рублей. Итак, мы, беседуя о существовании такого фонда, будем называть его не «рептильным», а фондом «денежной помощи, отвечающим видам правительства повременным и неповременным изданиям». Вы не имели такого представления?

Плеве. — Я не знал об этом; а затем, если бы и знал, то мой служебный долг воспретил бы мне его, оглашать.

Председатель. — И вы серьезно продолжаете думать, что служебный долг обязывал бы вас сказать неправду? Так вы понимали ваш служебный долг?

Плеве. — Да, конечно.

Председатель. — Мы, действительно, расходимся в понимании служебного долга. Какою отраслью дел вы изволили заведывать в качестве помощника главного начальника петроградского военного округа? Что входило в круг вашего ведения?

Плеве. — Гражданские дела, квартирный закон, в частности, некоторые вопросы, которые министерство внутренних дел передавало, и военная цензура.

Председатель. — Вы изволили сказать, квартирный вопрос?

Плеве. — Да.

Председатель. — Через вас проходили высылки, производившиеся в административном порядке?

Плеве. — Да, некоторые через меня, другие помимо меня.

Председатель. — Какой у вас был порядок производства высылок?

Плеве. — Этого я не сумею вам сказать. Сообщалось министерству внутренних дел на предмет исполнения.

Председатель. — Нет, не на предмет исполнения, а каков был процесс самого решения о высылке или невысылке?

Плеве. — Доклад ген. Хабалову и затем сообщение в министерство внутренних дел решения либо ген. Хабалова, либо моего, как его помощника.

Председатель. — Но этому предшествовало что-нибудь? На каком основании вы, делая ваш доклад, решали, что человек должен быть выслан?

Плеве. — Да, конечно, какие-нибудь донесения полицейские или контр-разведки; какие-нибудь данные для этого были.

Председатель. — Но вот предо мной дело. По этому делу вами была выслана домовладелица Царева.

Плеве. — А тут нет самого распоряжения о высылке?

Председатель. — Да, здесь есть доклад ваш. Из этого доклада я усматриваю, что домовладелица Царева, на основании решения мирового судьи, выселила через судебного пристава некую Козлову из занимаемой ею квартиры. Командированный вами Гонек, совместно с полицейским приставом и двумя надзирателями водворяли вещи Козловой в занимаемую ею прежде комнату, т.-е. поступили обратно тому, что постановил судья по указу его величества. Вещи эти были вынесены в прачешную. Вы пишите дальше: «в виду изложенного, испрашиваем разрешения подвергнуть Цареву 1.000-рублевому штрафу с заменой при несостоятельности арестом». Так вот это дело касается заключения в тюрьму и вот, по докладу вашему, мы здесь читаем: «Цареву заключить в тюрьму на один месяц и, по отбытии заключения, выселить из района театра военных действий, т.-е. Петрограда». Причем генерал Хабалов говорит: «этим взысканиям прошу дать самую широкую огласку в печати». Вы припоминаете этот случай, и если не припоминаете, то не представляется ли вам, что это совершенно ненормальное явление?

Плеве. — В частности, этого случая я не припоминаю, но относительно второго вашего вопроса скажу: действительно ненормально, чтобы судебный приговор не приводился в исполнение, или исполнение его сопровождалось для истца такими неприятными последствиями. Но во время войны было издано обязательное постановление по квартирному вопросу в порядке военного положения, и генерал Хабалов (и я так считаю) имел право штрафовать тех домовладельцев и тех квартирохозяев, которые, вопреки обязательного постановления князя Туманова, мародерствовали и злоупотребляли своим положением для стеснения беднейших жителей Петрограда.

Председатель. — Но погодите отсутствующих называть мародерами. Мы из документов видим, что тот, которого вы называете мародером в его отсутствие, действовал на основании законного постановления судьи. Вы присваиваете себе власть отменять это законное постановление судьи, посылаете ваших людей, поступаете вопреки законному судебному решению, постановленному судьей, и еще за обращение к суду наказываете тюремным заключением и высылкой из Петрограда!

Плеве. — Распоряжение основывалось на совершенно законном постановлении предместника генерала Хабалова, князя Туманова, и обязательное постановление гласило, что за преувеличенную цену квартиры, за выселение, одним словом, за нарушение

обязательного постановления главный начальник округа имеет право налагать такие-то последствия. Это обязательное постановление было издано законным образом, в порядке военного положения, и оно давало, мне кажется, право генералу Хабалову такую резолюцию положить. Я думаю, оно и мне, как его помощнику, давало бы такое же право, если бы я был уполномочен в данном случае генералом Хабаловым. Так что это не единичный случай, было несколько таких случаев. С точки зрения юридической, его можно обсуждать и находить, что обязательное постановление было незакономерно; но я держусь той точки зрения, что оно было издано закономерно. Следовательно, тут тем более частное распоряжение, основанное на закономерном акте предшественника.

Апушкин. — С вашей точки зрения эти обязательные постановления покрывали приговоры судов в Петрограде?

Плеве. — Т.-е. они препятствовали домовладельцам выселять и повышать квартирную плату.

Апушкин. — Ваше обязательное постановление в данном случае отменяло приговор мирового судьи?

Плеве. — Оно парализовало действия судебных властей, конечно.

Апушкин. — На это имелись известные законные основания у вас?

Плеве. — Да, конечно. Военное положение, в силу которого было издано это обязательное постановление.

Апушкин. — В силу которого эти обязательные постановления уничтожали силу судебных приговоров? Имелось такое положение?

Плеве. — Я не помню. Если бы посмотреть это обязательное постановление, я бы лучше ответил. Вероятно, это обязательное постановление предоставляло право, которым в данном случае воспользовался генерал Хабалов.

Апушкин. — Хотя бы нарушение приговора мирового судьи?

Плеве. — Даже мировые судьи отказывались, говоря, что это их не касается.

Председатель. — Позвольте. Выселил из квартиры судебный пристав, вы не осмелились поднять руку на судебного пристава, и не выслали мирового судью, постановившего приговор, но посадили в тюрьму и выслали то лицо, законность домогательств которого признана приговором судьи, действующего по указу его величества?

Плеве. — Вы считаете, что логически требовалось бы и мирового судью выслать, и судебного пристава, и воспретить жительство таким мировым судьям? Я с вами согласен.

Председатель. — Вы не можете согласиться, потому что предположение, которое вы сделали, совершенно неуместно. Я вам делаю замечание по поводу этого предположения.

Плеве. — Я вовсе не желал вам сказать что-либо. . .

Председатель. — Не мне. Но когда вы позволили себе утверждать, что вы должны были выселить и заключить в тюрьму мирового судью, постановившего приговор, и судебного пристава, то вы изволили говорить несерьезно. Я вам делаю замечание. Здесь присутственное место, и я прошу вас мне подчиняться и никаких неуместных предположений больше не делать.

Плеве. — Я совершенно подчиняюсь, но только я думал, вы предполагаете, что следует запретить мировым судьям выносить такие приговоры. Я не говорил о заключении в тюрьму.

Председатель. — Затем, из того, что я огласил, вы изволили бы усмотреть, что здесь нет ни слова о повышении платы. Идет речь о том, что судебный пристав выселил согласно приговора судьи известное лицо, и вы за действие судебного пристава подвергли наказанию истицу.

Плеве. — Вы спрашиваете меня? . . Объяснить?

Председатель. — Да хотелось бы знать.

Плеве. — Во-первых, не я, а генерал Хабалов; но я считаю его распоряжение вполне правильным, потому что было обязательное постановление, которое запрещало жителям города Петрограда выселять своих квартирантов, воспрещало, следовательно, домовладельцам. В данном случае Царева нарушила обязательное постановление. За его нарушение главный начальник округа имел право налагать штрафы и заключать в тюрьму. Генерал Хабалов и исполнил это. Разве вы считали возможным упустить из вида то, что эта просьба неправильная и расходящаяся с обязательным постановлением?

Председатель. — Она была обращена к судье, который счел ее правильной.

Плеве. — Обязательное постановление, изданное в силу военного положения, не считается с органами, действующими в мирное время. Так, по крайней мере, действовал главный начальник округа в течение двух лет. Некоторые не считали это закономерным, другие считали целесообразным и закономерным. Словом, это юридический вопрос.

Председатель. — Вы не изволили помнить другой случай — высылки Тимофеева по распоряжению Хабалова?

Плеве. — Тимофеева? Такого я не припоминаю.

Председатель. — Видите ли, домовладелец Тимофеев был выслан. . . (Председатель просит секретаря принести материалы, касающиеся Тимофеева.) Мы остановились на ваших объяснениях на случае применения вами закона о задержании в административном порядке, заключении под стражу и высылке. Теперь хотелось бы знать объяснение по случаю обратного порядка. Вы не помните этого случая, вызвавшего неудовольствие английского посла, с редактором «Российского Гражданина», Булацелем?

Плеве. — Помню, да.

Председатель. — Он был заключен в административном порядке в тюрьму на 6 месяцев?

Плеве. — Кажется, нет. Я не помню, чтобы он был заключен.

Председатель. — Нашей Комиссии было сообщено. Это выписка из протокола заседания военно-цензурной комиссии для решения текущих дел.

Плеве. — Это помимо меня.

Председатель. — Комиссия единогласно высказалась против штрафа, который предполагался, и большинством голосов постановила представить главному начальнику округа ходатайство о наложении взыскания в виде заключения в тюрьму на 6 месяцев без замены штрафом.

Плеве. — Меня допрашивали по этому поводу.

Председатель. — Кто допрашивал?

Плеве. — Тут, в Следственной Комиссии; я давал письменные показания. Вообще я давал уже письменные показания в качестве помощника Хабалова. Меня вызывал, кажется, присяжный поверенный Домбровский по этому поводу. Если угодно, я повторю свои объяснения. Эта комиссия представила ходатайство о наложении взыскания, но взыскания не последовало никакого.

Председатель. — Так что Хабалов не согласился?

Плеве. — После мы говорили об этом деле с генералом Хабаловым, и он сказал: «подождите»; итак, это дело, в смысле заключения Булацеля в тюрьму, не имело последствий.

Председатель. — Скажите, пожалуйста, какие у вас были отношения к военной цензуре?

Плеве. — Об этом я тоже давал письменное показание. Цензура повременных изданий была возложена генералом Хабаловым на меня и на генерала Адабаша, а цензура неповременных изданий и писем оставалась за начальником штаба.

Председатель. — Чем вы руководились, запрещая те или другие сведения к печати?

Плеве. — Главным образом, конечно, положением о военной цензуре, затем указаниями генерала Хабалова, а эти указания основывались на том, что признавалось вредным в некоторых случаях. Бывали и специальные, повидимому, высочайшие указания, которые он получал в отношении некоторых вопросов.

Председатель. — Но кто же вам говорил, какие вопросы вредны, какие не вредны, какие нужно запретить и какие не нужно запрещать?

Плеве. — В этом надо было самим разбираться, кроме случаев, когда имелось указание. Такого общего указания, особенно письменного, я не припомню.

Председатель. — Не будем говорить о форме указания письменного или устного, а будем говорить вообще о приказаниях. Вы

получали распоряжения министра внутренних дел по этому вопросу?

Плеве. — Нет. Министр внутренних дел не был начальником военных властей, так что он никаких приказаний не мог сообщать. От него никаких приказаний и распоряжений и даже просьб, насколько я помню, не получал. Случайно, может быть. Он мог беседовать с генералом Хабаловым и просить его о том или другом распоряжении.

Председатель. — Но в запрещениях, которые делались военной цензурой, действующим лицом, возбуждающим эту деятельность, было министерство внутренних дел и, в частности, министр Протопопов?

Плеве. — По крайней мере, мне неизвестно. Генерал Хабалов мог выслушивать просьбу Протопопова, но он действовал по своему разумению, так, как считал правильным и согласным с положением.

Председатель. — Вы не помните письма министра внутренних дел Протопопова на имя генерала Хабалова о том, что начальник штаба сообщил главному управлению по делам хозяйства задержанную военной цензурой телеграмму с резолюцией уфимской городской управы на имя председателя Государственной Думы и тем имел возможность принять надлежащие меры? Вы не знали об этом письме или же о том, что военная цензура, которая была в вашем ведении, задержала эту телеграмму?

Плеве.—Нет, телеграмма меня не касалась, так что это могло быть помимо меня.

Председатель. — Могло, но как было в действительности?

Плеве. — Я не помню теперь.

Председатель. — Вы делали распоряжение о безусловном недопущении в газетах сведений и заметок об отъезде из Курска и возвращении в Петроград бывшего председателя совета министров Штюрмера?

Плеве. — В частности не помню, но был ряд циркуляров, чтобы не помещать сведений об отъездах и приездах председателя и министров.

Председатель. — Эти циркуляры исходили от вас?

Плеве. — Нет, все циркуляры по военной цензуре исходили от председателя военно-цензурной комиссии генерала Адабаша.

Председатель. — Формально?

Плеве. — Но, конечно, генерал Адабаш был подчинен мне или, лучше сказать, генералу Хабалову, а я был его помощником.

Председатель. — И, стало быть, циркуляры генерала Адабаша делались на основании вашего приказания?

Плеве. — Или генерала Хабалова.

Председатель. — Господин секретарь, оглашается циркуляр председателя петроградской военно-цензурной комиссии о запре-

щении печатать заметки об отъезде из Курска председателя совета министров Штюрмера: «Председатель петроградской военно-цензурной комиссии. 5-го января 1917 года, № 18544. Петроград. В. срочно. Секретно. Циркулярно. Милостивый государь, господин редактор. Прошу вас, милостивый государь, сделать распоряжение о безусловном недопущении в редактируемой вами газете никаких сведений и заметок об отъезде из Курска и возвращении в Петроград бывшего председателя совета министров Б. В. Штюрмера. Примите уверение в совершенном почтении и истинной преданности. Подписал: М. Адабаш. Верно: за секретаря комиссии, прапорщик (подпись)». Точно также есть циркуляр относительно запрещения печатать инцидент Родзянко — Протопопов.

Плеве. — Да, все циркуляры.

Председатель. — Точно также о положении пленных в России, о высылке князя Андроникова, об отъезде Воейкова, о резолюции симбирского дворянства в отношении Протопопова, о Раеве и деле Безродной, о заседании 15-го февраля Государственной Думы, при чем циркуляр этот дан 14-го февраля, и, наконец, о перепечатке воззвания уполномоченных Красного Креста при кавказской армии. Этого рода циркуляры были вам даны?

Плеве. — В отдельности каждый циркуляр трудно припомнить, — их было много, общее отношение мое и генерала Хабалова к этому такое, что циркуляры исходили от генерала Адабаша, который исполнял, издавая такой циркуляр, распоряжение генерала Хабалова, либо мое, а я, конечно, действовал по распоряжению или по приказанию генерала Хабалова. Так что всякий циркуляр юридически составляет распоряжение генерала Хабалова, или мое, как его помощника.

Председатель. — Это действительно в соответствии с тем, что вы изволили говорить. Тут написано чаще всего: «приказ сенатора Плеве» или «начальника петроградского военного округа по гражданской части».

Плеве. — Да.

Председатель. — Собственно, какая статья положения о военной цензуре давала вам право запрещать печатать об отъезде Штюрмера, о ссоре Протопопова с Родзянко или даже накануне открытия Государственной Думы запрещать печатать все то, что будет сказано на следующий день ее членами? Какой закон уполномочивал вас на это?

Плеве. — Вы говорите не меня, а главного начальника округа.

Председатель. — Или вас?

Плеве. — Так как я исполнял его приказания, то значит я их разделял. Закон о военном положении, применяемом в соответствии с теми высочайшими указаниями, которые давались в разъяснение его. Эти высочайшие указания, и военное положение понимались нами в том смысле, что надо воспрещать все,

что может повести к усложнению внутреннего положения вещей.

Председатель. — Т.-е. вы совершенно сознательно давали распространительное толкование?

Плеве. — На предметы не чисто военные. Не то что сознательно, а исполняя прямое высочайшее повеление, письменное даже, которое, кажется, 8-го октября 1915 года, незадолго до вступления моего в эту должность, было сообщено к руководству начальника округа. Так что он не считал себя связанным исключительно военными вопросами.

Председатель. — Стало быть, исполняя закон, который говорит, что можно запрещать все, наносящее вред военным интересам, вы запрещали иногда то, что может вредить Протопопову, Воейкову и т. д., хотя, быть может, это и не на пользу военных интересов государства, ибо интересы Протопопова не связаны с военными интересами государства, а иногда и противоположны им?

Плеве. — Нет. Это вы ядовитый вопрос задаете, господин председатель. Конечно, не так. Генералу Хабалову нечего было оберегать частные интересы Воейкова или Протопопова. Очевидно он думал: сообщение о том, что Родзянко не подал руку министру внутренних дел может повести к умалению авторитета власти министра внутренних дел и свидетельствовать о разрухе среди высших должностных лиц империи. На этот счет имелось высочайшее указание и, следовательно, обязанность воспретить оглашение сведений.

Председатель. — Но позвольте. Ведь в интересах военных может быть так, что если министр внутренних дел скверный, то у народа есть право критиковать его действия и, имея скверного министра внутренних дел в минуту очень тяжелую для государства, бороться с ним; в тяжелую минуту, может быть, это даже на пользу военным интересам государства?

Плеве. — Теоретически так. Но, значит, генерал Хабалов усматривал в данном случае пользу государства в том, чтобы слу чай не оглашался. Это дело усмотрения.

Председатель. — Но нужно было исполнять закон, нужно было взвесить, соответствует ли военным интересам защита Протопопова или нет!

Плеве. — Он взвесил это и вероятно, пришел к выводу, что оглашение вредно.

Председатель. — Так что вы толковали закон в смысле полного произвола командующего военным округом?

Плеве. — Конечно. Этот закон введен с высочайшего повеления, которое распространяло его не на чисто военные вопросы. Оно давало широкие полномочия главному начальнику округа.

Председатель. — Вы не отрицаете, что инициатором запрещения к печати всех этих вопросов было министерство внутренних дел?

Плеве. — Я не могу этого удостоверить. Иной раз, может быть, были беседы генерала Хабалова с Протопоповым, а иной раз и, я наверное могу сказать, что был ряд случаев (я так не припомню конкретно), когда генерал Хабалов мог получить непосредственно высочайшие указания. Таким образом, его нисколько не связывало то, что Протопопов мог сказать.

Председатель. — Вы не помните, что министерство внутренних дел настаивало перед командующим войсками о непомещении известного рода сведений по этому вопросу и что это вызвало вмешательство генерала Рузского?

Плеве. — Да, была переписка. Помнится мне, что этот вопрос возник еще весной 1916 года. Перелистывая дело, я нашел переписку между министром внутренних дел, председателем совета министров тогдашним, Штюрмером, и генерал-адъютантом Алексеевым, при чем военные власти просили, чтобы все просьбы министра внутренних дел обращались в письменной форме, а министерство внутренних дел считало, что в некоторых случаях письменная форма будет затруднять его; и, кажется, по высочайшему повелению были допущены словесные просьбы министра внутренних дел.

Председатель. — Значит, когда этот вопрос возник, то Протопопов поспешил объявить высочайшее повеление, что и устные предложения министра внутренних дел должны исполняться?

Плеве. — Я только не помню, при Протопопове это было высочайшее повеление, или до него. Помню, что был спор, и высочайшее повеление, кем-то испрошенное, решило допустимость и словесных просьб. Кажется, весной или зимой 1916 года он возник. Это из дел видно.

Председатель. — По какому поводу вами была запрещена следующая выписка из газеты «Русская Воля»: «Решительно ни о чем писать нельзя. Предварительная цензура безобразничает чудовищно. Положение плачевнее, нежели 30 лет назад. Мне недавно зачеркнули анекдот, коим я начал свою карьеру фельетониста. Марают даже басни Крылова. А куда еще дальше итти? Извиняюсь, читатель, что с седой головой приходится прибегать к подобным средствам общения с вами. Но что поделаешь! Узник в тюрьме пишет где и чем может, не заботясь об орфографии. Протопопов заковал нашу печать в колодки, и более усердного холопа реакция еще не создавала. Страшно и подумать, куда он ведет страну! Его власть — безумная провокация, рев революционного урагана!». Так вот, каким образом возможно было запрещение такого места обосновать требованием закона о военной цензуре? Почему указание на безумную политику Протопо-

пова, который ведет страну «страшно и подумать куда», и на то, что его власть «безумная провокация», почему это несомненно правильное указание подведено было под понятие сведений, могущих повредить военным интересам государства?

Плеве. — Потому что тут, собственно, брань по адресу министра внутренних дел. Такого рода брань в газетах, конечно, не допускалась военной цензурой.

Председатель. — Но вы изволите быть юристом. Мне кажется, здесь не было того, что понимается под словом «брань». Здесь резкая критика пригодности Протопопова.

Плеве. — Нет, извините, название человека холопом, название человека «безумным орудием реакции», это — брань. Это, во всяком случае, опорочение должностного лица.

Председатель. — Таким образом, свое запрещение вы подводили под понятие вреда для военных интересов государства?

Плеве. — Это вносит разруху во внутреннее управление государством.

Председатель. — Такова была ваша точка зрения. Скажите, пожалуйста, какие были у вас отношения с союзом русского народа, с различными организациями союза?

Плеве. — Я не припомню; никаких, кажется.

Председатель. — А с отдельными лицами союза русского народа у вас не было отношений?

Плеве. — Нет, я знал Дубровина лично, знал Пуришкевича, Булацеля.

Председатель. — А Орлова вы знали?

Плеве. — Орлова знал.

Председатель. — Вы были с ним домами знакомы?

Плеве. — Он иногда приходил ко мне. Домами не был знаком.

Председатель. — Но вы, по крайней мере, обменивались с ним визитами?

Плеве. — Я оставлял карточки.

Председатель. — Когда вы бывали в Москве?

Плеве. — Нет, я в Москве у него никогда не был. Может быть, где-нибудь оставлял карточки, в Северной гостинице...

Председатель. — Вы не помните, чтобы он передавал вам копию своего доклада министру путей сообщения с отчетом об его поездке?

Плеве. — Да, кажется, передавал. Если из моих бумаг извлечено, да, припоминаю. Он сам передавал мне этот отчет о его поездке.

Председатель. — Тут письмо есть на ваше имя: «Имею честь препроводить копию доклада моего, представленного мною господину министру. Я возвратился из командировки по милости божьей благополучно. Шлю мой сердечный привет. Искренно

уважающий, вашего превосходительства покорный слуга, благодарный Орлов». Зачем он вам пересылал такую штуку?

Плеве. — Так, для сведения, не как служебное. Я получил, но не читал.

Председатель. — Вы давали уже показания судебному следователю Спичакову-Заболотному?

Плеве. — Кажется, давал двум.

Председатель. — В двух следственных участках?

Плеве. — Нет, два человека меня опрашивали.

Председатель. — Но один был судебный следователь?

Плеве. — Нет, кажется. Я почему-то его принимал за присяжного поверенного Домбровского; а другой брюнет. Они допрашивали вдвоем.

Председатель. — Скажите, вы последние дни перед революцией, вообще все время революционных дней были в Петрограде?

Плеве. — В Петрограде, да.

Председатель. — Какие меры с вашей стороны были приняты для того, чтобы бороться с движением или вообще как-нибудь воздействовать на него?

Плеве. — Я никаких мер не принимал. Меры шли помимо меня.

Председатель. — Потому что вы заведывали только гражданской частью?

Плеве. — Гражданской частью и цензурой.

Председатель. — Что вам известно относительно стрельбы из пулеметов, кроме того, что она производилась, — в смысле организации этой стрельбы?

Плеве. — Мне ничего не известно.

Председатель. — Не известны ли вам какие-либо распоряжения в этом отношении генерала Хабалова?

Плеве. — Нет. Я знаю только, что распространился слух, будто стреляют с крыш.

Председатель. — Нас интересует то, что вы знали по должности?

Плеве. — Нет.

LXVI.

ДОПРОС А. Н. ХВОСТОВА.

17 июля 1917 года.

Содержание: Назначение Хвостова министром внутренних дел. Отношение к Распутину. Отношение к Горемыкину. Отношение к Барку. Система сношений с Распутиным. Попытка удалить Распутина. Дело об оскорблении государыни и царских детей. Отношения с Вырубовой. Распутин и синод. Питирим и Распутин. Назначение Наумова. Князь Андроников и назначения по министерству внутренних дел. Борьба с Барком. Электрическое общество 1886 года. Гр. Татищев и желание Хвостова провести его в министерство финансов. Андроников и гр. Толстая. Назначение Штюрмера. Выдача Крупенскому 20 000 рублей. Штюрмер, Хвостов и 5 миллионов. 1 300 000 рублей на выполнение выборных и газетных планов Хвостова. Всеподданнейшие отчеты, уничтожение документов, роль Штюрмера.

Председатель. — Нам встретилась нужда в вашем вторичном допросе в виду того, что когда вы давали первое ваше показание, мы не владели всем материалом, который имеется теперь.

Хвостов. — Я должен только заранее просить извинения у комиссии, что я не могу настолько связно рассказать, как я, может быть, рассказывал в прошлый раз, потому, что со мной произошло печальное событие 3-го числа, которое меня лишило способности ясно и точно выражаться и припоминать. Я вам написал об этом событии. В один и тот же день я три раза очутился в смертельной опасности. Когда мне следователь что-нибудь напоминал, я припоминал, но очень смутно.

Председатель. — Мы все были в тяжелом положении в Петрограде. Изложите обстоятельства, при которых вы были назначены министром внутренних дел. Вы изволили рассказать внешнюю сторону этого назначения, но, оказывается, тут была и внутренняя сторона, которая вам великолепно была известна; о путях, которыми вы получили власть, и о тех лицах, через которых вы шли, нам и хотелось бы иметь от вас дополнительное объяснение.

Хвостов.—Ко мне было всегда хорошее отношение со стороны бывшего императора.

Председатель. — Это мы знаем. Вы сказали в Государственной Думе понравившуюся речь о немецком вопросе, это было, по тому времени, удачное выступление.

Хвостов. — Ко мне вообще и раньше относилась хорошо вдовствующая императрица Мария Федоровна.

Председатель. — Но вам известно, что Мария Федоровна в последние годы, и, в частности, в тот год, когда вы были назначены министром внутренних дел, потеряла свое влияние на молодой двор?

Хвостов. — С ней считались в смысле назначений, хотя и были в дурных отношениях. Она меня называла своим и говорила, что нужно только принять меры, чтобы Александра Федоровна не препятствовала моему назначению, что она знает желание сына иметь меня в качестве министра внутренних дел.

Председатель. — Но вы прошли не через Марию Федоровну?

Хвостов. — Нет, я говорю вам подробности. Я стал предпринимать меры к тому, чтобы обезвредить Александру Федоровну.

Председатель. — Через кого вы предпринимали меры?

Хвостов. — В этом отношении способствовал мне князь Андроников. Так как я знал, что он имеет туда ход, то, познакомившись с ним у одного знакомого, сказал ему, что я не прочь. Так как они не знали, кто бы мог быть министром внутренних дел, то охотно пошли мне навстречу. Я воспользовался тем, что не было Распутина, и мне удалось быть представленным Александре Федоровне, с которой у меня был разговор, не помню — один или два раза. Она высказала, что против меня ничего не будет возражать, если охрана Распутина будет возложена на Белецкого. Я был представлен государю и назначен министром внутренних дел, при чем вся политическая часть, полиция и перлюстрационная часть были от меня взяты с самого начала. Мне было поставлено условием, чтобы эта часть была предоставлена Белецкому и чтобы он пользовался правами министра внутренних дел по отношению к перлюстрационной части.

Председатель. — Нам нужно знать, каким образом составился триумвират из Белецкого, князя Андроникова и вас для использования Распутина в ваших целях?

Хвостов. — Когда приехал Распутин, он отнесся неблагожелательно к моему назначению, по крайней мере, я так слышал. Потом его уговорили, быть может, Андроников и другие, что во мне ничего такого нет, что он может быть спокоен, тем более, что Белецкий его охраняет. Я пытался подойти ближе к Распутину и ко всем его окружающим, чтобы его узнать, чтобы выяснить их слабые стороны и с ним покончить. Белецкий стал обходить меня, окружать меня сыском, стараясь узнать, каким образом меня обезвредить так, чтобы я ничего не мог с Распутиным сделать.

Председатель. — Это одна сторона; вы расскажите, как вы углубили ваше влияние на Распутина и какой у вас был расчет на Распутина. Расскажите историю ваших внешних отношений к Распутину.

Хвостов. — Мне хотелось, по возможности, скорее с ним покончить, так или иначе от него отделаться.

Председатель. — Вы стремились к власти, вы получили портфель министра внутренних дел, но вы стремились стать и председателем совета министров и вели сложную политическую игру с Горемыкиным. Теперь нам эти факты известны и нас не удовлетворят общие фразы, которыми мы сначала удовлетворялись. Мы знаем эти факты, но хотели бы слышать от вас о соотношении сил, ваших политических задачах и методах их осуществления.

Хвостов. — Я, действительно, стремился к власти, но не как к таковой, а для того, чтобы провести свои взгляды. Будучи еще в Думе, я самым отрицательным образом относился к Горемыкину, политика которого, особенно во время войны, казалось мне, должна привести к неминуемому краху и концу.

Председатель. — Что же в политике Горемыкина было несоответственного с вашими взглядами?

Хвостов. — Мне казалось, что он ведет прямо к концу, потому что его политика — пережиток старого. Нельзя теперь, как я говорил в своей речи о немецком засильи, только приказывать, нужно справиться с немецким засильем и дороговизной, а тогда уже приказывать, и народ пойдет за властью. Это был лейт-мотив: нельзя только приказывать и действовать канцелярскими отписками и канцелярскими разглагольствованиями, нужно перейти на путь действий, опираясь на Думу и на настроение населения. Это настроение населения меня, главным образом, и занимало. Я видел, что настроение населения не зависит от той или другой канцелярской отписки Горемыкина. Я видел, как отражается его политика, как она отталкивает даже всех тех, кто был прежде за правительство, и я боялся, что все мы полетим в пропасть, если переменится форма правления. Поэтому мне хотелось стать не только на пост министра внутренних дел, но и на пост председателя совета министров, вообще, взять власть в свои руки, провести ту политику, которая мне казалась необходимой. Именно: борьба с дороговизной, составление плана распределения продуктов. Вообще вести это дело по методу европейскому, не палками вгонять людей в то или другое настроение и в поддержку правительства, а привлекать их известными культурными способами.

Председатель. — За пять месяцев вашего существования в качестве министра внутренних дел сделали вы что-нибудь, чтобы провести это в жизнь?

Хвостов. — Когда я вошел в совет министров, я увидел там, с одной стороны, мертвого Горемыкина и бывшего в его распоряжении А. А. Хвостова, его правителя канцелярии, с его чиновничьим укладом, который боготворил Горемыкина; с другой стороны, я увидел лиц, с которыми вел тогда борьбу Горемыкин.

Председатель. — Кого вы к ним причисляли?

Хвостов. — Кривошеин, Игнатьев, Поливанов и еще некоторые, постоянно колеблющиеся: князь Шаховской, зависящий от Распутина, Барк, который был проведен, как мне стало ясно, на должность министра финансов Манусом. У меня с Барком были дурные отношения после моей речи о немецком засильи, где я его всячески поносил, и мне казалось, что это человек немецкой складки, который мешал политике.

Председатель. — Вы хотели национализировать капитал, а он стоял на точке зрения интернационального капитала?

Хвостов. — Одним словом, у нас и раньше были дурные отношения в Думе. Таким образом, в совете министров были эти две партии — одна Горемыкин и Хвостов, а другая — Кривошеин и все остальные министры. Потом начался уход министров.

Председатель. — Уход — это не так просто. Позвольте вас просить вернуться к исходной точке. Повидимому, по существу вы вашей программы не развернули, потому что не успели за эти пять месяцев; но вы усиленно боролись с лицами?

Хвостов. — Я успел ее развернуть только в области печати своими интервью и другими действиями, о которых я буду упоминать дальше. Бороться сразу с Горемыкиным было нельзя. Нужно было прежде всего укрепиться в общественном мнении.

Председатель. — И во мнении Распутина?

Хвостов. — Во мнении Распутина укрепляться не нужно было — раз он согласился, что же укрепляться?

Председатель. — То-есть задним числом апробировал; а что вы для этого делали?

Хвостов. — Нужно было несколько раз с ним видеться.

Председатель. — Какую же систему сношений с Распутиным вы установили?

Хвостов. — Я поручил его наблюдение Белецкому и Комисарову. Белецкий, который относился ко мне враждебно и подкапывался под меня, вел это дело по-своему, но у меня не было своих, кого бы я мог приставить к Распутину.

Председатель. — Вы приставили, в конце концов, г-жу Червинскую, общую знакомую вашу, и Белецкого?

Хвостов. — Это уже в конце концов мне удалось. Я виделся с ним несколько раз — один раз у князя Андроникова, потом один раз на конспиративной квартире.

Председатель. — Значит, была и конспиративная квартира?

Хвостов. — Не для этой цели, а вообще была квартира. У Белецкого несколько было конспиративных квартир, необходимых ему по должности, и на одной из них я виделся с Распутиным два раза.

Председатель. — Не важно, сколько раз, а важно содержание.

Хвостов. — Приглашался Распутин, чтобы выяснить отношения, мы друг друга осматривали; я смотрел, что он собой представляет, а он смотрел, что я собой представляю, — держать меня, или нет. Одновременно мне удалось через Червинскую и через некоторых других лиц установить наблюдение за ним более подробное. Со своей стороны, может быть, и он за мною наблюдал. Он чувствовал, что я с ним не могу сойтись, и я это чувствовал. Мы представляли двух людей, которые друг на друга смотрели, кто кого съест.

Председатель. — Ведь, у вас был период, так сказать, мира? Распутин вернулся и выразил недовольство по поводу назначения вашего и Белецкого, но в конце концов это санкционировал, при чем для того, чтобы он это санкционировал, нужно было ему давать деньги. Эти денежные траты на Распутина делались с вашего ведома и разрешения? Полторы тысячи в месяц фикс и еще на экстренные расходы?

Хвостов. — Белецкий давал деньги из сумм департамента полиции, чтобы держать Распутина в руках.

Председатель. — А вы каждый месяц санкционировали эти выдачи своей подписью?

Хвостов. — Да, эти общие отчеты министром внутренних дел утверждались.

Председатель. — Это я знаю, и вы это знаете, потому что есть ваша подпись на этих отчетах.

Хвостов. — Я подписывал и утверждал, потому, что Распутину давались деньги из сумм департамента полиции.

Председатель. — Что же вы заметили за Распутиным? Повидимому, Распутин вам в руки не давался?

Хвостов. — Распутин всецело был другом и сторонником Белецкого, и ему он давался. Кто платит деньги — тому и служат; я не платил денег, а платил Белецкий, в этом и была моя ошибка, что я не сам платил, что платил Белецкий, и ему он служил верой и правдой.

Председатель. — Некоторое время у вас была полная entente cordiale?

Хвостов. — Это кажущееся соглашение. Распутин сразу взял враждебную ноту по отношению ко мне, вероятно, он не мог забыть истории в Нижнем; он — злопамятный человек; может быть, он имел дар предвидения, во всяком случае, я постепенно выражал большую осторожность в своих сношениях с ним.

Председатель. — Значит, г-жа Червинская была приставлена к Распутину по вашему общему соглашению, потому что Червинская, с одной стороны, — друг Андроникова, с другой стороны, — знакомая ваша и Белецкого?

Хвостов. — Не знаю, что она ему сообщала, но мне казалось, что мне она сообщала достоверные вещи, которые меня интересовали. Если Белецкий учил Распутина что-нибудь против меня выкинуть, то Червинская сообщала об этом мне.

Председатель. — Какое было у вас отношение к Распутину?

Хвостов. — В высшей степени отрицательное.

Председатель. — Тем не менее, отрицательно к нему относясь, вы нашли возможным пользоваться им для влияния на царя и императрицу?

Хвостов. — Не для влияния; я старался, чтобы он меня не сшиб. Я обладал самомнением, и мне казалось, что через два-три месяца я укреплюсь и получу влияние большее, чем он.

Председатель. — А что за эти два-три месяца, пока вы не вышибли его?

Хвостов. — Не показать ему, что иду против него.

Председатель. — Этого мало. Теперь выяснилось, что если вам нужно было провести какой-нибудь проект, вы приобретали симпатию Распутина к этому проекту, чтобы он помогал его проводить.

Хвостов. — Я Белецкому поручал, если что-нибудь нужно было, и никогда не виделся с Распутиным без Белецкого.

Председатель. — У него была как бы некоторая ревность?

Хвостов. — Не ревность, а он караулил меня.

Председатель. — Но и вы не хотели, чтобы Белецкий виделся без вас с Распутиным?

Хвостов. — Наоборот, он с ним виделся постоянно и во многих местах, а я виделся только под его наблюдением. Чтобы против себя меня не восстановлять, он меня не только допускал, но даже тащил на свидание, говоря, что иначе Распутин против обоих нас поведет интригу. Мне нужно было, чтобы он продержался два месяца, потому, что из слов царя мне казалось, что он тяготился Горемыкиным, и я думал, что к новому году царь разрешит этот вопрос.

Председатель. — И вы станете председателем совета министров и не будете нуждаться в Распутине?

Хвостов. — Нет, что я так или иначе укреплю свою позицию.

Председатель. — Но пока, когда вам нужно было провести какой-нибудь проект, вы старались заручиться симпатиями и содействием Распутина?

Хвостов. — Я поручал это Белецкому. Белецкий говорил: «Он ершится». Я говорю: «Уговорите его». Я не помню определенных мероприятий, которые бы я старался проводить через Распутина.

Председатель. — Зачем вы действовали через Белецкого? Ведь вы не раз виделись с Распутиным и у Андроникова на знаменитой ухе, и у Червинской, и на конспиративной квартире?

Хвостов. — У Червинской я, кажется, не виделся с ним.

Председатель. — Нет, не видались?

Хвостов. — Прошло много времени — я не помню.

Председатель. — Повидимому, посредничество Белецкого и не нужно было, так как у вас достаточно было личного общения?

Хвостов. — Нет, он слишком враждебно ко мне относился, так что нужно было, чтобы говорил Белецкий.

Председатель. — Значит, вы и непосредственно действовали, сколько могли, и через Белецкого?

Хвостов. — Я даже не пытался непосредственно действовать, потому что знал, что это будет покушение с негодными средствами, а при посредстве Белецкого я действовал и от него был осведомлен о всем поведении Распутина.

Председатель. — Раз вы с ним уху, трапезу разделяли, то почему же не было непосредственных отношений?

Хвостов. — Непосредственные отношения не складывались, и даже разговор не клеился; я не умел к нему подойти, или он враждебно относился. Одним словом, его еле-еле уговаривали со мною встречаться и беседовать.

Председатель. — Какие вы принимали меры против этого нежелательного для вас явления? Вы опирались на Распутина, но Распутин на лиц, опиравшихся на него, налагал тяжелую обязанность удовлетворять ряд его просьб; что вы сделали, чтобы он не лез к вам ни на квартиру, ни в деловой кабинет? Вы поручили принимать эти просьбы Андроникову?

Хвостов. — Я поручил Белецкому иметь с ним контакт, а Андроников никаких специальных просьб не получал.

Председатель. — Какой вы маневр употребили, чтобы Распутин не афишировал знакомства с вами?

Хвостов. — Чтобы он шел за Белецким. К Белецкому писались письма, у них был известный контакт, а ко мне он избегал ходить и обращаться.

Председатель. — Припомните, как вы хотели удалить Распутина из Петрограда и устроить ему поездку по монастырям?

Хвостов.—Я много раз пытался это сделать, но это, кажется, никогда не удавалось. Мне много раз хотелось устроить поездку по монастырям, чтобы его где-нибудь по дороге в монастырь столкнули, но это ни разу не удавалось.

Председатель. — У вас была тогда власть министра внутренних дел. Неужели министр внутренних дел не мог бороться с Распутиным иначе, как путем убийства?

Хвостов. — Исключительно. Я видел, когда докладывал, как сильно его влияние. Я начал пробовать открывать глаза на него,

но натолкнулся на такое противодействие, что перестал, и пришел к убеждению, что единственное средство, это — устранение убийством. Я видел, что министерство юстиции могло привлекать его за нарушение уголовных законов, но ни одно дело не возникает, никто не смеет к нему притронуться Я говорил с председателем Совета министров — то же самое: «Оставьте, это не ваше дело». Никакого больше хода не было. Я пришел к убеждению, что единственно можно устранить его таким путем, как убийство. Мне казалось, что он губит положение России.

Председатель. — Вы изволили сказать относительно уголовных дел, которые нельзя было двинуть. Было одно дело у вас и у Белецкого, которым можно было держать Распутина в руках. Вы, может быть, его некоторое время в руках и продержали этим способом?

Хвостов. — Нет, пароходный скандал был до меня.

Председатель.—Да, да, он был до вас, но он был вами использован. Вы помните, что там был составлен протокол об оскорблении государыни и детеи царских?

Хвостов. — Нет, я этого дела не помню. Наоборот, у меня были другие данные, чтобы его держать в руках. Он вызывал какую-то публичную женщину к себе под видом великой княжны.

Председатель. — Ольги?

Хвостов. — Этим путем можно было воспользоваться, но когда я об этом докладывал, я видел, что это решительно невозможно.

Председатель. — А вопрос о том, что он где-то на пароходе поносил императрицу, которая была очень дорога императору, и дочерей его, это дело вы не использовали?

Хвостов. — Нет, я это не использовал, но я использовал гораздо большее, — я доложил императору о том, что он публичную женщину вызывал под видом его дочери. Но это, как об стену горох.

Председатель. — Здесь дочь, а там сама императрица. Это могло быть более сильным ударом. Почему вы считаете, что оскорбление дочери хуже, чем жены?

Хвостов. — Потому, что эти слова неизвестны.

Председатель. — Как вам известно, прилетел губернатор или вице-губернатор и привез вам полицейский протокол.

Хвостов. — Нет, это не мне.

Председатель. — Виссарионову, Белецкому?

Хвостов. — Этого дела и полицейского протокола у меня в руках не было, и во всяком случае, у меня было достаточно дел о Распутине моего наблюдения.

Председатель.—Ваше наблюдение про распутство Распутина, а тут такой яркий факт.

Хвостов. — И оскорбления дочери, мне казалось, было достаточно; а о том случае я понятия не имел. Я помню этот скандал на пароходе. Это дело министерства юстиции. Я не знаю, куда его передали. В министерстве внутренних дел это дело было бы у меня, я должен был на него обратить внимание. Да к тому же дело было за тридевять земель. Что же могло быть ярче этого случая, о котором я докладываю?

Председатель. — Вы не можете отрицать, что дело, известное вашему дядюшке, министру юстиции, было известно вам.

Хвостов. — Оно было при Щербатове послано из министерства внутренних дел в министерство юстиции.

Председатель. — Да, я знаю, что Щербатов не опирался на Распутина. Наше внимание останавливается на том, что вы говорите: вы боролись с Распутиным, в ваших руках такой резкий факт, констатированный подлежащей властью, случай оскорбления не только дочери, но и жены царствовавшего тогда императора, и вы, борясь с ним, не доводите этого до сведения царя, а до сведения Распутина доводите, что такой факт есть?

Хвостов. — Я не доводил, это было дело Белецкого. Белецкий, может быть, доводил. Так как это было еще при Щербатове, то я не обращал внимания. Это был факт, прошедший мимо моих рук.

Председатель. — Вы изволили сами признать, что в ваше время Распутин играл крупнейшую роль.

Хвостов. — Я обратил внимание на те факты, которые были при мне, а на те факты, которые были до меня, я не обратил внимания, потому что они были у других министров. Зачем же я буду докладывать все то, что было 10 лет тому назад? Те факты, которые были при мне, я записывал. Они собирались в особую тетрадь, и их я мог докладывать государю. Если бы я стал докладывать о фактах, бывших до меня, он мог бы сказать: «Я знаю об этом от бывших министров». Мог Щербатов доложить, мог министр юстиции доложить. Этот факт, очевидно, лежал где-нибудь, как записочка, у Виссарионова и у Белецкого, они ею оперировали и, таким образом, держали Распутина в руках. Что было в мое время, то я докладывал с определенной верностью. И этого никто не может отрицать, потому что есть упоминание в письме моем императору.

Председатель. — В вашу комбинацию: Андроников, Белецкий, и Распутин, входила также и Вырубова, то-есть вы действовали, с одной стороны, на Распутина, а с другой стороны — на Вырубову?

Хвостов. — Ну да, это было почти то же самое. Мне нужно было продержаться, пока я не окрепну настолько, что получу возможность действовать на бывшего императора непосредственно; чтобы до этого момента меня не вытолкали вон.

Председатель. — Вы это изволили сказать. А не было ли недокладывание этой переписки государю одним из способов с вашей стороны держать Распутина в своих руках и одним из способов показать Вырубовой, как вы бережете Распутина и как вы преданы государыне и ему?

Хвостов. — Нет, эта переписка просто прошла вне моего внимания.

Председатель. — Но соответственного разговора не было у вас с Вырубовой относительно этого протокола?

Хвостов. — Нет. Относительно этого не было разговора. Разговор с Вырубовой был о том, что она вообще просила меня не беспокоить государя всеми теми данными, которые у меня могли быть.

Председатель. — Во всяком случае, Распутин знал, что у вас эти данные имеются?

Хвостов. — У Белецкого — несомненно.

Председатель. — У Белецкого то же, что и у вас?

Хвостов. — Нет, некоторая разница была, потому что Белецкий его использовал. Если бы была переписка у меня в руках, тогда я бы мог действовать на Распутина, и, может быть, удалось бы выжить Белецкого раньше, чем это пришлось сделать. В этом вся разница, что я понадеялся на Белецкого и упустил из своих рук важную вещь — непосредственные сношения с Распутиным и все руководство этим делом Комиссарова. Он приставил к нему своего человека, испытанного, преданного и верного ему. Конечно, они держали Распутина и постольку терпели меня, поскольку я казался безвредным.

Председатель. — Вы добивались поста председателя совета министров, а чего добивался Белецкий?

Хвостов. — Правда, не знаю.

Председатель. — Он получил пост товарища министра и сидел, сидел на Распутине вместе с вами?

Хвостов. — Он добивался какого-нибудь министерства, министерства внутренних дел. Когда ушел контролер, он даже хотел сделаться государственным контролером.

Председатель. — Вы предполагаете, что он хотел быть министром внутренних дел?

Хвостов. — Я предполагаю, потому что вижу, что он шел к этому.

Председатель. — Что вам известно об отношении Распутина к синоду и о назначениях в синоде?

Хвостов. — Мне казалось, что он влияет на все эти назначения.

Председатель. — Вам казалось, или вы знали?

Хвостов. — Знать документально очень трудно. Я знал, что Распутин все делает через призму Комиссарова и Белецкого.

Председатель. — Может быть, еще была одна призма — Вырубова?

Хвостов. — Опять-таки Белецкий ездил и туда вместе со мной, и Вырубова была одна со мной раз или два. Если я ее видел, то она не была откровенна. Сквозь призму Комиссарова и Белецкого я слышал много о чем, как он отзывался про какого-то архиерея. Но, повторяю, что это сквозь призму Комиссарова, через Белецкого, бывшего нянькой Распутина. Когда нужно было Белецкому, Комиссаров представлял так, что Распутин меня ругал. Когда нужно было, он меня хвалил. Этот человек был в их руках безусловно.

Председатель. — Скажите, как вы раз отдали распоряжение Комиссарову, чтобы Распутина привезли к владыке. Владыка, как вы, может быть, вспомните, стеснялся афишировать свою близость к Распутину.

Хвостов. — Да, был такой случай. Я помню было так, что они мне докладывали о близости Питирима с Распутиным, а Питирим, когда я у него был с визитом (он был недавно только перед этим назначен), все время говорил, что этого ужасного человека не знает и всячески от него отбояривался. Мне хотелось проверить, верно это или неверно.

Председатель. — Вам просто теоретически хотелось, или это было нужно для какого-нибудь вашего хода?

Хвостов. — Какой там ход; Питирим был явление служебное у Распутина. Не он влиял на Распутина, а Распутин на него.

Председатель. — Тем не менее, Питирима принимали в Царском Селе, и он имел некоторое влияние.

Хвостов. — Да, Распутин его держал. Вот мне и хотелось выяснить, что это такое. Кажется, тот же Питирим, по наущению, очевидно, Белецкого, и докладывал бывшему императору о том, что я молод, не гожусь совершенно в министры внутренних дел. Одним словом, против меня повел какую-то интригу. Мне хотелось выяснить, действительно ли Питирим и Распутин находятся в таких близких отношениях, или это может быть не так. Комиссаров докладывал, что они приятели, что они вместе. Я говорю: «хорошо, если они вместе, то дайте мне узнать, когда они вместе, где бы я сам увидел». Он устроил так, что я поехал к Питириму после поездки в Царское, вошел без доклада и накрыл их, когда Питирим без клобука сидел в самой приятельской домашней беседе.

Председатель. — Чего вы хотели этим достигнуть? Это был известный ход? На это нужна известная доля внимания министра внутренних дел, известное время министра внутренних дел. Чего вы хотели этим достигнуть?

Хвостов. — Так как я все выяснил относительно Распутина, мне хотелось застигнуть их вместе с Питиримом, чтобы узнать,

каковы их отношения. Комиссаров описывал их мне в известных красках, а я не знал, действительно ли было так. Он говорил, что Распутин чуть ли не по затылку бьет Питирима, что Питирим в полном его распоряжении, Питирим пляшет под его дудочку, не смеет при Распутине сесть. Как я могу это проверить? Через Червинскую проверить не могу, потому что она к Питириму не вхожа. Ровно ни через кого я не мог проверить, между тем мне нужно было уловить Питирима.

Председатель. — А это зачем? Не затем ли, чтобы заставить Питирима поддерживать наверху?

Хвостов. — Он был слишком мелок для этого. Я поехал, убедился в том, что он действительно близок; после этого Питирим против меня и повел кампанию.

Председатель. — Теперь скажите, как вы действовали против Кривошеина и как вы на его место проводили Наумова?

Хвостов. — Это уже относится к области деловой. Когда я вступил в должность, я пришел в ужас от того положения, в котором находится продовольствие. Как министр внутренних дел, я получаю телеграммы: там нет хлеба, там — топлива, транспорт в руках Рухлова тоже в ужаснейшем положении. Одним словом, положение невозможное. Вместе с тем, это все были люди, бывшие много лет министрами. Сам Кривошеин без пяти минут премьер. Значит, положение такое, что с ним в высшей степени трудно сговориться. Если вы просмотрите мою переписку по поводу продовольствия на имя Горемыкина, все мои письма отличались большой резкостью. Я снимал с себя всякую ответственность за внутренний порядок, если не будет урегулировано дело продовольствия. В одном из заседаний совета министров я заявлял, что необходим план продовольственной кампании, план снабжения продовольствием и топливом тех и других местностей. Вместо этого я слышал или детский лепет кн. Шаховского, который, по моему мнению, тогда не был подготовлен к занятию своей должности, или утверждение стариков, что все это не нужно. А Кривошеин, на которого, казалось бы, можно опереться, потому что это враждебная Горемыкину сила (у них была ссора по поводу исторических заседаний), Кривошеин, со своей стороны, тоже сам никакого плана не имел, и все они говорили, что этот план — социализм, что кормить население — этого никогда не будет, и т. д. Я увидел, что приходится мне всякие административные меры принимать для того, чтобы потушить самый законный бунт населения, когда нет хлеба. Я стал писать план; я должен был выехать в Москву для того, чтобы разгружать этот узел, потому что министр путей сообщения не делал этого. И я впал в отчаяние и решил, что нужно действовать постепенно, нужно провести кого-нибудь из людей не своих по службе, но своих по общим задачам.

Председатель. — Интересно, через кого же вы проводили Наумова?

Хвостов. — Исключительно через самого императора.

Председатель. — Через самого императора не проведешь.

Хвостов. — Нет, провел.

Председатель. — Через Воейкова, графа Фредерикса и госпожу Вырубову?

Хвостов. — Нет, исключительно через самого императора. Фредерикс — выживший из ума. Ему я не мог говорить. Воейков был от этих дел далек.

Председатель. — Воейков не выжил из ума.

Хвостов. — Я ему говорил насчет Наумова, чтобы он не препятствовал, что это мой кандидат, и просил мне не мешать в проведении Наумова, потому что о Наумове слышали, что он либерал и общественный деятель.

Председатель. — А Вырубова?

Хвостов. — Вырубова, когда узнала, пришла в ужас, что какой-то Наумов. Я сказал: «Не мешайте, пожалуйста. Это хороший человек, вовсе не либерал».

Председатель. — А какова роль князя Андроникова в этом проведении?

Хвостов. — Никакой.

Председатель. — Нет, у него была роль, чтобы Горемыкин не мешал.

Хвостов. — Нет, этого не было. Он преувеличивает свою роль. Горемыкин не мог мешать, потому что я знал, что он вел Хрипунова. Не я валил Кривошеина, Кривошеина валили они и выдвигали Хрипунова.

Председатель. — Вы тоже валили Кривошеина и выдвигали Наумова?

Хвостов. — Нет. Я их оставлял валить Кривошеина, потому что я берег себя для другого. Если я начну валить всех, то могли сказать, что я подбираю себе кабинет. Главным образом, я боялся, что проведут Хрипунова. Я знаю, какой Хрипунов непопулярный в Думе, еще по вопросу о степановцах. Я лично его уважаю и ценю, но знаю, что это — неподходящий человек для того момента. В совете министров он будет вотировать с Горемыкиным и Хвостовым за всякое чиновничье утверждение власти в ущерб общественному делу, на чем я хотел сыграть. Поэтому Хрипунов мне был нежелателен в силу не личных его качеств (повторяю, я уважаю его), но в силу непригодности для момента. Наумов же мне казался человеком в высшей степени подходящим. Я с ним не был дружен, но я видел, что он в государственном совете пользуется популярностью, слышал от членов по Самарской губернии, что его ценят и любят в различных партиях. Это — бывший предводитель дворянства, богатый сельский хозяин.

Он мне казался тем лицом, которое должно быть назначено. Тут я стал пробовать укрепить свое влияние. Я, помню, приезжаю в ставку. Никто не подготовлял бывшего императора, до меня никто не говорил о Наумове, я первый. Когда сделал доклад, государь остался очень доволен моим докладом. Или же это было здесь, еще, кажется, он уезжал. Первый ему о Наумове сказал я. Тогда он сделал такой жест (прикладывает руку к голове): «Да, это и мое желание, и императрица к нему очень хорошо относится. Это действительно уважаемый человек». Это было здесь, в Царском. После этого, в следующий доклад, когда я приезжал в ставку, он мне показывает письмо: «Вы тогда мне говорили о Наумове, а вот от Наумова отказ. Я поручил Горемыкину предложить ему это место, а Горемыкин приезжает и говорит, что он прислал ему письмо с отказом». Перед отъездом в ставку я интересовался — неужели Хрипунов назначен? Я спросил Наумова, было ли ему какое-нибудь предложение. Он говорит: «Избави меня бог от всего этого; позвал меня Горемыкин, сел ко мне почти спиной и так предложил. Раз мне было в такой форме предложено, этого довольно. Он сказал, что государь поручил это передать, но от себя — никаких слов приглашения. Тогда я, конечно, отказался». Я почувствовал из этих слов, что Наумов пошел бы, что это отказ неискренний, что форма предложения Горемыкина его не удовлетворила, хотя он и говорил: «Хорошо, что так вышло, я не принял бы эту должность». Когда я приехал в ставку, и бывший император подал мне это письмо с отказом Наумова, я ему сказал, что по моим сведениям Горемыкин к нему сел спиной; тогда он мне предложил вопрос: «Какой же выход из этого?» Я говорю: «Выход один — написать, что вы цените гораздо больше этот отказ, чем согласие, и что вы просто назначаете его». Он и написал, что самый этот отказ свидетельствует, что Наумов порядочный человек, раз не берет на себя это дело, и приказал назначить его, словом, положил какую-то определенную резолюцию, показал мне и положил в конверт. После этого Горемыкин взбесился и лез на стену, и доклад о Хрипунове свелся на-нет. Вот история назначения Наумова. Наумов первый составил план снабжения России продовольствием. Эту книгу я видел через месяц или через полтора после его назначения, но эта книга № 1, план № 1 сделали то, что мне казалось необходимым.

Председатель. — Вы сами пришли к мысли проводить Наумова, или эта мысль была подсказана Белецким?

Хвостов. — Нет, я сам лично. После этой поездки я сказал Белецкому о Наумове, зная, что они знакомы и советуются иногда по некоторым делам.

Председатель. — Скажите, а не было отрицательное отношение Наумова к Распутину известным препятствием к назначению Наумова?

Хвостов. — Нет, препятствия не было; но мне известно, что отрицательное отношение к Наумову безусловно было. Я и подбирал человечка такого, который был бы совершенно независим и на которого можно было бы опереться в совете министров по вопросу о роспуске и нероспуске Думы. Они могли мне все карты спутать. Моя цель была выдвинуться; как человек, примиривший Думу с правительством, на этом пройти, потому что я Думы не боялся, считал, что с ней легче, что другой такой Думы не будет. Таково было мое убеждение. Вдруг, в самый разгар моей политики мне Думу распустят!

Председатель. — Позвольте считать вопрос о Наумове законченным. В вашей жизни, как министра внутренних дел, было еще одно затруднение: князь Андроников, который проводил вас, стал требовать от вас платы за это, в форме назначений по министерству внутренних дел лиц, которые ему нравились, даже в такой форме, чтобы вы во всех назначениях по министерству с ним советовались?

Хвостов. — Таких общих требований он не предъявлял, но частично за тех или других лиц хлопотал, действительно.

Председатель. — Тут было назначение Петкевича?

Хвостов. — Он был против назначения Петкевича; затем он был против Шидловского, одним словом, против всех моих назначений.

Председатель. — Вам пришлось давать ему удовлетворение в некоторых назначениях?

Хвостов. — Весьма мало. Кое-какие назначения пришлось сделать по его просьбе, но крупных я все-таки отстоял. Тут не боязнь Андроникова, а просто потому, что Андроников поедет к Вырубовой, она скажет императрице, императрица императору, и на докладе я получу реприманд.

Председатель. — Это и есть боязнь.

Хвостов. — Это не боязнь. У меня отнимались работники, которые мне были нужны для дела. Например, так было с Климовичем. В один прекрасный день он не угодил Решетникову. Решетников жалуется Вырубовой, и я получаю приказание немедленно убрать Климовича из Москвы, где он был мне необходим. Я и теперь остаюсь при том мнении, что он был очень дельный градоначальник. Спорить было очень трудно. То же самое и с Петкевичем. Они пустили при дворе императора слух, что он пять раз менял веру и что он не может быть директором департамента духовных дел, когда он сам выкрест. Но мне Петкевич был важен потому, что он писал против прибалтийских немцев, мне этот проект казался необходимым. А император мне и говорит: «Это ваш выкрест написал?» Он сказал в шутливом тоне, но неприятно получить такой реприманд. Ну, и

скажешь Андроникову: «Что вы сплетничаете, оставьте вы Петкевича».

Председатель. — Пожалуйста, расскажите, как вы валили Барка и почему вы его валили?

Хвостов. — С Барком у меня были отвратительные отношения, он был назначен Манусом и вносил все те проекты, которые я в Думе называл «лисьими норами». Я еще раньше говорил в Думе против синдикатов, это было за год. Барк относился ко мне в высшей степени враждебно. До него доходили мои отзывы, до меня его, и, в конце концов, это переносилось в совет министров. Действительно, одно — когда министр финансов идет вам навстречу, другое — когда министр финансов в вашей политике вам препятствует.

Председатель. — Когда вы начали валить Барка?

Хвостов. — Во-первых, я лично валил его в Государственной Думе и потом, главным образом, под влиянием разных сведений, которые получались от разных лиц, между прочим, от Коковцова.

Председатель. — Но когда все-таки вы начали валить?

Хвостов. — Я думаю, в самом начале, после назначения, я начал против него итти.

Председатель. — И одной из причин, почему вы валили его, было, между прочим, и то, что он вам не давал денег, учинил вам неприятность с 5-ю миллионами?

Хвостов. — Я не знаю, какую неприятность?

Председатель. — А вы со Штюрмером хотели 5 миллионов получить на цели, известные бывшему императору.

Хвостов. — Я не знаю, какие он неприятности делал, я не осведомлен совершенно.

Председатель. — Вы помните тот эпизод, когда министры не хотели подписать журнала, вами и Штюрмером изготовленного?

Хвостов. — Это было без меня, я тогда не был министром.

Председатель. — Нет, вы были министром. Вы вспомните, там запротестовали Барк и Наумов.

Хвостов. — Я тогда не был; если вы посмотрите журнал, вы увидите. Я испрашивал общий кредит на словах, но потом, когда все оформилось, я не был в совете министров.

Председатель. — Значит, вы были только тогда, когда испрашивалось?

Хвостов. — Да, я испрашивал и говорил о необходимости ассигнования раньше.

Председатель. — А по журналу совета министров это проходило после вашего назначения?

Хвостов. — Может быть, я отсутствовал, или не ходил в совет министров, но я совершенно не помню этого инцидента; но с Барком у меня отношения были очень неважные с самого начала.

Председатель. — Ведь Барка отстаивали Андроников и Горемыкин?

Хвостов. — Да.

Председатель. — Какой у вас был ход против них, в связи с отстаиванием ими Барка?

Хвостов. — Против них было очень трудно действовать, потому что Горемыкин был за Барка, Андроников, ходами через Распутина, а также Белецкий — были за Барка.

Председатель. — Но какой же у вас был ход? У вас был ход, заключающийся в защите Андрониковым и Горемыкиным электрического общества 1886 года?

Хвостов. — Да, они защищали это общество. Это была моя давнишняя работа, я давно говорил против общества 1886 года.

Председатель. — В том смысле, что вы могли начать муссировать защиту Андрониковым и Горемыкиным немецких интересов и тем парализовать их борьбу против вас в защиту Барка?

Хвостов. — Я вел искренно эту борьбу с обществом 1886 года, когда был в Государственной Думе, и назначал таких представителей, которые тоже вели эту борьбу.

Председатель. — Вы были против Барка, но за кого вы были, кого вы вели?

Хвостов. — Я был за графа Татищева, с которым я не был знаком до назначения меня министром, но здесь мы познакомились. Так как я в технической стороне финансов профан, то мне хотелось иметь министром финансов человека, который бы был финансист и понимал бы так, как я, отношения к обществу, необходимость быть в хороших отношениях с Думой, иметь в руках прессу и общественное мнение. Ведь старые чиновники не признавали общественного мнения ни на грош, они говорили, что это вздор, а я говорил, что это большая сила, и потому мне хотелось иметь человека, который бы умел говорить.

Председатель. — Кто же вас познакомил с графом Татищевым?

Хвостов. — Граф сам приехал ко мне познакомиться.

Председатель. — По вашему вызову?

Хвостов. — Я не помню, может быть, я сказал своему двоюродному брату, который женат на его дочери.

Председатель. — Ивану Сергеевичу?

Хвостов. — Да. Или, может быть, сам граф. Я за давностью времени забыл, кто первый сказал, что хочет познакомиться. Он меня привел в полный восторг после разговора о финансах, и мне показалось, что это именно человек, знающий дело.

Председатель. — Ведь вы были только министром внутренних дел, отчего же все эти замещения постов осуществлялись как будто по вашей инициативе?

Хвостов. — Я не занимался только своим делом министра внутренних дел, потому что видел, что ничего нельзя сделать без сочувствия совета министров. Один министр без совета министров — нуль.

Председатель. — Этим и объясняется, что вы заботились о замещении других представителей подходящими с вашей точки зрения лицами?

Хвостов. — Я хотел, чтобы был полный контакт.

Председатель. — Чтобы иметь все в своих руках?

Хвостов. — Если бы я был председателем совета министров, тогда бы я, может быть, взял их в свои руки. Помню, раз привезли вместо хлеба арбузы. Я говорил: «Вам будет хлеб»; мне хотелось, чтобы народное настроение было за правительство во время войны, а вместо хлеба везут арбузы, благодаря бесхозяйственности. Нужны такие министры, которые бы вели совместно общий план. Мне граф Татищев казался в высшей степени талантливым и способным человеком. Может быть, с точки зрения финансов, это и не так, но, насколько хватало моего понимания, он мне казался человеком практики; он умел говорить, и был человек богатый.

Председатель. — Почему вам не удалось провести его?

Хвостов. — Потому что помешал Барк. Барк оказался сильнее, он действовал через Мануса.

Председатель. — А Манус через кого?

Хвостов. — Через того же Распутина. В это время у меня на Распутина не было прямого давления, посредниками были Белецкий и Комиссаров. Я мог действовать непосредственно только, когда захватишь императора одного. Например, Шаховской мне казался совершенно непригодным. Мне казалось необходимым разгрузить Петроград, а у него не было даже списка фабрик.

Председатель. — Погодите. Скажите, пожалуйста, какую вам неприятность причинил Андроников, когда он вдруг не захотел менять квартиру в доме графини Толстой, которая не хотела держать его в качестве квартиранта, и из этого вам пришлось сделать обязательное постановление?

Хвостов. — Это дело вел Белецкий.

Председатель. — Пожалуйста, расскажите вкратце.

Хвостов. — Графиня Толстая не захотела его держать.

Председатель. — А он захотел, чтобы вы ее заставили его держать?

Хвостов. — Он обращался к Белецкому. Я не знаю, было ли тут обязательное постановление военных властей, которые как-то подводили его под эту категорию.

Председатель. — Но вы приняли участие в издании этого обязательного постановления?

Хвостов. — Ездил и хлопотал Белецкий, я не помню, чтобы я принимал какое-нибудь участие. Я знал об этом, как о факте, через доклад Белецкого.

Председатель.—Когда вы проводили графа Татищева, помните, у вас было какое-то недоразумение с Андрониковым из-за того, что вы его о вашем намерении не предуведомили?

Хвостов. — Недоразумения никакого не было, просто Андроников действовал все время против.

Председатель. — Но вы, зная, что он против, его не предуведомили?

Хвостов. — Не предуведомил потому, что не считал нужным это делать через него, надеясь, что обойдется и без него. Затем, я хочу сказать относительно министра путей сообщения. Я был в ужасе от транспорта и сначала добивался сенаторской ревизии, а потом думал провести на пост министра путей сообщения Д. Нейдгардта. Сенаторской ревизии мне удалось добиться, но Нейдгардт не был назначен, был назначен Трепов.

Председатель. — Как случилось, что вместо того, чтобы вам быть председателем совета министров, был назначен Штюрмер?

Хвостов. — Все это было в руках Белецкого, Распутина и всей этой компании.

Председатель. — Но тут появилось еще новое лицо — Манасевич-Мануйлов?

Хвостов. — Манасевич-Мануйлов был все время. Белецкий им пользовался еще раньше, но он был на служебных ролях. Потом Манасевич прошел сам непосредственно, минуя Белецкого, к Распутину, и стал к нему ближе, чем Комиссаров, который был делегатом Белецкого. Тут Манасевич-Мануйлов стал проводить своего прежнего благодетеля Штюрмера и решили вместе — тут был Спиридович, может быть, Манус — как-нибудь не допустить меня до премьерства и вообще удалить, так как они увидели, что я слишком независим от всей этой компании: провожу Татищева, который был в полном подчинении, одним словом, начинаю сам проводить. Тут как раз было выступление с обществом 1886 года. Это и был перелом; они, кажется, воспользовались моим отсутствием, и назначили Штюрмера.

Председатель. — При чем устроили назначение Штюрмера несмотря на то, что кружок Штюрмера находился в постоянных сношениях с Горемыкиным?

Хвостов. — Это было очень ловко устроено, Штюрмер был сам у Горемыкина и усыплял его всякими словами, а они очень ловко провели Штюрмера, воспользовавшись моим отсутствием.

Председатель. — Меня интересует одна частная выдача по вашему распоряжению, а именно — Крупенскому 20 тысяч рублей. Вы делали такое распоряжение?

Хвостов. — Мне говорили, что была такая выдача.

Председатель. — Вы же скрепляли подписью все эти месячные выдачи? Эти 20 тысяч были выданы под видом устройства потребительской лавочки?

Хвостов. — Да, он просил на потребительскую лавочку, и ему было выдано. Но эти ведомости я скреплял без всякой проверки, а не то, что это было выдано по моему распоряжению. Это видно из того, что когда мы с Белецким пошли не на тайную, а на активную ссору, мое первое распоряжение было не выдавать из секретного фонда по его ордерам.

Председатель. — Это вы, конечно, сделали, чтобы оправдать себя? Но из ваших надписей я вижу обратное тому, что вы изволили сказать. Вы изволили сказать, что из факта вашего распоряжения видно, что это делалось без вашего назначения, а из ваших надписей на ведомостях видно, что «помещенные в сем отчете на известные мне назначения расходы произведены согласно моим указаниям». Вот что писал министр внутренних дел.

Хвостов. — Да, писал, но не проверял. Проверял Белецкий, в этом было его назначение.

Председатель. — Какие были условия его назначения?

Хвостов. — Что он ведет самостоятельно секретный фонд и секретные выдачи.

Председатель. — И вы подписывали, не зная, на что он расходует, например, выдачи на Распутина?

Хвостов. — О которых он говорил, я знал; о некоторых я не знал. Одним словом, он производил выдачи самостоятельно, я тут действовал на веру. А в тот момент, как я потерял эту веру, то-есть не потерял, я никогда не имел особой веры, но когда я увидел, что он повел борьбу против меня, когда мы рассорились в открытую, тогда, чтобы не усиливать его, я взял эти распоряжения в свои руки.

Председатель. — Не припомните ли вы относительно этих 20 тысяч Крупенскому; не сделали ли вы такого распоряжения, что под благовидным предлогом устройства этой лавочки, вы привлекаете Крупенского к освещению настроения Государственной Думы?

Хвостов. — Нет, просто выдавал на лавочку.

Председатель. — Может-быть, вы не припомните этого обстоятельства?

Хвостов. — Я утверждаю, что этого не говорил. Крупенский еще раньше, года три тому назад, вмешивался в дела Государственной Думы, всегда бегал к министрам, со всеми говорил.

Председатель. — Так что он был осветителем настроения раньше?

Хвостов. — Давным давно, просто для того, чтобы играть известную роль, он всегда там бегал. Потом он попался. Он участвовал во всех переговорах со всеми партиями, он всюду умел

прилаживаться. Эта выдача денег не была каким-нибудь наймом, чтобы он поступил как будто на службу. Я помню, что-то было, но именно на устройство лавочки.

Председатель. — Особый журнал совета министров об ассигновании кредита на неподлежащие оглашению надобности, который имеется в подлиннике, вопреки тому, что вы сказали несколько раньше, состоялся 26 января 1916 года и имеет вашу подпись, правда, последней.

Хвостов. — Это об испрошении. А я думал, что вы спрашиваете о том заседании, когда вышел скандал, когда Штюрмер объявил в совете министров, что ему ассигнованы эти суммы, а Поливанов запротестовал.

Председатель. — То заседание было 17 апреля 1916 года.

Хвостов. — Я слышал об этом заседании, в газетах были напечатаны речи.

Председатель. — Но все-таки, зачем вы со Штюрмером хотели получить эти 5 миллионов?

Хвостов. — Здесь мы переходим к делу, по которому я обвиняюсь. Дело было в том, что я еще раньше, до службы в министерстве внутренних дел, будучи губернатором, всегда интересовался выборами в Государственную Думу. При чем каждый раз, около этих выборов было очень много шума и, я позволю себе выразиться, клеветы, потому что думали, что я действую и буду действовать путем явного нарушения закона, как говорится, «пальцы режет, зубы рвет» . . .

Председатель. — Не только явного, но и тайного, может-быть, нарушения?

Хвостов. — Это было слишком преувеличено. И все-таки не понимали, каким способом мне это удается, потому что действительно по Вологодской губернии, при выборах в Думу, неожиданно прошли правые; правые прошли и по Нижегородской губернии при выборах в 4-ю Государственную Думу. При этих выборах я обращал внимание на прессу, всегда старался всячески исхлопотать у правительства те или другие суммы на ведение своей газеты, где ее не было; кроме газеты — на литературу, которая бы подготовляла известным образом общественное настроение. И каждый раз мне этот способ удавался, при чем все кидались на нарушения, которые, якобы, делались по выборам, но, в сущности, этих нарушений было весьма мало; главная сила была литература и общественная подготовка к выборам. Эти методы я вырабатывал даже, когда был в Государственной Думе.

Председатель. — Это не методы, а известное задание. Но как же вы шли к выполнению этого задания?

Хвостов. — Я думал об этом, составлял целый план, даже не будучи министром, вырабатывал, как сделать это без всякого давления, без явно крупных нарушений закона, чтобы усилить

такое настроение, открыть глаза массам, которые за существующий строй высказались при выборах.

Председатель. — Формулируем кратко, но точно, на какую надобность вы получили 1.300.000 рублей? Будем говорить сначала, для ясности, о первой сумме, о 980.000 рублей. На что вы их израсходовали?

Хвостов. — Я предполагал провести выборы в губерниях совершенно иным способом, чем они велись; у меня был отчасти выработан в голове план уже давно. Я думал, когда разрабатывал план, вести дело помимо административных давлений, помимо других вещей, которые уже невозможно было при новых выборах применять, потому что слишком уж много шуму Государственная Дума подняла. Наконец, слишком ясны были дефекты всех систем предшествовавших выборов; как провести выборы так, чтобы Дума была хотя немного лучше по отношению к правительству, к существовавшему строю, чем четвертая Дума? И вот тогда я составил себе план.

Председатель. — Какие же средства не административного давления и не явно преступные вы хотели употребить?

Хвостов. — Я хотел, как в области управления, так и в области подготовки, подготовить это рублем, а не дубьем.

Председатель. — Это вообще. Давайте говорить деловым языком; из области метафор перейдем к делу.

Хвостов. — Мне хотелось вещественно организовать огромное акционерное общество получастного, полуправительственного характера, то-есть для всего общества, для частных непосвященных лиц, это было бы огромное акционерное общество. А для лиц, посвященных на самом деле, — получастного характера, в которое были бы введены частью люди, необходимые министерству внутренних дел, частью различные люди из общества, уже привлеченные.

Председатель. — Позвольте ясно и отчетливо формулировать; вы хотели воздействовать на общество и на широкие народные круги путем печати, и ваш план заключался в создании акционерного общества с целью воздействия на печать. Каким способом хотели вы воздействовать на печать?

Хвостов. — Самым разносторонним образом. Во-первых, путем распространения газет не правого направления, явно правительственного, а газет партийных, разных противоправительственных направлений, с тем только, чтобы эти газеты говорили смягченным тоном, более мягко.

Председатель. — Вы хотели, значит, чтобы это общество распространяло противоправительственные мысли, но в смягченной форме?

Хвостов. — Нет, не противоправительственные мысли, не явно противоправительственные, но шедшие в уровень интересам правительства.

Председатель. — Значит, я повторил ваши слова и совершенно точно формулировал вашу мысль?

Хвостов. — Я объясню, я хочу более подробно сказать, как это было; не путем захвата в руки всех органов, если можно так выразиться, путем распространения печати, например, киосков, потом — все издательства книжные, телефонные сообщения, провинциальная печать, конторские объявления, кинематографы, кинематографические фабрики. Значит, с пяти или шести сторон, незаметным образом, взять в свои руки всю литературу и даже издания отдельных книг. Если обыкновенно считать, что у нас издательство дает, положим, 40 процентов...

Председатель. — Хорошо, погодите. Будем говорить кратко, но вразумительно. Вы таким образом исчерпали круг задач этого общества?

Хвостов. — Да, мне кажется, исчерпал. Это давно было; если бы устав у меня под рукою... Ведь, у вас он находится?

Председатель. — Создание этого общества, с этими именно целями, было вашим методом ведения предвыборной борьбы, и на это вы исходатайствовали 8.000.000 рублей?

Хвостов. — Да, приблизительно; я получил согласие на 8.000.000 рублей.

Председатель. — Слушаю-с. Теперь, скажите: в ноябре месяце вы, при помощи сношений с министром финансов, исхлопотали себе кредит на 1.500.000 рублей?

Хвостов. — Так.

Председатель. — В декабре месяце вы начали получать из 1.500.000 рублей и в течение декабря выбрали 980.000 рублей. На что же вы их употребили, в пределах этих целей?

Хвостов. — У меня уже заранее, так сказать, с начала октября, почти месяц все компановалось и обсуждалось. Были привлечены сотрудники, не в том смысле, как в департаменте полиции, а помощники; помощники отнюдь не из лиц, которые были по видимости со мною близки для того, чтобы были секретные помощники, и потом лица, которые были посвящены не в секретную часть, а только в деловую часть этого акционерного общества, и то не всего, а той или другой из отдельных отраслей. Это был только грубый план. Компания была далеко, и мне хотелось организовать акционерное общество и оставить его на весу, потому что туда могли войти лица совершенно нежелательные. Предлагалось выпустить акции этого общества. Акции могло получить лицо нежелательное.

Председатель. — Об этом не будем говорить. Давайте вести деловую беседу.

Хвостов. — Именно, я к этому и веду. Я говорю, раз общество не могло еще быть утверждено, не все было окончательно

готово для этого, то мне нужно было подготовить секретных или тайных деятелей, которые в качестве газеты или в качестве издательства вошли бы потом в это большое акционерное общество, захватили бы там раньше веревочку, если можно так выразиться, захватили бы власть раньше, чем войдут туда привходящие течения, не слишком заинтересованные обществом.

Председатель. — Совершенно не понимаю, что это значит?

Хвостов. — Это — секретные кадры. Если я пущу в ход акционерное общество, туда войдут либо газеты, либо издательства. Но мне нужно, чтобы в это акционерное общество вошли те издательства, которые работали.

Председатель. — Войти в акционерное общество, которое не существует, нельзя. Стало быть, если вы говорите, что ваша подготовка заключалась в том, что они входили в несуществующее общество, то вы говорите неделовым языком.

Хвостов. — Я вам совершенно не то сказал. Я говорю, что акционерное общество должно было быть, предположим, в феврале или марте. Раньше, чем его окончательно пустить гласно, нужно было негласно подготовить его участников.

Председатель. — Это значит трата на подготовку участников общества?

Хвостов. — Заинтересовать газетных сотрудников, заинтересовать газеты.

Председатель. — В чем?

Хвостов. — Заинтересовать в участии, чтобы они были наши, собственно говоря, правительственные; чтобы они потом шли в это акционерное общество, как правительственные работники. Например, купить ту или другую газету, приобрести то или другое издательство.

Председатель. — Какую же вы газету купили и какое издательство приобрели?

Хвостов. — Это вопрос, который я должен обойти молчанием.

Председатель. — Этого вам не придется сделать. Вы перед Комиссией, которая должна потребовать от вас ответа, по должности министра внутренних дел. Вы можете и могли тратить ваши деньги. Государь император мог тратить свои деньги. Но оба вы народные деньги без отчета тратить не могли. Вы должны дать отчет в трате народных денег. Это — не только ваша формальная обязанность, это — обязанность и моральная; ни через одну из этих обязанностей перешагнуть вам не удастся. Я требую у вас отчета, и вы этот отчет должны дать. Потрудитесь объяснить, на что вы тратили эти деньги?

Хвостов. — Я указал в общем, на что они тратились.

Председатель. — Простите, Алексей Николаевич, будем говорить, как деловые люди. Когда у человека спрашивают, на что он истратил миллион, а он отвечает на это: «я в общем сказал», —

это значит, что он не отвечает. Подумайте, какая и формальная и моральная вина ложится на вас с этим ответом.

Хвостов. — Я признаю, что на меня эта вина ложится, в смысле, так сказать, нарушения вашего права проверки. Но я не вижу, в чем тут вина, если мы действуем по уставу судопроизводства. Всякий обвиняемый имеет право не отвечать на те вопросы, которые считает невозможными.

Председатель. — Вы здесь не обвиняемый. Вы здесь бывший министр внутренних дел, который должен дать отчет в своих действиях.

Хвостов. — Но я уже привлечен в качестве обвиняемого.

Председатель. — Это дело следователя и вашего разговора с ним. Не угодно ли вам дать отчет перед Комиссией, требующей у вас объяснений в израсходовании этой суммы, 1.300.000 рублей?

Хвостов. — Да, я все сказал, больше прибавить не могу; называть поименно, кому я давал, не могу.

Председатель. — Почему?

Хвостов. — Вследствие того, что, на мой взгляд, вы при обратном допросе тоже не называли бы тех лиц.

Председатель. — В этом заключается ваш взгляд?

Хвостов. — Выдавать тех людей, а иногда целые издания, которые я покупал, мне претит.

Председатель. — Я не понимаю. Теперь торговли людьми не существует. Что значит покупали человека? На какое-нибудь действие?

Хвостов. — Ну да.

Председатель. — Каковы были действия этих людей?

Хвостов. — Человек вел какую-нибудь противоправительственную газету. Если он согласился за известную мзду войти в такое правительственное общество . . .

Председатель. — Которое не существовало?

Хвостов. — Но которое организовывалось, что ему было известно . . .

Председатель. — То-есть вы истратили 1.000.000 рублей на то, что люди, может быть, войдут или предполагают войти в это акционерное общество?

Хвостов. — Да, на то, что они войдут в это акционерное общество, за то, что они обещали стать правительственными даятелями. За то, что они вошли.

Председатель. — Как можно войти в общество, относительно которого вы сами изволили признать (и для этого у нас достаточно есть документов), что оно еще не существовало?

Хвостов. — Оно не существовало как гласное общество, но существовало как негласное. Кадры его были набраны, оттого я торопился.

Председатель. — Что же эти кадры делали?

Хвостов. — Кадры эти взяли на себя обязанность, будучи противоправительственными органами, отдать себя в полное распоряжение правительства.

Председатель. — Что значит: взяли на себя обязанность? Взять на себя обязанность не есть действие.

Хвостов. — То-есть они стали иначе писать, иначе действовать; стали подбираться, чтобы войти в это общество.

Председатель. — То-есть к чему они стали подбираться?

Хвостов. — Ни к чему не подбираться. Они стали подбирать такой состав работников, чтобы им было удобнее.

Председатель. — Что же, эти люди и эти органы печати существовали тогда?

Хвостов. — Они существовали тогда. Новых людей не изобретали и изданий новых не изобретали. Кинематографические разные заведения, киоски частью приобретались.

Председатель. — Что значит — приобретались киоски?

Хвостов. — Право торговли на разных железных дорогах приобретали заведомые агенты правительства.

Председатель. — У кого? У правительства?

Хвостов. — У железных дорог.

Председатель. — Но ведь железные дороги принадлежат правительству. Правительство в праве отдать тому или другому, а не третьему. Вы говорите, что давали большие деньги на то, чтобы они приобретали киоски?

Хвостов. — Есть частные железные дороги, не правительственные; деньги давали за то, чтобы Иван или Петр перешибал на торгах или так или иначе устраивал, чтобы в его распоряжении оказались киоски, чтобы он сделался арендатором киосков.

Председатель. — При этом, вы не можете назвать ни Ивана, ни Петра, ни Сидора?

Хвостов. — Я считаю, что раз я привлекаюсь в качестве обвиняемого по этому делу, то я пользуюсь своим правом, в качестве обвиняемого, считать, что с моей стороны правильно будет не называть, в виду того, что мне претит всякое предательство. Может быть, я ошибаюсь.

Председатель. — То-есть, вы организовали шайку преступников и называете предательством выдачу шайки этих преступников?

Хвостов. — Да, с точки зрения существующего строя, но с точки зрения того строя, которому я служил, это не были преступники.

Председатель. — То-есть вы ставите себя в такое положение: когда жандармский офицер последнего охранного отделения расходовал деньги на так называемых секретных сотрудников, то он представлял оправдательный документ; вы же, бывший министр

внутренних дел, ставите себя в положение худшее, чем последний из ваших бывших подчиненных, который все-таки отчитывался в этих деньгах.

Хвостов. — В каждой копейке я отчитывался неопровержимыми актами.

Председатель. — Какими вы неопровержимыми актами отчитывались?

Хвостов. — Я отчитывался отчетами, с представлением подлинных расписок.

Председатель. — Этих самых людей?

Хвостов. — Да.

Председатель. — Вы не чувствуете моральной потребности теперь, когда утверждаете, что эти расписки сожгли, дать указание для того, чтобы проверить, действительно ли вами были израсходованы деньги? Мы — люди взрослые, Алексей Николаевич, и вы не можете не понимать, что на вас таким образом падает подозрение даже не в денежной растрате, а в присвоении этих денег.

Хвостов. — Я знаю, на меня падает очень тяжелое подозрение.

Председатель. — И вы не склонились под тяжестью этого падающего подозрения?

Хвостов. — Не склонился потому, что, по моему убеждению, всю массу людей, которые, собственно, ничем особенно не виноваты, опять тащить сюда . . .

Председатель. — Если они не виноваты, почему же их не тащить сюда?

Хвостов. — Нет, с точки зрения теперешней они виноваты.

Председатель. — То-есть, с какой точки зрения они виноваты? Какой закон они нарушили?

Хвостов. — Тогда, по-моему, никакого.

Председатель. — Так что это не преступники с точки зрения закона?

Хвостов. — Да, закона того времени. А с точки зрения теперешнего — преступники.

Председатель. — Значит, это не формальные преступники, а моральные, так сказать, преступники?

Хвостов. — Я не знаю, как считают теперь, но знаю, что эти люди за деньги обязывались чем-нибудь служить правительству.

Председатель. — Если правда, что они обязывались за деньги служить правительству, теперь на карту ставится ваша честь, ибо на вас падает подозрение в корыстном преступлении; неправда ли? Вы не желаете, для того, чтобы снять с вас подозрение, чтобы была установлена правда относительно этих людей, которые, по вашим словам, за деньги собирались что-то сделать?

Хвостов. — В этом отношении я не хочу просто выдавать сорок или пятьдесят человек, которые несомненно пострадают.

Председатель. — В каком отношении пострадают?

Хвостов. — Их будут судить.

Председатель. — Вы сами только-что признали, что они никакого закона не нарушили.

Хвостов. — Теперь их будут судить с точки зрения теперешнего закона и всячески шельмовать.

Председатель. — Вы сказали, что с точки зрения существовавшего закона они не виноваты?

Хвостов. — Да, но с точки зрения теперешнего их будут шельмовать и будут судить.

Председатель. — Так что вы, по вашим словам, скрываете и укрываете представителей существовавшей тогда печати, которая согласилась за полученный от вас миллион, из которого, по вашим словам, у вас ничего не осталось, писать в пользу правительства, когда будет предвыборная агитация?

Хвостов. — Кроме представителей печати, еще и другие представители изданий, представители кинематографических предприятий и представители или арендаторы некоторых киосков.

Председатель. — И вы, министр внутренних дел, дали этим людям 1.000.000 рублей за эти будущие действия?

Хвостов. — За их обязательство действовать.

Председатель. — В будущем?

Хвостов. — Не столько в будущем, а за то, что в то время они начали действовать, а потом составили кадры, которые должны были стать хозяевами этого акционерного общества. Они составили такие кадры.

Председатель. — Это касается 980.000 рублей. Теперь, что вы изволили сделать с второй суммой — 320.000 рублей?

Хвостов. — Первые были направлены на партии средней руки, если можно так выразиться.

Председатель. — То-есть?

Хвостов. — Людей средних.

Председатель. — Так что, значит, этот миллион получили не крайние правые и не крайние левые, а средние?

Хвостов. — Ни крайние правые ни крайние левые.

Председатель. — А представители средних, буржуазных, скажем, либеральных течений?

Хвостов. — Различных течений там были.

Председатель. — Ну, а кто получил 320.000 рублей?

Хвостов. — Крайние левые, кроме большевиков, конечно, которые совершенно отрицают; во всяком случае, к выборному делу они прежде отрицательно относились. К выборам в Государственную Думу.

Председатель. — Никогда не слышал.

Хвостов. — Так мне казалось, что они отрицательно относятся. Во всяком случае, они не были.

Председатель. — Значит, вы подкупали не большевиков?

Хвостов. — А вот, частью правых, частью левых партий. Мне казалось, достаточно было взять . . . Тут, между прочим, велись переговоры, впоследствии осуществленные, о приобретении «Нового Времени»; в сущности, не приобретения, а влияния.

Председатель. — Мы спрашиваем не о том, что велись переговоры. Мы спрашиваем о том, куда вы истратили.

Хвостов. — Я хотел сказать, что сумма 980.000 рублей — не есть огромная сумма для 15 или 16 предприятий, если одно «Новое Время» обошлось в 800.000 рублей.

Председатель. — То-есть вы из этих 980.000 рублей дали?

Хвостов. — Нет.

Председатель. — Значит, вы, как пример, говорите?

Хвостов. — Я говорю, как пример; если для того, чтобы получить влияние на один орган печати, надо 800.000 рублей, то на 15 разных других органов расход этот является грошовой расценкой.

Председатель. — Вы сделали маленькое добавление к вопросу о том, куда изволили девать 980.000 рублей. Теперь, 320.000 рублей вы изволили истратить на крайних левых и на крайних правых, кроме большевиков?

Хвостов. — И кроме лиц, совершенно посторонних, которым были выданы из этого фонда несколько тысяч рублей; пять, шесть, восемь, я не помню; совершенно посторонним, там несколько человек получили. Мы имели разрешение выдавать из секретных фондов, когда не хватит. На переезд своему чиновнику, на его обзаведение, я не знаю. Главным образом, на воспитание детей и на переезды они были истрачены. Когда испросишь разрешение из секретного фонда, он скажет: «Конечно, выдайте». Из секретного фонда департамента полиции делались выдачи, например, Явленскому на представительство, в виду того, что жизнь в Могилеве дорога; так и тут выдавалось. Я помню, 1.000 рублей выдана была Ивановскому, человеку, обремененному семейством. Люди чуть ли с голоду не умирают. Говорят — выдайте из секретного фонда. Так и тут было, перед уходом; несколько тысяч было выдано бедным людям, которые очень нуждались. Но это — с разрешения свыше, которое заранее мне было дано.

Председатель. — Позвольте, эти деньги были вам даны на то, чтобы вы расходовали их на выборы в 5-ю Государственную Думу?

Хвостов. — Да, не очень определенно.

Председатель. — Теперь мы касаемся 320.000 рублей, которые вы израсходовали за январь или февраль, ибо 3 марта вы ушли. Кроме этих денег, у вас есть суммы в распоряжении департамента полиции и рептильный фонд. Целый ряд безотчетных сумм, которые не были израсходованы в течение двух месяцев. Какая же вам была нужда расходовать из сумм специального назначения, когда имеются другие суммы?

Хвостов. — Просто, перед моим уходом, оставалось несколько тысяч, которые я обещал людям. Я вспомнил, и в виду того, что те фонды перегружены известными выдачами благотворительного характера, было выдано несколько тысяч отсюда. Я вам с точностью могу переименовать людей, которым выдавалось из этих тысяч, так как это совершенно не касается цели выборов; я могу их переименовать совершенно свободно. Было выдано Ивановскому 1.000, чиновнику министерства внутренних дел Комиссарову, вице-губернатору, который тоже без всяких средств, было выдано на переезд, так как он жаловался, что проезд съел все его личные средства. Потом Федорову, одному вице-губернатору. Потом Ламзину, бывшему жандармскому офицеру, который очень бедствовал, и Каменеву.

Председатель. — Всем по тысяче?

Хвостов. — Этим было выдано по тысяче.

Председатель. — Теперь, куда девались 315.000 рублей в течение января и февраля?

Хвостов. — 315.000 рублей? Я могу сказать, что они были выданы вправо и влево.

Председатель. — То-есть как? Направо и налево выдавались?

Хвостов. — Нет, они выдавались как там — органам печати, газетным органам и издательствам, так тут было выдано налево около 200.000 рублей. Сейчас я вспомнить не могу. Приблизительно так, меньше, может быть, немного, а, может быть, такая же сумма и направо.

Председатель. — Направо — сто двадцать тысяч, а налево — двести тысяч?

Хвостов. — Меньше двухсот тысяч это было дано, я теперь вспомнить в точности не могу. Я говорю принципиально, что почти пополам, направо — немного меньше, налево — больше.

Председатель (показывает бумагу). — Это тот самый отчет, который вы изволили представить бывшему государю?

Хвостов. — Это — конспект при отчете; только не припомню в точности цифры.

Председатель. — Что называется конспектом к отчету?

Хвостов. — Делалось так: представлялся всеподданнейший доклад, к нему прикладывалась отчетность, подшивались расписки и т. д.; но так как трудно было копаться в этих расписках, то из них делались выборки, которые прикладывались, как конспект, к этому же отчету; суммировались отдельные расписки в общую сумму, ставилась общая цифра — сто пятьдесят — двести тысяч, сколько выходило.

Председатель. — Оглашается документ, который называется не конспектом, а отчетом по израсходованию 320 тысяч рублей за январь и февраль и который сверен в подлинности чиновником особых поручений V класса при министре внутренних дел Граве

и датирован 8 марта 1916 года. Документ гласит следующее: «Январь. 4 января, 1916 года, члену Государственной Думы Г. Г. Замысловскому на деятельность правых организаций — 50 тысяч, 20 января 1916 года — члену Государственной Думы Н. Е. Маркову на расходы по поддержанию правого дела 50 тысяч. Негласным сотрудникам за январь — 20.000. Февраль. 24 февраля 1916 года, в целях, известных правительству, члену Государственной Думы П. А. Барачу — 30.000 рублей. За январь и февраль, по делам по подготовке выборов и по направлению рабочего движения — 130.000 рублей. Б. В. Писаренкову для перевода орловскому губернатору Арапову, в целях, известных правительству,—15.000 рублей Выдачи отдельным лицам — 5 тысяч рублей. Наконец, негласным сотрудникам за февраль — 20.000 рублей». Таков был ваш конспект?

Хвостов. — Приблизительно конспект был такой.

Председатель. — То-есть, вы думаете, что Граве, состоя чиновником V класса, не смог даже сверить конспекта?

Хвостов. — Он мог ошибиться. Брать на себя всякую его строчку я не могу.

Председатель. — Вы изволили сказать, что эти деньги требовались на подготовку к выборам? Чем объясняется, что тут сказано: «На надобности правых организаций, на расходы по поддержанию «правого деал», то-есть, значит, на цели, которые ничего, непосредственно относящегося к выборам в Государственную Думу, не имеют?

Хвостов. — Нет, имеют непосредственную связь. Хотя я за давностью времени за это не ручаюсь, но думаю, что так.

Председатель. — Кто писал конспект?

Хвостов. — Это было предоставлено тому лицу, которое вело делопроизводство.

Председатель. — Кто же это лицо?

Хвостов. — Один из секретных сотрудников.

Председатель. — Но ведь он вел делопроизводство?

Хвостов. — Я сам не мог бегать по газетам, по издательствам и собирать. Это делало то лицо, которое вело переговоры о приобретении нужных нам издательств.

Председатель. — Вам лучше бы не говорить про это лицо, что оно бегало по газетам и издательствам, а сказать, что это делопроизводитель.

Хвостов. — В делопроизводстве нет ничего предосудительного. Я не мог поручить человеку, не связанному тайной, вести такое делопроизводство.

Председатель. — Так что у вас и канцелярия и делопроизводство были покрыты тайной?

Хвостов. — Конечно. Самое заглавие документа это показывает. Даже сказано: «На цели, известные верховной власти».

Председатель. — Но что же преступного в моральном или даже в положительном смысле делала эта канцелярия, что вы не можете открыть ни одного ее чина?

Хвостов. — Освещение таких документов, которых человек непосвященный не мог бы даже знать.

Председатель. — Канцелярия знает то, что он пишет, так что он не преступник ни морально ни формально.

Хвостов. — Я не мог ни одному человеку, не преступнику, с вашей точки зрения, открыть даже, что есть такой документ, как данный: «на цели, известные его величеству».

Председатель. — Так что у вас была законспирирована и вся канцелярия?

Хвостов. — Не вся канцелярия, а человек, который вел это делопроизводство.

Председатель. — Вы конспирируете лиц, но, может быть, помещение этой канцелярии вы не станете конспирировать и скажете, где она находилась?

Хвостов. — Это ясно.

Председатель. — Так что конспирируется и помещение. Теперь скажите — эти задачи, с вашей точки зрения, если не преступные, то безнравственные, делились на две группы. Одна — деньги для крайних левых, другая — для крайних правых. Чем объясняется, что крайних правых вы не конспирируете (здесь это есть), а крайних левых, кроме большевиков, вы законспирировали?

Хвостов. — Очень просто, — я мог сам передавать крайним правым.

Председатель. — Я интересуюсь тем, что было, а не тем, что могло быть.

Хвостов. — Крайним правым я передавал сам, а левым — давали через посредствующие инстанции.

Председатель. — Так что вы имели сотрудников, которые тоже имели сотрудников. И все они были — негласные лица?

Хвостов. — Несомненно. Теперь мне ставится в вину то, что в конспекте указывалась фамилия Замысловского. Он был допрошен, он отказался от этого, и мне это ставится особым пунктом обвинения; так что я не подтверждаю и не указываю, что это верно, что выдавалось Маркову, Барачу и Замысловскому. Теперь мне ставят в вину только Замысловского, а если откажется Марков — поставят Маркова, откажется Барач — поставят Барача.

Председатель. — Так что вы не утверждаете, что Замысловский, Марков и Барач получали по 50 тысяч?

Хвостов. — Я думаю, Комиссия в этом не сомневается.

Председатель. — Мыслей Комиссии вы не читайте.

Хвостов. — Признавая это, я беру на себя только лишний пункт обвинения.

Председатель. — Алексей Николаевич, щадя себя, чтобы лишних пунктов обвинения не получить, или щадя этих лиц, о которых вы так заботитесь, вы не говорите этого? С целями альтруистическими или эгоистическими?

Хвостов. — С теми и другими. С целями альтруистическими — по отношению к ним, и щадя себя. Мне поставили в вину, что я упомянул Замысловского. Разрешите мне сказать об юридической стороне вопроса.

Председатель. — Пожалуйста.

Хвостов. — Вы изволили сказать, что это затрагивает мою честь. С моей точки зрения, мою честь не затрагивает ни капли вопрос об израсходовании этих сумм. С моей точки зрения, моя честь вполне ограждена теми неопровергнутыми документами, которые здесь имеются.

Председатель. — Которых здесь не имеется.

Хвостов. — То-есть, которыми я считаю акты высочайшего утверждения этих отчетов императором.

Председатель. — Вы говорите о знаке, который, кажется, на бюрократическом языке называется знаком рассмотрения и является своего рода индульгенцией?

Хвостов. — Безусловно. Я это считаю знаком рассмотрения, оканчивающим дело; все выдачи и расходы этим знаком заканчивались. То, что написано, что это рассмотрено, показывает, что оно было рассмотрено и признано правильным. Если бы это был просто знак прочтения, то таких знаков было бы несколько, а на каждом всеподданнейшем докладе только раз бывает знак рассмотрения; этим заканчиваются, как вы изволите знать, многие дела.

Председатель. — То-есть знаком рассмотрения?

Хвостов. — Я называю этот знак рассмотрения — актом утверждения. Я считаю долгом сказать, что таких отчетов мною подавалось два: первый отчет подавался мною к 1 января. Мне сказали, что нужно к 1 января во всех суммах подавать отчет, и я считал необходимым подать и этот отчет, хотя нельзя применять к этим суммам общее правило. Способы контроля и отчетности устанавливались только признанием или непризнанием верховной властью, что отчет составлен правильно. В данном случае мною был подан этот отчет в тот момент, когда я стремился к власти председателя совета министров, и в конце декабря уже был близок к этому; только в январе произошли обстоятельства, которые этому помешали. Если взять психологически: первый мой отчет бывшему императору, до этого я никогда отчетов не подавал, я не знаю способов проверки, не знаю, будет ли поручено какому-нибудь адъютанту на выдержку проверить эти документы и материалы (тогда бывший император этим делом и всем построением этой акционерной компании интересовался); неужели в первом отчете я стал бы предъявлять подложные документы или дан-

ные без надлежащих расписок? Мне нужно было подать так, чтобы заслужить доверие для премьерства. Если считать меня человеком, способным обокрасть правительство и т. д., я бы мог обокрасть из третьего, четвертого или пятого миллиона, а не из первых 980 тысяч, которыми мне нужно было заслужить доверие, щегольнуть, так сказать, этой отчетностью. Второй отчет был представлен в момент, совершенно обратный первому, когда надо мною производилось следствие по делу Ржевского. У меня была отнята всякая власть, даже всякая возможность распоряжаться департаментом полиции. Манасевич-Мануйлов производил обо мне расследование. В этот момент, когда меня не принимали ко двору, когда меня искали, чтобы изобличить в убийстве, когда Распутин допрашивал свидетелей, когда жандармы вскрывали мои письма, когда жандармская полиция производила обыски у своего шефа, когда я был оставлен всеми и одинок, когда мне говорят, что я должен подать в отставку и представить доказательства правильности всех сумм, бывших у меня на руках, в этот момент я подаю второй отчет. Если бы я в этом втором отчете допустил хотя одну неправильность, хоть черточку неправильную, неужели Штюрмер, который возил этот отчет, который его контрассигнировал, то-есть писал, что он рассмотрен в его присутствии, — неужели же бы он не ухватился за малейшую черточку, за малейшую неправильность этого отчета? Я вчера обратил внимание судебного следователя и прошу также Комиссию обратить внимание даже на редакцию этого отчета. Может быть, вы разрешите посмотреть редакцию этого второго всеподданнейшего отчета? (Председатель показывает.) Он писался в такой тяжелый момент. Я не скрываю об этом отчете, — если бы было что-нибудь неправильное, так я хотел бы прошмыгнуть. Если на первом отчете нужно было заработать доверие правильностью его, то второй отчет должен был быть правильным из сознания, что надо мною производится следствие. К счастью, не я возил второй отчет. Если бы я возил, можно было бы сказать, что я околдовал, подсунул; но этот второй отчет возил Штюрмер, и при нем этот отчет просмотрен. Неужели же бы он повез обложку или конспект?

Председатель. — Он повез то, что называется отчетом, и то, что упоминается в этой бумаге. В той и в другой бумаге упоминается не о конспекте, но и не о документах, а упоминается об отчете, и та бумага, относительно 320.000, которая, по вашим же словам, была приложена, тоже называется отчетом.

Хвостов. — Я знаю, что подлинные расписки и вообще все подлинное, что было представлено по этому делу, представлено так же, как и конспект, который был вложен.

Председатель. — Я никогда не встречался в деловой работе с тем, что когда подается отчет, документы посылаются при каком-то конспекте.

Хвостов. — Конспект нужен, чтобы не рыться; подводится общий итог, даже в частном деле так делается.

Председатель. — Пишется не общий итог — 320 тысяч, а пишется до этого итог отчетов об израсходовании.

Хвостов. — Прикладывается при этом конспект. Почему такая форма? Почему государь поставил свой знак на этом? — Потому, что это — секретный документ и подлежит уничтожению, а другой остается оправдательным документом для лица, которому была ассигнована известная сумма. Раз мне было ассигновано 1.300.000, это является для меня оправдательным документом; что я их не взял себе, что они были израсходованы на нужды, известные его величеству, и его величеством было признано, что они израсходованы правильно.

Председатель. — Вы передали какие-нибудь суммы Штюрмеру, передавая ему должность министра внутренних дел?

Хвостов. — 200 тысяч. Я не взял из этого кредита 200 тысяч, которые остались неизрасходованными.

Председатель. — Тех вы и не взяли, потому не могли и передать; а то, что вы взяли и передали?

Хвостов. — То, что я взял, того я не передавал, а 200 тысяч я мог взять, но не взял, потому что они не понадобились, и зачем их брать и передавать Штюрмеру?

Иванов — При каком, вы говорите, приложении была эта препроводительная бумага?

Хвостов. — Был такой же лист, и в этот лист были вшиты расписки.

Иванов. — Это отчетность, а не отчет. Я хотел бы знать, что вы понимаете под словом отчет? Вы говорите, что представили на благовоззрение отчет, а оправдательные документы, это — отчетность. Подавая отчет, что вы прилагали?

Хвостов. — Конспект и оправдательные документы.

Иванов. — Значит, отчета не было, а была отчетность?

Хвостов. — Мы считали отчетностью.

Иванов. — Только оправдательные документы?

Хвостов. — Оправдательные документы, плюс конспект.

Иванов. — Я хочу себе уяснить. Ведь в отчете должно быть указано не только, кому было выдано, а и для какой цели было выдано. Расписка в получении не свидетельствует о том, для чего получено; я могу расписаться, что я получил от вас 50 тысяч, а на что получил?

Хвостов.—В расписках было указано на что, на какую работу.

Председатель. — На какую же работу там было написано?

Хвостов. — Для приобретения такой-то типографии, для такой-то надобности. — «Получил от министра внутренних дел такой-то, столько-то, для приобретения такой-то типографии» — такие были расписки.

Иванов. — Разве это сотрудники? Это — комиссионеры по приобретению. Вы говорили, что вы приобретали сотрудников или агентов, которые должны были войти участниками в акционерное общество?

Хвостов. — Они представляли расписки и отчет в выданных им суммах. Там приложены двойные расписки в получении, что получено ими от такого-то столько-то.

Иванов. — Все это сожжено?

Председатель. — Что же здесь показывается? — Что человек получил на приобретение типографии, скажем, 50 тысяч. Между тем, если бы вы признали, что, положим, Петр Петрович, получил 40 или 50 тысяч на приобретение типографии, то мы бы его спросили, где эта типография, или чтобы он отдал деньги, если ее нет; таким образом, деньги русского народа, в которых Россия так нуждается, были бы сохранены. Как в этом вашем примере обстоит дело с вашей идеей укрывательства этих лиц? Почему укрывать человека, который от вас получил 40 тысяч на типографию, и с которого мы могли бы потребовать эти 40 тысяч или типографию?

Хвостов. — Если имя этого человека таково, что он не должен входить в соприкосновение с министром внутренних дел, а он получил 40 тысяч на типографию.

Председатель. — Что это значит?

Хвостов. — Человек другого уклада, другой партии является к министру внутренних дел и говорит: — «Приобретите такую типографию». — «Для чего?» Оказывается, для специальных целей министерства внутренних дел.

Председатель. — Вы рассказывали нам, что вы искали отношений с Думой; вы неоднократно звонили Родзянке по телефону, вы хотели опираться на Думу, на людей средних общественных течений; отчего же вы, желающий опираться на Думу и общественность, вы, министр, позорите человека, которому дали деньги, чтобы он помог хорошему министру в его хорошей политике?

Хвостов. — Крупенскому было выдано на продовольственную лавочку 20 тысяч.

Председатель. — Ничего позорного тут нет. У нас имеется свидетельское показание лица, которое присутствовало при этом разговоре.

Хвостов. — Ему пришлось выйти из членов Государственной Думы.

Председатель. — Не за эти ваши 20 тысяч, а за многие другие деяния.

Хвостов. — Напечатано было, что постановлено исключать каждого, кто получил хоть копейку от правительства. Я безусловно считал этот документ актом утвержденным, который ставит меня в безопасное положение; но в это время Штюрмер был

назначен; между нами установились очень недоброжелательные отношения; он всегда ко мне недоброжелательно относился, и я тоже; но особенно это было — в момент следствия надо мною. В конце концов, отношения у нас сделались весьма натянутые, неприязненные до натянутости. Вот я и говорю причину, почему я уничтожил эти документы. Когда он приехал для того, чтобы я сдал ему должность, первое, что он потребовал, чтобы ни одного документа не оставить.

Председатель. — Это вы изволили сказать?

Хвостов. — Я думаю, он этого не отрицает. Тут пришлось вынимать различные документы из всех шкафов, какие у меня были. Некоторые он брал к себе, особенно о Распутине; главный интерес был к распутинским документам. Все это тут же сожглось, потом — перешли к этому вопросу.

Председатель. — Почему вы перешли к этому вопросу?

Хвостов. — Я считал долгом посвятить его. Он еще раньше был посвящен отчасти в план выборной кампании, но не подземной ее части, а надземной, то-есть именно идеи организации этого общества; при чем мною посылался один чиновник, Бафталовский, для того, чтобы посвятить его, чтобы хорошенько изложить и доказать ему правильность этого общества. Секретное тут было только одно — эти кадры тайные, которые должны были там действовать.

Председатель. — Простите, Алексей Николаевич; вы держите имена в секрете от нас — представителей новой власти; но какое же у вас было основание держать их в секрете от министра внутренних дел, которому вы сдавали должность, с которым вы, вероятно, выработали эту идею, который должен был, вероятно, продолжать это дело?

Хвостов. — Вот тут мы с ним говорили об этом. Мы сначала сговорились так, что обменяемся с ним. Первый акт, утвержденный, который я возил, он мне дает в подлиннике, а себе оставляет копию. Второй акт, утвержденный, который он возил (отчетность, которую я не возил, которая утверждена 5 марта, а я был до этого уволен), в подлиннике остается у него, а копия выдается мне. Он стал говорить, что мой проект ему не особенно подходит, что устраивать выборы через это акционерное общество ему не улыбается. — «Вообще я это рассмотрю, подумаю, как с этим быть и что из этого выйдет». Во всяком случае, план выборов я ему передал, весь этот проект. Теперь — настал момент относительно расписок. Каждый министр, покупавший тех или других людей, если он должен уйти со своего поста, как должен поступить? Эти люди, газеты или учреждения, они ведь, в сущности, продаются такому-то носителю власти лично; может-быть, они доверяют мне, как священнику на духу, какие-нибудь предприятия, лица, которых я так или иначе сумел добыть в свое распоряжение; могу ли

я спокойно и свободно передать их моему заместителю, обязан я или нет?

Председатель. — Так что вы эту живую собственность покупали на государственные деньги, кажется, даже не в собственность государства, а в свою личную собственность?

Хвостов. — Нет, я себе лично их не покупал, но я передал все, что касалось общего плана, Штюрмеру. Он посмотрел и сделал себе выписки того, что его интересовало. Он сделал себе некоторые выписки имен тех, кто был куплен; а что касается этих подлинных отчетов, он согласился вполне со мною (в тот момент, по крайней мере), что их можно сжечь, что я имею право, в его присутствии их сжечь. Он осмотрел некоторые списки, некоторые его заинтересовали, и он их себе выписал и, так сказать, имел в виду; потом мы решили сжечь отчетность, как уже использованную, дабы она не появилась как-нибудь в газете «Речь», что мы считали тогда опасным, потому что о выдаче из рептильного фонда за неделю перед этим там появилась заметка, что являлось крайне неприятным. Если неприятно появление заметок о выдачах из рептильного фонда, которым поддерживаются исключительно правые издания, то было бы еще неприятнее, если бы появилась заметка в той же газете из этой выписи; вероятно, это могло бы сделать подрыв всего, всех этих выборов.

Председатель. — Почему так близки были вашему сердцу левые и так холодны вы были к правым?

Хвостов. — Потому что с выдачах из рептильного фонда на газету «Земщина» всем было известно; это не составляло даже секрета.

Председатель. — Вы говорите, что это было бы еще с полбеды, но беда была бы, если бы появилась заметка о левых изданиях?

Хвостов. — Тогда сейчас же последовал бы полный крах всего этого дела.

Председатель. — Вы говорите, что Штюрмер мало интересовался этим делом?

Хвостов. — Мне так показалось. Он говорил, что пойдет другим путем; опираться на это акционерное общество он не желал. Он говорил, что есть другая система, нечего тут действовать через литературу, а нужно по старинной системе проще вести выборы: простым личным соглашением, а не путем отдельной газетной пропаганды и газетных влияний. Здесь мы с ним вместе порешили, самым определенным образом, с его согласия, что одновременно с теми документами будут сожжены и эти документы, как документы ушедшего министра внутренних дел, которые нового министра внутренних дел не касаются.

Председатель. — Я в первый раз слышу, чтобы при передаче должности жглись документы, которые уходящему министру каза-

лись имеющими значение и хранились, а министру, вновь вступающему, могут и не понадобиться.

Хвостов. — Это очень часто делается; одному министру кажется интересной одна сторона дела, другому — другая; главным образом, базировались мы на том, что эти документы, уже после утверждения государем, перестали быть документами; что это — просто приложения, которые могли бы понадобиться, если бы это подлежало контролю. Другое дело, если бы кто-нибудь в мире мог контролировать; но тогда никто не мог ожидать, что в этом отношении будет контроль. Закона никакого по этому поводу нет. Было чувство, которое заставило охранять их от напечатания. Нигде такого правила нет, чтобы они до такого-то времени сохранялись.

Председатель. — Так что Штюрмер согласился на то, чтобы их уничтожить?

Хвостов. — Он согласился уничтожить. Ему это совершенно не нужно было. Я должен доложить Комиссии, что так было поступлено с документами, касающимися выборов в предшествующую Государственную Думу. По крайней мере, в министерстве внутренних дел их не было; я спросил, желая видеть на примере, как это делается, к кому обращаться в таких случаях, и мне было объявлено, что все эти документы уничтожены. Раз уничтожил Столыпин. Может быть, они увезены были, я не знаю, но их не было в министерстве внутренних дел. Может быть, тоже не были оставлены в министерстве внутренних дел документы Макарова по выборам. Я считал, что, раз отчет получил утверждение государя, всякая такая расписка является моим оправдательным документом; я не знал после того, как было утверждено, сколько времени нужно хранить в министерстве — два года, три года.

Председатель. — Разве так трудно их хранить?

Хвостов. — Они могут попадать в печать, а документы — секретнейшие.

Председатель. — Если попадают документы о рептильном фонде, из которого выдают чиновникам, это другое дело; но Штюрмер, кажется, сотрудником «Речи» не состоял. Мы знаем, что дело Малиновского годами хранилось в департаменте полиции; вероятно, Штюрмер имел способ и возможность хранить их совершенно секретно?

Хвостов. — Но выборных дел нигде не хранили.

Председатель. — После выборов, когда выборы произведены?

Хвостов. — Если тот же самый министр, — обыкновенно так было. Столыпин вел выборы, и все при нем было закончено. При Макарове — то же самое закончено, поэтому они оставались; но я считал, что дела о выборах такая секретная вещь, что их необходимо уничтожить, после того как последует утверждение, несмотря на то, что такие дела, как дело Малиновского, оставались в делах департамента. Точно также относительно рептильного фонда:

после утверждения государем эти расписки рептильного фонда уничтожаются каждый год. Я не вижу никакой разницы.

Председатель. — За исключением той, что подобные списки лиц, получивших из рептильного фонда, сохранены и имеются в нашем распоряжении;, и относительно траты денег по Харузинским выборам — тоже сохранились.

Хвостов. — В министерстве внутренних дел их не было.

Председатель. — Переписка уничтожалась, а денежные документы хранились?

Хвостов. — Я не знаю; в министерстве внутренних дел денежных документов не было; очевидно, они были взяты Харузиным, я в министерстве их не нашел. Я бы был очень благодарен, если бы они были где-нибудь в министерстве.

Иванов. — Не будете ли любезны, все-таки, выяснить мне мое недоумение: предполагалось организовать акционерное общество на коммерческих началах, очевидно, предполагались акции и т. д. Вы изволили указывать на то, что выдавались деньги на приобретение типографий, киосков и т. д., то-есть имущества. Для меня неясно, каким образом, при передаче следующему за вами министру, который должен был продолжать дело, вы уничтожаете документы и, таким образом, лишаете возможности осуществить цель, к которой вы стремились?

Хвостов. — Я говорю, типографии не приобретались.

Председатель. — То-есть вы давали деньги на то, что он будет приобретать?

Хвостов. — Что он будет давать в распоряжение; что он продался.

Председатель. — Типография не есть нечто невесомое, это вещь совершенно реальная; будет ли это дело продолжаться Штюрмером или оно будет ликвидировано, все-таки она материально должна сохраниться.

Хвостов. — Я должен доложить, что не было такого договора, что типография икс приобретена со своими машинами, а хозяин типографии говорил так: если вы мне дадите 50 тысяч или 30, то я обязуюсь, что эта типография будет в распоряжении министерства внутренних дел, в случае, если министру внутренних дел понадобится.

Председатель. — Простите, у типографий нет направления. В одной и той же типографии печатаются в Петрограде «Земля и Воля» и издания правительствующего сената, также — «Новое Время» и «Новая Жизнь». О чем вы говорите?

Хвостов. — Те или другие издания выгнать вон, а эти наоборот — принять; одним словом, тут услуга, а не реально, что машины куплены или что-нибудь другое.

Иванов. — Значит, это было обязательство выполнить известную услугу. Все-таки, уничтожая расписку, вы этим лишаете воз-

можности воспользоваться услугой, и, значит, эти деньги пропадают.

Хвостов. — Дело было так, что Штюрмер сделал себе выписки того, что нужно; но он не мог шантажировать и сказать: «Ты будешь мне служить, потому что на тебя есть расписка». Вот, собственно, чего я не хотел, чтобы он мог это делать, и вот почему мне не хотелось, чтобы эти расписки у него в руках оставались. Мне казалось, что, собственно, сотрудничество в этом деле хорошо, когда оно добровольное, когда оно обеим сторонам выгодно, и той, которая купила, и той, которая продается; чтобы это не было так, как жандармы делали с человеком, который раз попался в силок и с которого берут расписку в получении 25 рублей...

Председатель. — И вы брали эти расписки?

Хвостов. — ...И потом этой распиской держат его в руках. Я расписку беру, как оправдательный документ, но как силок для моих сотрудников, она мне не нужна. Такой характер расписки мне претил, как капкан для всей дальнейшей жизни этих людей. Я у него брал расписку, как оправдательную, до той поры, пока она мне нужна. Я отсчитался, и совершенно достаточно. Я держу человека не в капкане, а у меня известные с ним отношения.

Ольденбург. — Значит, вы удостоверяете, что у бывшего председателя совета министров, вашего преемника, есть список, во всяком случае, был список всех тех лиц, которые выдали вам расписки?

Хвостов. — Нет, не всех; он выписал только нескольких.

Ольденбург. — Я не совсем улавливаю смысл. Ведь предполагалось, что эта политика будет так или иначе вестись дальше. В таком случае, ему нужно знать, к кому обращаться.

Хвостов. — Он не хотел вести политику в таком направлении. Потом, он себе для сведения выписал несколько фамилий.

Ольденбург. — Мне не совсем ясно одно, — если он не хотел вести эту политику, значит, он этим самым признавал, что известное количество сотен тысяч народных денег выброшено вон, потому что этими лицами и типографиями не предполагается воспользоваться?

Хвостов. — Он ясно и определенно не ставил; он говорил, что воспользуется, и некоторые выписал, другие не выписал; во всяком случае, он согласился и решил, что в той или другой мере воспользуется некоторыми выписками.

Ольденбург. — Но лишил себя возможности пользоваться целым рядом других?

Хвостов. — Пользоваться можно, имея известную расписку.

Ольденбург. — Как известно, у Штюрмера память не совсем надежная; он мог и забыть.

Хвостов. — Он и сделал себе выписки.

Ольденбург. — Значит, он может удостоверить, что у него есть расписки?

Хвостов. — Я не знаю, есть ли у него, но у него были выписки. После этого Штюрмер не возбуждал никакого дела. Я после этого видался с ним через неделю, через две, через три; по крайней мере, мне лично он не говорил и, кажется, перед бывшим императором не возбуждал.

Председатель. — Потому что над ним самим нужно было возбудить дело?

Хвостов. — Он совершенно спокойно относился. Я объясняю это тем, что у нас были отвратительные отношения.

Председатель. — Если он сделал выписки с тем, чтобы в случае надобности воспользоваться некоторыми лицами и стало быть, продолжать ваши деловые отношения, то каким образом, вы, по вашим словам, по соглашению с ним, лишили его возможности, при этих продолжающихся деловых отношениях, очевидно и денежных, зачесть суммы, в получении которых те лица выдали расписки?

Хвостов. — Не зачесть, а только шантажировать этими суммами он не мог.

Председатель. — Представьте себе, он записал несколько фамилий: Петрова, Сидорова; он продолжает с ними сношение, то-есть, значит, продолжает оплачивать их; каким образом вы лишили вашего преемника, который не исключал возможности продолжения деловых отношений, зачесть эти немалые суммы, этими лицами уже полученные?

Хвостов. — Может быть, ему не нужно было зачитывать.

Председатель. — Но, может быть, и нужно?

Хвостов. — Раз он согласился уничтожить документы, я не знаю, чем он руководствовался.

Председатель. — Согласившихся есть, по крайней мере, два лица. Почему он согласился — это мы спросим его; а почему вы согласились уничтожить расписки, удостоверяющие получения некоторых сумм лицами, с которыми ваш преемник, может быть, будет в известных деловых отношениях?

Хвостов. — Что же мне его опекать? Я не опекун, чтобы советовать то или другое. Моя цель была, чтобы не оставались эти расписки, чтобы он не мог шантажировать; во-вторых, в моих целях вовсе не было, чтобы он удачно продолжал свою политику. В моих целях, наоборот, было желание спутать ему все карты, если бы я мог, я спутал бы.

Председатель. — Почему вы не путали до конца? Почему, посвятив в одном, вы лишили его возможности зачета? То-есть вы наказывали, в сущности, не его, которому вы открыли план, а государство, которое через него должно будет переплатить.

Хвостов. — Если он пригласит кого-нибудь из находящихся в списке и если он согласится работать, Штюрмер знает, сколько он получает.

Председатель. — Из-за вашего недружелюбного отношения к Штюрмеру — вы наказывали государство.

Хвостов. — Я хотел, если он не согласится работать для Штюрмера, чтобы у Штюрмера не было бы бича, в форме этой расписки, или мертвой петли в лице этой расписки.

Председатель. — Этот человек знал о том, что министры, бывший и настоящий, сговорились уничтожить расписку?

Хвостов. — Нет, эти люди знали; им было объявлено мною.

Председатель. — Вы им сказали, что вы уничтожили эти расписки?

Хвостов. — Я им сказал, то-есть не всем и каждому, а тем, с кем имел дело. Когда стало известно о назначении Штюрмера, многие из них стали кидаться и метаться и поворить: «Неужели мы будем в руках Штюрмера?» Эти люди не хотели быть у него, так или иначе, в руках.

Ольденбург. — Меня очень смущает выражение, которые вы употребили два раза. Мы говорим о министрах внутренних дел; лица заключили договор с одним министром внутренних дел; если преемник этого министра имеет возможность заставить исполнить их то обязательство, которое они приняли перед его предшественником, вы называете такой поступок с его стороны шантажем. Меня это смущает, ибо мы говорим о министрах внутренних дел российского государства; я как-то никак не могу привыкнуть к такой терминологии.

Хвостов — Я извиняюсь за эту терминологию, но мне казалось тогда, что это есть шантаж и силок; то же, что человек, который с детства задолжает 25 рублей, даст расписку жандармскому полковнику, и его ведут всю жизнь этой распиской. Такая форма совершенно мне претила.

Ольденбург. — Но вы ведь заключили, с вашей точки зрения, для пользы российского государства договор с известными лицами. Ваш преемник мог разделять, по отношению к отдельным лицам, те же взгляды, которые имели вы, и желал продолжить это дело, а вы лишили его возможности держать всех этих людей в руках; это — деловые совершенно отношения. Представьте, они потом явятся и скажут: «Да никогда ничего подобного не происходило»; каким путем тогда он мог продолжить дело? Это были деньги народные, а не частные.

Хвостов. — В том, может быть, и была моя ошибка, что я поддался чувству раздражения. В это время надо мною следствие велось и бабами, и Распутиным, и всеми. Кто только не был тут! Если вы посмотрите дело Ржевского, вы увидите, как вели это следствие. Тут же был Штюрмер. Мне хотелось как можно меньше дать ему из своего детища. Чем меньше я могу дать, тем лучше.

*

Ольденбург. — Простите, вы были не А. Н. Хвостов, а министр внутренних дел. Я думаю, что вносить в государственные дела личные отношения совершенно невозможно.

Хвостов. — Тем не менее, личные отношения всегда действуют, и тут мы вошли в некоторое соглашение с ним. Я был рад, если человек не хочет и не нужно, — слава тебе, господи. Вот чем я руководствовался, и ещё тем, чтобы поменьше ему досталось, чтобы он не мог исполнить всего плана выборной кампании, который был мною разработан. Я не знаю, упоминал ли Александр Алексеевич о том разговоре, который у меня с ним был, когда он меня спросил об этом. Я только с ним говорил, потому что мы — родственники. Третьему или пятому министру внутренних дел я не счел себя обязанным передавать, раз мой преемник вошел в соглашение. Я прямо сказал, что сожалею, что это уничтожил, но я был в это время так раздражен, что готов был бы пойти в обратные партии и там вести выборы против правительства, а не за правительство. Он сказал, что это — измена и что он надеется, что изменником я не буду. Вот какой был у нас разговор. Настолько у нас были отношения скверные, что даже такое замечание меня не удержало, и я к члену Думы Маклакову прямо пришел и предложил дать сведения, какие только есть для борьбы со Штюрмером, не касаясь лично вверенных мне дел.

Председатель. — Когда вы имели разговор с Александром Алексеевичем?

Хвостов. — Незадолго перед его уходом, когда он спросил об этих документах.

Председатель. — То-есть значительно позже того, когда вы со Штюрмером сожгли эти документы?

Хвостов. — Да, это было позже.

Председатель. — Вы говорите, что сожгли в пику Штюрмеру, но вы жгли их вместе со Штюрмером?

Хвостов. — Да, вместе; я пользовался тем, что он согласился. Я не стал убеждать его, что это может пригодиться. Если наш разговор с А. А. был об измене, это указывает на степень моего душевного настроения. Спросите Маклакова, обращался ли я с предложением по делу Милюкова, с которым я был враждебен. Я даже готов был по делу Милюкова дать разъяснения, чтобы его удовлетворить, настолько я был подавлен всем совершившимся; я решил, что то, что я делаю в пользу правительства, я должен искупить тем, чтобы дать сведения Милюкову относительно Штюрмера.

Иванов. — Вы изволили сказать, что вы сожгли документы из боязни, чтобы Штюрмер не шантажировал этих лиц, чтобы не наложил на них мервую петлю и просто для того, чтобы он не мог воспользоваться этими расписками, заставить их выполнить эти обязательства, если бы он желал продолжать. Почему вы их

так щадили? Ведь можно было щадить их; если бы они были вами привлечены к какому-нибудь грязному делу.

Хвостов. — Рассматривая сейчас это противное, грязное дело...

Иванов. — Значит, был подкуп на грязное дело? Значит, министр внутренних дел подкупал людей для совершения грязных дел?

Хвостов. — Тогда мне это не казалось грязным делом: а теперь я говорю, что это грязное дело.

Иванов. — Я удовлетворен.

Председатель. — Какие у вас имеются данные в связи с речью Милюкова?

Хвостов. — У меня имелись тогда некоторые данные, которыми я тогда пользоваться не стал.

Председатель. — Изложите, пожалуйста.

Хвостов. — Ко мне пришел секретарь англо-русской палаты Савицкий и дал некоторые сведения. Тут был процесс Манасевича-Мануйлова. Кроме того, здесь был французский публицист, его фамилию я забыл, он вместе с Манасевичем-Мануйловым обделывал разные грязные дела. Этот самый французский публицист много знал о делах Манасевича и Штюрмера: как они организовывали агентуру во Франции, не то что агентуру, а газетную... Я теперь в точности не могу вспомнить. Василий Алексеевич сообщал все эти данные, но они, кажется, не понадобились для этого процесса; потом, как Манасевич-Мануйлов шантажировал самого Штюрмера; потом, как Штюрмер действовал в Ярославле, в качестве губернатора, и о его знакомстве с Манасевичем-Мануйловым.

Председатель. — Это называется — данные не против Штюрмера, а данные против Манасевича-Мануйлова, если он шантажировал Штюрмера.

Хвостов. — Тут они вместе разные вещи проделывали. Я имел еще несколько сведений, теперь не могу припомнить; но я помню, что предложил Василию Алексеевичу некоторые сведения. Я говорю это, как показатель настроения, что довели человека, который служил самым твердым образом тому правительству, травлей Штюрмера и Распутина до того, что он перешел к врагам, чтобы сказать: «Я пойду за вами, располагайте мною для будущих выборов». Ведь можно человека довести до всего. Затем еще один вопрос. В предъявленном мне обвинении, есть указание, что Протопопов, когда сделался министром, в один из первых своих докладов доложил, что у меня есть подложный документ и сказал: «Не надо возбуждать этого дела, будет скандал». Об этом будто записано со слов Протопопова Граве, или секретарем, под диктовку Протопопова, когда он возвращался из поездки в Царское или ставку. Эти данные я должен несколько осветить, они никакого серьезного значения иметь не могут. Протопопов вступил в долж-

ность после А. А., одновременно с делом Манасевича-Мануйлова. С Протопоповым я находился в высшей степени во враждебных отношениях, у него была мания преследования, ему казалось, что я преследую его какими-то документами, что я спрятал документ, отобранный при обыске у Добровольского, о его сношениях с Распутиным, о его близости к нему еще до назначения министром; ему казалось, что этот документ у меня. Кто ему сказал? Может быть, Белецкий. Повидимому, этот документ был сожжен во время общего сожжения, когда Штюрмер часть документов себе оставил и часть сжег; может быть, я изъял его в числе прочих, но я его с собой не брал, это я могу удостоверить; но Протопопов не мог мне этого простить и все время твердил, что этот документ у меня, что меня нужно обыскать, чтобы достать этот документ, что нужно назначить надзор полиции. Вот я и думаю, что он придрался к этому и доложил бывшему императору, чтобы получить право меня обыскать, чтобы поколебать меня в глазах императора. Тогда этот отчет Штюрмер сам возил. Как же он мог возбуждать вопрос о подложности отчета, когда он сам его утвердил? Протопопов, на основании этого, пишет, меня не спрашивая; и остается какая-то записочка в делах секретаря, чтобы дела не возбуждать, а надо мной установить надзор, так как я мог внести в Государственную Думу запрос (что я не собирался делать) о близких отношениях Протопопова с Распутиным, на основании письма, отнятого у Добровольского. Тут ясна как причина, так и подкладка этого доклада. Я был очень удивлен, когда говорилось о каком-то помиловании. Разве можно считать это помилованием? Так можно помиловать вас, меня, кого угодно. Одним словом, Протопопов что-то сказал Граве, который записал, и потом вдруг возник вопрос, что чуть ли не какое-то помилование состоялось.

Председатель. — Из того факта, который вы изволили передать, следует, что сам император, который писал этот знак рассмотрения, не считал эту историю законченной, потому что, по докладу Протопопова, он сделал распоряжение дела не возбуждать.

Хвостов. — Это ясно; раз есть оправдательный документ, поневоле сделаешь распоряжение не возбуждать. Мало ли было у Протопопова таких докладов, которые нужно не возбуждать, не потому, чтобы не возбуждать огласки, а потому, что нельзя возбуждать, когда есть юридические доказательства, что это неправда, и, по счастью, засвидетельствованная не мной, а Штюрмером.

Иванов. — Где поризводился этот акт сожжения?

Хвостов. — В служебном кабинете министерства внутренних дел.

Иванов. — К вам приехал Штюрмер?

Хвостов. — Да. Все распутинские дела были вынуты из ящика.

Иванов. — Жгли в камине?

Хвостов. — Да.

Иванов. — Кто еще был? Были сторожа?

Хвостов. — Нет, мы вдвоем были.

Председатель. — Алексей Николаевич, завтра будьте любезны зайти к г-ну судебному следователю.

LXVII.

ДОПРОС А. А. РЕЙНБОТА (РЕЗВОГО).

17 июля 1917 года.

Содержание: О московском «союзе истинно-русских» и его союзе с охранным отделением. О покушении на Витте и убийстве Иоллоса. О съезде союза русского народа. О провокации, в частности, о Жученко. Об аресте Фрумкиной. Вопрос о допустимости участия секретных сотрудников в организации убийства. Расследование покушения на Витте.

Председатель. — Анатолий Анатолиевич, вы изволили быть московским градоначальником по какое время?

Рейнбот. — Я был назначен в январе 1906 г. и был по конец ноября 1907 г. Я даже точно скажу число: я подал рапорт об отчислении 29 ноября 1907 г.

Председатель. — Мы имеем к вам два вопроса. Позвольте начать с более специального: что вам известно о прикосновенности или об участии московского охранного отделения и некоторых лиц, которые стояли во главе охранного отделения, — в деятельности «союза русского народа» и, в частности, в террористической деятельности этой организации?

Рейнбот. — Собственно говоря, о «союзе», как таковом, я не могу дать вам никаких указаний, в том смысле, что охранное отделение шло с ним в каком-нибудь контакте... Но до меня доходили слухи о том, что некоторые лица из московского «союза» якобы участвовали в охране лично меня, ген. Гершельмана, адмирала Дубасова. Затем я знаю, что он имел соприкосновение с петроградским союзом, с доктором Дубровиным, с фон-дер-Лауницом.. Затем являлся лично ко мне, кажется, Торопов и говорил: «Мы знаем такую-то бомбовую мастерскую...». Я на это говорил: «Отправляйтесь в охранное отделение, так как это меня не касается...». Могу сказать относительно гр. Буксгевдена, который состоял чиновником особых поручений при ген.-губернаторе, что он очень активно шел всегда за указанием различных сведений, за организацией охраны... Кроме того, я имел сведения об одном лице, именно о Богданове, который был впослед-

ствии убит на кладбище на Выборгской стороне и который состоял управляющим при гр. Буксгевдене. Затем, я слышал кое-что лично от гр. С. Ю. Витте, который, как вам, вероятно, не безызвестно, производил дознание частным образом о покушении, которое было произведено на него: так он говорил мне, что якобы Буксгевден замешан в эту историю... Потом — еще относительно Буксгевдена: когда был убит в Москве Иоллос, который был, кажется, членом редакции, то мною были получены сведения относительно того, что это организовано будто бы Богдановым, который служил у гр. Буксгевдена в качестве управляющего... Гр. Витте говорил, что этот Богданов был якобы секретным сотрудником охранного отделения петроградского, но не московского. Витте показал свою переписку со Столыпиным, по поводу покушения на него, и там эти фамилии фигурировали: Богданов и Буксгевден. Затем, сейчас мне вспоминается такой факт: когда было убийство Иоллоса, я был в Петрограде, и так как я всегда был страшный враг убийств — и справа и, конечно, слева — и так как мне казалось, что тут что-то неладное, то я сейчас же послал г-же Иоллос сочувственную телеграмму; а приехав в Москву, потребовал от начальника охранного отделения Климовича самого строжайшего расследования. Я очень интересовался этим делом и меня это страшно возмущало... На моей памяти было несколько таких фактов: убийство Герценштейна, покушение на гр. Витте, и, наконец, убийство Иоллоса... Я, может быть, несвязно рассказываю. но я это делаю, чтобы не забыть некоторые подробности... По делу Герценштейна мне пришлось производить некоторые расследования, так как сведения об убийстве появились накануне самого убийства. По этому делу было произведено дознание, и в департаменте полиции должен был сохраниться протокол этого дознания. Черновик же есть у меня дома и, если бы вам понадобилось, я бы мог его дать... У меня на этой почве со Столыпиным были очень крупные недоразумения и кончилось большой травлей. По этому вопросу мы с ним совсем разошлись.

Председатель. — Пожалуйста, изложите дело по существу...

Рейнбот. — Наблюдал за этим делом прокурор Арнольд. И тогда выяснилось, что Богданов жил по паспорту,—сейчас боюсь сказать, какому, но этот паспорт был получен в одном из пригородных участков, кажется, в Симоновском участке... Этот паспорт был передан в охранное отделение и из охранного отделения передан Богданову: в этот момент меня это нисколько не удивило, потому что иногда сотрудникам давали паспорта, а ему под его собственной фамилией было неудобно ездить... Я знаю, что прокурор Арнольд добивался узнать, каким образом этот паспорт попал в охранное отделение и, затем, как он попал к Богданову... Потом, когда получились сведения об убийстве Богданова, то, я помню, ко мне пришел Климович, очень взволнованный,

и говорит: «Я от вас не могу скрыть, что я лично этот паспорт передал»... Я спрашиваю: «Для чего же вы это сделали? Вы знаете, что это служащий Буксгевдена?» Он говорит: «Под его фамилией нельзя было, я и дал паспорт»... А взволновался он потому, что, кажется, в «Петроградской газете» появились сведения со всеми номерами телефонов, которые нашлись в кармане Богданова, и были секретные телефоны, которые могло получить только лицо, бывшее в соприкосновении с охранным отделением.. Тогда я Климовичу сказал: «Я требую, чтобы Арнольду было сообщено, каким образом все было, и если тут явится вопрос о каких-нибудь провокационных убийствах, то я, — имейте в виду, — вас не пощажу!»... Вскоре пришел вопрос из министерства, насколько справедливы сведения, которые появились в газетах? Была исповедь убийц Федорова. Я этим очень встревожился: все это составило картину — что что-то не ладно... Я доложил Гершельману. Гершельман рассердился и говорит: «Вы не понимаете!»... Я говорю: «Я покрывать не буду!»... В департаменте полиции должен быть мой рапорт: там должна быть моя собственная приписка, что, по-моему мнению, слухи, появившиеся в газетах, имеют основание... Тогда я лично докладывал Столыпину о необходимости расследования, — насколько здесь причастен или не причастен Буксгевден и компания...

Председатель. — Вы изволили уйти с поста московского градоначальника в ноябре. Что группа союза русского народа и, в частности, ее боевая дружина, существовали в момент вашего ухода?

Рейнбот. — Относительно боевой дружины я совершенно не знаю. Я слышал от фон-дер-Лауница, что у него в Петрограде была боевая дружина, якобы, на Путиловском заводе... Но я не допускал никаких боевых дружин и, если они существовали, то — в тайне от меня. Как я лично к этому относился? — я скажу: меня как-то зондировали, как я к этим убийствам отношусь и как, вообще, отношусь к убийствам справа... Я сказал, что в законе не предусмотрены ни правые, ни левые убийства, а предусмотрены просто убийства, и, следовательно, будет ли оно справа или слева, — оно совершенно одинаково карается законом! Кстати, в одной газетной заметке этот разговор приписывается Климовичу... Я не помню, с кем был, но могу утверждать, что это было не с Климовичем: он меня бы никогда не спросил! У меня был взят человек, который шел против провокаторских выступлений, Н. А. Макаров, который ушел из департамента полиции именно потому, что он совершенно разошелся с Рачковским по поводу его политики и по поводу погромных воззваний: я тогда переговорил с Дурново, и взял его, чтобы поставить розыскное дело в Москве без провокационных приемов. Категорически утверждаю, что мне неизвестно о существовании какой-нибудь боевой организации союза русского народа в Москве... Может быть, она суще-

ствовала, но я говорю: так как они знали мой взгляд, то они, может быть от меня скрывали. . .

Председатель. — Скажите, пожалуйста, ваша точка зрения по отношению к союзу русского народа была разделяема центром, т.-е. министерством внутренних дел, департаментом полиции и т. д.?

Рейнбот. — Как вам сказать? Как вам известно, я с Петром Аркадиевичем очень разошелся по многим взглядам — и именно, по поводу этих политических партий, — потому что я считал, что я не могу опираться ни на союз русского народа, ни на кого: я должен опираться только на закон! И ко мне из партии союза русского народа так же ходили, как ходили с.-р. или с.-д. Так что единственный только раз, я помню, мне пришлось несколько, собственно говоря, политиканствовать: это, когда вопрос шел о выборах в Гос. Думу (я, так сказать, отвечаю вам на вопрос). Мне пришлось по поручению П. А. составлять блок союза русского народа с октябристами и сводить у себя в доме двух представителей — союза русского народа и — октябристов. Вот единственно, собственно говоря, что было. . .

Председатель. — Т.-е. кого: А. И. Гучкова и. . ?

Рейнбот. — Если можно, я просил бы фамилий не называть. . .

Председатель. — Здесь их называют.

Рейнбот. — Мне не хотелось. . . Но, если требуется, я могу: протоиерей Восторгов и А. И. Гучков.

Председатель. — Второй вопрос заключается вот в чем: что вам известно о провокации?

Рейнбот. — Видите, относительно союза русского народа я помню очень характерный эпизод. Это было на Пасхе 1907 г. Был разрешон всероссийский съезд союза русского народа и одновременно, тогда же был разрешен (несмотря на мой личный протест против этого) Пироговский съезд: — как вам известно — два съезда, совершенно диаметрально - противоположных по своему политическому направлению! И вот, на этом съезде союза русского народа неистовствовал тогда Илиодор, который дошел, в конце-концов до того, что начал ругать губернаторов чуть ли не площадными словами. . . И лично мне пришлось вести большую борьбу с Гершельманом, чтобы не допустить каких-либо шествий со знаменами, потому что я считал — особенно в такие тревожные дни — такие шествия недопустимыми. . . Если допустить шествия союза русского народа, то отчего же не допустить и шествия других партий, которые тогда считались легальными? . . И тогда, со стороны Столыпина, была одобрена такая точка зрения, которая, правда, послужила порчею моих отношений с Гершельманом. . . Но Столыпин одобрил тогда мою точку зрения. . .

Председатель. — Что вам известно, по вашей должности московского градоначальника, — о провокации, о провокационных

убийствах, может быть, отчасти об Азефе и о точке зрения на провокацию департамента полиции и Столыпина?

Рейнбот. — Вот это такой... очень уж общий вопрос! Дело в том, что я могу только, так сказать, свои воспоминания по беседам со Столыпиным передать, относительно провокации, потому что лично мне на провокацию, собственно говоря, не пришлось так натолкнуться... Но мне было известно...

Председатель. — Позвольте, а разве вы не знаете Жученко? Ведь, Фрума Фрумкина на вас должна была покушаться, а ей кармам пришивала Жученко!..

Рейнбот. — Я хочу выяснить, что я понимал под провокацией. Я понимал под провокацией всегда вот что: например, одно время жандармские офицеры получали Владимирский крест за открытие типографий: и бывали случаи, — в лучшем виде! — что поставят типографию, сорганизуют, затем ее откроют и хвастаются, что они получили крест... Вот, как я считал, что такое, собственно, провокация... Но Жученко-Гернгросс была секретный сотрудник, шпион, которая доносила о готовящихся преступлениях...

Председатель. — Иногда доносила после совершения преступления, принимая при этом участие в его организации...

Рейнбот. — Лично мне она два раза сохранила жизнь от Фрумы Фрумкиной, — потому что Фрума Фрумкина, как известно, два раза на меня покушалась, а Жученко меня предупредила... Это я вам скажу сейчас. Было убийство в университете и ограбление университетской кассы. Так как я всегда на похоронах бывал, то поехал и сюда на похороны убитого (было убийство околоточного). Покушаться должны были на меня, — об этом сказал Климович. Об агентуре я не знал—не знал, что Жученко-Гернгросс была: обо всем этом я узнал впоследствии, когда ушел, что была такая агентура женская... Я знал: какая-то есть; а какая?—меня совершенно не касалось, потому что это дело совершенно охранного отделения... Фамилии никогда не говорили, потому что фамилии прямо сообщались департаменту полиции. Это первое покушение на мою жизнь. А второй раз, она же должна была покушаться на меня в театре. И то же самое: меня Климович предупредил, чтобы я в театр не ехал, что он собирается арестовать ее там, при входе (это был какой-то торжественный спектакль)... Действительно, она была арестована при входе...

Председатель. — Мы здесь установили такую точку зрения, что провокация есть участие секретного сотрудника в активных действиях, т.-е. в преступлении, и одновременное состояние его на службе в охранном отделении, при чем это действие его может сводиться к участию в партийной организации или в отдельных актах, например, террористических. Ведь, вам известно, может быть, post factum, что было довольно легко открыть покушение на вас Фрумы Фрумкиной, так как Жученко даже сама пришивала

Фрумкиной карман, куда револьвер клала, отправляя ее в театр, и т. д.

Рейнбот. — Я говорю: это узнал по докладу Климовича... Вообще охранное отделение знало, что готовится такое-то покушение, например, на Гершельмана, что получены сведения от агентуры о том, что должны приехать такие-то и такие лица...

Председатель. — И это покушение происходило, кажется, тоже с участием Жученко, во-первых, и при косвенном участии Азефа, во-вторых...

Рейнбот. — Я должен сказать, повторяю, что я не знал, какая агентура... Я знал, что они ходят на какие-то свидания (потому что на конспиративных квартирах были свидания) и что есть целая система шпионажа, целая система — как они называли — этих сотрудников, попросту, шпионажа... И Климович мне все докладывал сведения: что вот готовится, положим, покушение на такого-то, что он поставил наружное наблюдение, собирает сведения и т. д. И затем, — арест или предупреждение тем или иным способом этого преступления... Но, конечно, возможно, — и не только возможно, а это было не иначе как если эта Жученко сама участвовала в этой штуке! Относительно Азефа скажу, что во время пребывания моего градоначальником я о нем ни разу ничего не знал...

Председатель. — И вы не знали о существовании Азефа?

Рейнбот. — Совершенно не знал.

Председатель. — Т.-е. о существовании секретного сотрудника в боевом центре партии с.-р.?

Рейнбот. — Совершенно не знал об Азефе. Я впервые узнал из газет, когда был запрос в Думе... Вообще, я от этого дела старался держаться дальше, потому что это дело их — покупать себе шпионов... А какой то шпион был — я не интересовался... Только, когда докладывали, я всегда требовал от них, чтобы давались основания для того или другого ареста, потому что нельзя так себе арестовать.. Когда я приехал в Москву у меня сидело шесть тысяч, и когда я вызвал начальника охранного отделения, он мог поставить только скобку и написать: «по забастовке»! Нельзя держать людей под арестом за то, что они были — «по забастовке»... Я требовал: почему такой-то арестован?.. Но лично, кто из шпионов докладывал, я обыкновенно не знал. Я узнал об этой самой Жученко в самом конце службы в градоначальстве; а относительно Азефа, я повторяю, узнал только из газет, когда был запрос в Думе. Затем, позвольте еще: когда было покушение на меня на Тверской, то, должно быть, через неделю, через две, я из агентуры узнал, что покушение было при участии, кажется, Рысса. Потом, я знаю, этот самый Рысс покушался на Коттена в Париже...

Председатель. — И оказался сотрудником охранного отделения...

Рейнбот. — Он поехал на свидание к нему туда именно как сотрудник охранного отделения.

Председатель. — Т.-е. Коттен поехал к нему?

Рейнбот. — Когда он к нему поехал, тот на него покушался; вероятно, он был разоблачен партией, и вот, чтобы реабилитировать себя...

Председатель. — Но послушайте: перед вами, перед министром, перед департаментом полиции вставал вопрос о допустимости участия секретных сотрудников в самой организации убийства?

Рейнбот. — Безусловно, разговор был... Я лично сказал, что сотрудник участия ни в какой организации принимать не может. Это дело совести или, я бы сказал, вернее, дело его безнравственности — шпионить и доносить... Но допускать, чтобы он принимал участие!.. Я могу указать вам один факт, который, может быть, осветит перед вами мой личный взгляд на это дело. Был однажды вопрос относительно того, что один из сотрудников получил приказание перевезти бомбы...И вот был приказ тогда как-нибудь его отстранить, чтобы не было обвинения в том, что сотрудник участвует в подготовке убийства. Я не помню, это было покушение на какого-то губернатора...

Председатель. — Это, кажется, на Гершельмана...

Рейнбот. — Только не на Гершельмана: это куда-то в провинцию из центрального комитета, из Москвы, — куда-то везли бомбы, — так, я помню, Климович докладывал... Я говорю: «Пожалуйста, устройте так, чтобы сотрудник не участвовал!»...— Я считал, что сотрудник не может участвовать...

Председатель. — Вы не можете вспомнить из ваших докладов Столыпину что-либо, относящееся к этого рода политике?

Рейнбот. — Относительно Столыпина... Я знаю, он был недоволен моим взглядом на дело Иоллоса — это раз (я требовал, во что бы то ни стало дело вести самым энергичным образом, т.-е. расследование)... Затем, по поводу покушения на гр. Витте: Столыпин говорил таким образом, что Витте — сам на себя устроил...

Председатель. — А вы какое к этому имели отношение?

Рейнбот. — А просто шел разговор, что будто какой-то москвич участвует в этом деле, — что будто Богданов участвует там... Вот почему я и говорил со Столыпиным: я имел сведения, что будто Богданов участвует в этом деле... И потом, Витте на свой счет устроил расследование (это расследование вел Мануйлов). Когда они дошли до фамилии Богданова, я через Витте узнал об этой фамилии и говорил с Петром Аркадьевичем, — что это, собственно говоря, недопустимая вещь... Но мне сказали, что

я не понимаю, потому что тогда следователь точно установил, что это сделал сам гр. Витте...

Председатель. — Вы не знаете, где теперь находится гр. Буксгевден?

Рейнбот. — Нет, не имею сведений...

Председатель. — Вы не помните его имя, отчество?

Рейнбот. — Нет, не помню.

Председатель. — В пределах этих общих вопросов вы сами, может быть, вспомните что-либо, сюда относящееся? ..

Рейнбот. — Знаете: так трудно! — целый громадный период был...

Родичев. — Вы называли фамилию убитого Богданова, и говорили, что ему был дан паспорт. Сколько я помню, здесь в Петрограде произносилась фамилия Казанцева. Может быт, я путаю фамилии? Но помните, здесь, в Петрограде, Казанцев найден был? Я этот вопрос задал с тем, что, может быть, настоящая фамилия убитого была Богданов, а паспорт был ему выдан московским охранным отделением с фамилией Казанцева...

Рейнбот. — Я не могу точно ответить... Если бы я был предупрежден, я бы подготовил материал. Я только могу предложить сейчас Комиссии, что, если ей будет угодно, то у меня остались черновики в Москве, — и я могу вам их доставить...

Председатель. — Я прошу вас, если можно, доставить нам два документа: протокол дознания об убийстве Иоллоса и рапорт ваш с вашей заметкой.

Рейнбот. — Да! например, относительно Герценштейна: тогда была возмутительная вещь... Появились сведения накануне убийства в газетах, и я поручил производство этого расследования не охранному отделению, а поручил непосредственно Макарову. Макаров являлся в роли следователя, а я — наблюдающего за следствием...

Председатель. — А что вас заставило так сделать?

Рейнбот. — До меня доходили слухи, что тут далеко не ладно...

Председатель. — В смысле охранного отделения?

Рейнбот. — Нет, не в смысле охранного отделения, а в смысле того, чтобы не было, как тогда, — помните? погромные воззвания Комиссарова... Мне хотелось искоренить это в Москве. Тогда вызывался Оловянников, и пришлось его, в конце концов, одного допросить... (Оловянников был редактором газеты «Вече».) И он тогда признался, что у них намечен целый ряд лиц к убийству... Я обо всем сейчас же сообщил Петру Аркадьевичу.

Председатель. — На этом мы сегодня кончим.

LXVIII.

ПОКАЗАНИЯ КН. В. М. ВОЛКОНСКОГО.

19 июля 1917 года.

Содержание: Изменение отношений правительства и общества впродолжении войны. Недоверие. Две группировки. «Темные силы», их влияние на отношение правительства к Государственной Думе. Политика Маклакова. Горемыкин и роспуск Государственной Думы 6 сентября 1915 года. Образование блока. Отношение правительства к повышенному настроению Думы. Марков 2-й и Коковцов. Обструкция левых и ее последствия. Назначение кн. Волконского товарищем министра внутренних дел. Мотивы этого назначения. Отставка министра внутренних дел кн. Щербатова и назначение А. Н. Хвостова. Влияние Распутина. Белецкий. Макаров. Замена Горемыкина Штюрмером. Быстрые и необъяснимые смены в кабинете. Министры внутренних дел. Протопопов. Влияние Государственной Думы на смену министров. Трепов, Добровольский, Голицын. Уход кн. Волконского. Дело Драгомирецкого. История чиновника Петрова. Беженцы и циркуляр А. Н. Хвостова. Миллион казенных денег.

Председатель. — Князь Владимир Михайлович, вы уже давали свои показания в начале работ Комиссии. Тогда ваши показания касались, главным образом, Протопопова. Теперь, по ходу наших работ, мы хотели бы услышать от вас об общей политике правительства с начала войны, о смене направлений в связи со сменами определенных лиц, т.-е. обо всем, что вам было известно, не только как товарищу министра, но и как члену Государственной Думы и товарищу председателя Думы. Нас интересуют не политические мелочи, а основные черты политики, как ломалась эта политика, что изменялось в ее линии в связи с переменой лиц в кабинете?

Кн. Волконский. — В самом начале объявления войны, как всем известно, настроение правительства и общества, выражавшееся в речах и отношениях к Государственной Думе, было совершенно одинаковое. Затем начались тревоги в обществе и Государственной Думе по поводу снабжения и снаряжения армии. Правительство отвечало определенно, что эти тревоги ни на чем не основаны, что все имеется. Тогда был председателем совета

министров Горемыкин. По мере роста тревоги запросы Государственной Думы становились более резкими, более настойчивыми. Ответы продолжали получаться утешительные, но первоначального успокоительного впечатления они уже не производили, ибо недоверие уже поселилось в обществе.

Председатель. — В думских заседаниях и вне заседаний вам приходилось иметь дело не только с военным министром (тогда Сухомлиновым), но и с другими членами министерства. Скажите, пожалуйста, они тоже поддерживали успокоительную политику Сухомлинова?

Кн. Волконский. — Позвольте сообщить вам по этому поводу следующее: мне лично никогда не приходилось говорить с Сухомлиновым о военных делах. У нас был только один разговор по одному частному назначению, и еще один, который на меня никакого впечатления не произвел. В то время я уже не был товарищем председателя Государственной Думы, так что официальных разговоров с министрами мне иметь не приходилось. Чтобы быть совсем точным, я должен сказать, что несколько раз говорил с Кривошеиным. На втором, по-моему, году войны Кривошеин уже выражал некоторое опасение, но только в совершенно частных разговорах. Больше ни с кем говорить не приходилось. Позднее я говорил уже с отдельными министрами, но не о специально военных делах, а о внутренней политике вообще.

Председатель. — Итак, вы помните, что приблизительно через год после начала войны сложились две группировки в министерстве?

Кн. Волконский. — Да, я считаю, что Кривошеин был совершенно определенным отголоском общества.

Председатель. — Но вы заметили, что эти группировки различались — одна спокойным, а другая неспокойным отношением к войне?

Кн. Волконский. — Как вообще в то время: одни находили, что все есть, и нападки преувеличены; другие считали нужным прислушиваться к тому, что говорит общество, и разделять его тревоги. К этой второй группе, составляющей оппозицию правительства, относился Кривошеин, Игнатьев и, думаю, хотя наверное сказать не могу, некоторое время Н. Н. Покровский.

Председатель. — Значит признак разного отношения к войне был одним из признаков различия между группами в совете министров?

Кн. Волконский. — Да, общее впечатление у меня такое было, но трудно, очень трудно строго разграничивать.

Председатель. — Скажите, в первый год войны вам не приходилось беседовать с министром внутренних дел Маклаковым по поводу отношения его к войне?

Кн. Волконский. — Никак нет. Если не ошибаюсь, я разговаривал с ним в последний раз, когда он был назначен министром.

Я был в то время товарищем председателя Государственной Думы. По моему прежнему знакомству, по Тамбову, где он служил чиновником казенной палаты, я заехал к нему перед открытием сессии: я знал, что для него Государственная Дума — полная неизвестность, и хотел, по старому знакомству, переговорить с ним о некоторых делах. Но со второго раза я уже не возобновлял разговора, а затем вскоре прекратил всякое с ним сношение. Виделись мы в течение какого-нибудь месяца.

Председатель. — Можно сказать, что с первых шагов не только существования Думы, но даже с первых моментов войны вам приходилось в Государственной Думе учитывать те безответственные влияния, которые впоследствии формулировались как влияние темных сил.

Кн. Волконский. — Я шесть лет был товарищем председателя Государственной Думы, затем товарищем министра, но на себе этих темных сил никогда не испытал. Позвольте вам повторить то, что я уже сказал: ни знаменитого Григория, ни знаменитого Андроникова, ни всей этой клики я никогда не видел. Андроникова если, как говорят, я где-то и видел, то с ним знаком не был, слава богу. Григория, этого самого Распутина, никогда не видел; телефонов от него никогда не имел и никому не позволил показать мне записки. Я имею определенное убеждение, что об этих темных силах говорили слишком много, что там наверху они не пользовались тем влиянием, которое им приписывали; но что ими пользовались и их провоцировали, это для меня совершенно ясно.

Председатель. — Я задаю вам этот вопрос не в личном смысле: мне ваши показания известны, и Комиссия вас знает, но, задавая этот вопрос, я желаю знать, не приходилось ли вам в Государственной Думе, поскольку она встречалась с работой правительства, учитывать влияния этих темных сил на деятельность правительства?

Кн. Волконский. — За восемь лет моего пребывания в Государственной Думе я ни разу не встретился ни с одним фактом, о котором я мог бы сказать, что тут играют роль темные подпольные силы. Мне никогда не пришлось встретить ни одного члена Государственной Думы, о котором я лично мог бы что-нибудь подобное сказать.

Председатель. — Ну, а в том, как относилось к Думе правительство, вы не замечали влияния темных сил? Нас интересует собственно это.

Кн. Волконский. — Об этом я что-то слышал после, но опять-таки «что-то», т.-е. слухи какой-то, «городские разговоры». Говорили, что, в конце концов, эти силы сыграли роль в смысле перемены отношений некоторых правительственных лиц к Думе.

Председатель. — Т.-е. вы имеете в виду кого из правительственных лиц?

Кн. Волконский. — Я наверное не знаю, но называли Протопопова, Алексея Хвостова и Штюрмера; это и в моих показаниях имеется.

Председатель. — Скажите, пожалуйста, как вы можете охарактеризовать политику Н. А. Маклакова по отношению к Думе за время его управления министерством?

Кн. Волконский. — Детски необдуманной и даже вредной. Это человек, который не имел никакого понятия о том, что такое Государственная Дума, также и о государственном деле, о значении государственного своего поста имел самое детское понимание.

Председатель. — Вам не пришлось в вашей думской работе наблюдать и констатировать тот раскол, который обнаружился в министерстве, когда некоторые лица кабинета, в том числе и Маклаков, повели политику по основным вопросам момента за пределами совета министров?

Кн. Волконский. — Лично я этого констатировать не могу, но я об этом слышал безусловно, — и Маклаков на это способен.

Председатель. — Теперь мы уже многое знаем по документам. Но нам интересно знать, что вы с вашего поста тогда замечали?

Кн. Волконский. — Я думаю, что Маклаков за спиною совета министров делал «доклады» или, вернее, освещал вопросы не так, как это было нужно. Я не знаю, какую сторону он освещал, но допускаю, что вне совета министров подобное освещение было.

Председатель. — Прямых жалоб на это со стороны членов кабинета вам не приходилось слышать?

Кн. Волконский. — Да, приходилось, от Кривошеина.

Председатель. — Князь, под каким знаменем шла политика Горемыкина с самого начала, когда он принял пост от Коковцова, и в первый год войны?

Кн. Волконский. — С одной стороны, совершенная неприспособленность к тому строю, который был, т.-е. к Думе и к реформированному государственному совету, а с другой стороны — безусловное желание добра стране, при полном непонимании того, что кругом делается, полное незнание Думы, полное незнание, с какой стороны к ней подойти, и какая-то вообще непривычка говорить человеческим языком с Думой.

Председатель. — Желание добра стране через народное представительство или без народного представительства — лучше, чем с народным представительством?

Кн. Волконский. — Нет, в частных беседах я не слышал от Горемыкина ни одного слова о том, что нужно уничтожить Государственную Думу, этого я никогда не слышал.

Председатель. — Но в их действиях это сказывалось?

*

Кн. Волконский. — От Горемыкина я никогда не видел никаких явных шагов. Правда, была сделана одна крупнейшая политическая и государственная ошибка, это — знаменитый роспуск Государственной Думы. Помню, я даже сказал тогда его сыну: «Передайте, что больше и вреднее этой государственной ошибки ничего быть не может. Это мое мнение». Но это делалось не в укор и не в пику, не из желания сделать вред стране.

Председатель. — Не было желания сделать вред, я с этим не спорю, но в этот момент благо России понималось именно в том, чтобы отделаться от Думы и от народного представительства?

Кн. Волконский. — Может быть, он желал распустить Думу на короткий срок, опасаясь, что Дума не примет того или иного государственного акта, безусловно необходимого с его точки зрения.

Родичев. — Князь, вы помните, что этот роспуск совпал с отъездом государя в ставку в качестве главнокомандующего и с отставкой кн. Щербатова и Кривошеина? В какой же мере этот роспуск связан с образованием блока, в который вошли и некоторые члены государственного совета? Вы помните, в августе в Государственной Думе образовался блок и наметил программу частей министерства? Я думаю, роспуск Думы имел несомненную связь с составлением этого блока: вы составили блок, а мы вас за это распустим.

Кн. Волконский. — Нет, я этого не думаю. По крайней мере, в памяти не осталось по этому поводу никаких подозрений.

Председатель. — Князь, позволю себе спросить, чем по вашему мнению объясняется, что в момент разрухи, отступления из Галиции, смены министерства (здесь уступка), образования блока, в такой момент вдруг роспуск Думы? Вам с вашего поста не представлялось, что в роспуске Думы Горемыкин выразил, как вы говорите, «желание принести благо стране», но принести его своеобразным путем, путем без Думы?

Кн. Волконский. — А, нет, я не могу сказать, чтобы у Горемыкина была цель создавать благо страны без Думы. Я категорически заявляю, что после Столыпина (когда все-таки большинство правительства сознавало, что такое Государственная Дума, и, по-моему, шло правильным путем), после этого периода, у нас, в правительстве, понимание представительного строя было совершенно неудовлетворительно. Совершенно не понимали и не знали ни земской России, ни Государственной Думы, и свыкнуться с этим не могли. По поему мнению, против Государственной Думы была какая-то затаенная обида: «Ах, что-то у нас отняли». Это непонимание и создавало все последующие неправильности.

Председатель. — Так что вы отмечаете резкое понижение государственного смысла тогдашнего кабинета?

Кн. Волконский. — Безусловно.

Председатель. — Вы изволили сказать, что может быть роспуск Думы объяснялся желанием Горемыкина издать новый государственный акт. Если это так, то где же этот государственный акт и точно ли он его издал, распустив Думу до февраля месяца следующего года?

Кн. Волконский. — Как мне помнится, нет такого акта, но может быть у него в голове что-нибудь было. Я думаю, что все мы, бывшие в Думе, помним, как обыкновенно к известному периоду настроение повышалось. Разговоры становились резче, многие фразы звучали с кафедры чрезвычайно резко. Правительство к этому времени всегда начинало нервничать, начинались переговоры с председателем, с фракциями: «Пожалуйста, нельзя ли как-нибудь потише», — и затем Дума доходила в своем повышенном настроении до известного пункта, который нужно было терпеливо переждать; потом шло на понижение, и затем начинались деловые заседания. Тут-то правительство Горемыкина, не учтя момента, испугалось и распустило Думу, повысив настроение в стране.

Председатель. — Вы были товарищем председателя в какой период?

Кн. Волконский. — Я был все пять лет 3-й Думы и первый год 4-й Думы, всего шесть лет.

Председатель. — Первый год 4-й Думы, значит, с 1912 по 1913 год?

Кн. Волконский. — Горемыкина при мне еще не было, был Коковцов.

Председатель. — Скажите, в связи с этими «нельзя ли потише» и т. д., как член президиума того времени, не помните ли вы во время выступлений крайних левых и, в частности, бывшего члена Государственной Думы Малиновского, из министерства приходили указания на нетерпимость такого поведения, на то, что если президиум останется пассивным, могут быть неприятности и т. д.?

Кн. Волконский. — Нет, единственный случай по этому поводу произошел лично со мной, поэтому я и говорю. Это было при Коковцове, когда была произнесена знаменитая фраза Маркова 2-го — «красть нельзя», — и после этого знаменитая забастовка правительства, переставшего ездить в Думу. Об этом на другой день Коковцов говорил мне по телефону: «Такие речи недопустимы, нельзя подобное оскорбление допускать», и т. д. Я сказал, что заеду к нему на дачу и с ним переговорю. Во время нашего разговора я высказал, что не могу просить Думу что-либо по этому поводу предпринимать, так как считаю недопустимым вмешивать ее в возгласы отдельных членов. На следующую сессию я подтвердил на деле свой взгляд, когда Марков 2-й сказал (точных слов не помню), что он считает свои фразы неправильными,

и кем-то был поднят вопрос о том, чтобы я, как председательствующий, сказал несколько слов о недопустимости подобных выражений, и я сознательно, как только об этом упомянули, объявил перерыв, потому что не хотел своим замечанием и как председательствующий вмешивать Государственную Думу в какую-то фразу одного из членов, на которую обиделся председатель совета министров; это был просто конфликт между двумя лицами, в который вмешивать Государственную Думу я счел неправильным. Разговоры о том, что вообще нужно умерить свободу выражений, бывали и между нами и между членами Государственной Думы, и в президиуме, но требований об этом со стороны правительства я не помню. Это единственный раз, и это было со мною.

Председатель. — Не будем говорить о требованиях, будем говорить о сношениях правительства с президиумом. Разве вы не помните этой обструкции левых, весной 1913 года, когда получилось впечатление большого скандала, и в связи с этим разговоры о совершенной недопустимости и даже вредности Думы?

Кн. Волконский.—Это было при Горемыкине, когда целый ряд...

Родичев. — «Выставили».

Кн. Волконский. — Ведь это не при мне было.

Председатель. — Т.-е. в том смысле «не при вас», что не под вашим председательством?

Кн. Волконский. — Только так я и могу говорить.

Председатель. — А как вы представляли себе происшедшую летом 1915 года смену министров и, в частности, обращение к вам, к члену думского президиума, с предложением принять портфель товарища министра внутренних дел?

Кн. Волконский. — Я тогда думал, что это определенный поворот на приглашение общественных деятелей; не скажу, чтобы я радовался за себя, но радовался самой идее этого поворота. За себя далеко не радовался, так как предвидел, что это может кончиться полным крахом.

Председатель. — Как вам представлялось, какие были основания для сделанного вам предложения?

Кн. Волконский. — Я думаю, это было личное желание государя.

Председатель. — Вы относительно себя говорите?

Кн. Волконский. — Нет, относительно обращения к общественности вообще: у меня определенных данных нет, но я думаю, что тут было настойчивое желание государя привлечь общественных деятелей.

Председатель. — Почему же такое желание явилось именно в этот момент?

Кн. Волконский. — Не могу этого сказать.

Председатель. — Вы не ставите этого в связь с отступлением и галицийскими неудачами?

Кн. Волконский. — Нет; мысль, которую вы сейчас не договариваете, — что когда на войне бывало хуже, обращались к общественности, — эту мысль я слышал много раз, но я этого не ставлю в связь.

Председатель. — Как же объяснить это желание итти навстречу общественности — в июле и, с другой стороны, недоверие и нежелание итти с ней, выразившееся в роспуске Думы в сентябре?

Кн. Волконский. — Неправильным освещением положения дел в докладах.

Председатель. — В чьих докладах?

Кн. Волконский. — Правительства; Горемыкина, который не мог этого знать, потому что был человек другого века и других видов, неправильным освещением других министров, министра внутренних дел князя Щербатова.

Председатель. — Скажите, разве доклады изменились, или же доклады дали разные результаты? Не можете ли вы объяснить разницу этих результатов и причину перемены в докладах или в результатах?

Кн. Волконский. — Я думаю, причина в перемене самих докладов.

Председатель. — Чем это объясняется?

Кн. Волконский. — Непониманием положения.

Председатель. — Князь, вы даете слишком индивидуальное объяснение, разве не было общих причин в борьбе политических течений?

Кн. Волконский. — Лично я думаю, что все это зависело от формы данного доклада. Причины индивидуальные.

Председатель. — Вы не помните, чем и как Дума объяснила выход в отставку Маклакова?

Кн. Волконский. — Мне помнится, разговоры были такие: «Слава богу, наконец-то поверили нашему голосу», голосу общественности, голосу земства, голосу губернских и уездных предводителей, которые являлись с докладами. Я думаю, что в этом случае в деле Маклакова сыграли очень крупную роль некоторые члены правительства. Я боюсь назвать точно, кто именно, но я об этом знаю, так как мне лично приходилось говорить со многими, с Игнатьевым, с Сазоновым, с Кривошеиным, и все относительно политики Маклакова. Все они были одного мнения с нами

Председатель. — Может быть, вы, как товарищ министра внутренних дел, несколько ближе изложите нам обстоятельства выхода в отставку министра внутренних дел кн. Щербатова?

Кн. Волконский. — Это довольно неясная страница. Я в этот момент был единственный раз в отпуску, на две недели, и просил кн. Щербатова, в случае чего, сообщить мне в деревню. Проездом уже из деревни в Петроград, утром, в Москве, когда я еще не читал газет, мне кто-то говорит: «Поздравляю вас с новым мини-

стром». Я говорю: «Быть не может, потому что только сегодня выехал из деревни, и у меня никаких сведений не было, а Щербатов дал слово телеграфировать». Смотрю, действительно портрет А. Н. Хвостова. Приехав, пошел к кн. Щербатову и говорю: «Что же вы мне не дали знать?», он говорит: «Я и сам, в сущности, не знал». Какие причины были, прямо, не знаю. Думаю, он и сам не знал определенно.

Председатель. — Во всяком случае ему предложили передать портфель А. Н. Хвостову.

Кн. Волконский. — Он сам несколько раз просил, в случае малейшего колебания, его освободить.

Председатель. — Вы не можете объяснить, почему колебания наступили как раз в этот момент, не можете связать это с определенной политической борьбой?

Кн. Волконский. — Не могу.

Председатель. — Под каким знаком проходил и получил портфель А. Н. Хвостов, как это представлялось президиуму Думы?

Кн. Волконский. — Когда А. Н. Хвостов был назначен, я приехал в Петроград и поехал к нему просить освободить меня от поста товарища министра; я говорю ему: «Очевидно, у вас есть кто-нибудь другой», а он говорит: «Очень прошу вас остаться до 1-го января». Он, кажется, в сентябре был назначен. Я говорю: «Хорошо, но имейте в виду, я член Государственной Думы и не могу этого упускать из вида». Хвостова я лично совсем не знал и никогда с ним никаких дел не имел.

Председатель. — Разве вы не были товарищами по фракции?

Кн. Волконский. — Я ни в какой фракции не был, у меня даже в справочнике написано: «вне фракции».

Председатель. — Потом вы в какую фракцию вступили?

Кн. Волконский. — Ни в какую.

Председатель. — А. Н. Хвостов принадлежал к крайним правым?

Кн. Волконский. — Да. Первое время, когда я поступил, я был в той фракции, которая теперь называется «националистами», а потом я стал в центр, где был В. Н. Львов, но в списках не числился. А. Н. Хвостова я не знал, познакомился с ним, когда он был выбран в 4-ю Государственную Думу, и, кажется, только один раз с ним говорил. А когда он был министром, я виделся с ним всего 5 — 6 раз.

Председатель. — В Думе полагали, что Хвостов получил власть через Распутина?

Кн. Волконский. — Точно я этого не знаю, потому и обвинений этих делать не могу, но разговоры были.

Председатель. — Как объяснял себе президиум Думы назначение Белецкого товарищем министра внутренних дел через два дня после назначения А. Н. Хвостова?

Кн. Волконский. — Мнение о Белецком (должен сказать откровенно) было первоначально такое, что это человек очень умный и очень знающий. Я изменил свое мнение о нем гораздо позже. Почему он был назначен и кем назначен, какими ходами — я не знаю. Но от А. Н. Хвостова я узнал об этом, кажется, через неделю после того, как он был назначен. Он говорит: «Я взял товарища министра по делам полиции, Белецкого». Недели через две у меня начали появляться другие мысли по поводу Белецкого.

Председатель. — Относительно его ума и знаний или в другом отношении?

Кн. Волконский. — Нет, просто прежде человек мне казался — ничего себе: знающий, умный, а потом я стал относиться несколько подозрительно.

Председатель. — Почему? Вероятно, у вас были данные для перемены отношений к вашему сотоварищу по министерству?

Кн. Волконский. — Он моим товарищем не был. По личному впечатлению и по разговорам, которые велись кругом: знакомство с Бадмаевым и со всей этой кликой, — все это было мне поперек горла.

Председатель. — И с Распутиным?

Кн. Волконский. — Говорят. Это я слышал потом от людей знающих, что отношения с Распутиным были. К сожалению, все это я узнал позже, когда ушел. Если бы знал это раньше, может быть, и отношения были бы иные.

Председатель. — Как президиум Думы объяснял себе замену Щегловитова Хвостовым?

Кн. Волконский. — Я думаю, что это было сделано под влиянием общественного мнения.

Председатель. — А через год замена Хвостова Макаровым?

Кн. Волконский. — Тут, я думаю, никто никаких объяснений дать не мог, хотя об этой штуке были разные толкования. Но по поводу назначения Макарова я слышал от юристов: «Человек порядочный, пускай будет».

Председатель. — Ну, а политические причины этой замены какие?

Кн. Волконский. — Логических объяснений, я думаю, нет, никто не задавался исканием этих объяснений.

Председатель. — Но иногда и без исканий эти причины прямо лезут в политический центр, каким являлся президиум Государственной Думы.

Кн. Волконский. — Я этих причин не улавливал и об этом не слышал.

Председатель. — Князь, позвольте задать вам один вопрос: разве президиум Думы не ставил этого в зависимость от отношения Хвостова к делу Сухомлинова?

Кн. Волконский. — Ах да, уборка Хвостова из-за дела Сухомлинова! Теперь вы мне напомнили. Намеки на это были, но так ли это, я не знаю. Не думаю.

Председатель. — Почему вы не думаете?

Кн. Волконский. — Потому что данных никаких нет, ведь это все-таки обвинение.

Председатель. — Из крупных политических событий того времени в январе 1916 года можно отметить замену Горемыкина Штюрмером. Как объяснялась у вас в президиуме эта замена?

Кн. Волконский. — В то время в президиуме я уже не был, так что разговоров этих не мог знать.

Председатель. — А в Думе среди ваших ближайших друзей как к этому относились?

Кн. Волконский. — Назначение Штюрмера на меня наводило ужас, скажу откровенно. Я находил тогда, что Штюрмер столько же подходящ, сколько я не знаю кто. Почему Штюрмер мог быть председателем совета министров, я этого не могу понять. Я думаю, что одни удивлялись мирно, другие удивлялись с ужасом. Я удивлялся с ужасом.

Председатель. — Вам это представлялось случайностью? Вам казалось, что среди политических течений нет отгадки? Ведь вы были в Думе, Дума — орган государственной власти, центр политической жизни страны. Мне кажется, некоторое политическое объяснение вы этому давали?

Кн. Волконский. — В этот момент я не мог учесть того, что делалось в Думе, так как ни в Думе, ни в президиуме я уже не состоял. Я был товарищем министра внутренних дел.

Председатель. — Тогда с правительственной точки зрения?

Кн. Волконский. — Никто определенно ничего не понимал; почему он был назначен, никто не знал. Мне приходилось встречаться с людьми из Думы, со всевозможными обществами России, с земством, и никто этого объяснить не мог.

Председатель. — А когда, с 3-го марта, Штюрмер сделался министром внутренних дел, как вы объясняли себе это назначение и что нового внесла в министерство внутренних дел эта перемена?

Кн. Волконский. — Обо всех этих переменах в министерстве я сказал в виде шутки, что около моего кабинета надо было вывесить объявление «Пикадилли»—«по субботам новая программа»,— в самом деле так было — не успеет человек усесться, как уже новая программа. Что внес Штюрмер? — Преследование таких-то, похваливание таких-то. Министерство внутренних дел я тогда считал наиразвалившимся, это было что-то невероятное. Никто ничего установить не поспевал. Щербатов совершенно ведомства не знал, к администрации готов не был, пробыл всего-на-всего 2 месяца и ушел, не успев ничего сделать, даже познакомиться

не успел. Затем был А. Н. Хвостов, который, я не знаю, что он делал.

Председатель. — Может быть, он ничего не делал?

Кн. Волконский. — У меня с ним даже разговоров не было. Затем идет Штюрмер, который ни с кем не говорил, все делал в секрете. Затем было действительно два светлых месяца — Александр Хвостов: общая работа, общее желание делать дело, но это продолжалось всего полтора месяца, и опять-таки никакой программы он не успел пустить в ход. Так что, в сущности, за эти полтора года я исстрадался и даже подойти к тому, что хотелось сделать, не успел. Почему А. Н. Хвостов был назначен, я не знаю; почему после него был Штюрмер, — опять никто объяснить не может; почему после Штюрмера оказался Александр Хвостов, диаметральная его противоположность, — тоже неизвестно. По поводу Протопопова можно было найти объяснение: тут возвращение к тем принципам, которые существовали при назначении кн. Щербатова: общественный деятель, предводитель дворянства, член Государственной Думы и товарищ председателя Государственной Думы.

Председатель. — Князь, так можно объяснять, но фактически это объяснялось иначе.

Кн. Волконский. — Это объяснение было сделано после посещения ставки, после возвращения из-за границы, — это я знаю.

Председатель. — Разве вам и доныне неизвестны те пружины, которые были пущены в ход для назначения Протопопова?

Кн. Волконский.—Даю вам честное слово, что я не знаю. Разговор был, что будто Распутин, но, честное слово, я этого не знаю.

Председатель. — А новые перемены — замена Штюрмера Треповым на посту председателя совета министров? Это на каких основаниях было сделано?

Кн. Волконский. — Я не знаю. Думаю, что уборка Штюрмера была сделана под влиянием общественного мнения. Должен сказать, что во всех этих уборках Дума имела большое влияние.

Председатель. — Так что в замене Протопоповым Хвостова тоже играла роль общественность?

Кн. Волконский. — Я говорю об уборках министров, а не о назначении.

Председатель. — А декабрьские перемены: Добровольский вместо Макарова, кн. Голицын вместо Трепова — чем вы объясняли это?

Кн. Волконский. — В этот момент я был очень далек от всего, потому что тут был мой собственный уход.

Председатель. — Вы ушли 3 января?

Кн. Волконский. — 23 декабря я подал в отставку, а что я ухожу — мне было известно с 18 ноября; так что тут я ничего сказать не могу.

Председатель. — Если «темные силы», т.-е. безответственные влияния были далеки от вас (лично они всегда были от вас далеки — я не об этом говорю), то в качестве движущих пружин разве не проявляли они свои действия на ваших сотоварищах по Думе, по министерству, по кабинету, хотя бы в последние месяцы 1916 года?

Кн. Волконский. — Об этом я могу говорить только по слухам, лично у меня никаких документов нет. Были у них эти разговоры с Григорием и Бадмаевым или не были, я не знаю.

Председатель. — Но вы сами до некоторой степени документ, вы сами живой свидетель.

Кн. Волконский. — Я был бы свидетелем, если бы видел и слышал, но этого ни разу не было. Единственный случай, на который я могу указать, это дело вице-директора департамента духовных дел Драгомирецкого. Это уже определенный факт.

Председатель. — Тут кн. Андроников?

Кн. Волконский. — Да, и вся эта клика.

Председатель. — И этот человек был назначен?

Кн. Волконский. — Не то что назначен, а потом, когда велено было его уволить, это увольнение очень долго тянули, все смягчали: «уволить не совсем», «предоставить такое-то место», все в этом духе. По поводу этих увольнений и назначений мне вспомнилось одно назначение в сенат. Был маленький чиновник, которого я хотел назначить на пост вице-директора департамента духовных дел, некто Петров. Этот Петров был преподавателем у наследника, очень хороший и порядочный человек. Его родной брат, служивший в департаменте духовных дел, как-то в разговоре упомянув о нем, сказал, что он находится в очень тяжелом положении, без места: нельзя ли ему помочь, и при этом он написал, какие имеются места, и подал записку. Но, очевидно, как-нибудь в разговоре, при докладе его величеству, он упомянул, между прочим, и сенат, и, как в таких случаях бывало, — последовал ответ: «Ну, хорошо». О назначении Петрова, которого я думал облагодетельствовать, делая его вице-директором департамента, была подана записка. Было это, помнится, при Протопопове; когда я сказал ему про Петрова, он говорит: «Нет, этого нельзя; его приказано сделать сенатором». А накануне Петров уже у меня был, и я говорил ему: «Я приготовил вам место, как раз для вас подходящее, вот такое-то». Он отвечает: «Очень благодарен, но дело в том, что мне уже обещано сенаторство».—«В таком случае,—до-свиданья». Проходит еще несколько дней, он опять ко мне является. Я спрашиваю его: «Зачем, в сущности, вы ко мне пришли?» Тогда он тоже обращается ко мне с вопросом: «Вы кажется чем-то недовольны? Верно по поводу моего назначения?» Я говорю: «Да, по поводу назначения». — «А что?» — «Более, чем недоволен». Он говорит: «Такая милость, в чем же дело?» Я отвечаю: «Вы, который всегда выставляли себя таким преданным, что вы

делаете? Вы не имеете ни малейшего права на сенаторское место и все-таки принимаете его, возбуждаете зависть и совершенно нормальное недовольство тех, кого вы хотите обвинять в фаворитизме. Вы приняли сенаторское место, получив его нехорошим способом, и мое отношение к этому отрицательное».

Председатель. — Что же, он получил это место?

Кн. Волконский. — Указ был; не помню, был ли он объявлен, но министру юстиции было уже написано. На другой день я получаю от него письмо, которое меня в высшей степени тронуло. Я не стану говорить, что он писал, это дела не касается, но кончается оно так: «После моего разговора с вами я написал письмо и просил меня сенатором не делать». Я тоже ответил ему письмом, — просил извинения за резкость. Конечно, многое зависело от окружающей компании и вовсе не в том смысле, чтобы делать что-нибудь несправедливое, нехорошее, а окружающая клика действовала; пользовалась этими самыми «темными силами», которым то или другое назначение было нужно.

Председатель. — А третьим лицом являлся тот или другой министр, который склонял свой слух . . .

Кн. Волконский. — Да, который склонял свой слух к этим темным силам, а до верха это даже и не доходило.

Иванов. — Мне, князь Владимир Михайлович, хотелось бы выяснить один вопрос. 30 марта 1915 года вы были назначены заведующим делами о беженцах?

Кн. Волконский. — Я заменял тогда министра. Это было временно. Ознакомившись с делами о беженцах, я просил, чтобы меня избавили и назначили для этого специальное лицо.

Иванов. — При вас был циркуляр Хвостова, радикально изменявший закон, проведенный 30 сентября через законодательные учреждения, закон о беженцах? Здесь попечение о беженцах предоставлялось земским и городским самоуправлениям, а Хвостов подчинил это дело губернаторам. Вы принимали в этом участие? При вас это происходило?

Кн. Волконский. — Не помню. Может быть, да, может быть, нет, боюсь сказать.

Председатель. — Князь, вы вероятно это помните. У вас с Протопоповым был обмен письмами. Ваше письмо было напечатано. В этом письме вы, кажется, высказывали точку зрения, близкую к отношению назначения этого Петрова.

Кн. Волконский. — Напечатано было так, но с Протопоповым мы обменялись письмами только перед уходом, когда я написал о причинах своего ухода.

Председатель. — Вы как мотивировали эту причину?

Кн. Волконский. — Считаю невозможным продолжать службу, когда все идет вразрез с общественными организациями, с земской Россией, Государственной Думой и государственным советом.

Председатель. — Вам не приходилось высказываться вообще о холопстве власти?

Кн. Волконский. — С Протопоповым (это в моих первых показаниях написано) я советовал ему не опираться на записочки и не делать себе бумажного фундамента из получаемых записок.

Председатель. — Но в смысле вывода, в смысле общей формы вы не высказывались?

Кн. Волконский. — Я думаю, в каждом разговоре приходилось об этом упоминать. Это настолько естественно, что как-то и не помнишь.

Председатель. — Не известно ли вам чего-нибудь относительно 1.300.000 р., полученных в конце 1915 г. бывшим министром внутренних дел А. Н. Хвостовым?

Кн. Волконский. — По этому поводу могу сказать только следующее, что при назначении Алексея Хвостова министром внутренных дел товарищем министра, заведующим департаментом общих дел, был сенатор Бальц. Они с А. Н. и вели эти дела. И я слышал по этому поводу, что Александр Хвостов был в отчаянии от деятельности своего племянника. Затем, от Протопопова я слышал, что тут бог знает что было наделано: около миллиона неизвестных денег в бытность Хвостова и Белецкого было взято. Я теперь припоминаю, было именно так сказано.

Председатель. — Когда вам говорил Протопопов?

Кн. Волконский. — Протопопов мне это говорил, если не ошибаюсь, дня через 4 или 5 после своего назначения. Помню более точно, он мне сказал это минут через 10 после того, как вышел от него Хвостов. Они долго сидели и говорили. Тут и я приехал, и Протопопов сказал мне об этом.

Иванов. — Вы не знаете, на какой предмет эти деньги были взяты?

Кн. Волконский. — Этого я совершенно не знаю.

LXIX.

ДОПРОС И. Н. ЛОДЫЖЕНСКОГО.

19 июля 1917 года.

Содержание: Заранее, «на всякий случай» заготовленные указы о роспуске Государственной Думы. Техника дела. Естественные и исключительные перерывы. Случаи одновременного испрошения двух бланков указов о возобновлении занятий Государственной Думы и о перерыве их. Указ правительствующему сенату. «Прогрессивный блок». О журнале совета министров. Проект заявления от имени председателя совета министров. Коллективная работа. Сессия 9 февраля—4 апреля 1916 г. Штюрмер. Указ, испрошенный помимо совета министров. Вычеркивание Штюрмером «лишних» слов из указа. Деловые предметы и «куча законопроектов». Гурлянд — советник Штюрмера. Наличность вороха законопроектов, которых на самом деле не было. Пакет с личной печатью бывшего императора. Справка вместо журнала. Фигура Штюрмера по сравнению с его предшественниками. Столыпин, Горемыкин, Коковцов. Заседания совета министров. «Взгляды» Штюрмера. «Торопливость» Штюрмера. Созыв Думы 1 ноября 1916 года. Проект указа о роспуске. Нарушение основных государственных законов. Повод к толкам о государственном перевороте. Особая политическая обстановка. Черновик указа. Бланки, находящиеся в деле. Отступление от практики. «Внеканцелярская» практика. Предполагавшаяся отставка Протопопова. Обращение Трепова к членам Государственной Думы. Испрошение бланковых указов в декабре 1916 года. Памятная записка. Разногласия. Сессия 14 февраля — 26 февраля. Всеподданнейшее представление. Частное совещание Государственной Думы. Осадное положение. Мнение о роспуске некоторых членов Государственной Думы. Указ на имя Горемыкина, данный при начале войны. Представления совета министров. Горемыкин и «пора бездумья».

Председатель. — Иван Николаевич Лодыженский, вы изволили быть управляющим делами совета министров от 24 мая 1914 года по 14 марта 1917 года?

Лодыженский. — Может быть; кажется, так.

Председатель. — Значит вы работали в совете министров при Горемыкине, Штюрмере, Трепове и кн. Голицыне?

Лодыженский. — Так точно.

Председатель. — До того, как вы изволили занять этот пост. . .

Лодыженский. — Я был помощником управляющего делами совета министров с 1910 года.

Председатель. — Так что вы застали часть Столыпинского периода?

Лодыженский. — Так точно, я был назначен при Столыпине.

Председатель. — Обычай, в силу которого указы о перерыве занятий законодательных учреждений и о роспуске Государственной Думы заготовлялись заранее в бланковом виде, был и при Столыпине?

Лодыженский. — Кажется, я так и показывал предварительно, когда меня допрашивал следователь. Я обыкновенно управлял канцелярией в летние месяцы, после роспуска Думы, в отсутствие управляющего делами Плеве. Так что этого хорошенько не помню.

Председатель. — Вы изволили показать, что бывший председатель совета министров Столыпин всегда имел при себе «на всякий случай» бланковый указ о роспуске Думы?

Лодыженский. — Я это слышал из думских кругов, от кого-то из министров, и, кажется, действительно так было: у меня составилось такое представление.

Председатель. — Как вы объясняли себе тот факт, что председатель совета министров всегда «на всякий случай», как вы говорили, имел подобный бланковый указ? На какой именно случай?

Лодыженский. — Я объяснял это, во-первых, тем, что председатель совета министров Столыпин, в особенности во времена 2-й Думы, всегда имел в виду возможность и даже необходимость закрытия Государственной Думы, т.-е. не только перерыва занятий, но и роспуска в самом чрезвычайном и ускоренном порядке. Говорят, что он всегда имел у себя в кармане указ о роспуске. И, кажется, это верно, потому что последующие председатели считали нужным, уже по обычаю, заранее испрашивать указы о роспуске Государственной Думы, и такие указы им давались. Второе обстоятельство, на которое я также указывал следователю, касается перерыва занятий Государственной Думы: технически всегда требовалось иметь указ за несколько дней. И вот почему: обыкновенно, когда оканчивалась сессия Государственной Думы — в конце июня, в июле — происходили ежедневныя заседания, на которых пропускали так называемую думскую вермишель. Министры со всех сторон осаждали Родзянко просьбами, чтобы такие-то чисто деловые законопроекты провести до окончания сессии. Президиум Думы тянул эти занятия, но так как кворум под конец постепенно таял, то иногда, даже совершенно неожиданно, поступало заявление Родзянко, что он больше Думы держать не может, и требовалось сегодня же для завтрашнего дня иметь указ, который в конце заседания предстояло оглашать с кафедры Думы.

Поэтому, обыкновенно приблизительно за неделю, заготовлялся указ о перерыве занятий. До войны это как раз совпадало с временем, когда император бывал в отсутствии из Петрограда, обыкновенно в шхерах, на Штандарте. В таком, заранее заготовленном указе, обыкновенно в докладных записках, испрашивалось полномочие проставить цифру по соглашению с председателем Государственной Думы, что по взаимному сговору и делалось. Доходило до мелочей; Родзянко обыкновенно волновался, чтобы указ не опоздал, чтобы курьер попал во время и т. д.; я, находясь в телефонных сношениях с управляющим делами Глинкой, сообщал, что «курьер поехал», «пакет за таким-то № послан» и т. д.; Родзянко получал в руки указ и успокаивался. Так было до последнего времени, когда между правительством и президиумом Думы отношения стали несколько обостренные.

Председатель. — Все, что вы говорите, относится к естественным перерывам, и эта естественность подчеркивалась заключительными словами указа: «По соглашению с председателем Государственной Думы и государственного совета». Позвольте направить вашу мысль к другим случаям роспуска, для которых, по вашим сведениям, Столыпин имел в кармане всегдашний указ. Ведь резиденция царя была совсем недалеко от Петрограда. Чем же объяснялось, что, имея возможность в любой момент снестись с императором, Столыпин, тем не менее, носил в кармане проект или бланк такого указа о роспуске Думы?

Лодыженский. — Я затрудняюсь на это прямо ответить, тем более, что за все время, как я стоял близко к правительству, не было ни одного роспуска, кроме роспуска 2-й Думы, которого я был свидетелем. Тогда я не служил еще в канцелярии совета министров: про эти указы помню смутно; что такие указы бывали, это безусловно, во время Штюрмера, например. При Горемыкине — не помню. Горемыкин вступил при моем предместнике Плеве: итак, при мне указы о роспуске бывали, но случая роспуска не было. Были только перерывы занятий Думы.

Председатель. — Вы помните, что с течением времени слова «по соглашению с председателем Государственной Думы» исчезли из всеподданнейших представлений и были заменены словами: «в зависимости от чрезвычайных обстоятельств» или даже просто «в зависимости от обстоятельств»?

Лодыженский. — Да, т.-е. здесь словами «в зависимости от обстоятельств» воспроизводится текст будущего указа.

Председатель. — Передо мной имеется всеподданнейшее представление нормального порядка, который вы изволили изложить со знаком рассмотрения от 20 марта 1914 года, подписанное Горемыкиным, о перерыве занятий на пасхальный вакат сего года, при чем испрашивается полномочие «проставить в указе срок сего перерыва впоследствии, по соглашению с председателем Государ-

ственной Думы». Это нормальный случай. Дума в момент испрошения этого указа еще заседала, а через неделю после его испрошения она и была распущена на пасхальный вакат, 28 марта 1914 года. Такой же нормальный момент совпадает и с проектом 10 июня 1914 года, т.-е. в этом представлении точно также есть слова: «Проставить в указах начальные сроки сих перерывов впоследствии по соглашению с председателем государственного совета и Государственной Думы». Причем нужно прибавить, что и в том и в другом случае император находился в Царском. Скажите, всегда в вашем делопроизводстве, в канцелярии совета министров по делам Государственной Думы, сохранялись отпуски всеподданнейших представлений об испрошении этих бланковых подписей?

Лодыженский. — Я думаю, что всегда. Могли быть случаи, когда председатель лично, на всеподданнейшем докладе, испрашивал. Например, за последнее время указ, изданный кн. Голицыным, прошел без препроводительной бумаги. Кажется, он лично, на всеподданнейшем докладе, испросил, но я этого точно не помню.

Председатель. — Значит, нормальный порядок таков: Государственная Дума работает, например, летом, намечается уже конец ее работы, и тут испрашивается соответственный бланковый указ. Не помните ли вы, когда именно был испрошен такой бланковый указ в январе 1915 года? Тогда Дума начала работать 27 января 1915 года?

Лодыженский. — Не помню.

Председатель. — Я позволю себе напомнить вам из этого делопроизводства, что 11 января было испрошено высочайшее повеление о возобновлении Государственной Думы и государственного совета на 27 января и одновременно с этим бланковые подписи на проекты двух указов о перерыве занятий государственного совета и Государственной Думы на срок не позднее ноября 1915 года. «В зависимости от чрезвычайных обстоятельств испрашиваю полномочий вашего величества проставить в указах начальные сроки сих перерывов впоследствии, по соглашению с председателем Государственной Думы и государственного совета». Скажите, пожалуйста, чем это объясняется, что в январе 1915 года, ранее, чем Дума была созвана, уже испрашивалась высочайшая бланковая подпись на перерыв занятий Государственной Думы и государственного совета?

Лодыженский. — Это было при статс-секретаре Горемыкине. Дума созывалась на очень короткую сессию — 27 — 29 января, подобно тому, как в июле перед этим (всего на один день); просто, чтобы, так сказать, сделать чисто декларативный шаг по отношению к войне; предполагался, если не ошибаюсь, только один законопроект о росписи, причем роспись была принята par réclamation, и прошла в один день. Этого никогда не бывало раньше.

Так что здесь, по соглашению с руководящими кругами Думы, заранее предполагалось, что она созывается на очень короткую сессию, на два, на три дня. Поэтому в совете министров и было признано необходимым сразу заручиться указом о перерыве занятий. В данном случае здесь были чисто практические соображения. По той же причине, начиная с 1914 года, появляются в указах слова: «В зависимости от чрезвычайных обстоятельств». Считали, что и самый срок возобновления занятий и срок перерыва, все это связано с военными обстоятельствами: в зависимости от хода войны Дума будет созываться и распускаться.

Председатель. — А как смотрели на формальный вопрос о праве принимать на себя эту, принадлежащую высочайшей власти, прерогативу, определять сроки перерыва Государственной Думы и государственного совета? Считалось ли, что испрошение для себя таких полномочий допустимо с точки зрения закона?

Лодыженский. — Мне не приходилось слышать каких-нибудь суждений по этому поводу, по крайней мере, они не возникали в моем присутствии.

Председатель. — Позвольте перейти к лету 1915 года. Вы изволите, быть может, припомнить, что 8 июля был испрошен уже без бланка высочайший указ о необходимости, в виду обстоятельств того момента, приблизить созыв Государственной Думы. И Дума, которую предполагалось созвать в ноябре, была созвана в июле. Чем тогда мотивировалось то обстоятельство, что до созыва Государственной Думы уже были испрошены бланковые указы о перерыве занятий Государственной Думы и государственного совета?

Лодыженский. — Насколько я помню, совершенно теми же соображениями, что и при предыдущем созыве, т.-е. предполагалась короткая сессия; не помню, сколько она продолжалась.

Председатель. — Она продолжалась до 3 сентября.

Лодыженский. — Как в совете министров, так и в думских кругах, шла внутренняя борьба; в то время образовался, так называемый, желтый блок.

Председатель. — То-есть так называемый «прогрессивный блок»?

Лодыженский. — Да. Дума стремилась продлить сессию, и она протянулась до 3 сентября.

Председатель. — А министерство?

Лодыженский. — В министерстве были по этому поводу большие разногласия; большинство совета министров было за то, чтобы эта сессия продлилась, но статс-секретарь Горемыкин закрыл Государственную Думу, хотя он и был безусловно в меньшинстве.

Председатель.—Скажите, пожалуйста, дебаты о том, закрыть или не закрыть Государственную Думу, фиксировались в журналах совета министров?

Лодыженский. — Нет. Журналы велись далеко не по всем делам; я подробно писал об этом в моем показании. По этому поводу никакого журнала не было.

Председатель. — Чем же определялось, вести журналы или нет?

Лодыженский. — Это очень трудно сказать, потому что это зависело от свойств дела. Журнал велся непременно по тем делам, которые формально фигурировали в повестках, посылавшихся предварительно министрам. Были острые и важные государственные вопросы, такие, как вопрос об объявлении войны, и доклады по этому поводу Сазонова, — по ним журналы не велись; по вопросу о мобилизации был журнал, но очень короткий; это обусловливалось тем, что все мероприятия подобного рода могли исходить только от верховной власти. Однако, в последних числах августа 1915 года один журнал был составлен с целью запечатлеть разногласия, возникшие в совете министров по поводу того, какой политики держаться правительству — итти ли на примирение с прогрессивным блоком или распустить Думу. Этот журнал я показывал Горемыкину, но он не был подписан.

Председатель. — То-есть, кроме вопросов, которые разрешались без журнала, были и такие, которые разрешались по журналу неоформленному, неофициальному, по вашему черновику. Иногда вам говорили — не вести никаких записей, а иногда говорили — вести?

Лодыженский. — Вести или не вести запись, — этого мне не говорили; я всегда мог записывать. Журналы составлялись обязательно по тем делам, которые должны были итти на высочайшее разрешение. По острым же политическим вопросам журналы иногда не составлялись. В данном случае происходил обмен мнений, совещание, после которого статс-секретарь Горемыкин единолично и против мнения большинства, принял эту меру, т.-е. роспуск Государственной Думы. После этого он отправился на прием и доложил. Тогда же, очевидно, он доложил мнение совета министров.

Председатель. — Вы изволили сказать, что журнал составлялся по тем вопросам, которые представлялись на рассмотрение верховной власти; но в данном случае этот вопрос представлялся, а журнала не было.

Лодыженский. — Да, журнала не было.

Председатель. — Вы не знаете, имеется этот журнал в делах канцелярии совета министров?

Лодыженский. — Не могу вам доложить. Дома я ничего не хранил, в канцелярии он должен быть; это разбиралось в целом ряде заседаний.

Председатель. — То-есть вопрос об отношении к прогрессивному блоку?

Лодыженский. — Да. Я помню — очень горячо настаивал Самарин, затем Харитонов, Игнатьев, Кривошеин, и, насколько я

помню, остался почти один статс-секретарь Горемыкин. Потом произошло пересоставление кабинета.

Председатель. — Вы изволили говорить, что проект такого журнала вы преподнесли статс-секретарю Горемыкину?

Лодыженский. — В каком-то из этих заседаний, может быть, даже на следующий день, в заседании, где он обнародовал высочайшее указание о роспуске Думы. Помню, что был один журнал очень острого заседания, когда произошел разрыв в среде самого правительства. Тогда я составил журнал, который показал Горемыкину; он не был никем подписан и не знаю, сохранился ли.

Иванов. — Горемыкин не хотел его подписать?

Лодыженский. — Просто не до того было, а мне хотелось оставить его, как исторический документ разногласия в совете министров и в отношении к блоку, и в отношении к роспуску Думы.

Иванов. — Вы его отдали в делопроизводство?

Лодыженский. — Да.

Председатель. — В том же деле совета министров, в связи с созывом Государственной Думы 19 июля 1915 года, имеется проект заявления от имени председателя совета министров: «Господа члены Государственной Думы. Государь император всемилостивейше соизволил повелеть обратиться к вам, от высочайшего его императорского величества имени, с приветствием и пожеланием полного успеха в предстоящей вам ответственной и важной законодательной работе на благо нашей дорогой и всеми нами беззаветно любимой России (слова: «нашей дорогой и» зачеркнуты, а после слова «России» — с выноской на поле карандашом — написано: «на укрепление мощи доблестного воинства нашего» — потом и эти слова зачеркнуты). День возобновления ваших занятий совпадает с годовщиной объявления нам войны. Прерывая (это слово карандашом исправлено: «Прервав») заседания Государственной Думы в начале года — до ноября, правительство предвидело, что по ходу событий созыв государственных учреждений может оказаться необходимым и ранее этого срока. Время для него теперь настало. Тяжелые испытания, посланные нам войной, побудили оторвать вас от вашей службы в армии (слово «армии» зачеркнуто и карандашом написано: «в войсках»), от работы в Красном Кресте, общественной деятельности на местах, наконец, от ваших частных дел и хозяйств. Положение наше — трудное. Взглянем правде прямо в глаза и открыто признаем это. Война грозит быть долгой и требует все новых напряженных (слово: «напряженных» зачеркнуто и карандашом написано: «и новых») усилий и новых (слово «новых» зачеркнуто) жертв. Решив без всякого колебания итти на них, правительство считает, однако, своим долгом и испытывает нравственную потребность (слова: «считает, однако, своим

долгом, . . .и» — зачеркнуто) окончательно избрать этот путь не иначе, как в полном единении с вами, господа члены Государственной Думы (слова: «вами, господа, члены Государственной Думы» — зачеркнуты). Так, господа, мыслит правительство. От вас история ждет ответного голоса Земли Русской». Вы не помните, кто составлял это для Горемыкина?

Лодыженский. — Тут принимал участие А. В. Кривошеин, я, потом, вероятно, весь совет министров слушал проект, и делались разные заявления. Это всегда являлось коллективной работой, и каждая такая вещь претерпевала большие изменения.

Председатель. — Но основной проект кем был написан? Всегда в коллективной работе кто-нибудь один пишет проект, который кладется в основу.

Лодыженский. — Я не помню, какой из проектов в конце концов получил одобрение в совете министров. Составить проект давали кому-нибудь из министров, иногда поручали Кривошеину, Харитонову, мне. Раз мне пришлось из трех проектов составлять один.

Председатель. — На этом проекте имеются ваши попразки (показывает документ)?

Лодыженский. — Да, это мой почерк.

Председатель. — Это поможет вам ответить, не ваш ли проект был положен в основу?

Лодыженский. — Может быть. Очевидно, мне было поручено. Я знаю только то, что в период 1915 года, при сочинении манифестов и декларационных выступлений, в этом большое участие принимал Кривошеин. Весьма возможно, что основание этого проекта было составлено Кривошеиным.

Председатель. — Почему же вы исправляли проект Кривошеина? Может быть, эти поправки говорят о том, что вы и были его автором?

Лодыженский. — Или я был автором, или это было сделано по указанию совета министров, когда проект читался и оглашался.

Председатель. — Не приходилось ли вам после роспуска или, точнее, после перерыва занятий Государственной Думы, в сентябре 1915 года, составлять проект высочайшего указа о созыве Государственной Думы на третью сессию в том же 1915 году, на 25 ноября? Вы не помните этого обстоятельства?

Лодыженский. — Сейчас не припомню.

Председатель. — Это предположение было тогда оставлено и заменено впоследствии указом, где предписывалось отложить возобновление занятий Государственной Думы.

Лодыженский. — Да, я теперь припоминаю. Эту сессию предполагалось созвать в ноябре, но, вместе с обнародованием двух рескриптов на имя Куломзина и на имя Родзянки, она была отло-

жена под тем предлогом, что Дума не успела рассмотреть в комиссиях проекта о государственной росписи.

Председатель. — Этот предлог и значился в рескрипте на имя председателя Думы?

Лодыженский. — Эти рескрипты являлись дополнением к указу....

Председатель. — Причем вашей рукой был написан проект указа о созыве Государственной Думы на конец 1915 года, а также проекты соответственных рескриптов и соответственного указа об отсрочке.

Лодыженский. — Так. Этому предшествовали, если мне память не изменяет, попытки составить указ с ограничением предметов занятий Думы, но из этого ничего не вышло, и эта мысль была оставлена. Я не особенно в курсе дела, так как это происходило в частном совещании, у председателя, вне моего участия. Одна редакция была составлена мною, та, где сказано, что Государственная Дума созывается для рассмотрения бюджета, кажется, так, а потом последовала эта отсрочка.

Председатель. — Теперь позвольте перейти к той сессии Государственной Думы, которая открылась 9 февраля 1916 года и закрылась 4 апреля 1916 года. В январе, перед этой сессией, ушел Горемыкин, и был назначен Штюрмер. Вы составляли черновик проекта указа правительствующему сенату о возобновлении занятий Государственной Думы и государственного совета? Это вашей рукой написано (показывает документ)?

Лодыженский. — Это моя рука.

Председатель. — Очевидно эти слова: «По соглашению с председателями Государственной Думы и государственного совета» были исключены, и оставлено было только: «В зависимости от обстоятельств». Вы не помните, почему вы не пошли по прецедентам? Вероятно, вы получили распоряжение от председателя совета министров? Благоволите вспомнить и сказать, в чем это распоряжение заключалось и по каким соображениям было принято?

Лодыженский. — Этот указ был испрошен помимо совета министров. В совете министров это не обсуждалось, а мне лично было указано Штюрмером опустить эти слова, как лишние. Точных слов не припомню, но смысл был такой, что какое же может быть соглашение с Родзянкой? Что если ему будет дано полномочие, то в нужный момент этот указ будет приведен в действие и исполнен. Он на это не пошел, но говорил, что был такой usus.

Председатель. — Вы изволили выразиться, что проект указа шел помимо совета министров, — проект указа о созыве Думы, или проект указа бланкового, предоставлявшего ему право вписывать?

Лодыженский. — Вы изволите говорить об указе о созыве или об указе о прекращении занятий?

Председатель. — Вы изволили сказать, что проект указа шел помимо совета министров. Я хотел бы знать, к каким указам относятся эти слова?

Лодыженский. — К обоим. Очень возможно, что первый такой важный шаг, как созыв Государственной Думы, обсуждался Штюрмером в каком-нибудь совещании. Что же касается второго указа, то он не обсуждался в совете министров; вообще в совете министров обыкновенно обсуждались, так сказать, моменты прекращения занятий, но не самое испрашивание указа. Председатель, помимо совета министров, давал мне заказ заготовить такой указ. Затем, часто он говорил так: «У меня был Родзянко, говорил, что Дума находится при последнем издыхании (такое выражение обыкновенно употреблялось), надо прекратить занятия». Он только это доводил до сведения министров, а не то, чтобы это обсуждалось, тут не могло быть дискуссии или возражений.

Председатель. — Вы изволите помнить, что в январе 1916 года одновременно Государственная Дума созывалась и получался указ на предмет прекращения ее занятий? Какие же обстоятельства заставили в данном случае, еще до созыва Государственной Думы и государственного совета, озаботиться о перерыве их занятий?

Лодыженский. — В данном случае Штюрмер шел по шаблону, чтоб запастись указом. Я помню, когда созывалась эта Дума, то и программа ее занятий и продолжительность были совершенно неизвестны. Тут были разговоры о том, что, с одной стороны, военные обстоятельства (роспись уже была рассмотрена, значит, для этого времени требовалось немного), затем, в думских кругах пошли разговоры о деловых предметах, в декларациях упоминалась куча законопроектов вплоть до земского и городового положения... Наконец, он прямо опасался, что Дума может быть взорвана каким-нибудь острым конфликтом. Насколько я припоминаю, тогда и было мне сказано заготовить указ о созыве и одновременно указ о перерыве занятий, и, если мне память не изменяет, — также указ о роспуске; т.-е. это уж не перерыв занятий, а другая мера, более крайняя.

Председатель. — Вы изволили сказать, что, с одной стороны, бюджет был уже рассмотрен в думской комиссии, с другой стороны, имелась куча законопроектов у самого Штюрмера. Казалось бы, такая наличность кучи законопроектов заставляла думать именно о жизни, а не о смерти Государственной Думы: созывается Дума, — куча законопроектов, — тут-то и работать? Я это спрашиваю вас потому, что может быть этот третий мотив, возможность конфликта, послужил тогда решающим мотивом?

Лодыженский. — Весьма возможно. Я должен сказать, что со Штюрмером я не был в близких отношениях и мог делать заключения только из совокупности виденного. Думаю, что и эти первые два мотива имели значение. Очевидно, сам Штюрмер, и правительство, и Гурлянд, который сделался правой рукой Штюрмера, не могли дать себе отчета, во что выльется сессия Думы. Перед этим был острый конфликт между Думой и правительством в лице статс-секретаря Горемыкина; Гурлянд, который являлся советником Штюрмера, всячески старался уладить, представить нечто в противовес такому нежелательному и неугодному для Думы лицу, каким являлся Горемыкин. Вот из каких мотивов все-таки была сделана уступка по отношению к Думе. Горемыкин стоял чрезвычайно твердо на самой непримиримой позиции: во время войны невозможна законодательная работа, и при нем Дума созывалась только на самый короткий срок, только для принятия росписи. Здесь же, наоборот, когда в прессе, в думских кругах возникли слухи о деловой сессии, о деловой работе, о том, что жизнь не ждет, что в видах дальнейших успехов, сессия необходима, — тут и появилась правительственная декларация Штюрмера с целым ворохом законопроектов, которые тогда в министерстве внутренних дел и готовы не были, но обещания были даны. Вступит Дума на этот путь законодательной творческой работы или не вступит, — этого никто не знал.

Председатель. — Значит объявлялось некоторого рода примирение с Думой, объявлялась наличность вороха законопроектов, которых в действительности не было, и, вместе с тем, был испрошен, «на всякий случай», указ о роспуске?

Лодыженский. — Да.

Председатель. — Позвольте на минуту отвести вас в сторону, потом мы вернемся к основной линии нашей беседы. Вы упомянули, что Гурлянд был правой рукой Штюрмера?

Лодыженский. — Да, он являлся его советником, и, насколько я слышал, Гурлянд играл такую же роль при Штюрмере, как при П. А. Столыпине, в его сношениях с Думой. Это было приблизительно в августе. Я лично продолжаю думать, что Гурлянд имел хорошее влияние на Штюрмера: он был знающий человек, и между председателем совета министров и Государственною Думою устанавливал политику примирительную.

Председатель. — Кто же заменил его в этом влиянии на Штюрмера после августа?

Лодыженский. — Я этого совершенно не мог подметить; те лица, которые остались подле Штюрмера, были слишком мелки по сравнению с Гурляндом.

Председатель. — Вы припоминаете, что тогда же были испрошены бланки и на роспуск Государственной Думы, а не только на перерыв ее занятий?

Лодыженский. — Это в виду того, что в Думе могли произойти эксцессы, вследствие чего пришлось бы ее закрыть и назначить выборы, а это могло совпасть с отсутствием императора из Царского Села. Бывают такие мелочи, которые невольно запоминаются. Помню, когда Штюрмер поехал с докладом, он не повез указа о роспуске, и когда я спросил его об этом, он сказал: «Это я просто из суеверия делаю, чтобы не начинать доклада с такого указа».

Председатель. — То, что вы изволили вспомнить, опровергает ваш предшествующие слова. Вы говорили, что указ о роспуске был испрошен.

Лодыженский. — Да, вероятно, на другой день, но не в первый момент.

Председатель. — Этим и объясняется, может быть, то, что в составленном вами проекте, если я не ошибаюсь, не упоминается о роспуске Думы, а только о перерыве занятий?

Лодыженский. — Да.

Председатель. — Скажите, а где такие бланки хранились? Вот, скажем, эти бланки за январь 1916 года? Им все-таки порядочно пришлось похраниться до 4 апреля.

Лодыженский. — Они хранились у Штюрмера.

Председатель. — Не в канцелярии совета министров?

Лодыженский. — Нет.

Председатель. — Почему? Разве не казалось естественным, что вы, ведающий все дела совета министров, между прочим, хранили бы и эти документы?

Лодыженский. — Да, может быть. О Столыпине я говорить не могу, потому что я был в то время помощником управляющего, но при Коковцове, я знаю отлично, что они хранились в канцелярии, в конторке у экспедитора под ключом, и в нужный момент, так сказать, мобилизовались. Горемыкин держал их у себя на квартире, в письменном столе, под ключом. То же самое делал и Штюрмер. Он держал их у себя и, даже помню, что, когда он жил на Фонтанке, они находились у него в металлическом несгораемом шкафу, в кабинете.

Председатель. — Скажите, этот конверт хранился у вас в совете министров?

Лодыженский. — Таких конвертов было много.

Председатель. — Нет, а вот с этой печатью и с этой надписью?

Лодыженский. — Это обычный пакет из тех, которые присылались императором.

Председатель. — Так что вот это, написанное, в смысле даты, вам ничего не говорит?

Лодыженский. — Эта надпись делалась рукою фельдъегеря, когда он получал пакет для отправки.

Председатель. — Это печать императора?

Лодыженский. — Да, это его личная печать. Обыкновенно эти даты заносились в соответственные журналы. Иногда вновь поступавшие председатели, которые не знали всей силы этой даты, рвали конверт, и мне приходилось в фельдъегерской части узнавать, когда он был отправлен; это не имело само по себе никакого значения, но для нас в канцелярии этим числом датировалось утверждение, привезенное фельдъегерем, и затем они заносились в журналы.

Председатель. — Скажите, чем объясняется, что в черновиках, написанных вашей рукой, имеется вариант начального срока созыва законодательных учреждений в феврале 1916 года, а сохранился проект всеподданнейшего представления о возобновлении занятий государственного совета и Государственной Думы 22 февраля 1916 года?

Лодыженский. — Совершенно не знаю.

Председатель. — Позвольте мне вам предъявить, чтобы не было недоразумений. У вас тут много черновиков. Изволите видеть, это вы написали?

Лодыженский. — Да. Совершенно верно, 22 февраля.

Председатель. — А здесь, 1 февраля?

Лодыженский. — Да. Вероятно колебался Горемыкин; сказал 22 февраля, потом с кем-нибудь поговорил и срок приблизил.

Председатель. — В том же деле, перед одним из ваших проектов созыва на 22 февраля, имеется справка по вопросу о возобновлении деятельности законодательных учреждений и о том, что по этому поводу было высказано в совете министров в заседании 22 января 1916 года. Каково происхождение этой справки? Есть ли это выписка из формального журнала совета министров или из какого-нибудь другого документа? Это не вашей рукой сделана справка? Кем она сделана?

Лодыженский. — Это сделано рукой моего помощника А. Н. Яхонтова, очевидно, по моему поручению.

Председатель. — Откуда она взята?

Лодыженский. — Вероятно, вместо журнала, просто по нашим запискам. Тут написано рукой экспедитора: «Послано г. председателю 22 января». Теперь ясно, почему был послан первоначальный проект 22 февраля.

Председатель. — И потом переменили на 9 февраля?

Лодыженский. — Вопрос этот, значит, обсуждался в совете министров, в заседании 22 января; вместо журнала, чтобы напомнить ему ход заседания, я составил эту справку.

Председатель. — Вы изволили довольно долго работать в канцелярии совета министров, сначала в качестве помощника а потом в качестве управляющего. Как вам представлялась фигура Штюрмера, как председателя совета министров, сравнительно, хотя бы,

с его предшественниками? Какими особенностями определяется он, как председатель совета министров, в представлении вашем и ваших сослуживцев? Какие особенности характеризуют его период?

Лодыженский. — Если сравнить его время со столыпинским, можно сказать, что время Столыпина было время большой творческой работы. История может относиться к ней так или иначе, но это несомненно была крупная творческая работа в известном направлении.

Председатель. — Ну, а период Горемыкина?

Лодыженский. — В период Горемыкина? Тут наоборот. Горемыкин был совсем другой человек, человек без инициативы, усталый человек. Он мне часто говорил, что если бы не война, он ни за что бы не пошел. Что только долг его удерживает, — что он не может уйти; его не отпускают. Очень уставал. Сравнительно мало занимался. Но я всегда его считал очень искренним, патриотическим человеком. Потом, Коковцов. Это был очень способный человек, выдающийся, но не таких широких взглядов и не такой работник, как Столыпин. В этом отношении ничего не могу прибавить, кроме того, что и вам известно; вы так же знаете историю русских событий последних лет, как и я.

Председатель. — Но вы все-таки изволили стоять близко к деятельности председателей совета министров.

Лодыженский. — В этом отношении, я думаю, вы ошибаетесь, как и многие другие; мой деловой день проходил таким образом: я ежедневно бывал с докладом у Штюрмера так же, как и у других председателей. Часто случалось, что я узнавал последний или post factum о том, что делалось в бюрократических кругах. Штюрмер принимал очень много народа. Я приезжал к нему к 10 часам утра, а у него бывали люди с половины девятого. Я заставал человека уже до известной степени не свежего. Мой доклад был чисто деловой, это не был обмен мыслей и бесед.

Председатель. — Но кроме этого вы присутствовали в заседаниях совета министров, где очень сказывается фигура премьера.

Лодыженский. — Да. Заседания совета министров бывали два или три раза в неделю. Должен сказать, что Штюрмер держал себя очень пассивно, так же пассивно, как Горемыкин. Горемыкин держал себя пассивно (он был бесстрастный председатель) и только иногда оказывал известное давление. Насколько я знаю, Штюрмер также очень редко высказывался и не проводил свои взгляды, в противоположность Столыпину, который держал себя чрезвычайно властно в заседаниях совета министров и, горячо защищая какое-нибудь мнение, произносил большие речи.

Председатель. — Но как вам казалось: эти взгляды Штюрмер действительно имел, или видно было, что у него нет никаких взглядов?

Лодыженский. — Трудно сказать. При докладах я старался его убедить в необходимости придерживаться того или другого взгляда по чисто практическим, деловым соображениям; он как будто соглашался со мною, а потом, под влиянием разговора с каким-нибудь другим лицом, изменял. Он очень легко уступал, когда кто-нибудь из министров горячо отстаивал другие взгляды, так что я считал его каким-то безразличным.

Председатель. — Проявлял он осведомленность в делах государственного управления?

Лодыженский. — Я думаю, меньше, чем, например, Коковцов. Я вообще не считал его, так сказать, особо подготовленным, да это и невозможно было: его предшествующий пост был пост директора департамента.

Председатель. — Позвольте перейти к лету 1916 года. Вы может быть изволите помнить, что сессия Государственной Думы продолжалась с 16 мая по 20 июня? Почему мы в делах совета министров и, в частности, в этом делопроизводстве не находим такого проекта указа, проекта всеподданнейшего доклада, об испрошении указа на созыв Государственной Думы 16 мая? Не потому ли, что перерыв 4 апреля — 16 мая был обычным пасхальным перерывом?

Лодыженский. — Да.

Председатель. — Так. Вы изволите помнить, что когда действовала Дума 16 мая — 20 июня, то задолго до ее закрытия, уже 1 июня, были испрошены бланки на перерыв занятий?

Лодыженский. — Точно этого не помню, но думаю, что это обычный ход. А то обстоятельство, что это произошло за три недели, объясняется, вероятно, если можно так выразиться, торопливостью Штюрмера.

Председатель. — Торопливостью?

Лодыженский. — Я не знаю, не было ли тут какой-нибудь продолжительной поездки бывшего императора? Я во всяком случае не думаю, чтобы тут были какие-нибудь особые соображения.

Председатель. — Позвольте констатировать, что отлучки бывшего императора в 1916 году определяются следующими датами: с 10 по 18 февраля, со 2 по 19 марта, с 26 марта по 13 апреля. А с 24 апреля по 19 октября император постоянно был в ставке.

Лодыженский. — Так. Ну, значит, это была одна из причин, по которой Штюрмер поторопился, т.-е. просто хотел заранее иметь указ для того, чтобы в данный момент воспользоваться.

Председатель. — Государь не мог никуда удалиться, он мог только приблизиться, потому что с 24-го апреля по 19-е октября он жил в ставке.

Лодыженский. — И мог опять уехать на фронт. Я, конечно, не знаю, чем руководствовался Штюрмер, но я объясняю

себе так и не помню, чтобы были какие-нибудь другие соображения.

Председатель. — Не помните, что вам говорили об этих соображениях?

Лодыженский. — Ничего не говорили. Штюрмер вообще часто горячился и любил все делать заранее, чтобы потом выкинуть мысль из головы. Это вероятно и было причиною того, что он за три недели забил в набат.

Председатель. — Скажите, пожалуйста, 1-го июня, одновременно с испрошением указа о перерыве занятий, был испрошен указ о роспуске Думы?

Лодыженский. — Не припомню.

Председатель. — А указ о роспуске, который был испрошен в самом начале созыва этой Думы, был сохранен Штюрмером или нет?

Лодыженский. — Нет.

Председатель. — Может быть, этим объясняется и то, что вы не составили проекта на получение указа также и о роспуске Государственной Думы?

Лодыженский. — Да.

Председатель. — Вам не памятны обстоятельства роспуска Думы 20-го июня с назначением срока возобновления занятий 1-го ноября?

Лодыженский. — Особенно точно не помню.

Председатель. — Соответственное представление ваше о перерыве занятий опять исключает слова о согласии — «по соглашению с председателем Г. Думы и г. совета».

Лодыженский. — Очевидно, это уже было сделано в соответствии с предыдущим докладом Штюрмера, находившего слова эти лишними.

Председатель. — Скажите, что вы помните об обстоятельствах созыва Думы 1-го ноября 1916 года? Не помните ли вы о колебаниях, которые тогда возникли по поводу того, созывать или отсрочить созыв Думы?

Лодыженский. — Не припомню сейчас.

Председатель. — Вы не можете сказать, почему здесь нет соответственного проекта и соответственного отпуска всеподданнейшего представления об указах начала и перерыва занятий?

Лодыженский. — Совершенно не могу сказать.

Председатель. — В таком случае, когда указом определяется срок созыва Думы, вы испрашивали соответственное повеление или нет?

Лодыженский. — Виноват, г. председатель, я не совсем понимаю. Вы изволите говорить о каком указе? Здесь указ о созыве Думы на 1-е ноября?

Председатель. — Обычно перед созывом Думы, мы находим здесь проект или отпуск вашего всеподданнейшего представления, и как раз относительно Думы первого ноября этого не имеется. Возникает вопрос: может быть, в виду того, что сроком было назначено 1-е ноября, не было соответственного указа?

Лодыженский. — Это ясно.

Председатель. — Значит, в таких случаях вы не испрашивали особого указа? Указ уже считался существующим, обязательным к исполнению и Думою, когда был точно определен срок?

Лодыженский. — Несомненно. Значит, Дума собиралась 1-го ноября на точном основании указа, данного 20-го июня.

Председатель. — Ну, вот, наступило 1-е ноября. Была созвана Дума, и были сказаны речи с резкими нападками на политику председателя совета министров и на него лично. Что вы можете вспомнить относительно обстоятельств, при которых возникли тогда проекты о перерыве занятий и о роспуске Думы? Следы такого предположения видны: очевидно предполагалось или только прервать занятия или прямо распустить Думу. Что вы об этом помните, как вами испрашивались соответственные проекты?

Лодыженский. — Не помню; настолько не помню, что то, что вы изволите сейчас говорить, для меня почти ново.

Председатель. — Позвольте мне показать вам документ.

Лодыженский. — Но было ли что-нибудь подобное?

Председатель. — Вы не припоминаете?

Лодыженский. — Ах, теперь я соображаю; это какой-то черновик, но обстоятельств я совершенно не помню. Это должно быть тот самый указ, который я до сегодняшнего дня не мог припомнить, кем он был испрошен, и когда кн. Голицын его получил.

Председатель. — При чем тут кн. Голицын?

Лодыженский. — Кн. Голицын мне его показывал.

Председатель. — Все это было заключено в конверт, на котором написано: «1-ое ноября 1916 г. Царская ставка. Шт.-кап. Щеголеву».

Лодыженский. — Конверт особого значения не имеет, потому что могло быть переложено из одного конверта в другой. Этого я совершенно не помню, но я помню этот указ в связи с другим временем. Значит, он подшит здесь после 1-го ноября. Это обстоятельство у меня из памяти изгладилось. Указ этот я припоминаю, потому я и упомянул о кн. Голицыне. Кн. Голицын, говоря со мной о возможности роспуска Государственной Думы, этот указ мне показывал, причем я докладывал ему и убедил его в том, что этот указ никоим образом приводить в исполнение не следует.

Председатель. — Т.-е. указ о роспуске и без даты выборов?

Лодыженский. — Да. Причем я говорил, что, насколько я понимаю дело, эта вещь не вполне отвечает основным государственным законам.

Председатель. — Вы изволили это говорить в показании?

Лодыженский. — И вот только сегодня, сейчас, я нашел следы времени его появления. Значит, он был испрошен Штюрмером около 1-го ноября.

Председатель. — Г. секретарь, предъявляется бланк (без даты), за подписью «Николай», о роспуске Государственной Думы. По какому поводу вам пришлось говорить с кн. Голицыным об этом бланке?

Лодыженский. — Я докладываю, что когда была созвана Дума, уже при кн. Голицыне, 14-го февраля 1917 года, кн. Голицын стал говорить о необходимости иметь также, на всякий случай, указ о перерыве занятий или о роспуске.

Председатель. — Может быть, именно о роспуске?

Лодыженский. — Этого я хорошо не помню, может быть, и о роспуске, но вернее о перерыве. Тут он мне показал указ, тот самый, который вы изволили показать мне сейчас, и я стал убеждать никоим образом его в исполнение не приводить. Кн. Голицын всегда со мной соглашался и находил, что предпочтительнее пойти на перерыв, чем на роспуск. А тут именно говорилось о роспуске, причем еще без обозначения даты. Я говорил ему, что это может быть встречено общественным мнением крайне неблагоприятно и может подать повод к толкам чуть ли не о государственном перевороте.

Председатель. — Все это вы изволили говорить в феврале кн. Голицыну. Но не было ли у вас подобного разговора со Штюрмером в ноябре 1916 года?

Лодыженский. — Совершенно не помню. Настолько не помню, что когда появился этот указ (я совершенно искренне объясняю вам, г. председатель и гг. члены Комиссии, что это совершенно вышло у меня из памяти, благодаря обилию работы, которой у меня было в свое время достаточно), я тогда не знал, к кому отнести появление этого указа, и думал, что может быть он появился в январе вместе со Штюрмером. Одним словом, для меня сейчас сюрприз, что он нашелся в деле и отнесен к 1-му ноября. Может быть, я его и составлял по указанию Штюрмера, не желая ему противоречить.

Председатель. — Не припомните, вы его составляли?

Лодыженский. — Не помню, но раз он появился в деле, очевидно он был мне известен в свое время.

Председатель. — Г. секретарь, оглашается «Указ правительствующему сенату», за подписью «Николай». — «На основании ст. 105 осн. гос. законов, повелеваем Государственную Думу распустить с обозначением времени созыва вновь избранной Думы на... (пропуск) года. О времени производства новых выборов в Государственную Думу последуют от нас особые указания. Правительствующий сенат не оставит учинить к исполнению сего

надлежащее распоряжение». Здесь имеется ссылка на ст. 105, которая гласит: «Государственная Дума может быть до истечения 5-летнего срока полномочий ее членов распущена указом государя императора. Тем же указом назначаются новые выборы в Государственную Думу и время ее созыва»; вместо этой части мы имеем слова: «о времени производства новых выборов в Государственную Думу последуют от нас особые указания».

Лодыженский. — А о времени созыва ничего нет?

Председатель. — Нет; так же, как и о времени производства выборов.

Лодыженский. — Вот, почему кн. Голицын мне тогда его показал, а я, совершенно забыв обстоятельства, сопровождавшие появление этого указа, и отнеся его, вероятно, к январю 1916 года, доложил ему, что это идет вразрез с формальной стороной (я об этом подробно написал судебному следователю; здесь чисто юридические соображения) и является отступлением от ст. 105 осн. зак., ибо здесь не указаны выборы; что же касается житейской стороны, то это должно было произвести самое отрицательное впечатление, так как общественные круги могли заподозрить правительство и решить, что оно намеревается править государством без Думы в течение неопределенного времени: указ о созыве мог последовать через месяц, через год, через 5 лет. Я давал ему читать ст. 105, и тогда он мне сказал, что этому указу он движения давать не будет и вернет его императору. Я ему предложил дать его мне на хранение, в канцелярию, но он сказал, что вернет его императору. И он его действительно возвращал, но получил обратно, после чего дал мне его на хранение в канцелярию. Но я все-таки должен сказать, что в противоположность тому, что я писал г. следователю, я потом разбирался в старых бумагах и газетах, и мне попался указ о роспуске 3-й Государственной Думы, где тоже срока для выборов указано не было. Там тоже употреблена была та же фраза, что «о дне выборов последуют от нас особые указания», но обстановка была другая. Роспуск 3-й Думы последовал при самых нормальных обстоятельствах. Это было во время Коковцова; не помню только, 3-я или 4-я это была Дума, словом, та, которая умерла естественной смертью. Там была точно такая же неопределенная фраза; но тогда она, очевидно, не могла возбудить никаких подозрений: тогда было очевидно, что правительство не сговорилось и не могло установить дня назначения выборов. Одним словом, потом последовал указ, который эти выборы назначал. Припоминая мои показания г. следователю, я считаю, что был неправ, говоря, будто это явилось коренным отступлением от практики. Повидимому, подобного рода выражения употреблялись и ранее, но в другой политической обстановке.

Председатель. — Чем объясняется то, что все отпуски в деле сохранены, в письмах, относящихся к тому же моменту 1 ноября, имеются все ваши поправки, — и, вместе с тем, мы не имеем черновика проекта этого указа?

Лодыженский. — Черновик 1-го ноября, очевидно, у вас в руках.

Председатель. — Но это переписчик составил по какому-нибудь черновику.

Лодыженский. — Этот черновик мог быть написан моей рукой, или рукой кого-нибудь из служащих; очень часто я для ускорения диктовал.

Председатель. — Но черновики других документов все в хорошем порядке. Здесь у вас были какие-нибудь соображения, — вы не желали хранить черновика?

Лодыженский. — Нет, за все время, на протяжении всех шести лет, может быть, была одна-две бумаги, которые я держал в тайне от экспедитора, у себя под ключом, и отдавал их потом, по миновании секрета. Но здесь я этого не помню.

Председатель. — Позвольте считать, что если вы диктовали или составляли черновик этого указа, вы, во всяком случае, делали это по непосредственному распоряжению Штюрмера?

Лодыженский. — Да, я по своей собственной инициативе мог только напомнить председателю о необходимости изготовить тот или иной указ, но чтобы я сам поднес ему готовый указ, этого, конечно, не могло быть.

Председатель. — Позвольте опять обратить ваше внимание, ведь эта дата — 1 ноября 1916 года, сделана вашей рукой? (Показывает документ.)

Лодыженский. — Нет, это не моя рука. Это, вероятно, рука кого-нибудь из служащих экспедиции, но чья, я не помню.

Председатель. — А это кем составлено?

Лодыженский. — Только не экспедитором.

Председатель. — Позвольте мне теперь предъявить вам остальные бланки и попросить вас в них разобраться. (Г. секретарь, я предъявляю Ивану Николаевичу тот бланк, который я уже предъявлял.) Таким образом мы уже установили, что этот бланк представляет испрошенный Штюрмером проект роспуска Государственной Думы (без обозначения выборов и даты созыва) 1 ноября. Теперь, что из себя представляет хранившийся в этом же конверте вот этот бланк? Г. секретарь, я предъявляю другой бланк: «Указ правительствующему сенату. — На основании 99 ст. осн. госуд. зак. повелеваем занятия государственного совета приостановить и временем их возобновления назначить... (пропуск) года. Правительствующий сенат к исполнению сего не оставит учинить надлежащее распоряжение». Вы не можете припомнить, к какому времени это относится?

Лодыженский. — Я припомнить не могу, но могу высказать свои догадки. Если есть еще указ о перерыве занятий Государственной Думы, то этот указ мог быть составлен и испрошен просто как корреспондирующее мероприятие о перерыве занятий Государственной Думы.

Председатель. — Г. секретарь, предъявляется Ивану Николаевичу другой бланк: «Указ правительствующему сенату. На основании ст. 99 осн. госуд. законов повелеваем занятия Государственной Думы прервать с... (пропуск) сего года и назначить срок их возобновления в зависимости от чрезвычайных обстоятельств. Правительствующий сенат к исполнению сего не оставит учинить надлежащее распоряжение». Таким образом тут бланк, в котором начальная дата перерыва должна быть проставлена, а конечной даты нет, и сказано: «возобновление в зависимости от чрезвычайных обстоятельств». Этим бланком без назначения новых выборов прерывались на неопределенное время заседания Государственной Думы. Вы думаете, что этот бланк, относящийся к Государственной Думе, корреспондирует этому бланку о государственном совете? Повидимому, такое предположение не верно. Предъявляется, г. секретарь, еще один бланк: «Указ правительствующему сенату. На основании ст. 99 осн. госуд. законов, повелеваем занятия государственного совета прервать с... (пропуск) сего года и назначить срок их возобновления в зависимости от чрезвычайных обстоятельств». Таким образом этот бланк о государственном совете корренспондирует этому бланку о Государственной Думе. А вот этот бланк при чем?

Лодыженский. — Теперь для меня ясно. Этот бланк, который сейчас у вас в руках, является проектом, подлежащим изданию совместно с этим указом.

Председатель. — Т.-е., значит, Государственную Думу распустить...

Лодыженский. — А занятия государственного совета прервать. Так всегда делалось.

Председатель. — Т.-е. Государственную Думу распустить, а государственный совет только приостановить?

Лодыженский. — Государственный совет нельзя было распустить, так как там половина членов по назначению.

Председатель. — Значит, позвольте считать, что приостановка занятий государственного совета сделана с указанием времени возобновления и должна быть датирована 1 ноября?

Лодыженский. — Мне трудно ручаться за правильность того, что я вам докладываю. В делах государственного совета, если это проходило через канцелярию, а не проводилось помимо, должен находиться отпуск этого указа, который вы сейчас изволите держать в руках. Теперь, после того, как вы изволили мне показать другой указ, у меня явилось сильное сомнение. Мне кажется,

что все, что я говорил о том указе, который мне показал кн. Голицын, все это относилось не к тому указу, который вы мне изволили показать и где говорится о назначении новых выборов и о перерыве занятий Государственной Думы без назначения срока этих выборов. Я помню, что кн. Голицын показал указ, который мне показался коренным отступлением от существующей практики, но так как я этот указ только пробежал (это было в январе месяце), то и текста его припомнить не могу. Я думаю, что все это должно относиться к тому указу, который вы мне показали вторым, т.-е. не тот указ о роспуске Думы, а тот, где о перерыве без назначения дня возобновления занятий. Это и является отступлением от всей практики, которая существовала.

Председатель. — Но еще большим отступлением от закона является убиение Государственной Думы без указания срока, когда она должна в лице нового состава воскреснуть.

Лодыженский. — Я теперь еще яснее припоминаю, и думаю, что кн. Голицын показал мне второй указ, тот, что и вы мне показали.

Председатель. — Тогда, значит, у вас был другой разговор о том, что «на всякий случай», как вы изволили сказать раньше, кн. Голицын хотел иметь указ и о роспуске?

Лодыженский. — Этого я не помню. Это расходится с тем, что я писал следователю, тогда я все свои объяснения относил к этому тексту, а теперь, когда я углубил свою мысль, я вижу, что это был второй указ, и он являлся прямым нарушением всей практики, которая существовала. Мне показалось, что это и есть перерыв занятий Государственной Думы без срока их возобновления, потому что всегда была известна дата созыва, хотя бы «в зависимости от чрезвычайных обстоятельств», но не позднее такого-то дня. Таким образом, страна знала, что Государственная Дума может быть созвана через месяц, два, три месяца, но такого-то числа она обязательно будет. Вот почему я был поражен этим указом; я думаю, что, вероятно, он прошел помимо канцелярии.

Председатель. — Я и хотел вам поставить этот вопрос.

Лодыженский. — Когда кн. Голицын мне показал этот указ, я помню, в каком я был удивлении: указ, который мне совершенно неизвестен, и притом в такой форме, без назначения срока. Тут я сказал ему, что это прямо государственный переворот, ибо Дума не распускается, она существует, новых выборов нет, но, с другой стороны, правительство правит без Думы, и даже неизвестно, когда Дума будет созвана, так что, я думаю, все мои показания следователю я должен исправить потому, что все это имеет важное значение, и то, что я говорил раньше, относится ко второму указу.

Председатель. — Таким образом, на основании предъявленных документов, вы можете подтвердить, что 1-го ноября Штюрмером

в неканцелярском порядке проектирован, во-первых, роспуск Думы, затем. . .

Лодыженский. — Раз это находится в делах канцелярии и в свое время было вшито, то это проходило с моего ведома, и значит я просто не помню.

Председатель. — Нет, именно не так. Может быть, это значит, что все проходило в неканцелярском порядке?

Лодыженский. — Я думаю, что указ 1-го ноября о роспуске проходил через канцелярию.

Председатель.—Значит указы о перерыве без определения даты созыва прервавшей свои занятия Думы проходили мимо канцелярии?

Лодыженский. — Повидимому, но поручиться за это я не могу.

Председатель. — Может быть и в канцелярии было, но не сохранилось следов?

Лодыженский. — Тут можно только догадываться.

Председатель. — Вы не помните разговоров со Штюрмером в первых числах ноября? Что происходило по поводу неприятных заседаний Государственной Думы с выдвинутыми против него обвинениями и что собирались делать с законодательной палатой, которая так к нему отнеслась?

Лодыженский. — Не помню.

Председатель. — А я не помню ранее 17 декабря, прерывалась работа Государственной Думы 1-го ноября или не прерывалась.

Лодыженский. — Прерывалась, в связи с назначением председателем совета министров Трепова. Перерыв, если я не ошибаюсь, был сделан 11 ноября, всего на неделю, до 19 ноября. Сделано это было с тем, чтобы возобновить занятия, когда пост председателя совета министров примет Трепов. Предполагалось, что за это время будет пересоставлен кабинет и уйдет Протопопов, но это не осуществилось.

Председатель. — Здесь имеется проект с поправками синим карандашом: «Гг. члены Государственной Думы. Сегодня исполнилось ровно 28 месяцев с начала настоящей войны, войны небывалой в истории по своим размерам и своему ожесточению. О причинах возникновения ее распространяться не приходится. Весь цивилизованный мир знает, что не Россия начала войну, что не мы несем ответственность за море пролитой человеческой крови. Ослепленные проявленным Россией в ряде предшествовавших лет миролюбием и уступчивостью и приняв их за признак слабости, дерзновенные враги напали на нас. Долговременная подготовка вселяла в них уверенность, что война будет непродолжительна и завершится их победою. Россия дерзкий вызов приняла, и несравненная доблесть наших воинов и непоколебимое мужество верных наших союзников в корне нарушили все расчеты противника. Господа, с этой кафедры не раз заявлялось от имени правительства, что война будет доведена до конца, до совершен-

ной победы. Не раз заявлялось также, что преждевременного мира, а тем более мира, заключенного отдельно от наших союзников, не будет никогда. Этой решимости правительства ничто не может изменить, она исходит из непреклонной воли державного вождя земли русской, единомыслящего со всем верным его народом: Россия не положит оружия, пока не будет полной победы», и т. д. К какому времени это относится?

Лодыженский. — Это обращение Трепова.

Председатель. — Чьи это поправки синим карандашом? Будьте добры посмотреть.

Лодыженский. — Это рука Трепова.

Председатель. — Кто составил черновик этого обращения?

Лодыженский. — Первоначальный составлял я, но он подвергся значительным изменениям, и даже в последний день, когда готовился последний экземпляр, Трепов иногда по телефону говорил: «там такое-то слово, такое-то выражение вставьте». Так бывало и при составлении всех подобного рода проектов.

Председатель. — Вы изволили сказать относительно этих бланков, что они были получены при Штюрмере. Каким же образом они дожили до Голицына, до революции? Разве было у вас в обычае, что неиспользованные бланки передавались от одного председателя совета министров к другому? Вам известно, что они передавались?

Лодыженский. — Да, повидимому, передавались, т.-е. Трепов получил эти бланки от Штюрмера, а Голицын от Трепова. Иначе это не могло быть.

Председатель. — К декабрю месяцу, т.-е. к министерству Трепова, относится опять испрошение бланковых указов, но в тексте стоит не «в зависимости от обстоятельств» — а «в зависимости от хода занятий совета и Думы испрашивается полномочие проставить в сих указах начальные сроки перерывов впоследствии», а в проектах указов мы находим слова: «Назначить сроком их возобновления такое-то число», так что предполагалось, значит, соблюсти закон, хотя и с испрошением бланков, требующих назначения срока новой работы прервавшихся занятий Думы и государственного совета.

Лодыженский. — Если не ошибаюсь, это было 12-го января: Трепов не желал откладывать на неопределенный срок, а прямо на 12-е января.

Председатель. — В соответствии с этим имеется копия указа. Позвольте мне предъявить вам памятную записку за вашей подписью, составленную 3 января 1917 года, на тему мнений, которые высказывались министрами в заседании совета министров 3 января 1917 года по вопросу о времени возобновления занятий законодательных учреждений. Позвольте вас спросить, эта памятная записка составлена также по вашим черновикам, а не по журналу?

Лодыженский. — Да, конечно, это опять-таки вместо журнала.

Председатель. — Скажите, чем объясняется, что такие важные в государственном отношении моменты совершенно официальной деятельности совета министров не фиксируются в журнале? Откуда такой обычай, совершенно непонятно. Все важное дается вами по справкам и не находит себе отражения в журнале, т.-е., по крайней мере, наиболее важное?

Лодыженский. — Да, здесь, значит, шло разногласие.

Председатель. — О сроке, о продолжении и о перерыве?

Лодыженский. — Да; видите, какая же была практическая надобность в этом журнале? Такой вопрос не мог служить предметом разногласия в смысле подлежащего разрешению верховной власти. Прежде, чем обратиться к императору, совет министров должен был столковаться о том, когда созвать Думу: 12-го, 31-го (еще какой-то срок был указан). Очевидно, это был обмен мнений, после которого меньшинство подчинялось большинству. Так что практической надобности не было.

Председатель. — Практический был большой смысл, так как предполагается, что в журнале имеется объективное изложение того, что происходило, и при докладе носителю верховной власти очень важно познакомиться с мнением его министров в объективном изложении.

Лодыженский. — Я думаю, что Трепов об этом не докладывал потому, что считал, что совет министров должен договориться в своей среде. Вероятно, посылая Трепову проект указа, я, в виде памятной записки, составил вместо журнала изложение, чтобы он припомнил, какие были мнения по этому поводу, и, может быть, даже еще раз передумал.

Председатель. — Не Трепову, а кн. Голицыну. Это было 3-го января, а кн. Голицын назначен 21-го декабря.

Лодыженский. — Может быть, эта памятная записка предназначалась для того, чтобы показать ее императору, или чтоб самому ему помнить при докладе, что постановление совета министров созвать Думу последовало единогласно.

Председатель. — Теперь разрешите перейти к последнему перерыву; как эта сессия Государственной Думы, окончившаяся памятным 26-м февраля, как она начиналась тогда, 14-го февраля? Позвольте вас спросить, почему мы здесь не находим ни отпусков, ни соответственных проектов всеподданнейшей записки о перерыве сессии?

Лодыженский. — Этого я не знаю. Может быть не успели вшить, и все это исчезло.

Председатель. — Между тем, соответственное всеподданнейшее представление 13-го февраля, накануне начала сессии Государственной Думы, было?

Лодыженский. — Тогда это очень понятно.

Председатель. — Т.-е. опять-таки Дума еще не начала существовать, а уже проект о роспуске был?

Лодыженский. — Это обычно, господин председатель, делалось за последнее время, за время войны, за время известного обострения отношений между правительством и Думой. Как только открывается Дума, испрашивается указ на случай конфликта, который потребует разрешения. Я и теперь могу добавить, если, как вы изволите говорить, всеподданнейшее представление помечено 13-м февраля, значит 13-го февраля оно было у государя, а 12 февраля кн. Голицын имел со мной разговор. Очень возможно, что накануне, около этого числа, он мне и показывал этот проект указа, который был потом признан им по моему же докладу неприемлемым.

Председатель. — Признан неприемлемым? Это после того, как вы сделали доклад?

Лодыженский. — Вероятно, я докладывал кн. Голицыну, что надо иметь такой указ по примеру его предшественников, и говорил ему, что этот указ в новой форме совершенно неприемлем. Тогда он мне сказал: «Сделайте указ по обычной форме».

Председатель. — Вы обычно присутствовали как в официальных заседаниях совета министров с журналами, так и в последующем обсуждении без журналов. Расскажите, что вам известно относительно обстоятельств, при которых был решен вопрос о роспуске Думы 26-го февраля? Какие высказывались мнения по этому вопросу?

Лодыженский. — Беспорядки в Петрограде начались, если не ошибаюсь, 23-го февраля, и первые дни они происходили в такой форме, что о перерыве занятий Государственной Думы не думали. Наоборот, президиум Государственной Думы, совместно с правительством, обсуждал, как предотвратить дальнейшее развитие этих беспорядков, выразившихся тогда, главным образом, на почве недостатка продовольствия. 24-го, вечером, состоялось заседание с участием Родзянки, Некрасова, если не ошибаюсь, Дмитрюкова.

Иванов. — Заседание совета?

Лодыженский. — Нет, это было частное совещание. Родзянко предлагал тогда меру, на которую возлагал большие надежды, и говорил, что она успокоит население. Мера эта заключалась в том, чтобы все дело обеспечения продовольствием населения г. Петрограда было передано городскому общественному управлению; и это тогда же было решено. Так что тут разговоров о перерыве занятий Думы не происходило, а поднялись они, если не ошибаюсь, впервые 26-го февраля, когда уже был подписан указ.

Председатель. — При каких обстоятельствах был подписан указ?

Лодыженский. — Тогда, я помню, высказывалось соображение, что нужно Государственную Думу распустить, так как уличные беспорядки уже настолько разрослись, что Дума нормальной работой заниматься не может; будто бы даже многие члены Думы сами высказывались в таком смысле, что они находятся в очень тяжелом положении. Вот тут-то и был этот указ подписан, город был объявлен на осадном положении. Эти две меры приняты 26-го февраля. Это считалось неразрывным. Я не помню, что дебатировалось в первом. Думаю даже, осадное положение дебатировалось в первом. Это как последняя мера, на которую надеялись, что она окажет действие; тогда так и говорили: раз осадное положение, Дума не может функционировать.

Председатель. — Но как же председатель совета министров и другие министры не испытывали в этом случае затруднения и не задумывались испрашивать вот такие бланки, которые вдобавок и залеживались? Тут несколько вариантов: ведь это был акт громадной политической важности, громадного государственного значения. И такой акт от имени императора, носителя власти, должен был принять на себя председатель совета министров, и не то, чтобы поговорить с носителем власти и затем его приказ исполнить, а использовать бланковое полномочие для решения государственного вопроса от имени царя. А может быть царь и не распустил бы в этот момент Государственную Думу. Я вас, как свидетеля, спрашиваю о том, что вы тогда наблюдали? Не являлось ли чувство затруднения у этих лиц? Ведь они получили эти бланки при совершенно другой конъюнктуре и совсем в другом периоде отношений правительства к Государственной Думе, и теперь хотели их использовать?

Лодыженский. — Здесь было контрассигновано, и на бланке было проставлено кн. Голицыным число. А бланк он получил весьма незадолго перед этим.

Председатель. — Он получил его, как мы знаем, 12 февраля, т.-е. до начала работ Думы.

Лодыженский. — Совершенно верно, но предполагалось, что Государственная Дума работать не может. При чем я припоминаю, как некоторые министры говорили, что сами члены Думы ссылаются на то, что их положение весьма тяжелое, что они находятся под давлением, как они выражались, «улицы», и, конечно, когда вокруг идет стрельба, никакая законодательная работа невозможна.

Председатель. — Вы сами понимаете, что разговоры или заявления отдельных членов Государственной Думы из состава нескольких сот вряд ли должны были приниматься во внимание при решении такого важного вопроса, как роспуск Государственной Думы, тем более, что приходилось датировать этот приказ 25-го февраля, когда все было не так, как в воскресенье 26 февраля,

когда фактически была эта дата вписана. И эти лица считали это нормальным?

Лодыженский. — Да. Предыдущий перерыв Думы при Трепове, значит рождественский перерыв, тоже был сделан путем бланкового указа.

Председатель. — Но это был обычный естественный перерыв на рождественские каникулы. Выписки, которые у вас здесь имеются, делятся именно на перерывы — рождественские, пасхальные и перерывы по высочайшим указам, т.-е. на естественные и все-таки несколько исключительные, не вполне нормальные. Но соответственный вопрос у гг. членов совета министров очевидно не подымался?

Лодыженский. — Я хорошенько этого не помню. Я могу засвидетельствовать, что кн. Голицын до самого конца был принципиальным противником принятия мер против Думы.

Иванов. — Кто настаивал на этом?

Лодыженский. — Этого я не могу припомнить.

Председатель. — Великолепно зная совет министров, я думаю, вы с большой точностью можете сказать?

Лодыженский. — Мне следователь задавал вопрос, кто был в этом заседании, но мне было трудно перечесть.

Председатель. — Где происходили эти заседания?

Лодыженский. — На Моховой. В заседании 26-го февраля, я думаю, были все. Мой автомобиль я дал, чтобы послать за Войновским-Кригер, а здесь в тот же день трудно сказать, кто был, но я помню, что кн. Голицын вообще желал держать Думу до самого конца. Это я могу засвидетельствовать.

Председатель. — Вы не можете припомнить, кто был противного мнения, кто стоял на том, чтобы не держать Думу до самого конца, а поскорее избавиться? Не был ли это Протопопов?

Лодыженский. — Я думаю, что Протопопов, господин председатель, вам известен. Он был с самого начала сторонником того, чтобы Думу распустить при первом удобном случае. В этом отношении я ничего нового прибавить не могу. А здесь составилось такое впечатление, что это был общий голос: говорили так, что раз происходит мятеж на улице, Дума не может функционировать, и надо прервать ее занятия: не роспуск, а перерыв занятий, причем оценивать этого я не берусь, но помню факт, что ссылались на некоторых членов Думы, принадлежавших далеко не к правым партиям.

Председатель. — К вопросу о бланках: повидимому, все это относится к тому же ноябрю, к которому относятся и все эти варианты.

Лодыженский. — Тогда я не понимаю, почему один попал, а другие не попали к делу?

Председатель: — Очевидно был тут внеканцелярский порядок. Теперь, что вы можете сказать относительно того, как все эти бланки попали в этот конверт. Ведь это — конверт очень большой важности, на это имеются указания в деле. Можно предположить, что они хранились с вашего ведома и передавались согласно вашим распоряжениям. Может быть вы вспомните, при каких обстоятельствах столь разнообразные бланки, за подписью главы верховной власти, хранились у вас, в канцелярии совета министров?

Лодыженский. — Я совершенно не знаю, г. председатель, где они были найдены Верховной Следственной Комиссией.

Председатель. — Мы их получили из канцелярии совета министров.

Лодыженский. — Значит, это был конверт, хранившийся не в канцелярии, а, вероятно, у председателя.

Председатель. — Тогда как же он попал в канцелярию без вас, главы канцелярии?

Лодыженский. — Значит, это были те указы, которые мне передал кн. Голицын.

Председатель. — Но они хранились в пакете от 1-го ноября?

Лодыженский. — Вероятно, я в этом пакете их получил и дал на хранение, т.-е. для уничтожения, но их не решились уничтожить.

Председатель. — Вы их получили от Штюрмера?

Лодыженский. — Я предполагаю, что этот конверт я получил от кн. Голицына.

Председатель. — Не известно ли вам, при каких обстоятельствах в начале войны Горемыкин получил указ, в виде рескрипта на свое имя, о передаче совету министров права на разрешение некоторых дел, подлежащих разрешению верховной власти?

Лодыженский. — Этот вопрос был мне задан следователем. Я ничего не могу прибавить к тому, что говорил тогда. Я помню, тогда предполагалось, что император будет как бы в безвестном отсутствии. Если вы изволите припомнить, первое время все держалось в такой тайне, что я лично долго не знал, что такое ставка, где она помещается, куда уходили полки, где они располагались, кто были командующие фронтами. Все это трудно было узнать в канцелярии. Предполагалось, что когда государь уезжал на фронт, то это «куда-то в пространство». Я не помню кем, но кем-то мне было сказано в совете министров, что был такой рескрипт; может быть, было получено указание от государя. я этого не могу сказать, но о рескрипте, который уполномочил совет министров утверждать и проводить разные мероприятия высочайшим именем, было мне сказано. Когда я получил это указание, я сделал розыск. Кажется, это делалось со времени наполеоновской войны, какое-то учреждение имело такое полно-

мочие во времена Александра I. Я нашел нечто подобное в сороковых годах, когда император Николай I проводил зиму в Сицилии вследствие болезни императрицы; так же и во время русско-турецкой войны, когда император Александр II был в Болгарии. Тогда же я нашел и печатные бланки тех времен, бланки периода русско-турецкой войны, и по тому образцу эти бланки были заказаны в типографии; так как я предполагал, что совету министров этими полномочиями придется пользоваться, черновик был мною составлен. Получили мы этот рескрипт; копия его была сообщена секретным образом министрам, но в исполнение его никогда не приводили, потому что сообщение со ставкой не прерывалось; ездили фельдъегери и т. д.

Председатель. — Обычно, каким образом представлялись на утверждение царю постановления совета министров? Были это представления личные, или они посылались?

Лодыженский. — Думаю, что 90% посылалось. Сдавались в главный штаб в фельдъегерскую часть в запечатанном пакете, и возвращались также. Затем, когда председатель ездил с личным докладом, он брал с собою или наиболее экстренные, или наиболее важные дела. Горемыкин имел обыкновение, по всем разногласиям, журналы брать с собой; а чтобы сократить, он содержание передавал устно, если журналы было очень объемисты.

Председатель. — Вы не можете припомнить, почему занятия Государственной Думы, прерванные 3-го сентября 1915 года, не были возобновлены в ноябре, как это первоначально было предположено?

Лодыженский. — Не могу припомнить, могу только догадываться; тут было желание выиграть время, в связи с тем конфликтом, который произошел между Государственной Думой и Горемыкиным; вообще, Горемыкин желал продлить пору бездумья.

Председатель. — Позвольте вас поблагодарить, Иван Николаевич.

Приложение к допросу И. Н. Лодыженского

ПРОТОКОЛ.

1917 года, июня 6 дня. Командированный в Чрезвычайную Следственную Комиссию для производства следственных действий Михаил Николаевич Фицтум допрашивал с соблюдением ст. 443 уст. угол суд., нижепоименованного свидетеля, который показал:

Лодыженский, Иван Николаевич, православный, 45 лет, б. управляющий делами совета министров, Театральная пл., 12.

На предложенный мне вопрос о предоставленных б. председателю совета министров статс-секретарю Горемыкину и совету министров чрезвычайных полномочиях действовать в делах управления от высочайшего имени, могу представить следующие объяснения.

Вскоре после объявления войны, летом 1914 года, б. председатель совета министров, статс-секретарь Горемыкин, дал мне поручение составить акт, который бы уполномочивал совет министров утверждать все необходимые мероприятия по управлению государством точно так же, как если бы они были утверждены самим императором, иначе говоря, действовать высочайшим именем. Предполагалось, что государь будет много времени проводить в поездках на фронт, и желали дать совету министров право осуществлять различные меры без того, чтобы доклады и журналы отсылались на личное утверждение императора. Я нашел в старых делах б. комитета министров различные материалы по подобного рода делам и мне удалось выяснить, хотя и отрывочно, бывшие примеры. Так, во время Отечественной войны, когда Александр I был долго за границею, были даны такие же полномочия комитету министров. То же самое повторилось в 40-х годах, когда Николай I проводил зиму в Палермо, далее, во время русско-турецкой войны при Александре II, наконец, при б. императоре Николае II, во время постигшей его несколько лет тому назад тяжкой болезни. В соответствии с приведенными примерами и был составлен особый акт, обле-

ченный в форму высочайшего рескрипта на имя статс-секретаря Горемыкина. Копии рескрипта самым доверительным образом были сообщены всем министрам для сведения. На самом деле рескрипт никогда не применялся, а всегда все доклады и журналы совета министров отсылались с фельдъегерями в местопребывание государя. После отставки статс-секретаря Горемыкина при его преемниках вопрос о рескрипте ни разу не возникал. Я не имел случая о нем что-либо докладывать и лично считал, что рескрипт этот уже потерял свою силу, так как он был рескриптом, обращенным лично к статс-секретарю Горемыкину и уполномочивал не председателя совета министров вообще, а именно И. Л. Горемыкина, утверждать от высочайшего имени постановления совета министров, т.-е. являлся актом особого личного доверия императора к И. Л. Горемыкину, и, следовательно, не имел уже силы для его преемников. Показания написаны собственноручно. Иван Николаевич Лодыженский.

Командированный в Чрезвычайную
Следственную Комиссию для производства
следственных действий *Фицтум*.

В Чрезвычайную Следственную Комиссию.

Представляя протокол допроса свидетеля И. Н. Лодыженского, докладываю, что показание это не имеет никакого отношения к расследованиям, находящимся в производстве в 27 следственной части.

20 июля, 1917 г. № 27 198.

Командированный в Чрезвычайную
Следственную Комиссию для производства
следственных действий *Гирчич*.

LXX.

ДОПРОС Н. Е. МАРКОВА.

24 июля 1917 года.

Содержание: Задача союза русского народа. Отношение союза русского народа к Государственной Думе. Раскол между союзом и Дубровиным. Отношение союза к террору. Политические убийства. Выборы в Государственную Думу в 1907 и 1912 гг. Отношение к выборам союза. Правительственные субсидии. Десятимиллионный фонд. Выдача 8—9 тысяч на «Земщину». Отношение Коковцова и других министров к субсидии. Объяснения Маркова в Государственной Думе по вопросу о субсидии. Фиксированная сумма и суммы случайные. Щербатов и Хвостов. Расходы союза. Денежные отношения с министрами и денежные операции союза вообще. Курская газета и «Вестник союза русского народа». Типография союза. Отношение Протопопова к союзу. Отношение к Распутину. Толкование названия «земско-соборники». Вопрос о закрытии и разгроме союза. Марков и Замысловский. «Гроза» и «Русское Знамя». Отношение к союзу Михаила архангела. Идея объединения монархических организаций. Политика Столыпина по отношению к правым организациям. Местные власти и союзы. Съезды правых. Борьба с нарастающей революцией. Состав союза. Объединение правых членов Государственной Думы и государственного совета. Вопрос о перередактировании основных законов. Представление верховной власти записок. Попытки отделов союза вызвать погромы. О субсидировании «Русского Знамени». Телеграммы на высочайшее имя от отделов союза. Отношение к войне. Речь в Думе. Кадеты и левые. Их вина. Инцидент в Государственной Думе.

Председатель. — Николай Евгениевич, вы изволите быть членом 3-й и 4-й Государственной Думы от Курской губернии и одновременно состоите членом союза русского народа? Давно ли вы состоите членом союза русского народа?

Марков. — С 1907 года; до этого я был в курской партии народного порядка, соединившейся потом с союзом.

Председатель. — С каких пор вы были членом курской партии?

Марков. — Я был одним из ее основателей, а она основалась в конце 1905 года. Все они возникли, более или менее, в это время.

Председатель. — Николай Евгениевич, не будете ли вы добры в нескольких словах, очертить нам задачи союза русского народа

и основные линии реализации этих задач, главным образом, за последние годы?

Марков. — За какие именно годы?

Председатель. — Может быть, вы дадите нам очерк возникновения организации, расскажете о причинах раскола с Дубровиным и затем, несколько подробнее, остановитесь на истории союза за период с 1912 — 1914 гг.?

Марков. — Рассказывать всю историю будет очень много, может быть, вы зададите отдельные вопросы, иначе я могу говорить не то, что нужно.

Председатель. — О задачах, о целях и способах действий?

Марков. — Задача — укрепление монархической власти в России.

Председатель. — Укрепление монархической власти в чистом виде, без конституции?

Марков. — В самодержавном виде, как она существовала до 1 марта.

Председатель. — С Думою или без законодательных установлений? Вы говорите, до 1 марта 1906 года?

Марков. — Я говорю про 1 марта 1917 года, т.-е. до момента отречения императора Николая II.

Председатель. — Скажем, до 2-го марта.

Марков. — Это была задача основная. Затем — укрепление прав русского народа.

Председатель. — Значит, с Государственной Думой и государственным советом?

Марков. — В нашем утвержденном уставе ясно значится, что мы признаем Государственную Думу и должны в ней работать. Это напечатано в нашем уставе.

Председатель. — Эта часть устава была не только на бумаге, но и в жизни?

Марков. — Да, поскольку это зависело от нас.

Председатель. — Если были такие задачи, т.-е. устав реализовался в жизни, чем же объясняются ходатайства с мест, направлявшиеся, главным образом, против Государственной Думы, т.-е. против данного строя?

Марков. — Я таких обращений не помню.

Председатель. — Разве вопрос о необходимости перехода к строю, до основных законов 1906 года, не дебатировался в союзе русского народа и не был предметом желаний, быть может, домогательств отдельных частей и даже центра?

Марков. — Союз русского народа весьма большая организация, имевшая одно время около трех с половиной тысяч отделов. Таким образом, там были возможны самые различные взгляды отдельных лиц, групп, даже отделов, так что говорить об этом, как о чем-то однородном целом, которое могло бы одинаково

мыслить, я не могу. Имелись всевозможные течения, что и привело к расколу, о котором вы изволили упомянуть. Основное наше течение, действовавшее по уставу, признавало Думу, и доказательством этому было то, что мы в Думу пошли, — мы не могли бы пойти в Думу, если бы мы, как таковую, ее не признавали.

Председатель. — Можно итти в Думу, чтобы внутри самой Думы ее отрицать.

Марков. — Фракция, которая была наполнена членами союза русского народа, никогда на такую позицию не становилась и никогда действий, направленных к уничтожению Думы, как таковой, не проявляла.

Председатель. — Но вы не станете отрицать, что в пределах вашей организации, в пределах трех с половиной тысяч отделов, были отделы, не принадлежавшие, повидимому, к центральному течению и хотевшие поворота назад?

Марков. — Несомненно, были группы, которые считали, что вообще Думы не нужно. Такие группы имеются и теперь.

Председатель. — На чем же произошел большой раскол между вами и Дубровиным?

Марков. — Главным образом, на разном понимании задач союза русского народа. Течение, к которому принадлежал я, считало, что Дума есть народное представительство, и в той форме, как она была замышлена актом 1905 года, она необходима; противуположная партия находила желательным пересмотр и изменение этого законодательства, так как не была им удовлетворена. Как левые партии не были удовлетворены Думой, так и наша партия была неудовлетворена, правда, положим, с другой точки зрения.

Председатель. — Вы считаете дубровинское течение и откоповшуюся самостоятельную организацию правым течением союза русского народа?

Марков. — Да, они составляли крыло наших крайних правых.

Председатель. — Скажите, когда и при каких обстоятельствах произошел формальный раскол?

Марков. — Это назревало постепенно, так что очень трудно найти грань, но завершением процесса, который длился все время, был, конечно, отказ Дубровина в 1910 году или в конце 1909 года от звания председателя союза русского народа.

Председатель. — До каких пор продолжался этот раскол и почему произошло опять объединение в одно течение?

Марков. — О каком объединении вы изволите говорить?

Председатель. — Об объединении дубровинской ветви союза с вашей ветвью.

Марков. — Этого объединения, к сожалению моему, никогда не происходило.

Председатель. — Как относился союз русского народа к террору?

Марков. — Достаточно отрицательно.

Председатель. — Но ведь был период, когда в составе союза русского народа образовался особый боевой отдел?

Марков. — Нет, такого времени никогда не было.

Председатель. — Это время совпало с временем революционного движения 1905 года.

Марков. — О существовании боевых организаций я слышу в первый раз. Правда, я читал в газетах противного нам лагеря обвинение со стороны левых партий, но это не верно.

Председатель. — Так что вы это отрицаете?

Марков. — Никогда не имел к этому доказательств.

Председатель. — А убийства отдельных деятелей левых течений, противных союзу русского народа, вы не считаете, что они были организованы?

Марков. — Для меня это до сих пор загадка. Может быть, это и было организовано, но кем?

Председатель. — Боевой организацией.

Марков. — Убийства лиц левого лагеря редки и немногочисленны.

Председатель. — Три ярких случая — Иоллос, Герценштейн и Караваев.

Марков. — Три случая за 10 лет. Я думаю, что самая их малочисленность и сравнительная незначительность лиц убитых свидетельствует, что не было сколько-нибудь серьезной организации.

Председатель. — Вы делаете оговорки, будем говорить об организациях прямо.

Марков. — У меня, за время моего пребывания в союзе (а я пробыл в нем достаточно долго и в последнее время руководил им), нет никаких данных к тому. Я всегда считал возмутительной клеветой, что союз русского народа организовывал убийства и притом таких, сравнительно невинных людей, как Иоллос, Герценштейн и Караваев. Я, прежде всего, не видел никакой логики в этом: я могу понять, что можно убить человека, но надо иметь для этого логическое основание.

Председатель. — Вы вступили в союз в 1907 году; может быть, эти убийства и расцвет деятельности боевой организации относились к предшествовавшему моменту?

Марков. — По времени, меня тогда не было в Петрограде (это происходило в Петрограде или около Петрограда), но хотя я и не состоял еще в союзе, все же я был знаком с делами союза. В организацию я вошел убежденно, нисколько в этом не раскаиваюсь и прямо свидетельствую, что, по моему мнению, это обвинение—ни на чем неосновательная клевета.

Председатель. — Может быть, такая организация была при том крайнем правом течении, о котором вы изволили упомянуть в связи с именем доктора Дубровина?

Марков. — В то время доктор Дубровин был председателем, т.-е. руководителем, а не представителем особого течения. Напротив, мы, так называемые земские соборники, вошли позже. Так что я думаю, что он выражал вполне идеалы союза русского народа того времени.

Председатель. — За период, предшествовавший началу вашей деятельности в союзе русского народа, вы не ручаетесь, так как не знаете, что там было?

Марков. — Если важно мое мнение, то я выражаю убеждение, что ни доктор Дубровин, ни его единомышленники (конечно, я разумею главных деятелей) не могли в этом участвовать.

Председатель. — Можно называть ваше течение союза русского народа земско-соборниками?

Марков. — Это не основано на каком-нибудь акте, но это довольно определенный термин . . .

Председатель. — На вашей памяти, таким образом, выборы в две Государственные Думы — 1907 и 1912 гг. Скажите, союз русского народа принимал участие как в тех, так и в других выборах?

Марков. — Да, принимал.

Председатель. — У вас не было разногласия в отношении к этому факту?

Марков. — Имелись разные течения. Были течения, подобно крайним большевикам у социалистов, отрицавшие участие в Государственной Думе, но они были в меньшинстве, и это отрицание не имело практических последствий и значения.

Председатель. — Скажите, как относился союз русского народа, и в частности вы, к вопросу о субсидировании организаций из правительственных средств?

Марков. — Мы их получали и ничего в этом зазорного не видели.

Председатель. — Значит, в идеях партии не было идеи самостоятельности и обособленности от правительства?

Марков. — Несомненно эта идея была, но идеями без денег жить нельзя, а организации требовали денег. Это несомненно было наше слабое место.

Председатель. — Чем объясняется, что это отрицалось в иных случаях с кафедры Государственной Думы?

Марков. — Отрицалось это из нежелания ставить партию в предосудительное положение, потому что этому придавался предосудительный вид. Но отрицались, кажется, конкретные факты, например, что правая фракция никогда не получала, и это отрицалось вполне правильно.

Председатель. — Отчего, отрицая самые факты, вы и ваши единомышленники в Государственной Думе не пытались принять борьбу на почве защиты непозорности этого?

*

Марков. — Это не совсем так. Я помню, что в принципе я вполне признавал это с кафедры Государственной Думы, так что если поискать такие цитаты, найти можно. Несомненно, мои заявления были в ответ на обвинения, что мы не считаем ничего дурного в том, что партия, поддерживающая монархию, получает от правительства своего монарха помощь, как партия, поддерживающая еврейство, получала помощь от еврейства. Но я высказывал, что это естественно, и в этом нет ничего плохого.

Председатель. — Значит, при желательности иного порядка вы, тем не менее, не видели в этом ничего позорного?

Марков. — Я определенно возражал, когда говорили: «вы получаете субсидию?» Такие определенные возражения бывали, только не помню, когда.

Председатель. — Давно ли и в каком размере союзом русского народа и вами получались субсидии из правительственных средств?

Марков. — Союз русского народа, как таковой, никогда не получал субсидий (я говорю опять-таки о том, что мне известно), а получал их я на поддержание правых организаций и правой печати.

Председатель. — Получая вы передавали это в организацию или расходовали сами?

Марков. — Большею частью передавал, но частью расходовал и сам.

Председатель. — В организации по этим суммам велась какая-нибудь отчетность?

Марков. — Несомненно.

Председатель. — А вами в этих суммах какая-нибудь отчетность велась?

Марков. — Конечно.

Председатель. — Эту отчетность вы вели для себя?

Марков. — Это были безотчетные субсидии, но я вел ее не для себя, а для кружка руководителей единомышленников.

Председатель. — Так что вы не были обязаны отчетностью и этой отчетности фактически не давали?

Марков. — Не давал, и не был обязан.

Председатель. — Значит, эту отчетность вели вы и просили, чтобы ее вели организации просто для себя?

Марков. — Я докладываю вам, что вел ее в той меньшей части, которую непосредственно расходовал для небольшого комитета, ведавшего у нас этим в партийном кружке, а организации, получая ту или другую сумму, конечно, вели отчетность для себя, будь то газета или партия.

Председатель. — Вы не один получали эти суммы, их получали и другие члены организации?

Марков. — Это мне неизвестно.

Председатель. — Не было ли еще лица, настолько тесно с вами связанного по своей деятельности, что деньги выдавались и вам и этому лицу?

Марков. — Такого случая не было.

Председатель. — Я имею в виду Замысловского.

Марков. — Я понимаю, кого вы имеете в виду, но такого случая не было.

Председатель. — Вы дали краткое объяснение по вопросу о получении субсидии, но мы упустили с вами другой вопрос — давно ли получались такие субсидии?

Марков. — Со времени Столыпина, с 1909 года.

Председатель. — С первых шагов деятельности 3-й Государственной Думы?

Марков. — 3-я Дума началась в ноябре 1907 года, так что тогда прошло полтора года.

Председатель. — Только вы считали это нежелательным или отношение нежелательности было и в организациях?

Марков. — Конечно, все считали это более или менее нежелательным, потому что всякие получения денег связывали свободу действий, правда, до известной степени, но все-таки связывали. По этому поводу и в печати со стороны других групп были постоянные упреки.

Председатель. — Чем объясняется, что на путь получения этих субсидий стали не с начала существования 3-й Думы, а несколько позже?

Марков. — Я не знаю, почему другие не получали (может быть, они и получали — мне неизвестно), но знаю, что я раньше не имел в этом реальной надобности, а в 1909 году выяснилось, что нельзя дольше вести союз и придется его закрывать.

Председатель. — Но вы можете сказать, за себя и за организацию, что вы не получали этих субсидий до 1909 года?

Марков. — Я не знаю.

Председатель. — Т.-е. вы не знаете, получали ли другие, но вы можете сказать — организация не получала и вы не получали?

Марков. — Наша организация не получала никогда, а я получал и вносил пожертвования в организацию. Если бы такие случаи были раньше, то организация получала бы в качестве пожертвований, потому что мы жертвовали своим добрым именем, но не жертвовали именем организации.

Председатель. — Так что вы считали это пожертвованием с вашей стороны, в том смысле, что от вашей воли зависело внести эти деньги в организацию или истратить их помимо ее. В каком порядке получались субсидии?

Марков. — Несомненно, я беседовал со Столыпиным, говорил о необходимости поддержания наших организаций и печати;

в результате мы стали получать известную сумму денег, которая была гораздо меньше того, что нам было нужно.

Председатель. — Вы сговорились со Столыпиным, но вам приходилось сговариваться и с каждым его преемником?

Марков. — Пока министры не менялись, как теперь, до тех пор с ними говорил, а потом перестал говорить.

Председатель. — В 1916 году они менялись тоже быстро.

Марков. — Тогда я не говорил. Конечно, если министр задерживался, то приходилось беседовать.

Председатель. — У вас была условлена определенная сумма к выдаче или она варьировалась?

Марков. — Было условлено со времени Столыпина получать 12 тысяч в месяц. Это тянулось, более или менее, до 1916 года.

Председатель. — Вы изволили назвать сумму в 12 тысяч рублей, — эта сумма имела определенное назначение?

Марков. — Официальное назначение, которое я изображал в расписках, было — помогать правым организациям и правой печати.

Председатель. — По существу — это не было назначено на «Земщину»?

Марков. — В том числе, конечно, и на «Земщину».

Председатель. — Так что вы не все 12 тысяч передавали на «Земщину»?

Марков. — Не всегда. Все передавать не мог.

Председатель. — Но ассигнование на «Земщину» по преимуществу шло из так называемого рептильного фонда?

Марков. — Из десятимиллионного фонда.

Председатель. — Но из специальной части этого фонда, из сумм главного управления по делам печати?

Марков. — Я не имел надобности справляться, из какого фонда мне выдает министр, и лишь потом узнал, что это отнесено на специальный фонд. Я знал, что есть десятимиллионный фонд, и министр имеет право им распоряжаться. Для меня это было совершенно достаточно.

Председатель. — Так что, хотя вы и считали, что это идет, главным образом, на «Земщину», вы не были связаны отчетностью в этой сумме?

Марков. — Конечно. Я был совершенно свободен в том или другом расходовании. Мне давалась определенная сумма денег, но фактически из них тысяч 8 — 9 я передавал на «Земщину».

Председатель. — Это была фиксированная сумма?

Марков. — Она была фиксирована, пока распоряжался данный министр, но до сих пор я не имел официального сообщения, откуда и как выдавалась эта сумма. Вообще я не осведомлен о порядке, как они это проводили у себя.

Председатель. — Эта сумма вам выдавалась из месяца в месяц, вне зависимости от смены министров?

Марков. — Этого я не могу сказать. Были министры, которые собирались не давать, но они не успели осуществить своего намерения.

Председатель. — Вы имеете в виду Хвостова или Щербатова?

Марков. — Вообще, министры — Коковцов и др. — находили это нецелесообразным. Я каждый раз, конечно, при смене министров имел в виду, что новый министр может отказать, и это меня особенно вынуждало быть чрезвычайно щепетильным в той части, которая вас интересует. Революции я не мог предвидеть и не предвидел, но смену министров и возможность появления враждебных людей я всегда имел в виду. Я считал необходимым иметь отчетность, и кроме моего внутреннего побуждения были к тому и внешние побудители.

Председатель. — Через кого и каким путем вам передавалась эта сумма 12.000?

Марков. — Сами министры мне передавали, присылали с артельщиком, всячески было. Я всегда давал расписки.

Председатель. — Так что эти 12-тысячные выдачи в месяц точно также получались вами под расписку на правое дело и на правую печать?

Марков. — На поддержание правого дела и правой печати. Это мой собственный термин, который я с первой записки, так сказать, уже и вел.

Председатель. — Что же, когда сменялся министр, вы испытывали затруднения в получении этой суммы? Вам приходилось говорить со следующим министром, председателем или министром внутренних дел?

Марков. — Конечно, мне приходилось всегда спрашивать: «Что вы думаете, продолжать или нет?» Не будучи капиталистом, я, ведя газету и имея обязательство платить за то и другое, должен был выяснить вперед это обстоятельство.

Председатель. — Скажите, чем объясняются ваши речи в Думе, например, в заседании 25 августа 1915 г., где вы отрицали этот факт?

Марков. — Я попросил бы огласить, что я именно там отрицаю.

Председатель (читает). — «Только что говоривший депутат Милюков заявил с этой кафедры, что Марков 2-й получает ежемесячно 12.000 рублей для «Земщины». Смысл этого заявления тот, что я получаю деньги от правительства. Так все поняли (хотя это не было сказано так). Вот, я заявляю, что от правительства Марков 2-й для «Земщины» не получает никаких денег. Правда, наши правые газеты и организации получают помощь от своих единомышленников. Это верно. Быть может, получают и больше того, что сказал Милюков, а может быть гораздо меньше». Дальше

вы полемизируете с Милюковым. Факт тот, — вы утверждали, что не получали для «Земщины» от правительства никаких денег.

Марков. — Да, формально я прав, так как для «Земщины» ничего не получал, а получал для поддержания правой печати.

Председатель. — Но это игра словами.

Марков. — Несомненно, игра словами. Я защищал «Земщину». «Земщина» не получала от правительства потому, что «Земщина» этого и не знает.

Председатель. — Может быть и знает?

Марков. — Это их дело, что они знают, но они получали деньги от меня, а не от правительства.

Председатель (читает). — «И вот этот самый депутат Милюков ныне приемлет смелость всходить на думскую кафедру и голословно бросает обвинение лицам, которые судом во взяточничестве еще не обвинялись».

Марков. — Но, кроме того, Милюков указал цифру 12.000. «Земщина» никогда не получала в 1915 году 12.000.

Председатель. — Т.-е. не получала потому, что вы не передавали?

Марков. — Она получала от меня гораздо меньше. Тут было два утверждения: «Земщина» получает 12.000 и получает их от правительства. Между тем, она получала от Маркова, а не от правительства, и не 12.000, а меньше.

Председатель. — Но вы для «Земщины» получали 12.000?

Марков. — Я получал на правые организации и на правую печать. Это определенно мною и устанавливается.

Председатель. — А «Курская Быль» получала деньги?

Марков. — «Курская Быль» не получала.

Председатель. — Вы изволили в 1913 году получить 132.000 для «Земщины», как они об этом писали?

Марков. — Я получал всегда 144.000. Это почему-нибудь 12.000 отписали в какой-нибудь другой кредит. Вообще, никаких изменений не было.

Председатель. — В 1914 г. — 144.000, в 1915 г. — 145.000, вы не знаете, почему?

Марков. — Этого не было, а всегда было 144.000.

Председатель. — А в 1916 г. 184.000?

Марков. — В 1916 г. я получал 16.000 вместо 12.000.

Председатель. — В 1917 году вы получили 45.000?

Марков. — То же самое по 16.000 в месяц — январь, февраль. Это какая-нибудь бухгалтерская ошибка. Во всяком случае, я свидетельствую, что эта цифра меньше 132.000.

Председатель. — Скажите, кроме этих фиксированных сумм, вы получали какие-нибудь более случайные суммы, которые отличались самой периодичностью их выдачи?

Марков. — Да. Я раньше не получал, а с 1915 года я несколько таких сумм получил, и довольно крупных. В 1915 г. и в особенности в 1916 г. было, а раньше не было никаких выдач.

Председатель. — По какому случаю и от кого?

Марков. — От разных министров внутренних дел.

Председатель. — Вы говорите, в 1916 г., а в 1914 г. от Маклакова?

Марков. — Нет, в 1914 г. я не получал.

Председатель. — С чем же связано, что вы совершенно определенно помните, что в 1914 г. вы не получали, а в 1915 г. получали?

Марков. — Разные обстоятельства, главным образом, война. Очень сильно вздорожали бумага и рабочие руки, а их вздорожание вызвало необходимость увеличить кредит на издательскую часть. Вследствие всего этого фиксированная цифра в 12.000 и была в 1915 году повышена до 16.000, на четыре месяца.

Председатель. — При каком министре?

Марков. — Это было сделано после ухода Хвостова, но зачислено с 1 января. Фактически деньги я получил за весь год.

Председатель. — После ухода Хвостова, т.-е. при Штюрмере?

Марков. — Да, при Штюрмере.

Председатель. — Скажите, вы получали также одинаково при кн. Щербатове, как при Маклакове, А. А. Хвостове и Штюрмере?

Марков. — Да, перерывов в получении не было ни разу.

Председатель. — Вы говорите, тем не менее, подымался вопрос о том, чтобы лишить вас этой субсидии?

Марков. — Вопрос не поднимался, но я видел по разговорам, что нет решения продолжать, хотя, в конце-концов, все-таки продолжали, потому что перерывов не было.

Председатель. — Скажите, вы считаете, что больше всего пришлось тратить на органы печати? Но, может быть, выдачи имели какую-нибудь другую, обособленную цель?

Марков. — Нет. Что касается до повышения, то оно вызывалось исключительно вздорожаниями издательского характера, и это не мое личное мнение, а факт, что бумага в то время с 3 рублей дошла до 12 рублей за пуд, и типография удвоила стоимость работы.

Председатель. — Вы изволили сказать, что начали получать большую сумму с 1915 года; с каких месяцев?

Марков. — Со второй половины, но точно не помню.

Председатель. — Не в министерство Хвостова?

Марков. — Да.

Председатель. — Так что это был тот министр, с которым вы по этому поводу говорили?

Марков. — Был Щербатов, который относился равнодушно к этому делу и не желал войти в наше положение. Вероятно, он даже закрыл бы совсем это дело. Хвостов, более правый человек, понимал полезность правых организаций и правой печати, и шел навстречу.

Председатель. — Не с декабря ли месяца вы начали получать?

Марков. — Я уже по этому поводу давал показания судебному следователю. Эти даты инкриминируются, когда он получил 1.300.000. Тут нет никакой связи. Я при Хвостове получил до 70.000; но это неверно, что по его инициативе, — может быть, тут и Белецкий выдавал, я это допускаю.

Председатель. — Вы считаете, что получили этих прибавок за весь период, начиная с 1915 года, 70.000?

Марков. — Позвольте расширить рамки вопроса. Прежде всего, война вызвала крупные расходы на издательство, бумагу, типографию и все остальное. Затем, война же вызвала содержание в Петрограде лазаретов, которые союз русского народа открыл на 40 кроватей и содержал два года. Сперва были пожертвования, потом пришлось, как и все другие лазареты, субсидировать. Засим, как раз во время войны, нам пришлось, по некоторым обстоятельствам, приобретать в Кишиневе большой каменный дом — пушкинскую аудиторию, принадлежавшую отделу; для этого необходимо было перевести расход на главный совет. Это вызвало трату в 40.000 рублей. Кроме того, затеяли приобрести типографию, тоже надо было обеспечить себя контрактом на 70.000. В общем, у меня возникло до 300.000 рублей потребности сверх тех, которые мы начали удовлетворять. В счет этой потребности, которую я исчисляю, примерно, в 300.000 рублей и которая накопилась за конец 1914, 1915 и 1916 гг., мной был добыт при министерстве А. Н. Хвостова ряд сумм, около 70.000.

Председатель. — Я думаю, что это не все суммы. Их уже за министерство Хвостова, с декабря 1915 года по февраль 1917 года, насчитывается 91.000.

Марков. — 1917 года я не касался. Позвольте я докончу, вам будет ясна тогда общая картина и вы сможете вытягивать из нее отдельные данные, иначе не совсем будет понятно. Потребность наша выросла в течение этих двух лет до 300.000 рублей сверх получаемых 12.000 ежемесячно. В основу этой новой потребности положено было до 70.000 в министерство Хвостова. Я думаю, на эту сумму у вас не хватит даже ваших сведений.

Председатель. — Почему вы думаете, что не хватит сведений?

Марков. — Потому что я был уже на допросе.

Председатель. — Вы определили, что взяли больше, чем было данных у следователя?

Марков. — Да, я так понял. Засим, было добыто в 1916 г., при Штюрмере, добавочных 4.000 в месяц, при Хвостове 70.000, я говорю среднюю цифру, и, наконец, в 1916 году, при четырех министрах, прибавлено еще 48.000, по разрешению Штюрмера; это будет 120.000. Затем, Протопопов, уже в 1917 году, выдал мне 40.000 У нас значится 30.000, но 10.000 было выдано без расписки. Я не знаю, почему, — может быть, он потерял. Так вот,

160.000 — сумма, полученная от всех министров внутренних дел за этот период, сверх фиксированных 12.000 ежемесячно. Остальные, до 300.000, я получил из частных источников.

Председатель. — Вы не считаете сумм, полученных Замысловским?

Марков. — Я ничего не знаю о получениях Замысловского. Я уже подробно это объяснял следователю. Никогда ни я не получал при Замысловском, ни он при мне.

Председатель. — Почему вы определенно в начале этой части ваших объяснений сказали: «Вы спрашиваете относительно 1.300.000, которые получил Хвостов? — Мои получения не имеют ничего общего»?

Марков. — Такое категорическое утверждение, пожалуй, будет неверно, но я не имею данных об этом судить. Я уже получал раньше, так что из этого я вывожу, что это — другие суммы. Но, конечно, были суммы, которые я получил после. Вообще, я никогда не был осведомлен, из каких именно кредитов они дают, и меня, признаться, это совсем не интересовало.

Председатель. — Во всяком случае, может быть, вы можете подтвердить, — кажется, вы так говорили и следователю, — что ни 20 января 1916 года, ни около этого времени вы сумму 50.000 от А. Н. Хвостова не получали?

Марков. — Боюсь утверждать, но, кажется, 20 декабря я был в Курске в земском губернском собрании; прошу этого не записывать, потому что, может быть, это не совсем точно.

Председатель. — Скажите, пожалуйста, добавочные деньги вы могли тратить также, как хотели?

Марков. — Они пошли на определенные вещи, на содержание лазаретов, на приобретение кишиневского дома, принадлежавшего тамошнему отделу, который был раньше, как и наш курский, самостоятельным. Отдел задолжал, и дом продавался с торгов: мы должны были приобрести его на имя центральной организации, как требовалось по уставу. Это чисто внутреннее наше соображение, но фактически пришлось истратить около 40.000. Это может быть совершенно точно проверено. Документы были там, в Кишиневе.

Председатель. — Почему Кишинев у вас так выделился в смысле траты?

Марков. — Там раньше был энергичный деятель Крушеван, который и приобрел дом. Мы должны были ликвидировать это наследство.

Председатель. — Давая вам деньги, на вас накладывали при этом какие-нибудь обязательства?

Марков. — Нет, никаких обязательств. Я только объяснял положение, что у нас имеется дом, который мы рискуем потерять.

Председатель. — Я говорю не про эти 40.000, а про все количество.

Марков. — Субсидии мне давали из 10-миллионного фонда, зная, что я ими распоряжусь согласно тем директивам, которые существуют в наших организациях.

Председатель. — Когда вы получали деньги и встречались с министрами, они все-таки давали вам какие-нибудь указания?

Марков. — Столыпин пробовал, но я не соглашался, потому что ставил условие, что они не должны стеснять нас в свободе нашей деятельности. Так что попытки были, но успеха они не имели. Относительно позднейших министров я такого случая не помню.

Председатель. — А, например, А. Н. Хвостов или Штюрмер?

Марков. — Нет.

Председатель. — Как вы хранили деньги, которые получали, по каким-нибудь текущим счетам или в банке?

Марков. — Нет, никогда нигде не хранил, потому что всегда был должен тем, кто имел неосторожность верить нашим денежным делам. Поэтому, получая, я сейчас же гасил долги. Всегда жил в долг.

Председатель. — Так что ими вы покрывали уже сделанные заранее траты?

Марков. — Большей частью было в такой форме.

Председатель. — Вы получали на правую печать и правое дело, но относительно курской газеты вы, например, ответили отрицательно?

Марков. — Курская получала от курского земства. Когда бывал дефицит, я покрывал из этого источника, но субсидии она не получала.

Председатель. — Какие-нибудь органы через вас еще получали?

Марков. — Еженедельный журнал «Вестник союза русского народа».

Иванов. — Сколько пособия отпускало курское земство?

Марков. — 12.000 рублей в год, постановлявшиеся земским собранием.

Иванов. — На эти добавочные суммы вы не приобретали какой-нибудь типографии или чего-нибудь вещественного?

Марков. — Я уже докладывал, что мы закупили типографию, которая была у нас затем отнята; она помещалась по Тучкову пер., в доме № 11 или 17. Это была какая-то конфискованная типография, мы ее купили у комиссионера Геллера.

Председатель. — Вы говорите, что она у вас отобрана. Кто ее отобрал?

Марков. — Я сам лично узнавать не ездил; повидимому, это были большевики, или как теперь они называются, я не знаю.

Председатель. — Вам известно, при каких обстоятельствах у вас отобрали?

Марков. — Явились вооруженные люди, выгнали наших людей и стали печатать. Обычная история.

Председатель. — Когда это было?

Марков. — В первых числах марта.

Председатель. — А не было так, что вы продавали эту типографию юридически, фиктивно в какие-нибудь другие руки?

Марков. — Это были арендаторы. У нас только что начались операции, так что это не было оформлено. Арендаторы хотели постепенно выплатить стоимость и сделаться хозяевами, но это не осуществилось.

Председатель. — Вы приобрели эту типографию по домашнему акту или по нотариальному?

Марков. — По нотариальному.

Председатель. — У вас имеются бумаги на эту типографию?

Марков. — У меня ничего не имеется, но, вероятно, бумаги находятся у Геллера.

Председатель. — Фамилия Геллер известна в типографском мире? Вы не помните, как его имя и где он живет?

Марков. — Я дело не вел, вели мои служащие. Это было, очевидно, недавно, незадолго до революции, и я боюсь давать какие-нибудь определенные сведения, так как сам об этом мало осведомлен.

Председатель. — Вы не помните, за сколько вы купили типографию?

Марков. — Кажется, за 63 — 65 тысяч.

Председатель. — Вы купили для «Земщины»?

Марков. — Вообще, для печати правых изданий.

Иванов. — Это первая типография, приобретенная союзом русского народа?

Марков. — Ее купил не союз русского народа, а я лично.

Иванов. — Союз русского народа имел типографию?

Марков. — Имел.

Иванов. — Вы не помните, когда она была приобретена?

Марков. — Это было до меня.

Иванов. — Может быть, она была приобретена на 30.000, которые были отпущены Пуришкевичу?

Марков. — Я это читал, но не могу на этом основываться.

Иванов. — Так что, у союза русского народа была своя типография?

Марков. — Это было раньше.

Председатель. — Значит, до 1907 г.?

Марков. — Я вступил в центральный союз русского народа в конце 1908 года.

Иванов. — А тогда не было в вашем распоряжении типографии?

Марков. — Она уже была продана Полубояриновой.

Иванов. — Вы не помните, за сколько она была продана?

Марков. — Нет.

Иванов. — Значит, дело идет о другой типографии. Союз русского народа приобрел ее за 30, и продал за 12 тысяч?

Председатель. — Со вступлением Протопопова в должность министра внутренних дел, какие он с вами вел переговоры относительно использования организации союза русского народа для его целей или для целей министерства внутренних дел?

Марков. — Никаких. Я многократно предлагал всем министрам, чтобы они опомнились, но они, как и Протопопов в том числе, не опоминались и никаких предложений нам со своей стороны не делали.

Председатель. — У вас были какие-нибудь отношения к Распутину и вообще к распутинству?

Марков. — Что вы называете отношением?

Председатель. — Фактических отношений у вас не было, неправда ли? Но у вашей организации какова была позиция в этом вопросе?

Марков. — Самая отрицательная.

Председатель. — На почве каких взглядов вы это отрицали?

Марков. — На почве общечеловеческих.

Председатель. — Вы считали это явление нежелательным?

Марков. — Мы считали, что это проходимец, который губит Россию.

Иванов. — Что значит губит Россию?

Марков. — Это все такие ясные вещи, что каждый сам знает.

Иванов. — Это — точка зрения союза русского народа?

Марков. — Союз русского народа состоял и состоит из русских людей, которые думают, как и всякий нормальный человек. Собственно говоря, интерпретация союза русского народа, как борющихся извергов рода человеческого, — результат газетного измышления.

Иванов. — Почему же все-таки гибель России?

Марков. — Мы относились к нему отрицательно.

Председатель. — Скажите, пожалуйста, тут сказано — «Земщина» и «Курская Быль»?

Марков. — Как я вам уже объяснял, выдача была, война подняла стоимость бумаги и типографских расходов; поэтому я обращался с заявлением, что мною издается такое-то издание. Очевидно, это и было. Не специально на газету, но на все издательство; я и указывал «Курскую Быль».

Соколов. — Вы сказали, что назывались «земско-соборниками». Не в праве ли я понимать, что Государственная Дума должна иметь не законодательный, а законосовещательный характер?

Марков. — Мы толковали действующий закон именно в том смысле, что конституции нет, а есть народное представительство.

Соколов. — Не считали ли вы, что закон, который вы толковали в том смысле, что нет конституции, должен быть изложен более точно?

Марков. — Да, таково было наше мнение.

Соколов. — Каким путем вы хотели добиться, чтобы этот закон был изложен в новой редакции?

Марков. — Мы не добивались, но высказывали свое мнение.

Соколов. — Когда вы шли в Думу, вы давали вашим избирателям мандат добиваться иного толкования, иного отношения к Думе?

Марков. — Нет, никогда никаких мандатов не было.

Соколов. — Считали вы возможным ограничиться только тем, чтобы союз высказывал свое мнение, или полагали необходимым, чтобы он призывал ваши союзы и отделы к какой-нибудь иной активной деятельности?

Марков. — Именно к какой же активной деятельности?

Соколов. — Я вас спрашиваю.

Марков. — К погромам мы их не призывали, мы призывали их к воздержанию от погромов. Со времени организации союза русского народа в России не было ни одного погрома; может быть, теперь они и будут, после закрытия. Наша деятельность в этом отношении очень удачна.

Соколов. — Но демонстрации и выступления были?

Марков. — Т.-е. какие демонстрации? Ходили по улицам с хоругвями, — это бывало.

Соколов. — Ваш союз обнимал собою $3^1/_2$ тысячи отделов, большое количество людей. К каким политическим выступлениям эти отделы призывали?

Марков. — Мы старались воспитать массы в сознании полезности и необходимости твердой, сильной, могучей царской власти.

Соколов. — В настоящее время союз существует или нет?

Марков. — Это я у вас хочу спросить.

Соколов. — Простите, я член Комиссии, а вы свидетель. Будьте добры сохранять наши позиции.

Марков. — Это мой ответ. Вы больше знаете, а не я, ибо я беглец, скрывающийся от нападения врагов, и не знаю того, что делается, а вы свободный гражданин и можете знать.

Соколов. — Формально, вы, как председатель союза русского народа и как руководитель его делами, никаких распоряжений о роспуске союза и о закрытии не делали?

Марков. — Когда же я буду делать? Мы все уничтожены, мы фактически разгромлены, отделы наши сожжены, а руководители, которые не арестованы, — в том числе и я, пока не арестован, — мы скрываемся. Поэтому, очевидно, что никаких распоряжений физически сделать я не мог.

Соколов. — Значит, вы о судьбе имущества вашего союза тоже не знаете?

Марков. — Как я слышал, у нас разгромлен весь наш главный совет. Наша мебель куда-то увезена или продана. Относительно «Земщины» тоже.

Соколов. — На вопрос г. председателя вы ответили, что союз русского народа, как таковой, субсидии от правительства не получал, и деньги в книгах союза и в квитанциях обозначались, как полученные от вас. Затем вы сказали, что отчитывались перед небольшим комитетом влиятельных деятелей. Не можете ли вы сообщить его состав?

Марков. — Нет, не могу.

Соколов. — Почему вы на вопрос г. председателя — не было ли случая, что вы получали вдвоем деньги, ответили, что понимаете, о ком спрашивают, т.-е. о Замысловском?

Марков. — Потому, что я вообще склонен размышлять и, в частности, потому, что следователь два часа старался меня спарить с Замысловским.

Соколов. — В чем вы, получая субсидии, испытывали стеснения и какие группы из не получавших субсидий делали по этому поводу заявления?

Марков. — Я говорил о других группах, но о том, что эти другие группы не получали денег, я не говорил. Это вы изволите говорить.

Соколов. — Какие же группы делали заявления?

Марков. — Это было конкретно в газетах «Гроза» и «Русское Знамя», всегда нас травивших за то, что мы с правительством и с бюрократией.

Соколов. — Откуда «Гроза» и «Русское Знамя» могли знать, что через вас союз русского народа получает деньги?

Марков. — Это все знают. Депутат Милюков даже точную цифру сказал. Очевидно, те, кто нас снабжали деньгами, перестали скрывать и стали об этом рассказывать.

Соколов. — В чем вас самих стесняли эти получки?

Марков. — В том, что, получая ради идейного служения монархизму, мы получали от того или иного министра; а таких министров, которые свою личную политику могут отделять от идейного служения, очень мало. Так было раньше, так и теперь.

Соколов. — Группы указывали, что вы служите бюрократии; как они аргументировали поведение вашего союза?

Марков. — Так как мы придерживались политики примирительной, то они и объясняли это фактом получения субсидии. Они требовали нетерпимой политики по отношению к правительству.

Соколов. — А какое отношение «Грозы» и «Русского Знамени» к союзу русского народа?

Марков. — «Гроза» теперешнего типа, как приходится читать, повидимому, загнана свободой печати в подполье, но раньше она была крайне враждебно относящейся к нашему центральному направлению.

Соколов. — Она входила в состав какого-нибудь вашего отдела союза русского народа?

Марков. — Газета «Гроза» не входила, а Жеденов, вероятно, состоял кем-нибудь в союзе.

Соколов. — А «Русское Знамя»?

Марков. — Это—орган Дубровина, т.-е. партии, которая откололась. Союз русского народа в 1910 году раскололся: Дубровин возглавлял дубровинский союз с особым уставом, а мы остались при старом уставе.

Соколов. — В уставах, в смысле направления и политических задач, была тоже известная разница?

Марков. — Признаться, я их устава так и не видал.

Соколов. — Раскол вызывался только личными столкновениями, между отдельными вождями, или были принципиальные столкновения?

Марков. — Я уже докладывал Комиссии, что основа была принципиальная, но несомненно играло роль самолюбие и честолюбие, как везде, у социалистов и у правых — одинаково.

Соколов. — Каково было ваше отношение к союзу Михаила архангела?

Марков. — У нас были дружественные отношения.

Соколов. — Были какие-нибудь между вами связи?

Марков. — Нет, мы действовали самостоятельно.

Соколов. — Но съезды вы устраивали совместно?

Марков. — Да, на некоторых съездах принимали участие. Последний съезд, бывший в 1915 г., Пуришкевич нашел уже вредным, и участия в нем не принимал.

Соколов. — А в предыдущие годы когда у вас устраивались съезды?

Марков. — Почти каждый год бывали.

Соколов. — Когда съезд устраивался совместно, как распределялись расходы по организации съезда?

Марков. — Зависит, кто устраивал. Я могу говорить только о себе. Когда мы устраивали, мы и оплачивали расходы.

Соколов. — Но если съезд общий, как тогда делалось?

Марков. — Съезды, в которых я участвовал, я сам устраивал, вместе со своими друзьями, и мы их оплачивали.

Соколов. — Кроме съездов совместно с союзом Михаила архангела, были какие-нибудь общие издания газет или общественные выступления?

Марков. — Нет. Вообще, это самостоятельная организация, но мы были дружественны.

Соколов. — В провинциальных организациях, где деятельность меньше, не бывало ли так, что организовывались союзы монархических организаций?

Марков. — Да, было. Именно моя идея была объединиться, но она потерпела поражение.

Соколов. — В какой год и в какие месяцы вы пробовали осуществить эту идею?

Марков. — Это была постоянная моя идея, задача моего служения.

Соколов. — Какие шаги вы делали в этом направлении и в чем выразилась ваша неудача?

Марков. — Неудача в том, что все-таки не слились, и остались отдельные организации; на съездах говорили красивые речи о необходимости соединения, — как и теперь, только наизнанку, — все то же самое.

Соколов. — А были такие города, где действовали органы «союз монархических организаций такого-то города», и фактически были совместные заседания?

Марков. — Может быть. Во всех городах были отделы, возможно, что были и заседания.

Соколов. — Вы уже сообщили Комиссии, что такие министры, как Столыпин, считали необходимым оказывать поддержку правым организациям; а как местные администраторы, в лице губернаторов, относились к союзу русского народа и другим монархическим организациям?

Марков. — Как сам Столыпин относился по существу враждебно, так, конечно, относилась и вся администрация. Последующие министры большею частью тоже сочувствовали только на словах или выражали свое сочувствие в минимальной дозе.

Соколов. — Вы только что сообщили, что Столыпин давал 12 тысяч в месяц. Как это совместить с враждебным к вам отношением?

Марков. — Выдача денег вовсе не свидетельствует в государственных делах о симпатии; я думаю, тому много примеров. Иногда бывает обратное — желая нанести вред, можно выдать деньги. Такие бывают композиции.

Соколов. — В чем выражалось неблагоприятное отношение Столыпина?

Марков. — В том, что он всячески, через своих подчиненных, поддерживал рознь в союзе. Зная совокупность политики Столыпина, как к нам относились на местах, как наших союзников преследовали и выгоняли со службы, можно убедиться в том, что по внешности к нам относились хорошо и даже субсидировали, а в сущности нас уничтожали.

Соколов. — Вы сказали: «всячески поддерживал рознь» Что это значит, каким путем министр внутренних дел поддерживал рознь между отдельными организациями?

Марков. — Способы мне не известны, но известно, что мою идею и идею моих ближайших единомышленников всячески расстраивали, а идея была создание единого монархического органа.

Соколов. — Каким же способом административного воздействия или какого-либо иного образа действий министр внутренних дел мешал вашей идее осуществиться?

Марков. — Так, конкретно отвечать на этот вопрос очень трудно. Политика его влекла к розни; например, одним союзам покровительствовали на местах, а другие преследовались.

Соколов. — Каким союзам покровительствовали и какие преследовали?

Марков. — Это зависит от географии. Рознь поддерживали всячески: в одних городах поддерживали наших, в других — дубровинских, в-третьих — третьих, во всяком случае, эта разность правительственного отношения несомненно имела значение.

Соколов. — Каким еще монархическим организациям оказывалась поддержка, кроме союза русского народа?

Марков. — Я не знаю.

Соколов. — Но если этим способом, что один союз поддерживали, а другой не поддерживали, вносили рознь. . .

Марков. — Я говорю не о денежной поддержке, поддержка может быть разная.

Соколов. — Я тоже не о денежной говорю. Известно ли вам, в каких городах и каким другим организациям оказывалась поддержка?

Марков. — Я говорю: союзу русского народа — дубровинскому и союзу Михаила архангела — Пуришкевича.

Соколов. — В чем выражалась поддержка союза Михаила архангела и дубровинского?

Марков. — Я не знаю, в чем выражалась, но знаю, что была разность отношений к просьбам: такого-то члена, чтобы поощрить за такую-то деятельность, его проведут. Если будут в одной организации выгонять, а в другой повышать или давать какое-нибудь преимущество, то получается рознь.

Соколов. — Известны ли вам случаи повышения по службе, в зависимости от деятельности в составе того или иного союза?

Марков. — Я так конкретно не могу припомнить, да если бы и припомнил, то не считал бы нужным сказать.

Соколов. — Но такие случаи были?

Марков. — Да.

Соколов. — В отношении местной организации бывали случаи, чтобы губернаторы собирали у себя представителей всех

монархических организаций данного города для собеседования с ними о том, как бороться с революционным течением?

Марков. — Допускаю возможность, что это бывало.

Соколов. — Но вам известны такие случаи?

Марков. — Нет.

Соколов. — Ваши отделы не сообщали вам, как руководителю союза, что у нас, в таком-то городе, губернатор нас созвал и дал такие-то инструкции или обратил к нам такой-то запрос?

Марков. — Я не помню таких случаев.

Соколов. — Скажите, не было ли осенью 1916 года из центральных государственных установлений телеграммы к губернаторам о том, что следовало бы, в виду роста революционного движения, усилить деятельность монархических организаций?

Марков. — Возможно, что и было, я не знаю.

Соколов. — Вам неизвестна деятельность в этом направлении бывшего министра двора, гр. Фредерикса?

Марков. — Я никогда не подозревал, что у него есть какое-нибудь направление.

Соколов. — Не известно ли вам, что гр. Фредерикс обратился к губернаторам с предписанием, что следует усилить деятельность монархических организаций, и в этом направлении губернаторам рекомендовалось собирать представителей?

Марков. — Никогда не слышал.

Соколов. — Были в 1916 году такие совещания представителей всех монархических организаций по губернским городам?

Марков. — Общих не было. Был съезд в 1915 году, здесь, в Петрограде.

Соколов. — А губернских совещаний не было?

Марков. — Был съезд в Нижнем-Новгороде, в 1915 году.

Соколов. — А в 1916 году?

Марков. — Не знаю.

Соколов. — На вопрос председателя вы сказали, что не предвидели близкой возможности революции в России, но ваши отделы замечали усиление революционной деятельности?

Марков. — Ясно видели.

Соколов. — Как монархические организации, вы принимали какие-нибудь меры в борьбе с этим усиливающимся революционным движением? В какой форме вы указывали на это правительству?

Марков. — В беседах, в обращениях...

Соколов. — В письменных или устных?

Марков. — И в письменных, и в устных.

Соколов. — В чем состояли эти указания?

Марков.—Вообще указывали, что с революцией надо бороться, мы видели в ней величайшее зло и, конечно, призывали к борьбе с этим злом.

Соколов. — Указывали вы на совещания отдельных партий и даже на отдельных лиц?

Марков. — Т.-е. вы хотите сказать, были ли доносы? Нет, доносов мы не писали.

Соколов. — Затем, вы на один из вопросов г. председателя сказали, что были министры, которые хотели отказать в субсидии, но не успевали осуществить своей воли, как оставляли свои посты. Была известная связь между желанием отказать вам в субсидии и тем, что они принуждены были покидать свои посты?

Марков. — Я полагаю, что нет. От такого мелкого факта пребывание на посту министра зависеть не могло. Это теперь только политические партии меняют министров, а в наше время мы об этом и мечтать не смели.

Соколов. — Вы сказали, что для вас выяснилось, что союз не может существовать без субсидии, и поэтому вы сказали Столыпину о необходимости выдавать вам 12 тысяч в месяц. Как вы объясняете, что союз, заключающий в себе $3^1/_2$ тысячи отделов, не мог поддерживать на собственные средства свой центральный орган?

Марков. — Объясняю тем, что союз наш вначале имел достаточно интеллигентных сил из представителей состоятельных классов; но потом, когда первая революция прошла, состоятельные классы от нас отошли, и наш союз состоял из того, что называется демократией в чистом виде, т.-е. беднота, с которой неудобно было что-нибудь собирать.

Соколов. — Но 12 тысяч, ведь это выйдет по 4 рубля на отдел, чтобы поддержать газеты.

Марков. — 12 тысяч в месяц было как на поддержание газет, так и организаций. Вы хотите сказать, это ничтожная сумма? Я вполне подтверждаю, что это немного, но все-таки и это давало возможность ярко теплиться, а то бы погасла и искра. Мы, конечно, указывали, что нужно не 12 тысяч, а 12 миллионов.

Соколов. — Скажите, какое количество членов было в этих $3^1/_2$ тысячах отделов?

Марков. — Сейчас это очень трудно сказать. Такой точной регистрации мы не могли иметь. Очень дорогая вещь такая регистрация.

Соколов. — Но у вас была регистрация отделов?

Марков. — Она была не только у нас, но и у правительства.

Соколов. — Но разве каждый отдел не мог указать количество своих членов?

Марков. — Конечно, могли, но это ничего не доказывает. Можно сказать, что у меня 10 тысяч человек, а их всего 10 человек. Я разумею такую регистрацию, чтобы были имена и т. д. Когда мы говорили о миллионах, то над нами смеялись.

Соколов. — Над вами смеялись, что у вас миллионы, а вы сами-то верили, что у вас миллионы?

Марков. — Мы несомненно верили своим словам, но, не имея нужных списков, не могли их подтвердить.

Соколов. — Все-таки эти миллионы были, или их не было?

Марков. — Да, было время, когда миллионы были.

Соколов. — Сколько же их у вас было?

Марков. — Не знаю.

Соколов. — Вы сейчас сообщили г. председателю Комиссии, что у Столыпина, министра внутренних дел, были попытки влиять на то, чтобы ваши органы велись в определенном направлении; в каком же именно направлении?

Марков. — Этого я никогда не говорил. Вопрос был о статьях газеты, о влиянии на ту или другую статью газеты.

Председатель. — Т.-е. на направление субсидировавшихся органов?

Марков. — Не на организации. Были попытки влиять в желательном направлении на газеты.

Соколов. — В чем же ваша деятельность не совпадала с линией Столыпина?

Марков. — В поддержании правительства, в частности, министерства внутренних дел.

Соколов. — В чем вы расходились?

Марков. — Я так конкретно не помню. Во всяком случае, факт налицо: мы часто нападали на отдельных министров, и довольно резко, а это, конечно, не нравилось.

Председатель. — Позвольте задать несколько вопросов в связи с теми ответами, которые вы изволили дать на вопросы г. члена Комиссии. Вы изволили сказать, что в конце 1915 года или вообще в течение 1915 года у вас было два съезда. Не знаменуется ли конец 1916 года особым интенсивным стремлением к объединению ваших организаций?

Марков. — Само собою, мы в этом видели естественный способ противодействия грядущим событиям.

Председатель. — Одним из усилений в этом направлении было объединение правых членов Государственной Думы с правыми членами государственного совета?

Марков.—Да, конечно, это входило в общую нашу программу.

Председатель. — И это было, как факт?

Марков. — Были попытки, желание было.

Председатель. — Скажите, пожалуйста. Я не понял ваш ответ на вопрос члена Комиссии вот в каком отношении: вы говорите, считали, что существующие законы сохраняют самодержавие и хотели что-то перередактировать там. Собственно говоря, перередактирование есть изменение основных законов, переворот в устройстве страны?

Марков. — Переворот может быть эволюционный или революционный.

Председатель. — Не касаясь способов.

Марков. — Мы имели в виду только разъяснить, чтобы впредь не было сомнения. Основные законы, по нашему понятию, были составлены достаточно неточно, потому что, с одной стороны, о самодержавии власти трактует ст. 4 основных законов, а с другой стороны, были статьи, дававшие право объяснять, что у нас конституция. И вот эту противоречивость, которую признавали не только правые, но решительно все, мы и считали полезным разъяснить так, чтобы было ясно, что у нас именно самодержавие.

Председатель. — Но ведь факт оставался основной, а он заключался в том, что закон, не принятый законодательными учреждениями, не мог стать законом?

Марков. — Ст. 4 не только называла, а если изволите ее огласить, прямо говорила — повиноваться не за страх, но за совесть сам бог повелевает. Это уже совершенно нечто такое, что несовместимо с понятием конституционного образа правления.

Председатель. — Но, в пределах власти, очерчиваемой или определявшейся теми законами, которые были в основе законов Российского государства.

Марков. — Это собственно исторический очерк. Мы понимали так, что нужен более ясный смысл.

Председатель. — Скажите, вот это объединение, попытки конца 1916 года или начала 1917 года, не сопряжены ли они были с представлением верховной власти через министров записок, направленных на изменение существующего строя?

Марков. — Я слыхал, что такие записки были. Сам я не участвовал в их составлении.

Председатель. — Вы считаете, что эти записки были делом отдельных людей, но не групп?

Марков. — Тут мое мнение, кажется, не может иметь никакого фактического значения. Я сам не присутствовал и не могу дать какого-нибудь определенного ответа. Слыхал только, что такие записки подавались неоднократно.

Председатель. — Что же, вырабатывались какие-нибудь меры для того, чтобы поддержать эти записки?

Марков. — Да, конечно. Целью союза русского народа было укрепление монархической власти. Естественно, мы всячески стремились, чтобы это осуществилось, но стремились путем убеждения.

Председатель. — Укрепление монархической власти, в изменение основных законов есть нечто иное, нежели укрепление монархической власти, которая есть и в основных законах.

Марков. — Дело в том, что толкование основных законов с одной стороны — одно, а с другой стороны — другое. И в Государ-

ственной Думе были об этом споры. Были такие, которые говорили о конституции. Значит, ясное дело, закон требовал разъяснения в ту или другую сторону. Мы желали разъяснения в сторону самодержавия и на этом настаивали, хлопотали, заявляли в Думе. Одним словом, как человек может, не прибегая ни к каким вне закона влияниям, стараться убедить в необходимости разъяснения и, может быть, видоизменения основных законов.

Председатель. — Вам не известен случай, когда под влиянием деятельности некоторых отделов союза русского народа были попытки вызвать погромы?

Марков. — Я не знаю, может быть, возможно, конечно, что и были.

Председатель. — Т.-е. вы допускаете?

Марков. — Ведь они не случились.

Председатель. — Я имею в виду Смоленск. Помните, в связи с делом Абрамовой о попытке приписать смерть ребенка нищенки евреям? Случай, который муссировался священником, членом новодворского отдела союза русского народа.

Марков. — Я даже истории этой совсем не помню.

Председатель. — Я вам скажу, это было в 1914 году.

Марков. — Недавно сравнительно. Я даже не знаю. В Смоленске это было?

Председатель. — Да.

Марков. — Но погромов не было. Я знаю, что фактически за время существования союза русского народа в России не было ни одного еврейского погрома, тогда как до организации, и очень может быть, что и теперь, когда нет союза русского народа, они будут. Это я устанавливаю.

Председатель. — Скажите, организация Дубровина укоряла вас в том, что вы субсидируетесь органами правительства?

Марков. — Да.

Председатель. — Вам известен тот факт, что и «Русское Знамя» Дубровина точно также правительством субсидировалось?

Марков. — Мне это не было известно.

Председатель. — Вы не получали сведений об относящемся к 1915 году факте получения Дубровиным 25.000 рублей на «Русское Знамя?».

Марков. — В свое время министры всегда отрицали, что они дают Дубровину. Я интересовался и спрашивал, но Столыпин говорил, что Дубровин ничего не получает.

Председатель. — Не помните, не поднимали ли вы этот вопрос в 1916 году?

Марков. — Если Дубровин и получал, я в этом дурного не вижу, но я ничего об этом не знал. Меня это просто мало интересовало.

Председатель. — Вы указали на факт, что Столыпин, хотя и давал союзу русского народа, но, собственно, был против этой организации, стремясь всячески к ее разъединению.

Марков. — Вернее сказать, он не желал уничтожения союза, но боялся слишком большого его усиления. Я лично вполне понимаю министра, который боялся попасть во власть политической партии, в особенности это я хорошо понял теперь.

Председатель. — У вас были установлены взносы с лиц, которые входили в союз русского народа?

Марков. — Да, 50 копеек в год. Это предусмотрено уставом.

Председатель. — При вас не было случая, когда не член платил союзу, а наоборот?

Марков. — Т.-е. покупали членов?

Председатель. — Ну, в какой-нибудь форме, с целью привлечения, хотя бы в малой мере их субсидировали.

Марков. — Несомненно, отделы, когда понадобится, субсидировались.

Председатель. — Но субсидировали и отдельных членов?

Марков. — Да, конечно, помогали бедствующим, когда могли помочь. Но, собственно, приобретать членов за деньги, если бы такая мысль у нас и явилась, то у нас не было на это средств.

Председатель. — Вы отказались ответить на вопрос члена Комиссии о том, какой был кружок, перед которым вы отчитывались?

Марков. — Да.

Председатель. — Вы, конечно, имеете право отказаться от ответа, который вас самого в чем-нибудь уличает, но установление порядка, по которому вы по собственной инициативе отчитывались перед группой лиц, вряд ли может уличить вас. Так что, может быть, вы ответите на этот вопрос.

Марков. — Я поясню, почему я отказываюсь. Отказываюсь потому, что таким образом я должен выдавать тех, кто состоял в нашей организации руководителями, а это в настоящее время связано с большими неприятностями.

Председатель. — Но ведь это была легальная организация, которая ничего нелегального не делала.

Марков. — Я считаю, что я ничего дурного не сделал, но меня в Курске хотят, например, застрелить, так как во главе комитета общественной безопасности стоит профессиональный убийца Голощапов. Когда правительство его устранит, тогда я буду разговаривать, но покамест я считаю опасным сообщать о тех, о ком вы, может быть, не знаете, что они состояли в нашей организации.

Председатель. — Так что вы отказываетесь это сказать, охраняя безопасность свою и этих лиц?

Марков. — Я все равно уже раскрыт.

Соколов. — Скажите, пожалуйста, в число методов политических действий, о которых вы говорили, не входила посылка телеграмм на высочайшее имя, по вопросу о роспуске Думы?

Марков. — Да, такие случаи бывали, что отделы, в связи с каким-нибудь эпизодом, посылали телеграммы.

Соколов. — Но не было ли так, что это приурочивание телеграмм из разных городов к одному моменту вызывалось инициативой центрального органа?

Марков. — Я не помню, но допускаю возможность этого.

Соколов. — Может быть вы вспомните, какие именно обстоятельства вызывали допускаемую вами инициативу центрального органа в деле посылки таких коллективных телеграмм?

Марков. — Конкретных случаев не помню. Знаю, что телеграммы в большом количестве поступали от отделов, главным образом, под влиянием единомыслия.

Соколов. — Какие случаи вызывали это внутреннее единомыслие, в силу которого вдруг со всех концов посылались телеграммы?

Марков. — Все никогда не посылали.

Соколов. — Но все же это выходило довольно многочисленно?

Марков. — Если из 4.000 пошлет 200, кажется, довольно много.

Соколов. — Какие из сохранившихся в вашей памяти случаев вызвали посылку 200 — 300 телеграмм?

Марков. — Выступление в Думе против династии или против монархических принципов.

Соколов. — Какие это были выступления?

Марков. — Я так не могу вспомнить. Выступлений было много.

Соколов. — Не бывало ли так, что в эти моменты посылались телеграммы не только отделами союза русского народа, но и представителями других монархических организаций?

Марков. — Вероятно, бывало, потому что принципиальных различий между отдельными организациями по этому поводу не было.

Соколов.—А не бывало так, что вы условливались с представителями союза Михаила архангела о совместной в этом направлении деятельности?

Марков. — Вообще мы часто пытались координировать наши действия. Такие случаи неоднократно бывали.

Соколов. — С кем вы координировали лично, с кем персонально вы вели переговоры?

Марков. — С организациями союза русского народа.

Соколов. — Ваш центральный орган с центральным органом союза Михаила архангела? Руководителем союза Михаила архангела был депутат Пуришкевич?

Марков. — Видите, я от названия имен наших партийных работников положительно отказываюсь, так что не могу ответить на этот вопрос.

Соколов. — Значит, ваш центральный орган вел переговоры о совместных шагах. Какие же это были шаги?

Марков. — Обращение к правительству, к монарху или какое-нибудь воззвание к народу.

Соколов. — Какие же были обращения к монарху?

Марков. — Знаете, по разным вопросам, я точно не помню.

Соколов. — Но вероятно обращения к монарху были по важным поводам. Эти важные поводы у вас в памяти не сохранились?

Марков. — Не помню.

Соколов. — А обращения к правительству вы помните?

Марков. — Тоже не помню.

Апушкин. — В заседании Государственной Думы 4-го марта 1916 года, возражая депутату Родичеву, который процитировал ваши слова, сказанные вами весною 1914 года о том, что маленький союз с Германией лучше, чем дружба с Англией и Францией, вы дали объяснение этой своей фразе, заявив, что говорили так потому, что, как член комиссии по обороне, видели все недостатки вооружения, заставлявшие, по вашему мнению, желать, если не избегнуть войны, то ее отсрочить. Так как деятельность нашей Чрезвычайной Комиссии касается министров, то не можете ли вы в настоящее время подробнее развить мысль, в чем вы видели недостаток вооружения, заставлявший вас желать избегнуть этой войны?

Марков. — Эта фраза не вполне выражает мою мысль. Кажется, тут было время речей ограничено пятью минутами, вообще говорилось экспромтом, и потому, конечно, не вполне ясно выражена моя сущность. Дело в том, что мои политические противники, неоднократно пользуясь за время войны не совсем правильными приемами, цитировали мои фразы, сказанные перед войной о ее нежелательности. Почтеннейшая публика, в особенности читатель, понимали и выводили, что я и теперь говорю против и что, следовательно, я друг Германии, но только я перед войной говорил—не воюйте, это совсем не то, что говорят во время войны большевики и многие другие социалисты. Это большая разница. Так вот, несколько взволнованный, я не помню, как говорил депутат Родичев, но здесь тоже был сделан оборот, как будто доказывающий приверженность мою во время войны к немцам. Я возражал, что мне известны были не недостатки, а недостаточность вооружения по сравнению с Германией. Я хорошо знал, что наше вооружение, в особенности заводская промышленность, о чем в нашей комиссии был разговор, не в состоянии так пополнить вооружение, как германская. Это

обстоятельство на меня, в частности, действовало в том смысле, чтобы не воевать, не доводить дело до войны, и, к сожалению, я оказался одним из немногих, которые смотрели здраво на вещи. Если бы меня послушали, то мы бы избавились от несчастий, которые наступили. Я хотел указать только на недостаточность, что мы недостаточно вооружены, для того, чтобы решиться воевать с Германией.

Апушкин. — А недостаточность вооружения, по вашему мнению, проистекала отчего? Кредиты были отпускаемы, как вам известно, достаточные?

Марков. — Я произнес целый ряд речей как в комиссии по обороне, так и в Думе. У меня ужасно плохая память, но во всяком случае, если вы пожелаете, это можно найти. Я прямо указывал, что главный военный недостаток наших вооружений — наша оппозиция в составе социалистических партий и кадетов, систематически боровшихся с развитием военных кредитов, и слабость сопротивления со стороны октябристов. Я цитировал речи Гучкова и Савича, которые имели слабость доказывать, что вооружения достаточно, что у нас, как сейчас помню, настолько всего много, что возник даже вопрос, чем бы занять оружейные заводы, нельзя ли какие-нибудь мирные вещи выделывать, так как ружей у нас более, чем нужно. В этом отношении я могу, порывшись в своих речах, указать, кто виноват. Главные виновники—кадеты и левые социалисты, которые в нашем слабом правительстве гирей висели, и вооружение от этого не подгонялось, а все сокращалось.

Председатель. — И не известен тот факт, что данные кредиты не были исчерпаны?

Марков. — Да, мне известно, что этим оправдывалось сокращение дальнейших. Я это говорю не для оправдания правительства; я его обвиняю. Оно должно было гораздо больше требовать. Но Дума и государственный совет, в лице их большинства, вместо того, чтобы видеть ошибки правительства, этих ошибок не исправляли и еще подбавляли к его слабой подготовке свои взгляды, а кадеты и с ними левые, как вам всем известно, накануне войны вотировали отказ военному правительству. Виновники этой истории, кто главным образом виноват вместе с правительством, ясны.

Апушкин. — Так что деятельность военного или морского министров не вызывала у вас нареканий и подозрений?

Марков. — По поводу Сухомлинова первый голос, раздавшийся в июле в Государственной Думе о необходимости предания военного министра суду, принадлежал мне. Этим я отвечаю на ваш вопрос.

Апушкин. — Это относится к весне 1914 года, когда вы говорили о недостаточности?

Марков. — Это я говорил перед войной, а то, что вы изволите спрашивать, относится к маю. Все эти факты нам были еще неизвестны. Я не знаю, будут ли они подтверждены судом; повидимому, многое из них подтверждается. Обвинение, в частности, мое и моих друзей, к правительству и Думе было за малость вооружения. Мы всегда говорили, что вооружения мало, и это был лейт-мотив всех моих речей, что нужно гораздо более вооружаться.

Председатель. — Вы изволили сказать, что деньги, как правительственные, давались вам лично. Вы считали себя вправе ими располагать. Было все-таки какое-нибудь в вашем представлении об этих деньгах самоограничение, в смысле направления траты их?

Марков. — Я их направлял по прямому назначению. Какое же самоограничение?

Председатель. — Т.-е. в том смысле, что вы считали возможным, так как эти деньги были даны в полное ваше распоряжение, тратить их на себя, или не считали возможным и не делали этого?

Марков. — Нет.

Председатель. — Вы помните, что в заседании 22-го ноября 1916 года произошел инцидент употребления вами весьма резких выражений по адресу председателя Государственной Думы. Скажите, пожалуйста, что лежало в основании этого положения, чем это следует объяснить — личными мотивами или это был, так сказать, известный политический расчет?

Марков. — Очевидно, что расчета не могло быть. Под такое логическое построение нельзя подвести фундамента. Это был взрыв негодования на неправильное отношение.

Председатель. — Так что это объясняется личным вашим настроением в тот момент, но не каким-либо политическим расчетом?

Марков. — Кроме вреда нашим политическим делам, это ничего не могло принести.

LXXI.

ДОПРОС А. А. НЕРАТОВА.

24 июля 1917 года.

Содержание: Отставка министра Сазонова и ее причины. Польский вопрос и участие Сазонова в разрешении его. Штюрмер и его отношение к вопросам внешней политики. Союзные державы и назначение Штюрмера. Репутация Штюрмера, как германофила. Общий характер политики Штюрмера, как министра иностранных дел. Противодействие безответственных лиц. Инцидент с Булацелем. Перемещения по министерству. Доклады министра. Назначение Половцова. Отставка Арцимовича. Искажение Штюрмером фактов. Отдельные штрихи в характеристике Штюрмера. Отношение Штюрмера к румынскому вопросу. Греческий вопрос и отношение к нему при Штюрмере. Еще о польском вопросе при Сазонове. Инцидент с Велепольским. Инцидент в связи с переездом Штюрмера с квартиры министра. Снова характеристика отношения Штюрмера к вопросам политики.

Председатель. — Анатолий Анатолиевич, вы изволите с 1 ноября 1910 года быть бессменно товарищем министра иностранных дел; скажите, чем была вызвана отставка министра Сазонова?

Нератов. — Я могу заявить лишь о том, что мне фактически известно. Сазонов был в отпуску на даче (это было в начале июля 1916 года), я управлял министерством и через меня было передано ему извещение о том, что он увольняется от должности, что я ему и сообщил. Хотя я точных разъяснений не получил, но, насколько могу заключить, причиной вынужденного ухода Сазонова было расхождение его во взглядах на ведение общей политики с большинством его сотоварищей по кабинету. Тот курс политики, который был принят, не представлялся ему достаточно правильным как по положению войны, так и по внутреннему положению страны. Уже с самого начала войны, и по мере того как она развивалась, С. Д. Сазонов все более и более склонялся к тому, что необходимо опираться на Государственную Думу и установить непосредственную общественную деятельность. Сколько я помню, он встречал в этом отношении несочувствие

со стороны других членов кабинета, и это расхождение сказывалось затем все глубже и глубже. Большое участие Сазонов принимал в польском вопросе. Когда возникло предположение об объявлении манифеста, он очень энергично отстаивал мысль, чтобы это было сделано безотлагательно, и проводил известные принципы, которые находил необходимым вложить в манифест. Принципы эти преимущественно сводились к слову «автономия». В некоторых деталях они были несколько более развиты в его взглядах, но в общем все это сводилось к слову «автономия». Энергичное его вмешательство в это дело вызвало, по существу, большое противодействие со стороны некоторых других членов кабинета. Соглашаясь с ним в основах, они, однако, считали, что еще не настало время, и что если к этому и следует притти постепенно, то объяснение об этом надлежало бы несколько отложить до более благоприятного момента, по положению на театре войны. Как известно, это был период отступления наших войск, частью совсем покинувших тогда пределы Польши, а потому другие члены кабинета находили, что едва ли удобно издавать манифест в то время, когда наших военных сил в стране еще нет, и что нужно было бы отложить издание манифеста до тех пор, пока мы будем действительно в состоянии провести в жизнь то, что в манифесте намечается. На этом основании и происходило расхождение. Сазонов, напротив, считал, что медлить не следует, и, независимо от того, где наши войска, следует это сделать, чтобы иметь на своей стороне все сочувствие польского народа. Он придавал этому значение как с точки зрения внутренней, так и внешней политики. Так как получились сведения о том, что германское правительство тоже усиленно добивалось установления в Польше такого порядка, который бы привлек ее на их сторону, то известного рода соревнование между германской и русской политикой побуждало Сазонова несколько энергичнее взяться за это дело.

Председатель. — Как же парировался этот аргумент — необходимость завоевания симпатий Польши?

Нератов. — Выставлялось соображение, что какой бы шаг в отношении поляков ни предприняли, со стороны Германии может быть предложен еще более решительный шаг в пользу поляков. Тогда с германской стороны говорилось тоже о положении вроде автономии. Затем, они могли пойти дальше и дойти до положения полной независимости, чтобы сохранить польские симпатии на своей стороне. Мнение Сазонова было, что на такой крайний шаг едва ли пошло бы германское правительство, что оно тоже ограничится какими-нибудь полумерами, чтобы иметь в будущем за собой последнее слово. Так что тут было расхождение во взглядах и мнениях относительно того, что могло возобладать. Он придерживался того мнения, что бояться объявле-

ния независимости со стороны Германии не следовало, что известного рода, с польской точки зрения, улучшение положения Польши могло быть осуществлено и нами, независимо от того, что придумает германское правительство.

Председатель. — Имелось основание у вашего министерства считать, что то, чем вы хотели привлечь на свою сторону симпатии польского общества, действительно, даст вам эти симпатии?

Нератов. — Сазонов в этом отношении встречал полное сочувствие в здешних польских организациях и у польских представителей. Они его поощряли и старались его укрепить в этом направлении, считая, что это, в свою очередь, укрепит польские симпатии и даст им почву для воздействия на своих сородичей и там. Так что тут, казалось бы, основание для такого рода предположения было. Но по мере того, как развивались события на войне, нужно отметить некоторые дальнейшие течения в польских кругах, которые, уже не считаясь с таким решением вопроса, шли дальше. Поэтому С. Д. Сазонов очень настаивал на том, чтобы не замедлять решения, которое с нашей стороны могло быть сделано. Он именно опасался увеличения требовательности со стороны поляков, что он считал в то время неосуществимым.

Председатель. — В числе причин общего характера, повлекших отставку Сазонова, не отмечалось ли в представлении вашем или других лиц, делавших высшую политику России, его отношение, имевшее место осенью 1915 года, к вопросу о смене верховного главнокомандования?

Нератов. — Я об этом ничего не могу сказать.

Председатель. — Под каким же знаком произошла в министерстве перемена С. Д. Сазонова на Штюрмера?

Нератов. — Установление бо̀льшей солидарности в правительстве — вот, как тогда объяснялось, т.-е., что преемник министра иностранных дел, не внося ничего существенного в ведение внешней политики, должен закрепить солидарность в правительстве и, таким образом, придать внешней и внутренней политике большее единство. Вот как это тогда освещалось.

Председатель. — Вам приходилось, при вступлении нового министра, говорить с ним по поводу политики?

Нератов. — Только по вопросам внешней политики.

Председатель. — Что же, новый министр обнаружил подготовленность в области вопросов иностранной политики?

Нератов. — Я должен сказать, что, как новому человеку, ему очень многое в деятельности нашего министерства не было и не могло быть известно, потому что есть стороны деятельности, которые совершенно не укладываются в рамки общего знания и осведомленности, но принцип политический ему был известен, как бывшему председателю совета министров, потому что за его председательствование, при участии С. Д. Сазонова,

обсуждались многие вопросы внешней политики. Неоднократно бывали заседания в составе совета министров и частные совещания у него лично, при участии наиболее заинтересованных министров, иногда и при моем участии, для обсуждения наиболее крупных существенных вопросов внешней политики. Так что путем такого освещения и обсуждения дел, естественно, что новый министр иностранных дел вводился в курс этих вопросов еще до своего назначения. Но затем, по назначении министром, ему, конечно, пришлось еще глубже вникать в каждый вопрос и направлять все это детально. Естественно, что по всем вопросам, касавшимся только внешней политики, он преимущественно обращался к содействию своих ближайших сотрудников.

Председатель. — Разве в сознании вашем и других высших служащих министерства иностранных дел не отмечалось случаев большого неведения, может быть, даже невежества, по некоторым вопросам иностранной политики, которые обнаруживал новый министр?

Нератов. — Иногда некоторые ошибочные сведения бывали, но они, насколько я мог заметить, существенного значения не имели. Так что что-нибудь определенное сказать в этом отношении я бы не был в состоянии.

Председатель. — Как была встречена представителями иностранных держав замена С. Д. Сазонова именно данным лицом?

Нератов. — Я могу сказать по этому поводу только относительно впечатления, которое получили представители союзных держав. Что на них это произвело отрицательное впечатление, в этом сомнений быть не может. Самый уход С. Д. Сазонова был для них очень печален потому, что сотрудничество с ним, притом в такой критический момент, как война, продолжалось уже несколько лет. Многое было договорено, обо многом условились, намечались главные вехи общей политики, составлялась программа дальнейших действий, намечалось даже решение некоторых вопросов, одним словом, до такой степени была тесно и постоянно связана деятельность Сазонова с представителями, в особенности Франции и Англии, что естественно, когда они узнали об этой смене, то не скрывали своего очень большого огорчения, не ожидая такой же осведомленности, такой же возможности вести дело с новым министром, как они вели с предыдущим. Некоторая сдержанность, некоторое понижение интимности в действиях с их стороны было; они должны были привыкнуть к новым отношениям, к новому лицу.

Председатель. — Не было ли здесь специфических условий, не вызвало ли недовольство то обстоятельство, что Штюрмер был окружен репутацией человека, относящегося отрицательно к союзу с Англией и тяготевшего к Германии?

Нератов. — Некоторые сомнения в этом отношении высказывались, например, будет ли до такой степени велика приверженность русского правительства к существовавшему союзу, сравнительно с тем, что было раньше. Слухи, которые ходили около имени Штюрмера, действительно создавали в посольствах атмосферу некоторого недоверия, но я не думаю, чтобы они могли найти потом фактическое тому подтверждение. Так что никаких опасений по важнейшим вопросам, сколько я мог понять, в особенности в первое время, не происходило. Был установлен один факт, что мы продолжаем войну в союзе с ними, и они его приняли, как отправный пункт всей политики.

Председатель. — Конечно, в момент войны министр иностранных дел не мог не объявить себя сторонником существующего союза, это было фактически невозможно, но в смысле наполнения этого определенным содержанием он, может быть, до конца не высказался, потому что был короткое время?

Нератов. — По отдельным переговорам, по отдельным вопросам я не могу отметить каких-нибудь фактов, которые могли бы внушить кому-нибудь мысль недоверия.

Председатель.—Характеризуя вообще министра иностранных дел Штюрмера, какими бы чертами вы отметили этот период в вашем министерстве?

Нератов. — Не могу сказать, чтобы при нем было как-нибудь определенно оформлено течение в политике. Политика шла, может быть, несколько ощупью, т.-е. не было той простоты и откровенности в объяснениях, какая была раньше. Каждый вопрос, который возникал, если он имел немножко общий принципиальный характер, обсуждался ощупью, во все вносилась некоторая осторожность. Я это приписывал всегда тому, что Штюрмер считал себя недостаточно опытным в ведении дипломатических переговоров, недостаточно знакомым со сторонами каждого отдельного вопроса. Он был сдержан, больше выслушивал то, что говорили ему иностранные представители, иногда спрашивал мое мнение (я очень часто присутствовал при этих объяснениях), но высказывался все же он весьма неохотно и всегда несколько откладывал высказывать свою точку зрения. Это казалось мне до такой степени естественным, разумным и правильным, что об ином отношении нельзя было бы и думать в первые месяцы управления министерством. Но каких-нибудь определенных штрихов его заведывания делами, в каком-нибудь ином смысле, я бы не мог представить.

Председатель. — Это политика ощупью и осторожностью или политика случайностей?

Нератов. — Не берусь утверждать, чтобы здесь была определенная программа.

Председатель. — Скажите, добрые личные отношения между министром и послами союзных держав несколько изменились со времени вступления Штюрмера?

Нератов. — Конечно, я говорю, что прежней откровенности уже нельзя было отметить. Отношения стали более сдержанными, чем мы обычно привыкли видеть в министерстве.

Председатель. — Характеризуя этот период, вы не отметили бы, что часть министерской работы происходила несколько за кулисами, несколько вне вашего министерства?

Нератов. — Я не могу относительно этого привести никаких положительных данных.

Председатель. — Но все-таки это отмечалось?

Нератов. — Слухов до такой степени много ходило, что разобраться в том, что имело почву и что нет — было трудно, и основываться на них я не стану.

Председатель. — В деятельности вашего министерства за период Штюрмера, может быть, и при Сазонове, вы не испытывали противодействия со стороны каких-либо безответственных лиц или, как их тогда называли, темных сил?

Нератов. — В области внешней политики я ничего подобного за это время сказать не могу.

Председатель. — Вы изволите помнить инцидент с присяжным поверенным Булацелем, поместившим в своей газете «Российский Гражданин» оскорбительную для достоинства Англии статью?

Нератов. — Как же.

Председатель. — Каково было отношение Штюрмера к этому вопросу?

Нератов. — Он узнал об этой статье со слов английского посла, до этого, повидимому, ему это не было известно. Как только английский посол обратил внимание на это, он сейчас же принял все меры для того, чтобы дать удовлетворение послу.

Председатель. — Какие перемены на крупных постах заграничных представителей произошли за время Штюрмера, и были ли такие перемены или, по крайней мере, не предполагались ли они?

Нератов. — Посланник в Бухаресте Поклевский был удален и заменен генералом Мосоловым. Это был один случай при Штюрмере. Затем товарищ министра иностранных дел Арцимович был устранен от должности и заменен Половцовым.

Председатель. — Не предполагалось ли назначение Боткина?

Нератов. — Слухи ходили о том, что он предназначался для замещения Арцимовича, но из личного моего вопроса, обращенного к Штюрмеру, я вынес убеждение, что этого в действительности не существует, что это слух, который шел извне, и что он, как министр, этого в виду не имел.

*

Председатель. — Т.-е. Штюрмер отрицал это, когда вы его спросили?

Нератов. — Отрицал.

Председатель. — Какими чертами характеризуется Боткин, сравнительно с Арцимовичем, в отношении к союзным и враждебным группам держав?

Нератов. — У Боткина была репутация дипломата, недружелюбно настроенного к Англии, и когда шли разговоры, повидимому, ни на чем не основанные, о назначении Боткина, то со стороны посольства высказывались подозрения, что не есть ли это подтверждение первых их впечатлений, что у нас, с назначением Боткина товарищем министра, изменяется вся политика и укрепляется политика противоанглийская. Но когда мы разъяснили, что слух совершенно ни на чем не основан, что кандидатура Боткина не выставляется, то это дальнейших последствий не имело, но английское посольство все же высказало некоторое сомнение относительно того, какое бы это впечатление произвело вообще среди союзников и специально в Англии. Они как будто бы подчеркивали свою нежелательность такого назначения.

Председатель. — Так что вы почувствовали, что представители держав несколько взволнованы в связи с этим предположением?

Нератов. — Да, были несколько взволнованы.

Председатель. — Скажите, по вашей должности товарища министра вы были осведомлены министрами иностранных дел о тех докладах, которые они делали верховной власти?

Нератов. — По крайней мере, я думаю, что они держали меня в курсе того, что предполагалось докладывать.

Председатель. — Товарищ министра был осведомляем и перед поездкой и после поездки?

Нератов. — Обыкновенно собирались письменные документы, которые требовали разъяснения и указания, составлялись объяснительные записки. Эта часть доклада всецело проходила через руки товарища министра. Но затем, при каждом докладе, бывали изустные доклады, независимо от письменных. Я, конечно, не могу утверждать, как проходили доклады, но имею основание думать, что иногда, помимо письменных докладов, происходили изустные. По крайней мере я после доклада имел случай по отдельным вопросам убедиться в этом на основании собственных слов министров.

Председатель. — Вы не изволили знать привычку Штюрмера после каждого высочайшего приема надиктовывать, о чем именно он докладывал и какое это встретило отношение монарха?

Нератов. — Нет, у меня не было таких сведений.

Председатель. — Вы, стало быть, не были осведомлены о том, что Штюрмер, вопреки тому, что он вам разъяснял на ваш вопрос

относительно назначения Боткина, представлял Боткина монарху на замещение должности товарища министра?

Нератов. — Нет, это мне не было известно.

Председатель.—Вы обратились к Штюрмеру, как к министру иностранных дел, с просьбой выяснить свое отношение к Боткину, после того, как вам в английском посольстве сказали, что этот вопрос не безразличен и, во всяком случае, интересует посольство?

Нератов. — Не только на том основании, что это интересовало посольство, но и для самого дела. Меня заинтересовал слух, так как он был довольно упорный, и, кроме того, у меня лично сложилось представление совершенно одинаковое с тем, которое получилось в английском посольстве. Поэтому мне хотелось себе выяснить, каковы взгляды министра, и вследствие этого я поставил вопрос, на который получил отрицательный ответ.

Председатель. — Я хочу обратить внимание Комиссии на то, что мы имеем документальное подтверждение того, что в этом смысле докладывалось Штюрмером, и документальные сведения о том, что через три недели после того, как он сам доложил государю, он на вопрос английского посла отрицал это обстоятельство. Скажите, пожалуйста, каково было направление Половцова в смысле германофильства или англофильства?

Нератов. — Я совершенно не был посвящен в его личные взгляды, но знал, что он очень часто бывал в английском посольстве и поддерживал очень дружеские отношения с ним вплоть до своего назначения.

Председатель.—Он был назначен, занимая какую должность?

Нератов. — Чиновника особых поручений при Сазонове.

Председатель. — Вы не знаете, чему или кому обязан Половцов своим назначением?

Нератов. — Слухи ходили разные, но никаких данных у меня нет.

Председатель. — В связи с этим состоялась отставка Арцимовича, как товарища министра?

Нератов. — В октябре месяце 1916 года был юбилей, 35-летие службы Арцимовича. И среди чинов ведомства возник вопрос — просить министра чем-нибудь отличить наступление этого дня. Министр, как раз, должен был ехать тогда в ставку, где все время находился государь, и министру предложили такого рода мысль, чтобы дать Арцимовичу звание сенатора, что делалось с сохранением должности товарища министра. Во многих ведомствах это делалось, давали почетное звание, так сказать, награду за известного рода деятельность. Штюрмер отнесся к этому вполне доброжелательно и приказал приготовить в этом смысле доклад. Но затем, когда он вернулся из Барановичей, кажется, или из Могилева, не припомню, то он объявил мне, что это не

состоялось, что состоялось назначение сенатором, но без сохранения должности им товарища министра.

Председатель. — Что же, он сообщил вам это, как инициативу монарха в этом решении?

Нератов. — Объяснения он мне не дал, и я не спрашивал.

Председатель. — При Сазонове или при другом министре допускали ли вы возможность случая, когда вы доводите до сведения министра иностранных дел и вам сообщают, так сказать, неверные сведения. Ведь вы изволили доложить министру иностранных дел, что обнаруживается некоторое беспокойство в посольстве по поводу предполагаемого назначения?

Нератов. — Я больше говорил от себя, что я нахожу, что это вызовет беспокойство. Я не хотел выступления посольства, как инициатора такого запроса, но так как мое собственное убеждение было совершенно такое же, то я просто от своего лично имени обратил на этот вопрос внимание министра.

Председатель. — Но такой факт немыслим был бы, скажем, при Сазонове?

Нератов. — Чтобы мне министр не сказал в действительности то, что есть? Конечно, нет.

Председатель. — Мало того, но сказал бы обратное?

Нератов. — Нет.

Председатель. — Вам не приходилось от кого-либо из лиц, причастных к представительству дружественных с Россией держав, слышать указание на то, что с назначением Штюрмера замечается некоторое странное усиление осведомленности представителей держав, нам враждебных, в русских военных делах?

Нератов. — Такие предположения, что не создается ли большая агентура у нас, высказывались, но так как при этом данных фактических не приводилось, то я ограничивался только словесными запросами и словесными заявлениями.

Председатель. — Штюрмер пробыл у власти, как министр иностранных дел, меньше 4 месяцев?

Нератов. — Да, с 7 июля по 10 ноября.

Председатель. — Не замечали ли вы таких мелких штрихов в деятельности или личности министра иностранных дел, которые были бы неприятны для министерства и совершенно недопустимы для министра? Например, не возникал ли вопрос, в связи с отъездом Штюрмера из квартиры, полагающейся министру иностранных дел, о том, что некоторые предметы были Штюрмером взяты с собой?

Нератов. — Мне помнится, что директор хозяйственного департамента говорил, что после отъезда Штюрмера некоторые вещи должны быть разысканы, потому что они не оказались налицо. Но мне припоминается, что все это установлено.

Ольденбург. — Насколько я правильно понял, вы, характеризуя известную обстановку в деятельности министерства иностранных дел тем, что дело как-то тормозилось, повидимому, вынесли такое впечатление, что это было от излишней осторожности и отсутствия знаний?

Нератов. — Дело все-таки шло, но не тем темпом, к которому мы привыкли до тех пор, потому что до сих пор всякий вопрос был совершенно ясен, двух точек зрения быть не могло, а тут приходилось вникать в каждый вопрос, несколько в него углубляться, обсуждать его и доказывать необходимость решения в том, а не ином смысле, так как тут бывали колебания, которые иногда задерживали решение.

Ольденбург. — А осложнений с нашими союзниками не произошло за это время?

Нератов. — Нет.

Ольденбург. — А вот по румынскому вопросу, какова, так сказать, была позиция Штюрмера в связи с выступлением Румынии?

Нератов. — Он по вступлении своем в должность, 7 июля, застал этот вопрос решенным. Оставалось определить срок самого выступления. И вот, с его стороны было сделано очень много усилий к тому, чтобы заставить Румынию выступить поскорее. Это желание основывалось на том, что наши военные власти считали выступление Румынии весьма нужным. Думаю, что не делаю никакой военной нескромности, говоря это. Во всяком случае, эта точка зрения военных властей из ставки выдвигалась, как непременная необходимость не откладывать наступления. С другой стороны, эту точку зрения поддерживали союзники, которые очень усиленно действовали сами на румынское правительство и предъявляли, в свою очередь, к нашему правительству очень серьезные требования — заставить Румынию поскорее действовать, путем хотя бы некоторых жертв дипломатического и политического характера с нашей стороны.

Ольденбург. — Мне приходилось встречаться с противоположным взглядом, что наши военные власти, генерал Алексеев и представители ставки, в действительности прошли под известным давлением союзников, против намерения наших военных властей.

Нератов. — Я не знаю, чем руководствовалось тогда военное начальство, я не берусь судить. Но, во всяком случае, документально можно установить, что наше министерство действовало в этом вопросе по настоянию наших военных властей и союзников.

Ольденбург. — Так что тут со стороны Штюрмера никакого самостоятельного решения не было?

Нератов. — Решительно не было, но, в виду всей обстановки, он считал необходимым воздействовать на Румынию. Последний

фазис переговоров был при нем, но этот фазис заключался только в определении срока и решении по небольшим спорным вопросам по существу дела.

Ольденбург. — А какова была его позиция в греческом вопросе? Какую позицию он занимал по отношению к греческой династии и специально к королю?

Нератов. — Точка зрения была совершенно определенная — поддерживать династию, считая, что это обязанность тогдашнего русского министра иностранных дел, но в такой степени, чтобы не отстранить от себя симпатий греков, т.-е., чтобы это не умень-шило воздействия наших союзников и наше на Грецию в смысле ее нам сочувственной политики, но, вместе с тем, ограждая самое положение греческого короля и династического вопроса.

Ольденбург. — Это не вызвало конфликтов с союзниками?

Нератов. — Несомненно имелись случаи разногласия, но я должен сказать, что в этом вопросе и союзники придерживались очень долго той же точки зрения; они переменили эту точку зре-ния впоследствии. Так что во время его министерства династиче-ский вопрос считался устраненным из обсуждения.

Ольденбург. — Так что тут никакой новой самостоятельной политики он тоже не вел?

Нератов. — Нет.

Председатель. — Но ведь нацию, народ греческий во вне представлял Венизелос и лишь, может быть, внутри у них были разные течения, так как же, собственно говоря, из этой дилеммы предполагал выйти тогдашний министр иностранных дел, когда две части дилеммы, одна другой противоположнее, входили в сопри-косновение. Ведь Венизелос, как мы знаем, столкнулся с Кон-стантином?

Нератов. — Надо сказать, что Венизелос стал на оппозицион-ную почву позже. Он тоже еще мечтал тогда о том, чтобы напра-вить греческую политику, сохраняя на престоле короля Кон-стантина.

Председатель. — Но все-таки со второй половины 1916 года уже достаточно определились притязания нации к королю Греции, т.-е. Венизелос, при всем своем стремлении быть лояльным, дол-жен был предпочесть нацию королю, народ династии.

Нератов. — Тут, может быть, несколько иначе освещается вопрос, потому что в самом греческом народе не было едино-душия, так что нельзя было сказать, что одна часть народа была за короля, другая была против короля. У них было просто жела-ние не быть ввязанными в войну. Это было течение, можно ска-зать, прямо национальное, и только известные круги, известные группы населения, возглавляемые Венизелосом, стремились дей-ствительно использовать политическое положение в Европе для того, чтобы возможно более сделать приобретений в пользу Гре-

ции. И Венизелос не отрицал, мечтал, по крайней мере, о возможности добиться этого при участии короля Константина. Он не отрицал возможности с ним работать.

Председатель. — Так что позвольте понять ваш ответ на мой вопрос в том смысле, что в течение министерства Штюрмера еще не пришлось нашей иностранной политике выбирать между королем и Венизелосом?

Нератов. — Не приходилось, и в этом отношении оно совершенно сходилось с точкой зрения наших союзников.

Председатель. — Скажите, пожалуйста, относительно польского вопроса. Противники позиции С. Д. Сазонова говорили, что это преждевременно. Но в конце-концов, ведь, случилось то, чего вы хотели избежать, т.-е. немцы обогнали в своем акте Россию, с одной стороны, с другой стороны России все же пришлось попытаться дать нечто польскому народу. Я говорю об актах: немецком, 6 ноября, и русском приказе по армии и флоту, 12 декабря.

Нератов. — Тут, собственно, С. Д. Сазонов, по-моему, оказался прав в том, что нужно было точно оформить наше отношение к польскому вопросу еще раньше поворота в польской психологии.

Председатель. — Не изволите ли вы помнить в отношении польского вопроса об одном инциденте, чтобы Штюрмер, по поручению императрицы, телеграфировал в ставку просьбу не решать польского вопроса раньше наступления известного момента, в связи с именем Велепольского?

Нератов. — Нет, не могу.

Председатель. — Этот инцидент прошел мимо вас?

Нератов. — Помимо меня.

Председатель. — Скажите, кто говорил вам, что было некоторое недоразумение в связи с переездом Штюрмера. Вы сказали, директор хозяйственного департамента?

Нератов. — Да, мне помнится, директор хозяйственного департамента, Фан-дер-Флит.

Председатель. — Скажите, не было ли маленького инцидента в министерстве в связи с ремонтом мебели Штюрмера на казенный счет, в связи с представлением некиим столяром Андреевым какого-то счета?

Нератов. — Я стоял вне хозяйственных вопросов, меня это не интересовало.

Председатель. — Это было в ведении отдела хозяйственного департамента?

Нератов. — И под наблюдением другого товарища министра; одно время был Арцимович, а потом Половцов.

Иванов. — Вы изволили показать, что во время Штюрмеровского министерства чувствовалось всегда замедление в ходе работ.

Так вот, для ясности, мне хотелось бы знать, какая была этому причина. Не была ли причина в том, что он не соглашался с направлением, которое уже было принято в министерстве просто оттого, что не был знаком с делом?

Нератов. — В некотором отношении играла роль неосведомленность, нужно было глубже вдумываться в каждую бумагу, которая поступала. Требовалось больше разъяснений, иногда времени было недостаточно сейчас обдумать, так что должно было откладываться на несколько часов, на сутки. С другой стороны у Бориса Владимировича было много работы в качестве председателя совета министров, так что ему приходилось очень много терять в той деятельности. Так что я объясняю: с одной стороны неосведомленность достаточная, а с другой стороны отсутствие времени.

Иванов. — А несогласие с вашим взглядом, так как вы одинакового направления с С. Д. Сазоновым?

Нератов. — Нет. Если иногда бывали разногласия, то они сказывались почти сейчас же; иногда приходилось, конечно, выяснять взаимную точку зрения.

LXXII.

ДОПРОС А. Н. ВЕРЕВКИНА.

Содержание: Политика ведомства. Общее направление, роль политических взглядов при назначениях. Назначения. Затворницкий, Лагода, Холодовский. Их характеристика. «Твердое направление». Отправление правосудия в стране и министерство юстиции. Прокурорский надзор. Дело Распутина — Гусевой. Руководящие указания из центра. Роль Распутина в министерстве юстиции. Кандидатура Веревкина на пост министра юстиции. Взгляд министерства юстиции на возможность помилования до суда уголовных преступников. Помилование по делам впорядке частного обвинения. Категория дел излюбленных. Дела провокаторов. Помилование через доклад министра внутренних дел. Помилование лиц, обвиняемых в изнасиловании и растлении. Отношения Щегловитова и Распутина. Предстательство за осужденных. Дело Холодовского и дело о беспорядках в г. Новороссийске. Дело Бейлиса. Дело Шорниковой. Дело о Ленской забастовке. Дело Ишера. Категория секретных дел и их ведение. Министерство юстиции и союз русского народа. Случай с товарищем прокурора Ненарокомовым.

Председатель. — С какого по какое время вы, А. Н. Веревкин, изволили быть товарищем министра юстиции?

Веревкин. — С 1 января 1910 г. по 1 января 1917 г.

Председатель. — Какой пост вы занимали до этого времени?

Веревкин. — Я был директором первого департамента, а перед этим старшим юрисконсультом.

Председатель. — Директором первого департамента, заведующего законодательной частью?

Веревкин. — Да.

Председатель. — Вы изволили быть товарищем министров И. Г. Щегловитова, А. А. Хвостова, А. А. Макарова и Н. А. Добровольского?

Веревкин. — При Добровольском я был всего, кажется, дней десять.

Председатель. — Я позволю себе задать вам следующий вопрос из вашей деятельности по министерству юстиции: каково было отношение министра и его ближайших сотрудников к делу отправления правосудия в стране, к вопросу о переменах в личном

составе, а также к вопросам, примыкающим к этим основным, в области политики ведомства?

Веревкин. — К вопросам личного состава я имел весьма небольшое отношение, потому что, как директор первого департамента, стоял совершенно вне их ведения. Как товарищ министра, я их, конечно, касался, но только спорадически, то-есть в тех случаях, когда министр уезжал и передавал мне управление ведомством.

Председатель. — Как один из ближайших сотрудников министра, вы не могли не знать взгляда министра, определявшего политику министерства в этом отношении.

Веревкин. — Да, конечно, но мне очень трудно конкретно ответить на это, потому что, насколько я могу судить, при передвижениях и назначениях в ведомстве министерство руководилось раньше всего данными пользы дела.

Председатель. — Каким признакам должны были удовлетворять лица, чтобы отвечать тому, что министр и руководители министерства понимали под пользой дела?

Веревкин. — Большой работоспособностью и полной добропорядочностью в смысле нравственном и в смысле, скажем, материальном. Но я должен оговориться — бывали ошибки, и далеко не все из тех назначений, которые состоялись за время моей службы в центральном управлении министерства юстиции, лично мне казались удачными.

Председатель. — Я хотел бы удержать ваше внимание исключительно на принципах, которыми вы руководились. Вы изволили сказать: работоспособность, — это признак технический, вы изволили сказать: добропорядочность, — но это признак отрицательный. Какие должны быть, по существу, люди, самый взгляд министра в этом отношении не может быть неизвестен, да он его и не скрывал, вероятно, и вы были об этом взгляде осведомлены и им руководились?

Веревкин. — Мне не приходилось руководиться потому, что я не имел голоса в этих вопросах, сплошь и рядом узнавая о назначениях, даже на очень высокие посты, как, например, старшего председателя или прокурора палаты, после того, как эти назначения уже состоялись.

Председатель. — Как товарищу министра вам приходилось говорить иногда с кафедры Государственной Думы, где вы высказывались не только по частным вопросам, но также и по вопросам общей политики ведомства?

Веревкин. — Как же.

Председатель. — Это указывает, что, казалось бы, вами может быть дан ответ на мой общий вопрос.

Веревкин. — Если вы его немного конкретизируете, я смогу ответить.

Председатель. — Общее направление заключается в выборе людей, критерии выборов и понимании вами пользы дела. Кто из значительного количества добропорядочных людей, в силу общего взгляда на дело правосудия в стране, продвигался в первые ряды судебного ведомства?

Веревкин. — Если вам угодно поставить вопрос, принимали ли при назначениях во внимание политические взгляды, то я должен ответить, что да.

Председатель. — Какие из политических взглядов принимались во внимание?

Веревкин. — Например, участником движений 1905 — 1906 гг., из них очень многие потом получали назначения, и вся их деятельность в революционные годы не являлась крестом на их дальнейшую карьеру, но при вопросах о назначениях и повышениях к ним несомненно относились если не с подозрением, то с известной осторожностью.

Председатель. — Вы изволили на мой общий вопрос ответить отдельным примером, из которого, может быть, следует заключить, что к судье предъявлялись известные требования политических убеждений?

Веревкин. — Что предъявлялись определенные требования, я бы затруднился сказать, но что политические убеждения безусловно учитывались, это — да.

Председатель. — Политические убеждения какого рода?

Веревкин. — Политические убеждения левого направления.

Председатель. — Значит, движение по ведомству получали только лица правого направления, ибо признаки левого направления являлись признаками отрицательными?

Веревкин. — Больше всего ценились те, кто отправляли дело правосудия, не считаясь с политическими вожделениями и тенденциями.

Председатель. — Вы изволите говорить о сущем или о должном?

Веревкин. — Я говорю о том, что было, как общее начало. По крайней мере, я сам, два-три раза выступая в отсутствие И. Г. Щегловитова в Государственной Думе при рассмотрении сметы, проводил с кафедры именно эту точку зрения.

Председатель. — Из крупных фигур суда кто за время вашего пребывания в министерстве был выдвинут по признакам отсутствия политических убеждений?

Веревкин. — Например, Затворницкий; это выдающийся цивилист, насколько я знаю, он стоял вне политики, а между тем ценился очень высоко.

Председатель. — А еще?

Веревкин. — Затем . . .

Председатель. — Разве так мало у вас было крупных назначений, что вы затрудняетесь сказать. Я назову вам некоторых: Лагода, Холодовский . . .

Веревкин. — Нет, назначение Лагоды и Холодовского я всегда считал очень неудачным, хотя их и нельзя ставить на одну доску, так как между ними огромная разница. Лагода — человек очень неглупый и работоспособный, но низкопоклонный в отношении старших, надменный и тяжелый в отношении подчиненных. Что касается Холодовского, то Щегловитов уже застал его на должности, если не ошибаюсь, старшего председателя или прокурора палаты, да и Холодовский, насколько мне известно, даже не пользовался симпатиями Щегловитова. Лагода, напротив, должен сказать откровенно, был создан Щегловитовым, но и Щегловитов в последний год перед его увольнением и назначением в сенат высказался, что ему очень печально, но что с Лагодой надо покончить.

Председатель. — Отчего же печально покончить с таким низкопоклонным, как вы его охарактеризовали, судьей?

Веревкин. — Всегда тяжело сознаваться в своих ошибках. И. Г. Щегловитов считал Лагоду необычайно работоспособным, и это верно, но все другое, что обнаружилось в характере и поведении Лагоды, было, конечно, неожиданно.

Председатель. — Вы изволите знать знаменитую в летописях министерства юстиции отметку о «твердом направлении». Вам известно, что судья, чтобы продвинуться, должен был быть обозначен, как человек «твердого направления»?

Веревкин. — Да.

Председатель. — Что же понималось в ведомстве юстиции под выражением «твердое направление»?

Веревкин.—Деятелем такого рода считался человек, который, не стремясь быть популярным в обществе и прессе, руководился исключительно интересами и пользой своего прямого назначения.

Председатель. — Как понималось прямое назначение?

Веревкин. — Прямое назначение — нелицеприятное отправление правосудия.

Председатель. — Скажите, пожалуйста, такой судья, как Лагода, считался судьей твердого направления?

Веревкин. — Да, считался.

Председатель. — Почему же твердость в некоторых случаях понималась вами, как идущая вразрез с требованиями общества. Разве общество стояло за судью зависимого, а вы стояли за судью независимого?

Веревкин. — Нет, общество стояло за судью независимого, но известное популярничание, известные, если можно так выразиться, жесты, известные шаги, которые направлены исключительно как бы в угоду окружающим.

Председатель. — Много было судей, стоявших на точке зрения, что шаблонное выражение «твердое направление» должно гарантировать от этого свойства или недостатка. Может быть понятие о «твердом направлении» значило и что-нибудь другое?

Веревкин. — То-есть твердое в смысле политическом?

Председатель. — Не знаю. Вы изволили служить в ведомстве, вы изволили признать, что характеристика лица «твердого направления» довольно часто была отметкой, дававшей возможность двигаться судье по службе. Я хотел бы знать целиком все ее содержание.

Веревкин. — В некоторых случаях понятие о твердом направлении совпадало с понятием правого направления, но понятие это было шире, так что под него подпадали и лица, стоящие вне политики, но совершенно исключались люди левого направления.

Председатель. — Что вам известно относительно вмешательства министерства юстиции в отправление правосудия в стране?

Веревкин. — Я затруднился бы употребить такой термин — вмешательство в отправление правосудия, — потому что то, что исходило, происходило в рамках законом установленного руководящего отношения министра юстиции к судебному ведомству. Все сводилось к словесным или письменным указаниям прокурорскому надзору, как органу министерства юстиции, и если происходило вступление в дело правосудия, то со стороны прокурорского надзора, исполняющего в данном случае указания, полученные им от центрального управления.

Председатель. — Казалось бы, что вступление лиц прокурорского надзора, являвшееся указанием из центра, должно было происходить в силу велений закона? Что же присовокуплялось к этим велениям закона, что вызывало вступление в дело лиц прокурорского надзора, т.-е. ваших агентов на местах?

Веревкин. — Прокурорский надзор имеет несомненно руководящее значение при производстве предварительных следствий, при производстве дознаний, и в этом отношении прокурорский надзор постоянно находился под надзором министерства юстиции и от министерства следовали по значительному числу дел те или иные указания.

Председатель. — Вы изволили сказать, что это было в рамках законности, а затем вы изволили признать, что некоторые вступления в дела на местах происходили по распоряжению из центра. В чем же заключались самые указания?

Веревкин. — По заведенному порядку, по каждому возникающему делу от прокурорского надзора поступало сообщение и затем, по мере движения дела и развития следствия, поступали и дальнейшие донесения. В этом отношении министерство юстиции постоянно следило за каждым делом, о котором имелись сведения, и принимало, со своей стороны, все меры для ускорения след-

ствия, внимательно наблюдало, не нужно ли чем-нибудь его дополнить, и если оказывалось, что прокурорский надзор допустил какое-либо . . .

Председатель. — Вы изволите на мой вопрос отвечать справкой из закона, но мы знаем пределы полномочий и соотношений функций генерал-прокурора и прокуроров на местах. Мне бы хотелось, путем вашего допроса, установить руководящее направление, о котором вы изволили высказаться. Чтобы облегчить, можно вам указать на первый попавшийся пример — 15 апреля 1914 г. г-жа Гусева пырнула ножом г-на Распутина, факт, имевший место в г. Тобольске. Каково было отношение к этому делу со стороны министерства юстиции?

Веревкин. — Гусева была признана сумасшедшей?

Председатель. — Да.

Веревкин. — Я, откровенно говоря, не совсем твердо помню, но, кажется, это была не симуляция сумасшествия, а она, повидимому, действительно была сумасшедшей.

Председатель. — Что вы называете симуляцией сумасшествия? Эта женщина кричала: «Я в здравом уме и твердой памяти, я совершенно сознательно ударила его ножом!» При таком отношении лица, совершившего деяние, казалось бы, нельзя было говорить о симуляции; или это симуляция здоровья?

Веревкин. — Насколько мне помнится, она была в психиатрической больнице.

Председатель. — Каково было руководящее значение центра в этом и в ряде других дел? Мне хотелось бы слышать от вас некоторое обобщение: по каким делам давались руководящие указания, в какие дела вмешивалось министерство и в каком направлении были эти влияния?

Веревкин. — Руководящие указания давались почти по всем делам. Так что в этом отношении очень трудно сказать, чтобы они ограничивались исключительно делами, имеющими отношение к преступлениям государственным. По этим делам давались также руководящие указания при производстве следствия в отношении действий прокурорского надзора, но это делалось и по другим делам.

Председатель. — Гражданским и уголовным?

Веревкин. — По гражданским — нет.

Председатель. — Вы не помните годовую статистику уголовных дел на всем пространстве Российского государства?

Веревкин. — Нет, я затрудняюсь сказать.

Председатель. — Во всяком случае это десятки тысяч. И вы утверждаете, что по всем десяткам тысяч дел давались руководящие разъяснения?

Веревкин. — По громадному большинству дел в министерство поступали донесения, вызывавшие наблюдение за делом и дачу руководящих указаний.

Председатель. — Так что фактически, по вашему мнению, министерство наблюдало или руководило всей массой уголовных дел, которые велись на пространстве империи?

Веревкин. — Всей массой — нет, потому что в министерство доставлялись донесения прокурорского надзора по делам выдающегося интереса, или по важности самого преступления, или по лицам, замешанным в деле, но, кроме того, по многим делам министерство само затребовывало сведения об их положении. Была масса просителей, подававших прошения об ускорении следствия, они являлись толчком к тому, чтобы министерство само затребовывало сведения о положении дела и давало руководящие указания.

Председатель. — Что же относительно десятков, может быть, сотен тысяч дел могли давать руководящие указания ведомству из центра?

Веревкин. — В отношении огромной массы дел все сводилось к вопросу об ускорении, потому что больше всего просили об ускорении следствия, идя навстречу ходатайствам заинтересованных лиц, родственников или непосредственно привлеченных; министерство принимало меры к возможному ускорению хода дел.

Председатель. — Не находите ли вы, что такая переписка министерства юстиции по делам, требуя много времени, должна была являться большим тормозом в смысле разрешения самих дел?

Веревкин. — Да, иногда бывало, что на запрос об ускорении мы получали ответ, что дело уже кончено.

Председатель. — Так что деятельность соответственных частей министерства, уголовной и гражданской, сводилась к тому, чтобы ускорять работу на местах? Для ускорения же дел на местах в центре создавалась канцелярия со значительным составом?

Веревкин. — Для ускорения огромной массы дел общего типа, а затем по делам о выдающихся преступных деяниях. Тут министерство шло несколько далее, т.-е., помимо вопроса об ускорении, оно очень внимательно относилось к полноте следствия, к необходимости допроса такого-то свидетеля или расследования того или иного из невыясненных обстоятельств.

Председатель. — Позвольте считать в этом отношении ваш ответ уклонением.

Веревкин. — Я вовсе не желаю уклоняться.

Председатель. — Я себе не представляю, чтобы такой ответ мог быть дан на вопрос. Вот передо мной резолюция по тому же делу, по делу Гусевой, о покушении на убийство Распутина, резолюция центра — министра юстиции: «Обратить внимание прокурора палаты на необходимость особо тщательного переосвидетельствования Гусевой. Казалось бы, что освобождение ее не должно последовать до полного излечения от сумасшествия и не ранее, чем опасность больной для окружающих будет совершенно устра-

нена». Я позволю себе просить вас расшифровать эту резолюцию и сказать, что, собственно говоря, имелось в виду в такой резолюции?

Веревкин. — Это дело я помню, но не могу вам сказать. То, что вы изволили прочитать, это бумаги на имя прокурора палаты?

Председатель. — Да, это из «наблюдательного производства прокурора омской судебной палаты, дело о покушении на убийство Григория Распутина 1914 г.». Вам непонятен смысл и значение такой резолюции министра?

Веревкин. — Я из этого вывожу заключение, что Гусева, очевидно, была освидетельствована два раза.

Председатель. — И признана здоровой?

Веревкин. — Подробностей не помню. У меня осталось впечатление, что она действительно была сумасшедшей, но я совершенно не помню, была ли она два раза освидетельствована и признана здоровой.

Председатель. — Гусева была признана больной и заключена в больницу. После этого родственники ее ходатайствовали об освобождении, в виду ее выздоровления. Суд, рассмотрев это ходатайство, постановил просить томский окружный суд освидетельствовать Гусеву, содержащуюся в настоящее время в томской окружной психиатрической лечебнице, для разрешения вопроса о состоянии умственных способностей. А затем директор томской больницы написал во 2-е уголовное отделение тобольского суда на запрос суда, что «Гусева проявляла симптомы психического возбуждения и повышенного религиозного настроения», а «в настоящее время у Хионии Гусевой нельзя обнаружить ни бредовых идей, ни галлюцинаций, и вообще она не обнаруживает симптомов какой-либо определенной формы душевной болезни, но в ее поведении можно отметить ясные черты истерической дегенерации и симптомы истерического характера, проявляющегося в сварливости, постоянных ссорах с окружающими, в необоснованных жалобах и в наклонностях к сутяжничеству. Однако, нужно заметить, что все эти симптомы в условиях больничного режима несколько сглаживаются и проявляются не особенно резко».

Веревкин. — Мне кажется, что эта бумажка от профессора томского университета написана чрезвычайно сбивчиво и содержит в себе какое-то противоречие, т.-е. из нее можно сделать заключение, что Гусева временно здорова, но есть ли это поправление ее здоровья окончательное или временное, сказать трудно.

Председатель. — Для того, чтобы спросить суд или врачей, временно или невременно выздоровление, для этого не нужно было вмешиваться центру. Это само собою подразумевалось.

Веревкин. — В данном случае, это указание на необходимость особой осторожности . . .

Председатель. — Что же, по всем обвинительным делам рекомендовалось обратить особое внимание или по чему-нибудь именно это дело остановило на себе внимание министерства юстиции?

Веревкин. — Очень многие дела останавливали на себе внимание, а это дело, конечно, по личности потерпевшего.

Председатель. — Откуда такое внимание к этой личности?

Веревкин. — Кажется, достаточно всем известно, какую роль эта личность играла.

Председатель. — Личность, которую вы считаете известной, играла какую-нибудь роль в деятельности министерства юстиции?

Веревкин. — Нет. Эта личность обращалась в министерство юстиции и к министрам юстиции, в частности, ко всем трем или четырем, главным образом, о помиловании того или иного лица, но при И. Г. Щегловитове эти обращения имели своим последствием только одно, а именно, что высочайший доклад составлялся по этим делам особенно подробно, с полным выяснением обстоятельства дела и указанием в большинстве случаев на невозможность удовлетворения ходатайства, поданного тем лицом, за спиной которого стоял Распутин. Очень трудно сейчас вам указать на целый ряд таких дел, но на одно, по которому этот господин обратился к Щегловитову, позвольте сослаться в виде примера, это — дело Шнеерсонов. Шнеерсоны обвинялись в том, что содействовали своим соплеменникам — евреям уклоняться от воинской повинности. Распутин по этому поводу обратился с короткой запиской: «Милой, дорогой, помоги если можно» и письмом от графа Ростовцева, указывавшего, что на дело обращено внимание государыни императрицы. По делу Шнеерсонов было несколько всеподданнейших докладов об оставлении прошения без последствий, и только уже при самом последнем докладе последовало личное повеление уменьшить срок наказания этого Шнеерсона, если не ошибаюсь, наполовину. Таких дел было очень много, и я еще раз безусловно подтверждаю, что обращения Распутина нисколько не принимались в уважение и вели только к тому, что по этим делам при писании всеподданнейшего доклада проявлялась особая осторожность.

Председатель. — Вы изволили подчеркнуть, что это вы говорите о Щегловитове?

Веревкин. — Да, но то же самое я могу сказать и про его ближайших преемников А. А. Хвостова и А. А. Макарова. При Добровольском я был слишком короткое время, но все же могу прямо сказать, что там было обратное отношение, например, дело Нахимова, по которому я давал подробное показание следователю.

Председатель. — Что же вам известно относительно этого дела?

Веревкин. — Это дело очень скверное по обстановке. Грозненский купец Нахимов, которому нужно было раздобыть удостоверение на право получения дозволительного свидетельства на производство разведки нефти, получил такое свидетельство задним числом, путем подкупа местного полицейского агента. Я не помню сейчас его фамилии. Это, кажется, был уездный начальник или помощник уездного начальника.

Председатель. — Но в чем же заключалось влияние Распутина на решение этого дела?

Веревкин. — Были письма, и затем в министерстве начали появляться типы, которых мы знали, не столько я, как ближе стоявшие к просителям вице-директора департаментов Лядов и Чаплин. Тут был некий Розеншильд-Паулин и еще кто-то такой. Одним словом, это были такие лица, что для нас было ясно, что за ними стоит Распутин. Нахимов подал ходатайство; при Хвостове его ходатайство было оставлено без последствий. Затем, при Макарове, его прошение поступило в министерство. Проситель не останавливался ни перед чем, чтобы добиться удовлетворения своего ходатайства, и, между прочим, зная, что я состою председателем правления попечительного комитета, образованного министерством юстиции и сенатом для помощи участникам и жертвам войны (у нас была идея устроить инвалидный дом и надо было для этого приобрести, по крайней мере, участок), Нахимов подослал ко мне одно лицо с заявлением, что если он получит помилование, то жертвует комитету огромный участок в Лесном, чуть не с четырьмя дачами. Я, конечно, его отправил. При Макарове был уже заготовлен доклад об оставлении прошения Нахимова без последствий. Доклад, однако, Макаров не успел передать. Он предполагал его послать, но как раз в тот день, когда у него должен был быть доклад, последовала его отставка. Добровольский же, который обращался по телефону с просьбой оказать содействие Шнеерсону, месяца за два перед тем, потребовал к себе это дело, и очень скоро доклад был переделан в смысле помилования. Это дело само по себе никакого интереса не представляет. Весь интерес этого дела в том, что за этим Нахимовым стоял Распутин.

Председатель. — Что вы подразумеваете, когда говорите, что не было никакого интереса?

Веревкин. — Не было никаких оснований, никаких данных к испрошению помилования.

Председатель. — Что же, Добровольский оказался осведомленным об этом деле еще до его доклада?

Веревкин. — Да, он, примерно, в конце октября обращался ко мне по телефону и, когда я ему заметил: «Николай Александрович, это дело мне очень хорошо известно, дело это скверное и, насколько я знаю, министр юстиции уже решил всеподданнейший доклад пустить на отклонение», а затем: «Николай Александрович,

известно ли вам, что за этим делом стоит Распутин?», Добровольский сказал: «Очень вам брагодарен, что вы мне сказали, значит забудьте о моем обращении к вам».

Председатель. — Это он говорил, будучи обер-прокурором?

Веревкин. — Нет, он не был обер-прокурором, он был сенатором.

Председатель. — Когда через несколько дней он был назначен, то сейчас же потребовал это дело?

Веревкин. — Очень скоро.

Председатель. — Что же, Розеншильд-Паулин, проводивший все распутинские дела в министерстве юстиции, появлялся при всех министрах: Щегловитове, Хвостове и Макарове?

Веревкин. — Я лично его не видел, но со слов Чаплина и Лядова узнал, что есть такой. Мне, кажется, что он появлялся при всех.

Председатель. — Вы сами никогда не встречали Распутина?

Веревкин. — Не только встречал, но он даже один раз явился ко мне на дачу. Я жил то лето в Левашове, и вот, в один прекрасный день Распутин является ко мне, т.-е. входит прямо в сад. Я вышел к нему, не приглашая его на дачу. В саду была скамейка, Распутин сел на нее и обратился ко мне с просьбой о Шнеерсоне, о котором я вам уже докладывал. Я ему прямо сказал, что это дело безнадежное. Я говорю: «Как же вы можете предполагать, что министр юстиции будет затруднять и утруждать внимание государя императора ходатайствами о таких господах, которые во время войны помогают уклоняться от воинской повинности?» — «Ты резонно говоришь, а все-таки очень уж просят, очень уж жалко их!». Я говорю: «Я передам дело министру юстиции, но убежден заранее, что если министр юстиции и доложит это государю, то только в смысле отклонения».

Председатель. — Распутин приехал к вам без всякого предупреждения?

Веревкин. — Да.

Председатель. — Как он вас нашел?

Веревкин. — Этого я не знаю.

Председатель. — Когда это было и при каком министре?

Веревкин. — Это было в 1915 г., при Щегловитове, но очень скоро после этого последовала отставка Щегловитова, так что доклад его по делу Шнеерсона пришелся на его последний всеподданнейший доклад.

Председатель. — Когда, вообще, всплывали предположения о вашем назначении на пост министра юстиции?

Веревкин. — При уходе Щегловитова.

Председатель. — И при уходе Макарова?

Веревкин. — Макарова? Нет, потому что тут мне могла предстоять другая кандидатура.

Председатель. — Какая?

Веревкин. — Министра внутренних дел.

Председатель. — А второй раз министра юстиции?

Веревкин. — Второй раз относительно министра юстиции, уже в февральские дни, т.-е. тогда, когда кн. Голицын совершенно убедился в невозможности оставлять в должностях и Протопопова и Добровольского, и когда он говорил: «У меня нет ни министра внутренних дел, ни министра юстиции».

Председатель. — Вы не можете припомнить, — относящиеся к последнему времени пребывания Щегловитова газетные сведения о вас, как о кандидате на пост министра юстиции, были до посещения вас Распутиным или после?

Веревкин. — Они бывали и до и после. В министерстве Распутин у меня ни разу не появлялся. Я говорю это потому, что один раз при А. А. Хвостове он был в министерстве, но это, кажется, было его единственное там появление.

Председатель. — Какой был взгляд министерства юстиции при Щегловитове на возможность помилования уголовных преступников до осуждения их судом в связи с 23 ст. основных законов?

Веревкин. — Первое и очень долгое время И. Г. Щегловитов признавал, и этого придерживалось министерство, что 23 ст. исключает возможность прекращения уголовных дел. Ведь, кажется, к этому сводится и освобождение от дальнейшего уголовного преследования лица привлеченного. Я бы затруднился сейчас сказать, с какого дела это началось, но затем взгляд Щегловитова несколько изменился, и были случаи применения, т.-е. прекращения уголовных дел до постановки их на суд, следовательно, вопреки первоначальному толкованию 23 ст. Таких случаев было мало, но они все-таки были. Я не могу сказать, под влиянием чего это произошло, но склонен думать, что здесь были личные указания, полученные Щегловитовым от государя.

Председатель. — Значит, юридически взгляд министерства на 23 ст. изменился, но фактически, в зависимости, как вы предполагаете от указания со стороны верховной власти, она стала применяться и в том и в другом смысле?

Веревкин. — Да, но, к сожалению, я не могу вспомнить, с какого дела это началось.

Председатель. — Может быть с дела Обриен-де-Ласси?

Веревкин. — Нет, не думаю, чтобы по этому делу могли последовать такие указания, и потом дело Обриен-де-Ласси было поставлено на суд.

Председатель. — Я имею в виду другое дело Обриен-де-Ласси, о незаконном браке.

Веревкин. — Я это дело помню, но думаю, что началось и не с этого дела.

Председатель. — Какой был взгляд министерства на возможность помилования лиц по делам, в порядке частного обвинения?

Веревкин. — Министерство признавало это невозможным.

Председатель. — Чем же тогда объясняется ряд случаев испрошения высочайшего помилования по делам этого рода?

Веревкин. — Мне кажется, что помилование в чистой форме по такого рода делам не испрашивалось. Обыкновенно, если по обстоятельствам дела оказывалось желательным, испрашивалось большое смягчение.

Председатель. — А ряд дел, например, Тагиева, Коваленко, Остапчука, Алексея де-Ливрона, дело Уманцев и некоторые другие, по которым было полное прекращение производства?

Веревкин. — Да, но это отдельные случаи.

Председатель. — Вы говорите отдельные случаи, но должно же быть в представлении министерства юстиции какое-нибудь для них законное основание?

Веревкин. — Вы меня первоначально спросили об общем взгляде министерства. Общий взгляд был такой, что по этим делам помилование испрашивалось и заменялось испрошением чрезвычайного смягчения. Вот, собственно, какое было общее положение. Что до исключительных дел, то эти дела не выражают собой общего взгляда министерства.

Иванов. — Что значит исключительные?

Председатель. — В чем их исключительность?

Веревкин. — В том, что было испрошено прекращение дела, т.-е. было допущено отступление от общего начала.

Иванов. — Всегда по особому ходатайству?

Веревкин. — Да, несомненно.

Иванов. — Посторонних лиц?

Веревкин. — В данном случае, может быть, были ходатайства со стороны потерпевших, со стороны осужденного.

Председатель. — Позвольте перейти к вопросу о помиловании лиц, уже осужденных, по докладу министра юстиции. Какой обыкновенно в министерстве был порядок в этом отношении? Не было ли определенной категории дел излюбленных, таких, по коим помилование несомненно испрашивалось?

Веревкин. — Какие же, например?

Председатель. — Вы не помните таких категорий? Я вам напомню обстоятельство, которое вы сейчас упускаете из виду: в министерстве даже существовали бланки с обоснованием помилования по некоторым делам, и эти формулы в бланках значились; они неизменно повторялись при представлении о помиловании. Министерство юстиции чувствовало какую-то слабость по отношению к некоторым делам или, может быть, силу, я не знаю.

Веревкин. — Например?

Председатель. — Вы не помните?

Веревкин. — Я хотел одну такую категорию назвать: «Дела об осужденных», которые в том же 1905 году проявили контр-революционную деятельность.

Председатель. — В чем проявлялась их контр-революционная деятельность, и что вы понимаете под контр-революционной деятельностью?

Веревкин. — Одна категория — те, кто, содействуя во время аграрных беспорядков успокоению местных крестьянских масс, боролись с ними. Чины полиции, например, которые почти все принимали в этом участие, и если допустили какие-нибудь эксцессы т.-е. превышение власти, то судились, и затем возбуждали ходатайства о помиловании, при чем всегда учитывалась их роль в 1905 году при подавлении аграрных беспорядков.

Председатель. — Это деятельность контр-революционная?

Веревкин. — Вернее, не контр-революционная, а борьба с аграрными беспорядками.

Председатель. — Разве вы были так мало осведомлены в делах вашего министерства, что вас затрудняет определение категории дел совершенно очевидных по такому формальному признаку, как наличность особых печатных бланков?

Веревкин. — Я таких печатных бланков не знаю.

Председатель. — Будем говорить не о бланках, а о категориях дел.

Веревкин. — Т.-е. это гранки, так называемые, по ведомостям.

Председатель.—Будем говорить о категориях дел по существу.

Веревкин. — Но в каждом деле, несомненно, принимались во внимание и все остальные обстоятельства дела. Так что трудно сказать, чтобы был предрешен исход известной категории дел. Но обстоятельство, на котором я сейчас остановился, — участие в подавлении аграрных беспорядков, — всегда принималось во внимание.

Председатель. — К этой контр-революционной деятельности нужно отнести также дела обвиняемых в еврейских погромах, полицейских и тюремщиков, совершавших насилие и истязание и даже убийства при исполнении служебных обязанностей? Обе эти категории лиц миловались без исключения?

Веревкин. — Я затруднился бы сказать, что без исключения, я ведь говорил о помиловании только полицейских, допустивших превышение власти при подавлении аграрных беспорядков.

Председатель. — Это проверено, так что это факт, но вы можете указать случаи, когда не миловались учинившие еврейские погромы?

Веревкин. — Я затрудняюсь сказать на память, но безусловно такие случаи были.

Председатель. — Вы признаете, что обвиняемые по некоторым категориям дел получали помилование по общему положению, что они еврейские погромщики, полицейские и тюремщики, совершившие истязания и даже убийства?

Веревкин. — Да, миловались огульно, а не по рассмотрении обстоятельств вины каждого из них.

Председатель. — Но, как товарищ министра, вы задумывались о последствиях, которые это может повлечь? Достаточно было оглашения всего этого в печати, чтобы люди, зная, что они останутся без наказания, почувствовали, что могут делать все, что угодно, т.-е. убить, истязать вас, меня.

Веревкин. — Я все-таки отрицаю, что все дела об еврейских погромщиках кончались помилованием.

Председатель. — Может быть, вы возьметесь навести соответственные справки в министерстве юстиции или; по крайней мере, вспомните отдельные примеры?

Веревкин. — Да, я, может быть, найду несколькс дел.

Председатель. — Как же вяжется общность мотивов, по которым миловались, с тем положением, что право помилования должно быть провоцировано по особенностям данного случая, как особая милость носителя верховной власти именно к данному преступнику, — ведь так звучит и должна звучать 23-я статья?

Веревкин. — Помилование испрашивалось для каждого в отдельности.

Председатель. — Формально, но по существу?

Веревкин. — Были дела, в которых при огульном рассмотрении принимались во внимание обстоятельства потому, что эти обстоятельства в отношении всех дел были одинаковы и побудительные мотивы к совершению преступления у всех также были одинаковы. Эксцессы, допущенные при подавлении аграрных беспорядков, все были вызваны одними и теми же мотивами, так что если миловались исправник, урядник и становой, то естественное дело, что все они одинаково виноваты или одинаково заслуживают смягчения участи или помилования.

Председатель. — Разве вы не представляете себе глубоко развращающего влияния, которое такое массовое помилование или помилование целой категории, вносило в среду становых, урядников и проч., которым приходилось иметь дело с аграрными беспорядками? При такой практике министерства юстиции каждый мог безнаказанно совершать преступления.

Веревкин. — Он не мог рассчитывать на безнаказанность.

Председатель. — Но он ставился в тесные ряды помилований этой категории?

Веревкин. — Миловались не все. Был выработан для канцелярского удобства известный штамп, но это не значит, что подходило к нему каждое дело.

Председатель. — За этим канцелярским удобством есть внутренняя сторона — большая философия помилования.

Веревкн. — Т.-е., что часто миловались? Это — да.

Председатель. — А была такая категория дел, по которым помилования совершались только в исключительных случаях?

Веревкин. — Да, вот категория дел, за которыми стоял Распутин, это была одна из самых противных категорий дел, по которым не миловали.

Председатель. — А другие категории?

Веревкин. — Это очень трудно сказать. Много ведь дел можно было бы припомнить таких, где бывало по два и по три доклада, при чем, например, первые два доклада кончались отклонением, а последний, в зависимости от времени, прошедшего после заключения, помилованием.

Председатель. — Не было ли у вас категории дел — одиозных? Не можете ли вы сказать цифры, какой был процент помилований по делам политическим?

Веревкин. — Статистики у нас не велось, процент трудно определить, но помилования по этим делам, ведавшимся третьим отделением, не были редкостью.

Председатель. — К категории дел провокаторов существовало какое-нибудь определенное отношение?

Веревкин. — Со стороны министерства юстиции, в узком смысле этого слова, — нет, но обыкновенно по этим делам выступали со многими и многими настоятельными ходатайствами или министр внутренних дел или заведывавший полицией товарищ министра. Очень часто первое обращение оставалось без результата, но обращения обыкновенно повторялись, и во всеподданнейшем докладе, во всяком случае, упоминалось о ходатайстве министра внутренних дел или его товарища, и помилования по этим делам следовали нередко.

Председатель. — Вы можете привести хотя бы один пример непомилованного по первому разу провокатора?

Веревкин. — Трудно сказать, но безусловно такие дела есть.

Председатель. — Вам известно, что представления о помиловании так называемых секретных сотрудников шли не только через министра юстиции, но также через министра внутренних дел?

Веревкин. — В очень редких случаях, но это бывало.

Председатель. — Чем объясняются такие случаи? Ведь акт помилования есть акт судебной прерогативы монарха, стало быть, по закону, это должно восходить через доклад министра юстиции?

Веревкин. — Такие обращения непосредственно со стороны министра внутренних дел с ходатайством о помиловании тем и объяснялись, что успех этих дел в министерстве юстиции вовсе не был обеспечен, что случаи отказов по этим делам в министер-

стве юстиции бывали, и поэтому министр внутренних дел иногда, я думаю именно в сомнительных, по его мнению, случаях, брал на себя испрашивать эти помилования.

Председатель. — Вам известно, с каких пор завелся такой порядок?

Веревкин. — Трудно сказать, с каких пор. Думаю, что в последнее время это было реже, чем в прежнее.

Председатель. — Вы не знаете, ставился ли этот вопрос в министерстве в плоскости его законности?

Веревкин. — Мне кажется, что нет.

Председатель. — Чем объясняется, что в противовес политическим преступлениям к категории лиц, получавших почти во всех случаях помилование, принадлежали обвинения в изнасиловании и растлении?

Веревкин. — Это установилось со времени Муравьева, толковавшего, что изнасилование — симуляция преступления, что есть всегда согласие и возбуждение дел об изнасиловании — есть шантаж со стороны потерпевшей. Такова была теория Муравьева, и он по этой категории дел неукоснительно испрашивал помилования. В позднейшее время от этого общего начала очень часто отступали и это не было всегда соблюдаемо практикой.

Председатель. — Вы подчеркиваете отступление от практики министерства Муравьева, что там все миловались, а у вас почти все. Каким образом можно было по делам этого рода иметь некоторый штамп благоволения к лицам, которые осуждены присяжными заседателями, т.-е. судьями по совести?

Веревкин. — Мы испрашивали помилование по этого рода делам в тех только случаях, когда сама потерпевшая просила об этом, а иногда, и очень часто, оказывалось, что потерпевшая вышла замуж после этого за того, кто осужден. В таких случаях мы всегда испрашивали помилование.

Председатель. — Если существовала такая теория, отменявшая фактически статью об изнасиловании в том предположении, что изнасилования как акта преступления не существует, то как же обстояло дело с растлением и с растлителем?

Веревкин. — По этого рода делам помилования и не было.

Председатель. — Обзор деятельности министерства юстиции, за время управления им Щегловитова, как будто приводит к обратному выводу. Вы изволили сказать, что при Щегловитове существовало дурное отношение к предстательству Распутина о помиловании. Вам известно об отношениях, которые существовали между Щегловитовым и Распутиным?

Веревкин. — Совершенно не известно. Я думаю, что они даже не были знакомы, по крайней мере, пока Щегловитов был министром юстиции. Что было после, я не знаю.

Председатель. — А вам не известно, что ко времени возвращения Щегловитова к власти как раз состоялась его встреча и знакомство с Распутиным?

Веревкин. — Мне это известно по городским сплетням, но ни от него самого, ни от его жены я никогда не слышал упоминания о Распутине.

Председатель. — Было обыкновение в министерстве в представлениях о помиловании указывать имена предстательствовавших за осужденных?

Веревкин. — Да, обыкновенно.

Председатель. — А в тех случях, когда предстательствовала кампания Распутина, Розеншильд-Паулин?

Веревкин. — Официально мы не имели этих предстательств. Распутин обыкновенно обращался с короткими записками «Милой, дорогой сделай что можно», а Розеншильд-Паулин являлся в роли словесного ходатая по делам, по которым прошения уже поступили от осужденного или от кого-нибудь из родственников осужденного. Так что тут не было никакого основания на них ссылаться, но по этим делам очень часто предстательствовал гр. Ростовцев.

Председатель. — Что же, имя гр. Ростовцева упоминалось во всеподданнейших представлениях?

Веревкин. — Упоминалось.

Председатель. — Разве у вас в министерстве не было правила, согласно которому справки по делам выдавались только обвиняемым или их поверенным?

Веревкин. — Нет.

Председатель. — Так что каждый желающий мог получить справку?

Веревкин. — Да, если не справку, то во всяком случае мог ходатайствовать по данному делу. Мы могли ничего не сказать и обыкновенно ничего не говорили до всеподданнейшего доклада, потому что до последней минуты нельзя было ничего определенного сказать, но, во всяком случае, ходатайство его выслушивали.

Председатель. — Этим вы и объясняете, что ходатайства Розеншильд-Паулина выслушивались также? Давно у вас такой порядок?

Веревкин. — Всегда был.

Председатель. — Вам известен циркуляр министра Щегловитова о том, что присяжные заседатели не лишены права ходатайствовать пред высочайшей властью о смягчении участи или даже о полном помиловании лиц, которые их приговором осуждены?

Веревкин. — Как же.

Председатель. — Какова была практика этого рода дел?

Веревкин. — В громадном большинстве случаев эти ходатайства имели своим последствием их удовлетворение. Многие из этих дел направлялись, как у нас принято было говорить, по сводной

ведомости, т.-е. они все заносились в одну тетрадь с кратким изложением дела и с указанием, что это ходатайство возбуждено присяжными заседателями, но в отдельных случаях, когда казалось, что это ходатайство недостаточно обосновано, составлялся подробный высочайший доклад об его отклонении.

Председатель. — Что же, по сводной ведомости ходатайства хоронились или, напротив, удовлетворялись?

Веревкин. — Удовлетворялись.

Председатель. — Так что, вы утверждаете, что большинство ходатайств присяжных заседателей о помиловании и об облегчении участи, во-первых, докладывались, а, во-вторых, удовлетворялись?

Веревкин. — Позвольте ответить на обе части вашего вопроса. Докладывались не все, а только те, по которым испрашивались помилования, и затем те, которые по чему-нибудь заслужили особого внимания, вызывая к себе интерес. Те же ходатайства, которые казались совершенно неосновательными, оставлялись по ведомости без доклада его величеству.

Председатель. — Какое право было у вас не докладывать этих, очевидно вызванных циркуляром Щегловитова или его предшественником, ходатайств присяжных заседателей на высочайшее имя?

Веревкин. — На том общем основании, в силу которого министр юстиции особым высочайшим повелением (затрудняюсь вам сказать дату, это было еще в 80-х годах) был уполномочен на оставление без последствий ходатайств о помиловании в случаях, когда, в виду необоснованности и неуважительности, он не признавал возможным утруждать государя.

Председатель. — Вам представлялось соответствующим законам принятие министром юстиции к руководству такого указания, которым министру юстиции отторгалась одна из важнейших и, может быть, наиболее дорогих народу прерогатив верховной власти — миловать?

Веревкин. — Это установлено очень давно.

Председатель. — Но вы применяли это довольно недавно?

Веревкин. — Мы применяли на основании высочайшего повеления, которое было испрошено не нами.

Председатель. — Насколько законной считали вы такую вашу практику?

Веревкин. — Она была законна, потому что она покоилась на высочайшем повелении.

Председатель. — Вы думаете, что всякое высочайшее повеление, особенно после основных законов 1906 года, является законным?

Веревкин. — Этого я не сказал бы, но я бы сказал, что мы руководились указанной практикой, потому что она покоилась на высочайшем повелении.

Председатель. — А если эта практика основана на высочайшем повелении, которое не должно исполняться при существующих законах?

Веревкин. — Тогда нужно было испросить повеление об отмене этого высочайшего повеления, но этого не было сделано.

Председатель. — Я хотел бы выяснить — в большинстве случаев ходатайства присяжных заседателей на высочайшее имя оставлялись без последствий не носителем этого имени, а министерством юстиции, или же эти ходатайства представлялись и получали разрешения?

Веревкин. — Пожалуй, в большинстве случаев они оставлялись без последствий, ибо по многим делам из донесений прокурорского надзора обнаруживалось, что ходатайства присяжными заседателями возбуждены были не тотчас по произнесении приговора, а иногда через много времени спустя, не под непосредственным впечатлением, вынесенным присяжными заседателями из слушания дела, а под влиянием посторонних обстоятельств — просьб родственников и т. д.

Председатель. — Стало быть, по отношению к той категории дел, где присяжные заседатели немедленно постановили ходатайствовать, вы можете сказать, что большинство представлялось и удовлетворялось?

Веревкин. — Большинство удовлетворялось.

Председатель. — По тем исследованиям, которые сделаны у нас в Комиссии, как раз наоборот — подавляющее большинство ходатайств присяжных заседателей не докладывалось бывшему императору, а оставлялось властью министра без последствий; это создало такую практику, что председательствующие в судах разъясняли присяжным заседателям, что право помилования принадлежит только государю и, быть может, во многих случаях вели, таким образом, присяжных заседателей к обвинительному приговору. Не изволите ли вы припомнить, что 26 февраля 1910 года в заседании Государственной Думы, в связи с прениями по смете министерства юстиции, вы изволили от имени министерства давать объяснения Государственной Думе?

Веревкин. — Как же, да.

Председатель. — Это было объяснение от имени ведомства в связи с указаниями, которые вам тогда делались, а также в связи с запросом, принятым в Государственной Думе о незакономерных действиях председателя новочеркасской палаты Холодовского и о рассмотрении дела о беспорядках в городе Новороссийске. Это ваше выступление было сделано по соглашению с министром Щегловитовым?

Веревкин. — Да, он сам указал мне на аттестацию Лыжина, лично мне совершенно неизвестного, и сказал, что я найду ее, кажется, в переписке министерства юстиции, в рапортах проку-

рора палаты Золотарева и в определении екатеринодарского окружного суда. Реабилитируя, т.-е. указывая на то, что нападки, раздававшиеся в то время против Лыжина, неосновательны, я, кажется, на эти два документа и ссылался, это ведь было дело о Новороссийской республике, а не дело Дашнакцутюн, по которому так прославился Лыжин. В то время Лыжин был для меня совершенно неизвестен, так что я воспроизвел в моих объяснениях лишь аттестацию, данную Лыжину со стороны местных властей.

Председатель. — В ваших объяснениях была и другая часть — защита действий министерства юстиции по отношению к мировому судье Пальчиковскому?

Веревкин. — Да, это все находилось в связи.

Председатель. — Вы изволите, вероятно, помнить, что в отношении мирового судьи Пальчиковского министерство юстиции обвинялось народными представителями в том, что этот судья был перемещен на низшую должность, в связи с его показаниями по делу о Новороссийской республике? По этому поводу, ваш ответ также был основан на определении новороссийского окружного суда и в этой части вы также условились с министром юстиции по существу вашего ответа?

Веревкин. — Да.

Председатель. — Действительно ли перемещение Пальчиковского состоялось в связи с этим допросом, или нет, как вы тогда ответили, и что вы думаете теперь?

Веревкин. — Право, я не помню. Ведь это было 7 лет тому назад. Я не помню сейчас, что я ответил.

Председатель. — Вы ответили ссылкой на определение сената, что он был смещен совсем не из-за этого, а в виду незакономерности его действий, как судьи, которая была обнаружена ревизией, произведенной старшим председателем Холодовским. Вы помните это обстоятельство?

Веревкин. — Мне казалось, что не был ли он назначен на другое место за то, что, взяв отпуск, он не вернулся к сроку?

Председатель. — Нет, указания на это в деле не имеется. Прежде, чем дать объяснения, вы ознакомились с делом министерства юстиции по поводу этого судьи?

Веревкин. — Я ознакомился с делом сенатским и с определением новороссийского окружного суда.

Председатель.—Но вероятно и с делом министерства юстиции?

Веревкин. — Думаю, что нет. Я ведь не имел времени.

Председатель. — Чем же объясняется, что, давая ответ по существу о перемещении судьи, вы не навели справки, в связи с этим делом, в министерстве юстиции?

Веревкин. — Я сейчас не помню, но ведь авторитет сената, кажется, покрывал все.

Председатель. — Вам известно, по какому вопросу сказал сенат свое мнение?

Веревкин. — Нет, я не помню.

Председатель. — Я вам могу припомнить. По вопросу о том, дать ли ход или прекратить переписку, возникшую вследствие представления временного военного суда о том, что судью, который имел несчастье в связи с этим и вследствие этого попасть в качестве свидетеля, перемещают на другую низшую должность или ставят, во всяком случае, в худшее положение. Вы помните, по какому вопросу высказался сенат?

Веревкин. — Нет, я сейчас не помню.

Председатель. — По вопросу о том, что эту переписку прекратить, т.-е., другими словами, сенат сам не входил в рассмотрение вопроса, по каким причинам был переведен Пальчиковский.

Веревкин. — Но тем не менее он остановился на этом вопросе. В определении сената ведь есть указание?

Председатель. — Да, и эти указания сенат почерпнул из неправильных сведений, данных ему по этому вопросу. Вас, заменявшего главу ведомства, спрашивают по существу вопроса, а вы, который не могли не знать всего вопроса в целом, делаете ссылку на определение сената, в основу которого положены неверно сообщенные ему сведения.

Веревкин. — Нет. Об обстоятельствах перемещения Пальчиковского я, собственно говоря, не мог знать, потому что дела личного состава меня совершенно не касались.

Председатель. — Разве, когда вы выходите на кафедру Государственной Думы для того, чтобы давать объяснения по вопросу о перемещениях, вы не велите навести справку?

Веревкин. — Несомненно, но справка эта была сенатское определение. Для меня авторитетность сенатского определения несомненна. Я сейчас не помню, может быть, у меня это дело было в руках, но прошло все-таки уже 7 лет. Во всяком случае, я твердо помню, что сенатское определение в этом вопросе мне казалось авторитетным.

Председатель. — Выходя на трибуну, вы не имели дела второго департамента министерства юстиции? (Предъявляет дело.) Вопрос идет о некоторой подготовке.

Веревкин. — О подготовке запроса, — да, несомненно, ибо при ответе на запрос выступают, так сказать, во всеоружии. Но при суждениях по смете, тут неизвестно, какие будут поставлены вопросы, какие нападки придется слышать, и затем отвечать ведь приходится моментально.

Председатель. — Раз вы не обладаете данными, вы можете отложить ваше объяснение и выступить в другой раз; наконец, послать за справкой в министерство.

Веревкин. — Это все невозможно, по смете приходится отвечать экспромтом.

Председатель. — Вы сказали экспромтом по смете, но как же экспромтом об определении сената?

Веревкин. — Да, я знал. Если у вас есть стенограмма, то, насколько я помню, было одно заседание, которое кончилось в 6 часов вечера, затем продолжалось на следующий день. Вот, в промежутке я доложил по телефону министру Щегловитову, он сказал: «Я прикажу прислать вам сенатское определение, где вы найдете определение новороссийского окружного суда».

Председатель. — Таким образом, вы поставили себя и ведомство в такое положение, что оно, скрывая истинный мотив, указало, как на мотив перевода, на дело, возникшее после того, как перевод состоялся, ибо дело это возникло 25 июня 1909 г., о Пальчиковском, а его перемещение состоялось 4 мая 1909 г.

Иванов. — Скажите, пожалуйста, разве вам неизвестно было, что по делу Пальчиковского был сделан запрос, принятый и переданный в комиссию, и только попутно, при рассмотрении, возник вопрос.

Веревкин. — Не по делу Пальчиковского, а по делу Лыжина, там, быть может, упоминалось о Пальчиковском; запрос был внесен, но не был принят.

Иванов. — Но тогда можно ознакомиться.

Веревкин. — Нет, раньше, чем запрос принят, подготовиться невозможно. С момента принятия запроса дело может быть назначено к слушанию не раньше, как через месяц.

Иванов. — Так что вам сказал министр Щегловитов о том, чтобы сослаться на это?

Веревкин. — Он сказал о том, что в министерстве есть переписка, и указал на определение сената и новороссийского окружного суда.

Иванов. — Вы с его слов. . .

Веревкин. — Нет, я получил подлинники.

Председатель. — Скажите, пожалуйста, кем положена вот эта резолюция? (Предъявляет документ.)

Веревкин. — Кажется, это почерк покойного директора департамента Д. А. Живковича.

Председатель. — Постарайтесь вспомнить ваш разговор с Иваном Григорьевичем по телефону. Вы докладываете, что вот идут прения по смете; что же он говорит?

Веревкин. — Вероятно, было так: я думаю, что не ошибался, указывая на то, что эта смета слушалась в двух заседаниях. Кажется, в том же заседании, кроме этого дела, был вопрос о нападках Годнева на отношение министерства юстиции к вопросам кодификации. Вот по этому вопросу я спрашивал указания Щегловитова, что отвечать; он сказал, что касается дела Лыжина,

Бродского, секретного сотрудника и провокатора, и г-жи Шорниковой, тоже секретного сотрудника и провокаторши, принимавших участие в создании этого процесса?

Веревкин. — Да. Я затруднился бы дать вам об этом какие-нибудь подробные сведения, потому что всплыло это, кажется, летом 1913 г., когда Щегловитов приезжал сюда из отпуска.

Председатель. — Были экстренные заседания совета министров?

Веревкин. — Одно или два, но я в них участия не принимал.

Председатель. — Что вам известно о благополучной ликвидации через правительствующий сенат появления Шорниковой?

Веревкин. — Об этом мне тоже мало известно. В это время Щегловитов уехал, а министерством управлял Ильяшенко.

Председатель. — Значит, он приезжал только на эти заседания?

Веревкин. — Да, это относится к тому времени, когда премьером был, кажется, Коковцов, и, насколько мне помнится, Коковцов вызвал его телеграммой.

Председатель. — Вам известно о переговорах между министром юстиции и обер-прокурором, в связи с ликвидацией этого дела?

Веревкин. — Я был тогда в отпуску, но вероятно министр юстиции и, несомненно, Ильяшенко имели переговоры.

Председатель. — Что вы знаете об отношении министерства юстиции к делу о Ленской забастовке?

Веревкин. — В самом начале, еще до назначения ревизии Манухина, насколько я помню, министерством было возложено на местного прокурора палаты подробное расследование всех обстоятельств дела, и, кажется, сам прокурор палаты Нимандер выезжал туда; затем, когда была назначена ревизия Манухина, деятельность судебных органов отошла на второй план и проявлялась только в том, что Нимандер все время сопровождал Манухина.

Председатель. — Нас больше интересует общее отношение министерства к этому процессу, сначала стремление создать политический процесс из дела Ленской забастовки, а затем стремление во что бы то ни стало это дело прекратить.

Веревкин. — Я не думаю, чтобы стремление создать процесс было у министерства юстиции; может быть оно было у министерства внутренних дел. А относительно прекращения, — ведь это вылилось в прекращении дела ротмистра Терещенкова, но опять-таки в силу существовавшей тогда административной гарантии, в том смысле, что министерство внутренних дел направило это дело на прекращение. Так что официально министерство юстиции принимало участие в этом деле очень небольшое. Мне помнится, что в совете министров подробно обсуждался отчет

Манухина в частности и инцидент с ленским расстрелом. Тут, вероятно, министр юстиции принимал большое участие.

Председатель. — Вы помните дело Ишера?

Веревкин. — Очень мало помню. Обстоятельства дела я знаю, но велось оно в секретном порядке, и мне памятно только потому, что как-то, сдавая мне летом управление министерством, Щегловитов сказал: «Поздравляю вас, вам летом не придется иметь дело с отвратительным и препоганым (как он выразился) делом Ишера, потому что я решил направить его, когда вернусь сам». Я спрашиваю: «Что это за дело?» Он выразился так: «Этот сукин сын Толмачев допустил что-то неладное. Мне еще обстоятельства дела не вполне ясны, но я боюсь, что это дело скверное, во всяком случае, я за вас радуюсь, что вам не придется иметь к нему никакого отношения». Вот это и все. Затем я уже узнал об этом деле, когда вернулся утвержденный всеподданнейший доклад.

Председатель. — Когда был этот ваш разговор?

Веревкин. — Разговор был при сдаче управления министерством. Щегловитов обыкновенно уезжал не в начале, а во второй, третьей части лета, вероятно, это было в конце июня или, самое позднее, в середине июля, а дело получило разрешение, кажется, в декабре или январе.

Председатель. — Что же вы, действительно, ничего не предпринимали в отношении этого дела за время отсутствия Щегловитова?

Веревкин. — Ничего. Опять-таки, я боюсь утверждать, но мне кажется, что это дело у меня и не было.

Председатель. — В круг ваших обязанностей, как товарища министра, не входило заведывание уголовным отделом?

Веревкин. — Входило.

Председатель. — Стало быть все бумаги по этому делу шли через вас?

Веревкин. — Бывали случаи, что меня миновали эти бумаги, или в виду особой спешности, чтобы не задерживала лишняя инстанция, или бумаги шли за скрепой вице-директора непосредственно к министру, — по делам особенно секретным и по которым Щегловитов не желал, чтобы лишний человек участвовал в их движении, тогда он непосредственно давал указания тому или другому лицу, и это миновало все инстанции.

Председатель. — Т.-е., значит, была такая категория дел, которые, по своей секретности, миновали даже товарища министра, ведающего уголовным отделом?

Веревкин. — Да, если Щегловитов не желал разглашения.

Председатель. — Вы считали такие отношения нормальными, чтобы у министра были по делам секреты от своего собственного товарища?

Веревкин. — Так было при всех министрах, и я в этом ничего ненормального не вижу.

Председатель. — Как же во вне это выражалось. Что это за категория особо секретных дел?

Веревкин. — После регистрации их непосредственно в кабинет приносило то лицо, которому это было поручено, т.-е., минуя все канцелярские инстанции.

Председатель. — Кто же был этим лицом?

Веревкин. — По уголовным делам был вице-директор Лядов.

Председатель. — Как хранились эти дела?

Веревкин. — Думаю, что они хранились у вице-директора до поры до времени, пока не утрачивали своего секретного характера, а тогда они сдавались, вероятно, в уголовное отделение, в особое хранилище, в особый шкаф.

Председатель. — Так что блюстителем секретных дел был по должности А. В. Лядов?

Веревкин. — Он был исполнителем.

Председатель. — Относительно этих секретных дел не было такого порядка, чтобы министр сносился с кем-нибудь ниже вице-директора?

Веревкин. — Да, потому что он вице-директора знал лично, а начальника отделения знал меньше. По юрисконсультской части (извините, что я так перескакиваю) такие случаи тоже бывали. Был юрисконсульт Лазаренко, которому давались секретные поручения. Они не были секретными по существу, но иногда Иван Григорьевич не хотел, чтобы знали, что он интересуется в данную минуту таким-то вопросом. Это были обыкновенно изыскания в области иностранного законодательства или обширные справки, иногда по финансовым вопросам.

Председатель. — А. В. Лядов был в течение долгого времени вице-директором?

Веревкин. — Да, он был лет пять. Он ушел теперь, а назначен был лет шесть тому назад.

Председатель. — А перед ним кто был?

Веревкин. — Храбро-Василевский, а раньше Глищинский.

Председатель. — В каких отношениях был министр юстиции с союзом русского народа?

Веревкин. — Никаких отношений не было.

Председатель. — Т.-е. в том смысле, что предстательство союза русского народа за осужденных или за судящихся не вызывало ли определенного отношения к судьбе этих людей со стороны министерства?

Веревкин. — Они способствовали иногда благоприятному разрешению вопроса, но далеко не всегда.

Председатель. — Вы помните случай с Ненароковым, который сорвал судебное заседание, отказавшись в качестве товарища прокурора продолжать в нем участвовать?

Веревкин. — Я не помню. Где это было?

Председатель. — Это было в Петрограде, под председательством Н. Н. Таганцева, в связи с тем, что защитницей подсудимого выступала в первый раз женщина.

Веревкин. — Теперь я припоминаю.

Председатель. — Вы не припоминаете, при каких обстоятельствах состоялось такое небывалое в летописях суда событие, что товарищ прокурора отказался исполнять свои обязанности?

Веревкин. — Нет, я не помню. Это было до сенатского разъяснения или после?

Председатель. — Этот случай и вызвал это разъяснение.

Веревкин. — Я самый факт припоминаю, но о внутренней стороне его не знаю.

LXXIII.

ДОПРОС А. И. ГУЧКОВА.

2 августа 1917 года.

Содержание: Внутреннее положение России со времени окончания японской войны и до наших дней. Надежды на эволюцию в связи с сознанием совершенных ошибок. Внезапный вызов в Петербург к царю. Положение в период осуществления реформ 17 октября. Невидимые носители власти и их влияние. Вопрос о безответственных влияниях, поднятый в Государственной Думе Гучковым. «Младотуречество». Разрушительное влияние безответственных сил. Сухомлинов — военный министр. Столыпин и его добрые намерения. Политика компромисса. Политическая, а затем и физическая смерть Столыпина. Темные силы. Очевидность неминуемого переворота. Запрос о Распутине. Отношение царя. Речь Гучкова, произнесенная в 1913 году на съезде октябристов. Общий подъем в момент объявления войны. Сражение под Сольдау, и неудачи фронта. Расстройство снабжения. Равнодушное и легкомысленное отношение власти. Ассирийские нравы. Галицийские неудачи. Общество и сознание опасности. Возникновение общественных организаций. Министерство Поливанова. Шуваев и Беляев. Военно-промышленный комитет — объект полицейской слежки. Заметное улучшение в сфере снабжения армии. Скрытая деятельность безответственных сил. Ясное сознание необходимости и неизбежности переворота. Вопрос об отречении царя. Поездка Гучкова и Шульгина в Псков. Генерал Иванов и его эшелоны. В Пскове. Царский вагон. Обстановка отречения. Акт отречения. Назначение в. кн. Николая Николаевича верховным главнокомандующим, кн. Львова — председателем совета министров. Совещание на квартире в. кн. Михаила Александровича. Плакаты нового правительства. Отказ великого князя от власти. Отношение присутствовавших к происходившему в ставке. Генерал Рузский. Безразличное отношение царя к важному историческому моменту. Безымянность акта отречения. От кого были получены Гучковым полномочия. Как составлялся кабинет. Движение эшелонов с фронта на Петроград. Участие Гучкова в совещании временного правительства и Исполнительного Комитета Сов. Р. и С. Депутатов в ночь с 1-го на 2-е марта. Вопрос о нарушении полномочий. Обсуждение обстоятельств отречения. Сознание близости переворота и отношение к нему офицеров командного состава. Самостоятельное восстание солдат, но без сопротивления офицеров. Попустительство власти в истории убийства Столыпина. Отношение к Столыпину монарха. Оценка Столыпина. Великие князья. Возникновение и деятельность военно-промышленного комитета. Рабочая группа. Сотрудник петроградского охранного отделения Абросимов. Арест рабочей

группы в конце января 1917 года. Собрание, созванное по поводу ареста рабочих. Провокаторская деятельность Абросимова. Голицын и его точка зрения. Протопопов. Роль Протопопова в особом совещании. Поливанов и его оценка деятельности. Кружок генерального штаба. Отношение Поливанова к деятельности Сухомлинова. Отставка Поливанова. О князе Андроникове. Воспоминания о характере сношений с верховной властью за время председательства Гучкова в Государственной Думе. Царь не был господином положения. За ним стояла другая воля. Еще о темных силах. Главная вина правительства.

Председатель. — Александр Иванович. По вашему положению члена Государственной Думы, члена государственного совета, председателя Думы и председателя военно-промышленного комитета вы входили в близкое соприкосновение с крупнейшими политическими событиями последних лет. Вы допрашиваетесь здесь по общим вопросам. Ваши показания по отдельным делам вы уже изволили дать следователям, но нас интересует то, что вы можете рассказать нам о крупнейших политических моментах последнего времени. С одной стороны, вам пришлось стать в очень близкое положение к центральному моменту революции — к отречению императора. И это событие, как один из моментов революции, а с другой стороны, все то, что известно вам по вашей деятельности в связи с наступлением революции, — вот это и должно составить тему вашего объяснения. Благоволите в этих рамках рассказать нам все, что вы знаете, а потом, если мы найдем, что для нас что-либо не ясно или требует дополнения, разрешите задать вам дополнительные вопросы.

Гучков. — То, что вы изволили сейчас сказать, в связи с тем, что вы вчера мне говорили, даст мне возможность свою задачу определить так: вас, в пределах того поручения, которое вы исполняете, интересует мое субъективное освещение как событий, так и деятелей, которые привели Россию к февральскому перевороту и к тому положению, которое мы теперь переживаем. Конечно, вы не ждете от меня объективного исторического очерка, вам нужны только личные мои переживания, мое личное освещение этих событий и деятелей. Позвольте немного, очень кратко отойти вглубь, если не веков, то годов. Японская война, ее исход и все последующие события нашей внутренней жизни ясно указывали на то, что пора застоя, который мы перед тем переживали, закончилась, Россия пришла в движение, и перед ней открылись те два пути, которые в такой период истории всегда открываются перед страной: либо путь реформ, либо путь переворота. Первое действие власти, первые исторические события, которыми ознаменовалась эта эпоха, давали некоторые надежды на то, что мы станем на первый путь реформ. Манифест 17 октября, созыв законодательных учреждений, некоторые программные обещания, которые были даны верховной властью, отношение некоторых общественных кругов к этим событиям — все давало надежду на

то, что мы станем на путь неизбежной эволюции, на путь широких, смелых и честных реформ, которые выведут нас на те культурные пути государственного и социального строительства, на которых стоят и движутся все наши западно-европейские соседи. Я никогда не разделял взглядов старых славянофилов и не разделяю взглядов современных социалистов, которые ждали и ждут от России какого-то спасительного слова, какого-то откровения миру. Я думал, что и мы пойдем обычным путем экономического, политического и социального развития, как это делается в других странах. Как вы знаете, после нескольких болезненных стадий, которые пережила тогда Россия, дело как будто наладилось. Может быть, это шло не в том темпе и не в том масштабе, как желалось и мечталось, но во всяком случае шло оно попутно со всеми чаяниями и требованиями прогрессивных слоев русского общества. Мне пришлось довольно близко стать к событиям тех лет, так как в мае 1905 года, неожиданно для себя, из Москвы, с одного очень бурного общественного съезда, я был вызван сюда, в Петроград, к государю, с которым тогда имел свидание впервые. Здесь мне пришлось убеждать государя, с одной стороны, не итти на перемирие с Японией и продолжать войну, а с другой стороны — пойти навстречу ожиданиям русского общества и дать широкую конституционную реформу. Продолжение войны и доведение ее до благополучного конца я ставил в непременную связь с внутренними реформами, которые подняли бы народный энтузиазм, сплотили бы вокруг изолированной власти все слои русского общества и дали бы ей те силы, которых ей недоставало. До известной степени впечатление было достигнуто, но ненадолго. Выразилось оно в том, что я добился у государя согласия принять депутацию, которая представлялась в лице Трубецкого и других, так как появилось тогда колебание. В конце концов ожидания наши не сбылись, мы пошли на путь довольно позорного перемирия и мира, что осложнило дальнейший ход событий. И затем, нехотя, против желания и неискренно даны были нам те реформы. Как бы то ни было, несмотря на все эти условия, с созывом народного представительства открылись некоторые возможности. Я говорю это все потому, что хочу определить, какие элементы являлись на мой взгляд ответственными за весь ход событий в то время и вплоть до наших дней. При первых моих соприкосновениях с верховной властью и с представителями власти правительственной я пришел к убеждению, хотя это убеждение и не ново, что в нашей государственной жизни играют решающую роль не те видимые носители власти, которые представляют собой как бы ее фасад, а закулисные силы, которые, конечно, находят себе пристанище в разных центрах, но, главным образом, прочное гнездо свили себе в дворцовых сферах, откуда они невидимо управляют судьбами России и действиями официальных представителей власти. Как вы знаете, в то

время мне два раза было сделано предложение войти в состав правительства — сперва со стороны гр. Витте, который пытался сформировать первый кабинет общественных деятелей, потом — со стороны Столыпина. При соответствующих переговорах я убедился, что тогдашние носители власти готовы были итти очень далеко в смысле удовлетворения требований русского общества, но сами они были в значительной степени бессильны, так как находились под надзором и руководством других, безответственных, часто анонимных сфер, где и обрывались все их, хотя бы и добрые, начинания. Когда я приступил уже к реальной работе в области государственной, сперва в качестве члена 3-й Государственной Думы и председателя комиссии государственной обороны, затем в качестве председателя Думы, тогда я окончательно получил возможность вглядеться в ту лабораторию, где готовились элементы нашей государственной жизни. В той области, которая меня тогда особенно интересовала, именно в области вопросов государственной обороны, вопрос о воссоздании нашей военной мощи, разрушенной и японской войной и последующими событиями внутренней жизни, по моим наблюдениям, главное препятствие встречал или в присутствии так называемых безответственных лиц, или же в личных симпатиях и антипатиях, в капризах и интересах верховной власти, а также в обильном представительстве безответственных людей, находящихся в военном ведомстве. Все это являлось коренным препятствием для обновления военного строя и восстановления нашей военной мощи. Тогда, если вы помните, в Государственной Думе я поднял вопрос о необходимости удаления безответственных влияний из этой сферы. И тут я не ограничился общим определением, а предъявил обвинительный акт, с указанием лиц и имен. Это послужило первым основанием для разрыва верховной власти со мной. И те, кто поддерживал меня в этом направлении, были зачислены в лагерь неблагонадежных. К ним применялось модное слово «младотуречество», и с этих пор отношение стало явно подозрительным и враждебным. Вопрос о воссоздании нашей военной мощи, повидимому, был поставлен в чрезвычайно благоприятные условия. Уроки японской войны были явны, не могло быть и спора о том, что создало наши неудачи, и каким путем надо было итти в деле обновления. В работниках по этому делу мы застали тогда на посту военного министра — Редигера, а на посту председателя совета министров — Столыпина. Эти деятели ясно понимали всю важность вопроса о воссоздании боеспособности. Они пошли навстречу тем новым радикальным реформам, которые народное представительство в этой области проектировало. Тогда военные вопросы, вопросы о расходовании государственных средств, встречали небывалое и единодушное сочувствие. Таким образом, обстановка создавалась самая благоприятная, и тот новый всемирный кризис, который намечался уже тогда,

мы готовились встретить во всеоружии. И если все эти попытки привели к неудаче или, скажем, к полуудаче, если мы в таком плачевном виде встретили эту мировую войну, то это, конечно, надо приписать влиянию тех безответственных сил, которые внедрились в военное ведомство, стали на пути военных реформ и, когда им было это нужно, устраняли деятелей ведомства, шедших по пути реформ. Целый ряд лиц, на которых можно было возлагать надежды, были устранены, в том числе и военный министр Редигер. Во главе военного ведомства был поставлен ген. Сухомлинов, деятельность которого вам известна лучше моего, человек, который держался тем, что он решительно капитулировал перед безответственными силами, построил всю свою политику на потворстве, на угождении их капризам, на антипатиях и симпатиях, и для которого вопросы отечества, армии и т. д. не играли никакой роли. Та же самая картина обрисовывается и в вопросах внутренней политики. Не может быть сомнения в том, что правительство, даже в лице Столыпина, хотя оно и расходилось с требованиями радикальных кругов русского общества, все-таки ставило себе задачи, и если бы эти задачи были разрешены в том смысле, как оно их себе ставило, они привели бы к значительным улучшениям в нашем государственном и хозяйственном строе. Но здесь точно так же мы замечаем ту же борьбу закулисных влияний с видимыми носителями власти, и по мере того, как страх перед переворотом отходит в область истории, крепнут и растут эти элементы реакции. Здесь определяются как бы три гнезда этих реакционных сил: во-первых, то, о чем я уже упомянул — придворные сферы — камарилья; во-вторых, группа бюрократов, которые устроились в виде правого крыла в государственном совете, и, в-третьих, находящееся уже вне законодательных учреждений и пребывающее в общественных кругах так называемое объединенное дворянство, которое, конечно, вовсе не объединяло собою дворянства, так как в дворянстве заключались в большем числе и другие элементы, но которое сумело путем фальсификации подтасовать эти нужные элементы. Таким образом, видимой власти Столыпина приходилось вести тяжкую борьбу и сдавать одну позицию за другой. Это была ошибочная политика компромисса, политика, стремящаяся путем взаимных уступок, добиться чего-нибудь существенного. Может быть, надо было послушаться моих советов, дать бой и порвать с этими влияниями; но ответственность за реакционную политику, ознаменовавшую эти годы, приходится перекинуть все-таки на сторону безответственных влияний и главным образом, сказал бы я, влияний придворных. В сущности, Столыпин умер политически задолго до своей физической смерти. Как это ни странно, но человек, которого в общественных кругах привыкли считать врагом общественности и реакционером, представлялся, в глазах тогдашних реакционных кругов,

самым опасным революционером. Считалось; что со всеми другими, так называемыми революционными силами, легко справиться (и даже, чем они левее — тем лучше), в силу неосуществимости тех мечтаний и лозунгов, которые они преследовали, но когда человек стоит на почве реальной политики, — это считалось наиболее опасным. Потому и борьба в этих кругах велась не с радикальными течениями, а главным образом с целью свергнуть Столыпина, а с ним вместе и тот минимум либеральных реформ, который он олицетворял собою. Как вы знаете, убить его политически удалось, так как влияния на ход государственных дел его лишили совершенно, а через некоторое время устранили его и физически. Вы спрашивали у меня вчера, нет ли у меня сведений о том, насколько эти, так называемые темные силы участвовали в самом убийстве Столыпина. Но вы, вероятно, обладаете в этом отношении более богатым материалом, если дошло до вас расследование киевской сенаторской ревизии. Поскольку я сам знал этих представителей власти, мне кажется, их участие в киевском событии имело место. Может быть, они не являлись активными участниками самого создания события, но их участие могло выразиться в форме некоторого попустительства или непротивления, и я до сих пор не могу выкинуть из головы ту мысль, что эта форма участия существовала. Во всяком случае; после исчезновения Столыпина, там, наверху и в придворных сферах, раздался как бы вздох облегчения — отделались от назойливого и властного человека, который все-таки напоминал о данных обещаниях и угрожал грядущими бедами. Вскоре после смерти Столыпина мне удалось ближе подойти к так называемым темным силам; их присутствие было мне раньше известно, но не так они были для меня ясны и не так конкретно они мне являлись. Только уже после его смерти всплыли передо мной все те имена, которые потом стали известны всей России, и, вероятно, точно также составляют предмет вашего обследования: старец Григорий Распутин, Вырубова, Танеев, кн. Андроников и вся эта кампания. Я еще до физической смерти Столыпина изверился в возможности мирной эволюции для России. По мере того как он политически мало-по-малу умирал, для меня становилось все яснее, что Россия ходом вещей будет вытолкнута на второй путь — путь насильственного переворота, разрыва с прошлым и, как бы сказать, скитания без руля, без компаса, по безбрежному морю политических и социальных исканий. Тем не менее, конечно, руки не должны были опускаться, надо было все-таки сделать последние попытки. Так как для меня уже было ясно, что роковую роль играли эти безответственные силы, что главным образом сосредоточились они в придворных сферах и связаны были с именами, которые я сейчас перечислил, я тогда и подумал, что Государственной Думе и русскому обществу следует дать бой именно им, оставив в стороне видимое правительство, и через

голову видимого правительства вступить в бой именно с ними. Переговоры мои с представителями правительства и, в частности, с В. Н. Коковцовым убедили меня в том, что если еще покойный Столыпин пытался бороться с этими силами, то новые представители власти либо капитулировали перед ними и пошли по их указкам, либо вовсе не рисковали бороться с ними. Тогда-то, если припомните, я и внес в Думе запрос о Распутине и о деятельности темных сил, после чего мне один из министров передал, как высочайше заявлено ему было, что «Гучкова мало повесить». Я тогда на это ответил, что моя жизнь принадлежит моему государю, но моя совесть ему не принадлежит, и что я буду продолжать бороться. Так что, вот все эти внутренние события, в связи с теми горизонтами, которые открывались во внешней политике, внушали тогда самую серьезную тревогу. А в 1912 году балканская война указала на вопросы европейской мировой политики, пришедшей тогда в движение, при чем в этой области приходилось выйти и нам из сферы ожидания и застоя, так как в ближайшие годы уже предвиделись столкновения с громадными мировыми событиями, в смысле внутреннего здоровья и в смысле военном. Будет ли Россия подготовлена к этим событиям? Быть или не быть России? В 1913 году состоялся в Петербурге съезд партии октябристов. Я, как председатель центрального комитета, принял в нем участие, уже не будучи тогда членом 4-й Думы. В речи своей указал я тогда раскрывающуюся для нас опасность и, прибегая к последней ставке, обратился к общественным элементам, которые до тех пор находили возможным сотрудничать с властью или выступать против нее с благожелательной и дружеской критикой, и настаивал на том, чтобы они перешли в резкую оппозицию и борьбу. Я считал чрезвычайно важным, чтобы в тех событиях, которые готовились, на мой взгляд, и которые вели к насильственному перевороту, руководящие круги русского общества приняли руководящую роль, и чтобы именно их разумом совершилось то, что представлялось мне неизбежным. Мне казалось, что переход умеренных политических кругов на позицию такой резкой оппозиционной борьбы может образумить власть и вынудить ее на известные уступки. Разрешите мне привести здесь некоторые цитаты из речи, которую я произнес на этом съезде. Моя речь, по цензурным условиям, не была напечатана. Ее удалось напечатать только теперь. Между прочим, я говорил о том, каков будет исход того тяжелого кризиса, через который мы ныне проходим. Что несет за собой надвигающаяся реакция? Куда ведет нас правительственный курс или, вернее, отсутствие всякого курса? К неизбежной тяжелой катастрофе. На таком общем прогнозе сходятся все, люди самых противоположных политических верований, люди самых разнообразных общественных групп, сходятся с редким, небывалым единодушием: к этому прогнозу готовы присоединиться и сами носители власти,

на которую падает главная вина перед русским народом, и их официальный, обязательный для них оптимизм плохо скрывает их внутреннюю тревогу. Когда обрушится эта катастрофа? В каких формах она явится? Кто может это предсказать? Одни с радостным ожиданием, другие с жуткой тревогой, вглядываются в эти горизонты. Но ошибутся те, которые рассчитывают, что на развалинах повергнутого строя водворится тот порядок, который отвечает их политическому и социальному мировоззрению. В тех стихиях, которые могут взять верх в надвигающейся борьбе, я не вижу устойчивых элементов, которые могли бы обеспечить какой бы то ни было прочный государственный порядок. Не рискуем ли мы скорее попасть в полосу длительной, хронической анархии, которая приведет государство к распаду? Не переживаем ли мы опять смутное время, но уже при иной, более опасной внешней политической обстановке?» Я рисовал эту запугивающую картину для того, чтобы грядущие события и руководство этими событиями не оказались в руках стихийных сил. Я призывал политические партии и руководящие круги русского общества взять это на себя. Но, как призыв, это успеха не имело, и русские общественные круги, к которым я обращался, упорно шли той проторенной дорогой, которой они пользовались и в предшествующие годы. Они не учли всей важности того поворотного пункта, перед которым тогда стояли, и таким образом мы дошли до последующих событий. Значительную перемену внесла во внутреннюю нашу жизнь война. Тот общественный подъем, тот национальный характер, который приняла тогда война, сознание опасности для государства — все это чрезвычайно очистило внутреннюю атмосферу и заставило русское общество если не в полном объеме, то по крайней мере в значительных его элементах, оставить все внутренние вопросы в стороне и сосредоточиться на одном усилии, на усилии к победе. Если бы война пошла удачно, это вероятно повело бы к значительному очищению атмосферы. В последующем, как вы знаете, грехи нашего прошлого сказались и в смысле плохой подготовки нашей военной мощи, сказались и в плохом ведении войны, и в деле командования, и в вопросах снабжения, и в хозяйственных вопросах тыла, когда и самое ведение войны становилось невозможным. И вместо очищенной, патриотической атмосферы, которую можно было ожидать в результате успешной войны, мы получили сгущенную, мрачную, озлобленную атмосферу, атмосферу, напитанную ненавистью, недоверием к власти и глубоким к ней презрением. В первые дни войны, когда еще только первые выстрелы раздались на границе, я собирался туда отправиться в качестве представителя Красного Креста. Я посетил тогда представителей нашей власти, тех, с кем я еще не окончательно порвал, потому что с Сухомлиновым и прочими я не имел никакого общения, но я был у более опрятных представителей власти, и я

им говорил, что мои предчувствия относительно исхода войны очень мрачны, и несмотря на очень благоприятную внешнюю международную констелляцию, если не будут приняты самые решительные меры в военной области и если не последует полного обновления высшего командного состава и не приступят к энергичной работе в деле боевого снабжения армии, то война окончится для нас неудачей. Мои первые впечатления уже на самом театре военных действий, поражение при Сольдау, которое мне пришлось одним крылом захватить, и некоторые последующие военные действия привели меня уже в августе месяце к совершенно твердому убеждению, что война проиграна, если только не создать быстрого поворота. Я писал оттуда сюда и представителям законодательных учреждений и некоторым из представителей правительства. Ответы получались, что будут все меры приняты, и в то же время я видел полное их бессилие добиться чего бы то ни было. В декабре 1914 года, я решил приехать сюда и лично имел объяснения с теми, от кого зависела перемена в ходе дел. Я обошел представителей правительства, повторяю, тех, с которыми я имел некоторое общение, собрал и представителей законодательных учреждений, сделал им обстоятельный доклад (это был декабрь 1914 г.) и рисовал им дело, как совершенно безнадежное. Имел даже несколько совещаний с представителями промышленности, потому что надо было двинуть вопросы снабжения. Я видел перед собой какую-то каменную стену, которую нельзя пробить никакими силами. Представители власти ссылались на то, что война, это — дело верховной власти и военного ведомства, и что их вмешательство тут и непрошено и недопустимо. Так что мы встречаем опять этот антагонизм между видимой официальной государственной властью и теми силами, которые стояли за ее стеной. Любопытная вышла у меня беседа с одним из министров, который оказался, однако, довольно осведомленным относительно плохого снабжения, потому что его родные там дерутся. Но на мои настоятельные просьбы о том, чтобы он доложил государю всю эту картину полного грядущего разгрома наших армий, он мне сказал: «Александр Иванович, то, что вы говорите, совершенно верно, но мы ничего не можем». — «Почему?» — «Потому, что еще на-днях государь сказал мне: «Вот все нападали на генерала Сухомлинова, а посмотрите, как у него все блестяще». И это в декабре 1914 года, когда все знали на фронте о нашей безнадежности, здесь верховную власть ублажали сказками о том, что все в блестящем положении.

Председатель. — Кто был тот министр?

Гучков. — Это был Рухлов. Видите, каким обманом окутывали верховную власть и как боялись сказать слово правды. Один из государственных деятелей, в то время не бывший уже у дел, но достаточно осведомленный и мудрый, сказал мне тогда же: «Я вам

советую бросить это ваше хождение по министрам; они ничего не помогут. Они, во-первых, ничего не хотят, а если бы даже и хотели, то ничего не могут. Есть тут один человек, который мог бы вызвать переворот, это — генерал Воейков. Вот, если вы добьетесь его содействия, вам может быть что-нибудь и удастся. Можете ли вы до него добраться без моего содействия?» Я понял так, что — без моего содействия — значило, чтобы не компрометировать его. Я был тогда в таком отчаянии, что телеграфировал Воейкову, и на другой день поехал, и увиделся с ним. Так как он человек военный, командовал полком, и его товарищи на фронте, я сделал ему очень обстоятельный доклад. Часа два докладывал о всех неустройствах и убеждал его, чтобы он как-нибудь посодействовал раскрытию. Тогда он спросил меня: «Что же вы можете рекомендовать?» Конечно, дело шло не о конкретных мерах. Я сказал: «Прежде всего нужно, чтобы вы раскрыли глаза государю, так как государь убаюкан лживыми разсказами о том, что все благополучно, и поэтому ничего не предпримет. Вы должны раскрыть глаза государю. Без этого нельзя. Затем второе: нужно, чтобы дело войны, дело обороны было признано не делом военного или морского ведомства или прерогативой верховной власти, а чтобы оно было признано делом государственным, чтобы все правительство и все законодательные учреждения были призваны к разрешению этого вопроса и считали его своим». Наконец, в-третьих, я уже коснулся лиц. Я сказал так: «Имейте в виду, что пока во главе снабжения здесь, в центре, стоит генерал Сухомлинов, во главе снабжения северо-западного фронта — генерал Данилов, а на юге — Забелин, — у вас снабжения не будет. Я сказал все, что было у меня на совести и перевалил все это на вашу совесть, а какое вы сделаете из этого употребление, это — дело вашей совести». Повидимому, он никакого употребления из всего этого не сделал. Когда мы были зачарованы успехами в Галиции, всякий, кто попытался бы раскрыть глаза, кто нарисовал бы мрачную картину, оказался бы в положении осужденного и в смысле житейского благополучия и в смысле служебной карьеры. Мне всегда представлялось, что у нас несколько обычаи ассирийского двора: помните, что было, когда приходил к ассирийскому царю вестник и сообщал, что его войска потерпели поражение? Ему на всякий случай рубили голову, а потом уже принимали во внимание, что он принес известие не о победе, а о поражении. Так и у нас. Те вестники, которые несли тяжелые вести, были осуждены заранее. Таким образом, моя попытка раскрыть глаза власти окончилась неудачно. Я в отчаянии вернулся обратно и стал свидетелем дальнейшей разрухи. Любопытно то (это вас должно интересовать), что вся система обмана продолжалась и дальше. Я вам расскажу еще два эпизода, но только разрешите мне тут уже имен не называть,

да оно для вас и безразлично, — вам важна, главным образом, вся эта система окутывания верховной власти густой пеленой обмана. Я рассказал вам эпизоды декабря 1914 года. Затем 1915 год: галицийский разгром. Уже для всех были ясны и причины и ближайшее будущее на фронте. Вижусь я с одним из лиц, занимавших высокое положение в армии. Для вашего успокоения могу сказать, что он этого положения больше не занимает. Я его спрашиваю: «Вы на совещании видали государя, скажите, то, что мы все знаем, что вы мне рассказываете, сказали вы ему? Относительно из рук вон плохого снабжения? Относительно неотзывчивости военного министра на нужды армии? Ваши мрачные перспективы? Говорили ли вы об этом государю? Ведь вы по своему служебному положению не раз бывали в совещаниях, самых интимных, где председательствовал государь, говорили ли вы ему?»—«Нет, не говорил».—«Но почему же?»—«Я никогда не мог с ним говорить с глазу на глаз, всегда были другие свидетели». Это вот 1915 год. Затем, позднее, когда немцы добились уже большого успеха на нашем северо-западном фронте, когда они захватывают один город за другим, одну губернию за другой. Повидимому, должна пасть Варшава. Через несколько дней она, действительно, была эвакуирована нами. И там, в Варшаве, я вижу опять одного из влиятельных и высоких людей, имевших доступ к государю. Тогда уже неизбежность катастрофы была ясна. Я опять его спрашиваю: «Скажите, знает государь?» — «Нет, не знает». — «Но почему же?» Тогда он мне говорит: «Вы знаете, это даже к лучшему, что он не знает, потому что, если раскрыть государю всю бездну нашей беды, он может потерять бодрость и способен решиться на какой-нибудь поступок, который нежелателен». Тогда я всплеснул руками и говорю: «Послушайте, если вы держите государя в таком неведении или полуведении, вы ничего не сможете исторгнуть у него в смысле решения. Если все хорошо или, во всяком случае, не так плохо, то не нужно никаких решительных мер». Вот та обстановка, в которой находилась верховная власть. Я рассказал этот эпизод, чтобы показать вам, в каких условиях, как бы сказать, организовалось наше поражение. Галицийские неудачи, как вы помните, заставили встрепенуться русское общество и власть отчасти. У власти появился испуг и сознание необходимости пойти на уступки, на примирительные шаги, чувство какой-то провинности там было. Но у русского общества, я скажу, не было испуга. Здесь было только сознание громадной опасности и чувство необходимости русскому обществу и русскому народу, если не взять свою судьбу в руки, то, во всяком случае, участвовать в решении этой судьбы. Возникли общественные организации. Городской и земский союзы от помощи больным и раненым перешли к вопросам снабжения армии. Тогда создался военно-промышленный комитет, во главе которого мне пришлось

стать. С. В. Иванов просил меня осветить отношение власти к общественным организациям. Это только в двух словах придется характеризовать, потому что все это известно и без меня. Для возникновения городского и земского союза или, вернее, не возникновения, а участия земского и городского союза в деле снабжения армии и возникновения военно-промышленного комитета, создались сравнительно благоприятные условия, вследствие тех тяжелых впечатлений, которые власть и русское общество получили от галицийского разгрома. Среди представителей самой власти находились люди, искренно расположенные к общественным организациям, искавшие в них помощи, которую они изверились получить от правительственных ведомств. Эти лица и помогли им быстро создаться и получить значительную свободу в своей работе. На первых же порах все эти организации встретили горячее сочувствие со стороны самой армии, со стороны всего фронта сверху до низу, начиная с главнокомандующего и начальника штаба верховного главнокомандующего, генерала Алексеева, и кончая офицерами и солдатами. Участие общественных организаций в этом наболевшем для армии вопросе было приветствовано с большим энтузиазмом. Может быть, они даже переоценивали то значение, которое имели общественные организации, благодарили нас горячее, чем мы заслуживали. Тут, помимо материальной помощи, конечно, оценивали и моральную, то теплое рукопожатие, то сочувствие, которое русское общество --- тыл, так сказать, давало фронту. Однако же, это продолжалось недолго. В частности, по отношению к военному ведомству этот медовый месяц длился столько, сколько длилось министерство генерала Поливанова. Уже и при нем разные вторгающиеся в различные управления влияния и течения старались испортить отношение к общественным организациям, но в общем все-таки дело шло на лад. А когда Поливанов, который был в свое время навязан верховной власти и которого встретили недружелюбно в придворных кругах, где сохранилось еще от прежних времен это недружелюбное отношение, когда он ушел со сцены, тогда уже началось открытое противодействие этим общественным организациям. При Шуваеве и Беляеве им пришлось пережить очень тяжелые дни. Мешали работать, отказывали в содействии и затем, как вы знаете, взяли их под политическое подозрение. Тут начался уже ряд репрессий и по отношению к тем рабочим организациям, которые входили в состав военно-промышленного комитета, и к самим военно-промышленным комитетам. Военно-промышленные комитеты сделались предметом очень внимательной слежки. Я думаю, эти материалы у вас имеются. Вы знаете, с каким вниманием следили за ними. Так что все это оживление, вызванное неудачами в Галиции, оживление русской промышленности, возникновение общественных организаций, быстрый темп и широкий такой

темп работы в самих ведомствах, все это привело к очень серьезным результатам. Несомненно, что дело снабжения пережило коренной перелом с того момента, и если бы с первых дней войны был дан размах, данный летом 1915 года, быть может, и судьба войны была бы иная. Во всяком случае, несмотря на большое запоздание, этот шаг имел очень серьезные результаты, и снабжение армии, особенно боевое, в следующий период, ничего общего с тем, как была снабжена армия в первые месяцы и в первый год войны, не имеет. Этим старым жиром, как вы знаете, живем мы и до сих пор. И те большие запасы боевого снабжения, которые были до последнего времени у нас, до этих несчастных наших отходов на юго-западном фронте, все это было накоплено за это время. Конечно, улучшение было очень серьезное, но оно касалось только частного вопроса, вопроса снабжения армии, в узком смысле этого слова. Что же касается организации самого личного состава высшего командования, то этот вопрос оставался в прежнем безнадежном виде. Те же самые влияния, которые хозяйничали в этих сферах до войны и в начале войны, продолжали хозяйничать и позднее, и целый ряд бездарных людей оставался у власти благодаря тому, что считался благонадежным с точки зрения политического строя, и целый ряд даровитых людей, в силу своего личного характера, отстранялся потому, что не вызвал к себе доверия в этих безответственных сферах. Таким образом, боевое снабжение улучшилось, а руководство армией осталось в прежнем виде. И затем безудержно расшатывалось состояние тыла. Вся хозяйственная, экономическая жизнь страны катилась под гору, потому что та власть, которая должна была взять на себя организацию этого тыла, была и бездарна, и бессильна. В этот-то момент для русского общества, по крайней мере, для многих кругов русского общества и, в частности, для меня стало ясно, что как во внутренней жизни пришли мы к необходимости насильственного разрыва с прошлым и государственного переворота, так и в этой сфере, в сфере ведения войны и благополучного ее завершения, мы поставлены в то же положение. Итти прежним путем, значит привести войну к полной неудаче, может быть, не в форме какой-нибудь внезапной катастрофы, но в форме, я бы сказал, тягучего процесса изнурения страны, понижения одушевления и завершения всего этого плачевным бессилием, плачевной капитуляцией. Как в вопросах внутренней политики надо было руководящим классам прибегнуть к новым приемам, так и в вопросе ведения войны надо было ясно сознать, что рука об руку с существующей властью мы к победе не придем. Нужно было стать на путь государственного переворота. Надлежало искать тех путей, которые через государственный переворот привели бы к полному обновлению нашей жизни, и тех путей, которые могли бы довершить войну успешно и с выполнением поставленных ею задач.

Вина, если говорить об исторической вине русского общества, заключается именно в том, что русское общество, в лице своих руководящих кругов, недостаточно сознавало необходимость этого переворота и не взяло его в свои руки, предоставив слепым стихийным силам, не движимым определенным планом, выполнить эту болезненную операцию. События пошли своим ходом, и нас, меня лично и моих друзей, которые были близки, с одной стороны, к вопросам настроения нашей армии, так как они находились в близком с ней соприкосновении, с другой стороны — к вопросам настроения страны и, наконец, наше знакомство с экономическим состоянием страны, — все это убеждало нас в том, что час близок, что мы быстрыми шагами приближаемся к тому событию, которое в феврале и совершилось. Для нас это было настолько ясно, что я и некоторые из моих друзей ждали этого не позднее Пасхи, такое было общее напряжение. И в самом деле, все элементы, которые были нужны для того, чтобы вызвать взрыв, были налицо: во-первых, состояние самой власти, охваченной процессом гниения, глубокое недоверие и презрение к этой власти со стороны всех кругов русского общества, внешние неудачи, наконец, тяжелые материальные невзгоды в тылу, словом, все, как по рецепту, собрание всех тех элементов, которые нужны для взрыва. Я помню, что за несколько недель и даже месяцев перед переворотом, мне пришлось, в особом совещании по государственной обороне, говорить на эту тему, и, указывая на некоторые конкретные промахи власти, я закончил свою речь в заседании, которое было под председательством генерала Беляева, приблизительно такими словами: я сказал, что если бы жизнью нашей армии, нашей внутренней жизнью, руководил германский генеральный штаб, то, вероятно, он не создал бы ничего, кроме того, что создала наша русская правительственная власть, что все те элементы, которые какой-нибудь немецкий химик мог бы намешать в нашу жизнь, чтобы вызвать взрыв, все они внесены самой правительственной властью. Как произошел этот взрыв, вы знаете, и на этом останавливаться не приходится; я считал его настолько назревшим и исторически необходимым, что при первых признаках вполне поверил в его неотвратимость и, как вы знаете, присоединился к тем деятелям, которые стали около событий в дни переворота. Теперь я перейду к тому эпизоду, которым вы интересуетесь, к вопросу отречения. Для меня было ясно, что со старой властью мы расстались и сделали именно то, что должна была сделать Россия. Но для меня были не безразличны те формы, в которых происходил разрыв, и те формы, в которые облекалась новая власть. Я имел в виду этот переход от старого строя к новому произвести с возможным смягчением, мне хотелось поменьше жертв, поменьше кровавых счетов, во избежание смут и обострений на всю нашу последующую жизнь. К вопросу об отречении государя я стал близок не

только в дни переворота, а задолго до этого. Когда я и некоторые мои друзья в предшествующие перевороту месяцы искали выхода из положения, мы полагали, что в каких-нибудь нормальных условиях, в смене состава правительства и обновлении его общественными деятелями, обладающими доверием страны, в этих условиях выхода найти нельзя, что надо итти решительно и круто, итти в сторону смены носителя верховной власти. На государе и государыне и тех, кто неразрывно был связан с ними, на этих головах накопилось так много вины перед Россией, свойства их характеров не давали никакой надежды на возможность ввести их в здоровую политическую комбинацию; из всего этого для меня стало ясно, что государь должен покинуть престол. В этом направлении кое-что делалось еще до переворота, при помощи других сил и не тем путем, каким в конце концов пошли события, но эти попытки успеха не имели или, вернее, они настолько затянулись, что не привели ни к каким реальным результатам. Во всяком случае, самая мысль об отречении была мне настолько близка и родственна, что с первого момента, когда только что выяснилось это шатание и потом развал власти, я и мои друзья сочли этот выход именно тем, чего следовало искать. Другое соображение, которое заставило на этом остановиться, состояло в том, что при учете сил, имевшихся на фронте и в стране, в случае, если бы не состоялось добровольного отречения, можно было опасаться гражданской войны или, по крайней мере, некоторых ее вспышек, новых жертв и затем всего того, что гражданская война несет за собой в последующей истории народов, — тех взаимных счетов, которые не скоро прекращаются. Гражданская война, сама по себе, — страшная вещь, а при условиях внешней войны, когда тем несомненным параличом, которым будет охвачен государственный организм и, главным образом, организм армии, этим параличом пользуются наши противники для нанесения нам удара, при таких условиях, гражданская война еще более опасна. Все эти соображения с самого первого момента, с 27-го, 28-го февраля, привели меня к убеждению, что нужно, во что бы то ни стало, добиться отречения государя, и тогда же, в думском комитете, я поднял этот вопрос и настаивал на том, чтобы председатель Думы Родзянко взял на себя эту задачу; мне казалось, что ему это как раз по силам, потому что он своей персоной и авторитетом председателя Государственной Думы, мог произвести впечатление, в результате которого явилось бы добровольное сложение с себя верховной власти. Был момент, когда решено было, что Родзянко примет на себя эту миссию, но затем некоторые обстоятельства помешали. Тогда, 1 марта, в думском комитете, я заявил, что, будучи убежден в необходимости этого шага, я решил его предпринять во что бы то ни стало, и, если мне не будут даны полномочия от думского комитета, я готов сделать это за свой страх

и риск, поеду, как политический деятель, как русский человек, и буду советовать и настаивать, чтобы этот шаг был сделан. Полномочия были мне даны, при чем вы знаете, как обрисовалась дальнейшая комбинация: государь отречется в пользу своего сына Алексея с регентством одного из великих князей, скорее всего, Михаила Александровича. Эта комбинация считалась людьми совещания благоприятной для России, как способ укрепления народного представительства в том смысле, что при малолетнем государе и при регенте, который, конечно, никогда бы не пользовался, если не юридически, то морально всей властностью и авторитетом настоящего держателя верховной власти, народное представительство могло окрепнуть, и, как это было в Англии, в конце XVIII ст., так глубоко пустило бы свои корни, что дальнейшие бури были бы для него не опасны. Я знал, что со стороны некоторых кругов, стоящих на более крайнем фланге, чем думский комитет, вопрос о добровольном отречении, вопрос о тех новых формах, в которые вылилась бы верховная власть в будущем, и вопрос о попытках воздействия на верховную власть встретят отрицательное отношение. Тем не менее, я и Шульгин, о котором я просил думский комитет, прося командировать его вместе со мной, чтобы он был свидетелем всех последующих событий, — мы выехали в Псков. В это время были получены сведения, что какие-то эшелоны двигаются к Петрограду. Это могло быть связано с именем генерала Иванова, но меня это не особенно смущало, потому что я знал состояние и настроение армии, и был убежден, что какие-нибудь карательные экспедиции могли, конечно, привести к некоторому кровопролитию, но к восстановлению старой власти они уже не могли привести. В первые дни переворота я был глубоко убежден в том, что старой власти ничего другого не остается, как капитулировать, и что всякие попытки борьбы повели бы только к тяжелым жертвам. Я телеграфировал в Псков генералу Рузскому о том, что еду; но чтобы на телеграфе не знали цели моей поездки, я пояснил, что еду для переговоров по важному делу, не упоминая, с кем эти переговоры должны были вестись. Затем, послал по дороге телеграмму генералу Иванову, так как желал встретить его по пути и уговорить не принимать никаких попыток к приводу войск в Петроград. Генерала Иванова мне не удалось тогда увидеть, хотя дорогой пришлось несколько раз обмениваться телеграммами; он хотел меня где-то перехватить, но не успел, а вечером 2-го марта мы приехали в Псков. На вокзале меня встретил какой-то полковник и попросил в вагон государя. Я хотел сперва повидать генерала Рузского, для того, чтобы немножко ознакомиться с настроением, которое господствовало в Пскове, узнать, какого рода аргументацию следовало успешнее применить, но полковник очень настойчиво передал желание государя, чтобы я непосредственно прошел к нему. Мы

с Шульгиным направились в царский поезд. (Я не знаю, нужно ли говорить со всеми подробностями?)

Председатель. — Если можно, остановитесь на этом вопросе, потому что немногие были свидетелями этого момента.

Гучков. — Значит, мы направились в поезд. Там я застал гр. Фредерикса, затем был состоящий при государе ген. Нарышкин, через некоторое время пришел ген. Рузский, которого вызвали из его поезда, а через несколько минут вошел и государь. Государь сел за маленький столик и сделал жест, чтобы я садился рядом. Остальные уселись вдоль стен. Ген. Нарышкин вынул записную книжку и стал записывать. Так что, повидимому, там имеется точный протокол. Я к государю обратился с такими словами: я сказал, что приехал от имени временного думского комитета, чтобы осветить ему положение дел и дать ему те советы, которые мы находим нужными для того, чтобы вывести страну из тяжелого положения. Я сказал, что Петроград уже совершенно в руках этого движения, что всякая борьба с этим движением безнадежна и поведет только к тяжелым жертвам, что всякие попытки со стороны фронта насильственным путем подавить это движение ни к чему не приведут, что, по моему глубокому убеждению, ни одна воинская часть не возьмет на себя выполнения этой задачи, что как бы ни казалась та или другая воинская часть лояльна в руках своего начальника, как только она соприкоснется с петроградским гарнизоном и подышит тем общим воздухом, которым дышит Петроград, эта часть перейдет неминуемо на сторону движения, и «поэтому, — прибавил я, — всякая борьба для вас бесполезна». Затем я рассказал государю тот эпизод, который имел место накануне вечером в Таврическом дворце. Эпизод заключался в следующем: я был председателем военной комиссии, и мне заявили, что пришли представители царскосельского гарнизона и желают сделать заявление. Я вышел к ним. Кажется, там были представители конвоя, представители сводного гвардейского полка, железнодорожного полка, несущего охрану поездов и ветки, и представители царскосельской дворцовой полиции, — человек 25 — 30. Все они заявили, что всецело присоединяются к новой власти, что будут попрежнему охранять имущество и жизнь, которые им доверены, но просят выдать им документы с удостоверением, что они находятся на стороне движения. Я сказал государю: «Видите, вы ни на что рассчитывать не можете. Остается вам только одно — исполнить тот совет, который мы вам даем, а совет заключается в том, что вы должны отречься от престола. Большинство тех лиц, которые уполномочили меня на приезд к вам, стоят за укрепление у нас конституционной монархии, и мы советуем вам отречься в пользу вашего сына, с назначением в качестве регента кого-нибудь из великих князей, например, Михаила Александровича». На это государь сказал, что он сам в эти дни по

этому вопросу думал (выслушал он очень спокойно), что он сам приходит к решению об отречении, но одно время думал отречься в пользу сына, а теперь решил, что не может расстаться с сыном, и потому решил отречься в пользу великого князя Михаила Александровича. Я лично ту комбинацию, на которой я, по поручению некоторых членов думского комитета настаивал, находил более удачной, потому что, как я уже говорил, эта комбинация малолетнего государя с регентом представляла для дальнейшего развития нашей политической жизни большие гарантии; но, настаивая на прежней комбинации, я прибавил, что, конечно, государю не придется рассчитывать при этих условиях на то, чтобы сын остался при нем и при матери, потому что никто, конечно, не решится доверить судьбу и воспитание будущего государя тем, кто довел страну до настоящего положения. Государь сказал, что он не может расстаться с сыном и передаст престол своему брату. Тут оставалось только подчиниться, но я прибавил, что в таком случае необходимо сейчас же составить акт об отречении, что должно быть сделано немедленно, что я остаюсь всего час или полтора в Пскове и что мне нужно быть на другой день в Петрограде, но я должен уехать, имея акт отречения в руках. Накануне был набросан проект акта отречения Шульгиным, кажется, он тоже был показан и в комитете (не смею этого точно утверждать). я тоже его просмотрел, внес некоторые поправки и сказал, что, не навязывая ему определенного текста, в качестве материала. передаю ему этот акт. Он взял документ и ушел, а мы остались. Час или полтора мы пробыли в вагоне. К тем собеседникам, которых я перечислил, присоединился еще Воейков, и мы ждали, пока акт будет составлен. Затем, через час или полтора, государь вернулся и передал мне бумажку, где, на машинке, был написан акт отречения, и внизу подписано им «Николай». Этот акт я прочел вслух присутствовавшим. Шульгин сделал два - три замечания, нашел нужным внести некоторые второстепенные поправки, затем в одном месте государь сам сказал: «не лучше ли так выразить», и какое-то незначительное слово вставил. Все эти поправки были сейчас же внесены и оговорены, и таким образом акт отречения был готов. Тогда я сказал государю, что этот акт я повезу с собой в Петроград, но так как в дороге возможны всякие случайности, по-моему, следует составить второй акт, и не в виде копии, а в виде дубликата, и пусть он остается в распоряжении штаба главнокомандующего ген. Рузского. Государь нашел это правильным и сказал, что так и будет сделано. Затем, в виду отречения государя, надлежало решить второй вопрос, который отсюда вытекал: в то время государь был верховным главнокомандующим, и надлежало кого-нибудь назначить. Государь сказал, что он останавливается на великом князе Николае Николаевиче. Мы не возражали, быть может, даже подтвердили, не помню;

и тогда была составлена телеграмма на имя Николая Николаевича. Его извещали о том, что он назначается верховным главнокомандующим. Затем надо было организовать правительство. Я государю сказал, что думский комитет называет князя Львова. Государь ответил, что он его знает, и согласен; он присел и написал указ, кажется сенату, не помню в какой форме, о назначении князя Львова председателем совета министров, при чем я прибавил, что ему надлежит решить вопрос не о составе правительства, а только о председателе совета министров, который уже от себя, по своему усмотрению, приглашает лиц, на что государь и согласился. Затем, государь спросил относительно судьбы императрицы и детей, потому что дня два не имел тогда известий. Я сказал, что, по моим сведениям, там все благополучно, дети больны, но помощь оказывается. Затем государь заговорил относительно своих планов; он не знал — ехать ли ему в Царское Село или остаться в ставке. Затем мы расстались.

Председатель. — Вы ничего не сказали в ответ на его вопрос?

Гучков. — Нет, потому что я не знал, что в этом случае посоветовать. После этого мы расстались, и пошли в вагон ген. Рузского, где ожидали, когда будет готов дубликат акта отречения. Через некоторое время его нам принесли, и мы тогда выехали обратно.

Председатель. — А этот второй экземпляр остался?

Гучков. — Один экземпляр я привез, он, вероятно, был оставлен в сенате, а второй экземпляр, вероятно, остался в бумагах штаба северного фронта. На другое утро я вернулся в Петроград. На станции мне по телефону заявили, что на квартире великого князя Михаила Александровича, на Миллионной, идет совещание. Туда мы с Шульгиным и поехали. Текст был известен и Родзянке, и правительству, потому что как раз в этот день образовалось правительство. Когда я вернулся из Пскова, то увидал вывешенные на улице плакаты, с извещением, что образовалось правительство, и в каком составе. Значит, мы поехали на совещание, на квартиру великого князя Михаила Александровича и, как вы знаете, в результате этого совещания, Михаил Александрович тоже не нашел возможным принять на себя эту тяжелую обязанность.

Председатель. — Скажите, пожалуйста, в какой обстановке происходило совещание и кто присутствовал? Это ваше сообщение важно.

Гучков. — Я приехал на совещание, когда оно было в ходу.

Иванов. — 3-го марта?

Гучков. — 3-го марта. Мы пока с вокзала ехали, совещание было уже в ходу. Присутствовали лица, которые вошли потом в состав правительства. Затем Родзянко, затем, пожалуй, и все. Не помню, кто был еще из тех, кто не вошел в состав, только

Родзянко. Я спросил, какое направление приняли прения, и мне сказали, что большинство высказывается за то, чтобы Михаил Александрович не принимал, а только Милюков советует, чтобы он принял. Я просил слова и поддерживал ту мысль, что великий князь Михаил Александрович должен принять избрание и довести дело до Учредительного Собрания. Мне мои будущие коллеги по кабинету возражали против этого. Аргументы, главным образом, были такие, что едва ли удастся безболезненно, без борьбы, установить конституционную монархию при настоящих условиях. Аргументы, главным образом, вокруг этого вертелись, а затем я уже сделал иного рода примирительное предложение, чтобы Михаил Александрович принял престол условно, чтобы он не принял его, как государь, а как регент, для того, чтобы довести страну до Учредительного Собрания, которое должно высказаться как относительно формы правления, так и относительно лица, которое должно взять престол в случае решения сохранения у нас монархии. Таким образом, он бы принял его не как государь, а как представитель страны — регент. На это мне были сделаны возражения с точки зрения государственного права, что государственное право не знает формы регентства без носителя верховной власти. Может быть, с точки зрения правоведения это и справедливо, но я думал, что моя комбинация могла бы дать очень удовлетворительное разрешение, потому что вне этой преемственности еще старой исторической власти я не видел возможности предупредить в России известного рода анархию. Мне казалось, что если не будет такой санкции со стороны старой власти к новой власти, образуется пропасть, le néant, пропасть, ничего, и мы рискуем ввергнуть этот принцип верховной власти в пучину анархии. Я очень горячо отстаивал эту форму, указывая, что, между прочим, это может внести большое примирение в общественное настроение, что человек, имеющий все юридические права на престол, от них отказывается и идет на эту примирительную форму временного управления — регентства. После всех аргументов, которые с той и с другой стороны приводились в течение нескольких часов, великий князь сказал, что хотел бы еще обдумать этот вопрос. Он пошел в соседнюю комнату, после некоторого раздумья пригласил туда Родзянко и кн. Львова, и затем, переговорив с ними, вышел и сказал, что при тех условиях, которые сложились, он находит невозможным для себя принять бремя власти. Тогда я подошел к своим будущим товарищам по кабинету и сказал им: «Я с вами по этому пути итти не могу, я считаю, что вы толкаете страну к гибели, я не могу участвовать в этом деле вместе с вами». Тогда они стали просить меня, чтобы, хотя на первых порах, я помог организовать власть, видимо, они на меня рассчитывали больше, чем, собственно говоря, полагалось, думая, что я могу привести в некоторый порядок военное и морское ведомство, кото-

рое мне поручалось. Но я тогда очень скептически относился и даже с полным недоверием к общей политической комбинации, которая перед нами предстала. Я дал обещание на первых порах остаться, чтобы дать им возможность найти мне преемника. На этом мы порешили и разошлись от великого князя Михаила Александровича. Если не ошибаюсь, был вызван Маклаков и остался Шульгин, для того, чтобы помочь составить акт отречения.

Иванов. — А Набоков был?

Гучков. — Да, кажется, действительно Набоков. Но в совещании его не было.

Председатель. — Когда вы вошли в вагон царского поезда и затем бывший император пошел писать акт отречения, каково было отношение присутствовавших к тому, что происходит?

Гучков. — Что касается ген. Рузского, то он совершенно сознательно относился, видимо, был сторонником этого шага. И даже, как он мне потом говорил, он даже в этом направлении имел беседу с государем. Старался убедить его итти на какие-нибудь уступки, может быть, даже на отречение. То был генерал Рузский. Затем пришел начальник его штаба генерал Данилов. Тот тоже находил, что это совершенно неизбежный шаг. Что касается графа Фредерикса, то не знаю, отдавал ли он себе какой-нибудь отчет. Он — человек больной, был взволнован известием, что его дом сожжен, не знал, в каком положении его больная жена, дочь, был занят этим; что же касается генерала Воейкова, то я с ним не разговаривал.

Председатель. — Ну, а персонал второстепенный, Нарышкин?

Гучков. — Я не говорил с ним совсем, но я должен сказать, что государем этот акт был принят совершенно свободно, т.-е. в том смысле, что он выслушал только мои аргументы, и решил. Так что на него никакого воздействия в ту или другую сторону не было, разве только одно можно признать: когда я указал, что было бы безумием делать попытку вооруженной силой остановить это движение; тогда меня поддержал ген. Рузский, который сказал: «Ваше величество, я должен подтвердить то, что говорит Александр Иванович; никаких воинских частей я не мог бы послать в Петроград».

Председатель. — А не заходил ли здесь разговор о попытке поцавления движения в Петрограде через посылку эшелона во главе с ген. Ивановым?

Гучков. — Нет, но вообще я должен сказать, что вся эта сцена произвела в одном отношении очень тяжелое впечатление. Как же все-таки такой важный акт в истории России, — неправда ли? — перемена власти, крушение трехсотлетней династии, падение трона! И все это прошло в такой простой, обыденной форме и, я сказал бы, настолько без глубокого трагического понимания

всего события со стороны того лица, которое являлось главным деятелем в этой сцене, что мне прямо пришло в голову, да имеем ли мы дело с нормальным человеком. У меня и раньше всегда было сомнение в этом отношении, но эта сцена, она меня еще глубже убедила в том, что человек этот просто, до последнего момента, не отдавал себе полного отчета в положении, в том акте, который он совершал. Все-таки при самом железном характере, при самообладании, которому равного нельзя найти, что-нибудь в человеке дрогнуло бы, зашевелилось, вы почувствовали бы тяжелое переживание. Но ничего этого не было. Я должен сказать, что с этого момента, хотя и раньше я относился с достаточной суровостью к его советникам и его окружающим, но с этого момента я стал относиться к ним с сугубой суровостью: мне казалось, что эти люди должны были понять, что они имеют дело с человеком, который не может считаться во всех отношениях нормальным. Повидимому, человек с пониженной сознательностью, я сказал бы — с пониженной чувствительностью, которая не давала ему возможности проходить все стадии и чувства, которые мы, нормальные люди, переживаем. Трагичность положения не была прочувствована с его стороны. Поэтому об этой сцене я вам и рассказал спокойно, в тех самых тонах, в каких она и прошла. Показалось мне только в одном месте, как будто дрогнул у него голос, когда он сказал, что с сыном не может расстаться, да и то не знаю.

Иванов. — Вы изволили сказать, что когда вы обратились к бывшему государю с предложением об отречении, он заявил, что думал об этом и готов. По этому поводу были ли какие-нибудь советы? Советовался он с кем-нибудь или сам обдумал? Сам к этому пришел или были элементы, которые на это повлияли?

Гучков. — Повидимому, в нем происходила борьба. Не знаю, кто в какую сторону влиял. У меня было такое впечатление, что кто-нибудь раньше об этой комбинации говорил, быть может, не в такой открытой форме, может быть, в каких-нибудь намеках, но, повидимому, вопрос об отречении был ему несколько близок. Вот все, что я знаю. Не знаю, к каким определенным решениям приходил он в предшествующие дни и часы, все это менялось очень быстро, но, повидимому, несколько раз государь решался на шаги примирительные в виде призыва популярного лица, чтобы возглавить им правительство. Повидимому, такие решения были, возможно, что они являлись и в письменной форме, но потом отменялись, так что это был ряд колебаний, хотя, повторяю, как видите, отречение делалось очень легко. Мне не приходилось настаивать, это вышло легко и просто, как я передал. Возможно, что если бы этот шаг не был предпринят, вопрос мог бы затянуться.

Иванов. — Чем можно объяснить, что отречение было обращено, кажется, к начальнику штаба верховного главнокомандующего? Так было написано наверху.

Гучков. — Нет, акт отречения был безымянным. Но когда этот акт был зашифрован, предполагалось послать его по следующим адресам: по адресу председателя Государственной Думы Родзянко и затем по адресам главнокомандующих фронтами для обнародования в войсках.

Иванов. — Так что вы получили его на руки без обращения?

Гучков. — Без обращения.

Соколов. — Простите, по вопросу момента; день и час вашего отъезда в Псков вы устанавливаете по вашей памяти или это может быть установлено каким-нибудь документом?

Гучков. — Вероятно может быть установлено. Вероятно ведутся сведения о поездках. По-моему, это было около часа дня.

Соколов. — 2-го марта?

Гучков. — Да, 2-го марта.

Соколов. — Вы сказали, что получили полномочия от комитета, а не от правительства?

Гучков. — Нет, это правительство тогда не существовало. От комитета.

Соколов. — Разве 2-го марта не образовалось правительство?

Гучков. — Нет.

Соколов. — Вы сказали, что когда вернулись из Пскова, то увидели плакаты, и в том числе там была и ваша фамилия в составе кабинета?

Гучков. — Да.

Соколов. — Так что вы были включены в состав кабинета без вашего согласия?

Гучков. — Предварительно были разговоры. Относительно морского министерства со мной не было разговора, я не дал бы своего согласия, я считал, что это мне совершенно не по силам. Я соглашался, при некоторых условиях, войти в качестве военного министра, но, повторяю, самый вопрос формирования правительства, самый момент формирования не был решен. Мы стояли между двумя возможностями — или добровольного, на известных началах, сохранения монархии, провозглашения какого-то лица будущим государем, и между возможностью свержения и всяких иных политических форм.

Соколов. — Вы хотя и получили полномочия поехать в Псков от комитета, но уже знали, что комитет замышляет преобразование себя во временное правительство, так как дали согласие на то, чтобы вступить в это правительство в качестве военного министра?

Гучков. — Это не совсем так. Я не знал, каким путем будет формироваться правительство, потому что, повторяю, предполагалось рекомендовать государю назначить только одно лицо, именно

председателя. Лицо это должно договориться с теми, кого оно желает пригласить, а те могут ставить свои условия относительно того, с кем они хотят итти и по какой программе. Так что определенного согласия я не давал, но условно говорил, что при известных комбинациях, при известных условиях, я готов помочь составить правительство. Затем, я говорил государю не от имени Временного правительства, потому что оно не было тогда сформировано, а были тогда одни предположения.

Соколов. — Значит все-таки при известной комбинации, по вашим словам, вы могли бы согласиться стать военным министром, и та комбинация, которая состоялась в ночь со 2-го на 3-е, по вашему предположению, должна была осуществиться так: если государь согласится на отречение, он назначит премьер-министра, и уже этот премьер подберет весь состав. Но в ночь со 2-го на 3-е случилось иное. Государь согласился на отречение, однако, премьер и весь состав был указан не государем, отрекшимся от престола, а Временным Комитетом.

Гучков. — Нет, извините. Я уже вам говорил, что премьер был указан государем. Я только что докладывал, как мы подали совет государю, указав ему лицо, которое могло бы объединить и пользоваться доверием, — указали кн. Львова. Так что князь Львов был назначен государем, я так считал, а не Комитетом.

Соколов. — Известно ли было Комитету, назначившему в этот момент премьером кн. Львова, о том, что государь назначает именно его, или это вне всякой зависимости от того, что было в Пскове? Государь назначает кн. Львова, а в Петрограде, вне всякой связи и зависимости от того, что происходит в Пскове, Временный Комитет Государственной Думы предлагает пост премьер-министра кн. Львову.

Гучков. — Нет, последнее было для меня неожиданно, я думал, что тот Временный Комитет, тот кружок лиц, который предполагал войти в состав правительства, дождется моего возвращения и того акта, который я везу, так что для меня было неожиданностью, когда я увидел на стенах г. Петрограда плакаты.

Соколов. — Так что объективное положение вещей было таково, что Временный Комитет назначил кн. Львова вне зависимости от решения государя?

Гучков. — Спросите Временный Комитет.

Соколов. — Я хочу знать, как вы думаете; я вас спрашиваю, как свидетеля. Вы Комитет не извещали о том, что государь назначает кн. Львова?

Гучков. — Известил. Я имел поручение от Временного Комитета дать совет государю назначить председателем совета министров кн. Львова. Я ему это посоветовал, государь согласился.

Составили акт, я не знаю в какой форме, и затем была послана телеграмма председателю Государственной Думы.

Соколов. — Вы не помните, когда была послана телеграмма?

Гучков. — Не могу сказать. Моя беседа с государем началась в девять, десять часов вечера, телеграмма была составлена в 10 часов; когда она была зашифрована, когда послана, точно не могу сказать. Между десятью вечера и часом ночи.

Соколов. — Когда вы вернулись и узнали, что включены в состав кабинета в качестве военного и морского министра, вам не пришлось узнать, кем вы были назначены, Временным Комитетом или кн. Львовым? Кто вас включил в состав министерства?

Гучков. — Мне показали тот акт соглашения, который был заключен между комитетом Государственной Думы и, если не ошибаюсь, Исполнительным Комитетом.

Соколов. — Так что из этого акта вы изволили убедиться, что вы включены в состав министерства не кн. Львовым, а комитетом. Вы были включены не по тому проекту, который был, когда вы уехали и где государь назначает премьера, а премьер приглашает состав?

Гучков. — Я считал, что это являлось довольно сложной комбинацией, сложным проектом, соглашение трех факторов: прежде всего соглашается кн. Львов, потому что не могли же ему быть навязаны лица, ему нежелательные, тем более, что он и раньше со мной об этом говорил, так что я считал, что это с его согласия, затем, комитет Государственной Думы имел со мной разговор в лице председателя Родзянки. Стало быть, и комитет Государственной Думы на меня согласен. Для меня было неожиданностью, что явился, при создании этой новой комбинации, еще третий фактор — Исполнительный Комитет Р. и С. Депутатов. Это была для меня новость, но раз и с его стороны было выражено согласие на мое назначение . . . Повторяю: я против воли шел, особенно, когда выяснилась вся комбинация. Мне она рисовалась безнадежной. Но когда выяснилось, что я поставил бы в затруднение это новое правительство, которому едва-едва удалось составиться, я согласился на время.

Соколов. — Вы упомянули, что это было для вас неожиданностью. Не изволили ли вы, в ночь с 1-го на 2-е, участвовать в совещании между комитетом Государственной Думы и Исполнительным Комитетом по вопросу о создании власти?

Гучков. — Я знал, что вырабатываются новые условия, но в эту ночь я был занят другим делом. Были получены сведения, что грузятся эшелоны со всех фронтов и направляются на Петроград. Так как я был председателем военной комиссии, то и поехал на вокзалы Варшавский и Балтийский: надо было принять меры, чтобы все было в порядке, чтобы, если такие карательные экспедиции придут, их бы в Петроград не допускали и задержали. Я убе-

дился, что все меры приняты. Некоторые воинские части мы со станции выдвинули вперед, чтобы задержать поезда, чтобы они не прошли дальше. Тогда, в эту ночь, мой спутник, кн. Вяземский, был убит. Нас обстреляли в автомобиле. Я приехал на рассвете в Таврический дворец, где мне рассказали, что вырабатываются условия, на которых можно было бы сформировать правительство. Не знаю, как у других, но у меня вырисовывалась комбинация добровольного отречения и возглавления верховной власти представителем царской семьи, наследником Алексеем, и так далее. Затем соглашение с теми факторами, которые в эти дни играли роль. Повторяю, нашей целью было избежать гражданской войны, и надо было создать комбинацию, при которой все факторы имели бы моральную или физическую силу и согласились бы на эту комбинацию.

Соколов. — Но хотя бы часть ночи или вечера вы принимали участие в совещании?

Гучков. — Я приехал на рассвете. Условия, которые легли потом в основание, я нашел, когда вернулся, окончательно скрепленными. Я видел их раньше как проект, но проекты были разные, даже помню, что против некоторых я возражал, но соглашение состоялось в моем отсутствии, в ночь со 2-го на 3-е, в то время, когда я был в Пскове. По-моему, вам это ближе известно, потому что вы ближе стояли к этим переговорам.

Соколов. — Не вспоминаете ли вы, в точности не могу сказать, в ночь с 1-го на 2-е, не принимали ли вы участия в совещании Временного Комитета и Исполнительного Комитета Сов. Р. и С. Депутатов и не возражали ли вы против принятия формы республиканского правления сразу?

Гучков. — Да там и речи об этом не было. О республике не было и речи.

Соколов. — А вам не вспоминается, что вы участвовали?

Гучков. — По этому вопросу высказываться не приходилось. Со стороны Исполнительного Комитета это предъявлено не было. Я помню, я возражал по некоторым вопросам, касающимся армии и смертной казни.

Соколов. — Раз вы возражали по некоторым пунктам, значит вы не отрицаете, что вы участвовали?

Гучков. — Я не отрицаю, я высказывал разные взгляды, но в соглашении не принял участия, потому что это состоялось в мое отсутствие.

Соколов. — Вы вернулись из Пскова и застали министерство; ваши товарищи по министерству не указывали, что они другого от вас ожидали, ожидали, что вы привезете отречение в пользу наследника, а не в пользу Михаила Александровича, и не высказывали они вам, что этим привозом иного манифеста вы преступили полномочия, данные вам Временным Комитетом?

Гучков. — Я мог привезти лишь то, что мне дают, неправда ли? Если бы я мог сам сфабриковать манифест и заставить силой его подписать, то, конечно, я мог бы привезти то, что было указано, но я мог привезти только то, что мне передали. Когда государь, несмотря на мою настойчивую просьбу, отказался отречься в пользу сына и решил отречься в пользу брата, я не считал себя в праве уехать с пустыми руками и привезти с собой отказ от отречения вообще. Я считал чрезвычайно важным первый момент— добровольное отречение государя. Это облегчало все дальнейшие события: не вызвало ни насильственного свержения, ни той гражданской войны, которой я опасался, так что я считал, что и это уже очень много. Дальше была его добрая воля—отречься в пользу того или другого.

Соколов. — Не указывали ли вам члены вашего Комитета, ваши товарищи по Комитету на то, о чем я вас опрашивал?

Гучков. — Члены Комитета — нет, а на совещании у великого князя Михаила Александровича А. Ф. Керенский мне говорил, что я нарушил полномочия; но я заявил, что я мог привести только тот акт, который мне дали. Этот акт там оставить и ничего не привезти я не считал себя в праве.

Соколов. — Так что, когда вы приехали, члены Комитета уже были на квартире Михаила Александровича? Затем, кроме членов Временного Комитета, там не было никого из военных?

Гучков. — Нет, были какие-то адъютанты, но не в этой комнате.

Соколов. — Сначала появился в газетах акт отречения государя в пользу Михаила Александровича, затем, через известный промежуток времени, отречение Михаила Александровича.

Гучков. — Не одновременно ли?

Соколов. — Не было ли такого явления, что на фронт и в отдельные части войск, расположенных в Ревеле, в Финляндии, были даны телеграммы с приказанием Родзянки задержать опубликование первого отречения государя, и не была ли эта просьба поддержана генералом Рузским?

Гучков. — Не сумею вам сказать. Если это произошло, то после моего отъезда, потому что я уехал, как только получил второй экземпляр акта отречения.

Соколов. — Так что того, что делал генерал Рузский, вы не знаете. Но не при вас ли было, что Родзянко, не получив еще акта отречения Михаила Александровича, просил начальников отдельных штабов и, в частности, начальника штаба главнокомандующего балтийским флотом, задержать опубликование отречения государя в пользу Михаила Александровича?

Гучков. — Этого я не могу сказать.

Председатель. — Мне хотелось бы установить более точно некоторые фактические подробности того события, в котором вы

принимали участие. Вы изволили охарактеризовать душевное настроение человека, который с вами говорил,—государя. Во время разговора с вами, не было ли попытки со стороны государя отложить решение вопроса для того, чтобы посоветоваться с кем-нибудь?

Гучков. — По-моему, нет. Когда я все свои соображения изложил, я закончил тем, что государю только один шаг остается сделать, это — отречься. Но я сказал государю: «Я знаю, ваше величество, что то, что я вам предлагаю, есть решение громадной важности, и я не жду, чтобы вы приняли его тотчас. Если вы хотите несколько обдумать этот шаг, я готов уйти из вагона, подождать, пока вы придете к этому решению, но, во всяком случае, все это должно совершиться сегодня вечером. Я останусь час или полтора, и ко времени моего отъезда нужно, чтобы документ был в моих руках». Так что я предлагал ему обдумать, но государь сказал: «Я этот вопрос уже обдумал и решил отречься». Я даже был поражен, что я не встретил никакого сопротивления, повидимому, у него никакого внутреннего сопротивления и не было.

Председатель. — Вы знаете, что этому предшествовали его переговоры с Родзянкой, и что еще до вашего приезда была сделана попытка послать телеграмму об отречении, в ответ на телеграфные мольбы командующих фронтами?

Гучков. — Нет, мне это неизвестно. Мне казалось из тех разговоров, которые я имел потом с Рузским, что даже самые крайние решения, которые принимались и потом отменялись, не шли дальше обновления состава правительственной власти.

Председатель. — Так что даже и Рузский не знал о телеграмме об отречении, а она была уже подписана и даже, как предполагалось, сдана на телеграф для рассылки?

Гучков. — Нет.

Председатель. — Когда вы предложили составленный Шульгиным акт отречения, вам государь не сказал, что у него есть уже свой, готовый акт?

Гучков. — Нет.

Председатель. — Воейков почти не был в этой комнате?

Гучков: — Воейков совсем не присутствовал при разговоре с государем и пришел, когда государь уже ушел писать акт об отречении. Я с ним не говорил совсем, он спросил только относительно своей жены — дочери графа Фредерикса, и сгоревшего дома, а больше ничего. Он очевидно был уже в стороне, и к нему тогда уже не прибегали, с ним не советовались.

Председатель. — Вам неизвестно — государь сам составлял этот акт отречения, тот, что он вам передал, или кто-нибудь ему писал?

Гучков. — Я до сих пор не знаю автора. Мне кто-то говорил, значительно позднее, что автор был даже не в Пскове, что

составлено это было в ставке верховного главнокомандующего передано по прямому проводу в Псков. Я даже не помню, от кого я имею эти сведения.

Председатель. — То-есть, что государь, будучи в Пскове, получил по прямому проводу из Могилева этот текст?

Гучков. — Да. Затем возможно, что это предшествовало моему приезду, и проект акта, на всякий случай, был составлен раньше.

Председатель. — То, что вам сообщалось о передаче из Могилева этого акта, — не сопровождалось ли это указанием на определенное лицо, бывшее в Могилеве и составлявшее этот акт?

Гучков. — Нет.

Председатель. — Так что, ваше впечатление от этого момента таково, что, какова бы выдержка ни была, ею не может объясняться то спокойствие . . .

Гучков. — И безразличие . . .

Председатель. — То спокойствие и безразличие, с которыми государь беседовал с вами? Когда вы остались с лицами, сопровождавшим государя, вы молчали или обменивались мыслями?

Гучков. — Шульгин и я, мы пошли к Рузскому. Там еще был главный начальник снабжений Савич. Данилова не было, он был занят зашифрированием. Я не помню, чтобы велись разговоры, имеющие какой-нибудь интерес; мне только показалось, что у окружающих — у Рузского и у других, явилось тогда чувство облегчения, так как тяжелая операция, которая назревала и должна была совершиться, наконец, закончилась.

Председатель. — Когда вы были в вагоне, куда потом вошел государь, то тут не было обнаружено признаков давнего неблаговоления и нерасположения к вам, в связи с вашими выступлениями?

Гучков. — Нет. Не было и противоположного, конечно, не было никакой теплоты, но был спокойный тон безразличия. Конечно, все это корректно было, но в пределах деловых отношений. У меня было впечатление, что все-таки государь всей этой исторической трагедии не сознавал. Можно вам один факт привести, чтобы в журнал не записывать?

Председатель. — Разрешите таким образом: это будет записано, но у нас это секретным образом держится.

Гучков. — Мне сказал один человек, принадлежащий к царской семье (я не хотел бы его называть) и которого я видел через несколько дней после этого, в ставке: «Господи, господи, что это за человек! Я видел государя после отречения, и вы знаете, что он мне сказал: «Ну что, как у тебя там-то?» и назвал имение, где великий князь всегда живет. Это один из очень старых людей, перед которым не приходилось комедию играть. Мы могли подумать, что перед нами это была комедия, что он взял всю свою твердость и мужество в руки, чтобы не показаться ослабевшим, но это человек свой, они встретились вдвоем с глазу-

на-глаз, он сам принадлежал к царской семье из самых старых, человек, перед которым не надо было прикидываться, человек, за которого он также отрекся (хотя он и не имел права на престол), так что, казалось бы, что отзвук хотя какой-нибудь переживаемой трагедии должен был быть.

Гримм. — Когда зашел вопрос о назначении князя Львова и относительно назначения верховного главнокомандующего — после подписания акта об отречении, или до этого?

Гучков. — Одновременно.

Гримм. — Но уже после того, как государь скрепил?

Гучков. — Да.

Гримм. — Значит государь уже перестал быть государем?

Гучков. — В его власти еще был акт.

Гримм. — Он не уклонялся, не сказал, что теперь это уже не в его власти?

Гучков. — Нет, да и мы считали, что все это одновременно.

Соколов. — Вы говорили, что наступил момент, когда вы и ваши друзья предполагали, что не позднее Пасхи переворот или отречение государя совершится?

Гучков. — Переворот.

Соколов. — К какому моменту вы можете отнести это ваше убеждение или ваши разговоры об этом с вашими друзьями — к январю или к февралю?

Гучков. — Значительно раньше.

Соколов. — Когда вы намечали, что переворот должен был совершиться, вы не справлялись о настроении и об отношении к этому возможному перевороту со стороны высшего командного состава или хотя бы некоторых органов, если не высшего, так среднего калибра?

Гучков. — Я считал, что возможны различные формы такого переворота. Обычные формы русских переворотов, унаследованных от XVIII столетия и перешедших в XIX, это — террористические акты, убийства. Будут они совершены лейб-кампанцами или студентом, бросившим бомбу, все равно, это—убийство. Должен сказать, что я всегда был противником этих форм перемены государственного строя, и на этот раз у меня было опасение, что теперь это примет именно такие формы. Я был против них, и никогда бы не принял участия в перевороте, который принял бы такие формы. Затем есть другая форма — та, в которой это и совершилось, стихийная форма поднятия народных масс без правильного плана, без руководителей и без присутствия тех созидательных элементов, которые должны, наконец, вступить в свою роль, после того, как первый необходимый процесс, процесс разрушения, будет закончен. Затем, еще третий путь — путь военного переворота, совершенного не солдатскими массами, а воинскими частями, — скажем та форма, которая была испробована

правда, неудачно, на сенатской площади, в начале XIX столетия, когда выходили целые части. Мне представляется, что эта последняя форма и есть та, в которой мог бы совершиться переворот в пределах или в направлении, необходимом России. Такой переворот явился бы с гарантиями быстроты, безболезненности, с наименьшими жертвами и наибольшей приемлемостью для страны. Я убежден, что если бы такой переворот удался, он был бы принят и страной, если не во всех ее слоях, то, во всяком случае, в значительных массах и армией вполне сочувственно. Я считаю, что если перейти к вашей, Давид Давидович, области, к области исторической, вся вина русского общества заключается в том, что переворот был сделан не руководящими классами общества, не политическими и общественными деятелями, не верхами армии, а был сделан стихийными массами.

Соколов. — Вы убеждены были в том, что эта форма переворота — путем участия определенных воинских частей, под командой своих офицеров — наилучшая. Это убеждение покоилось на каких-нибудь конкретных данных? Не имели ли вы в своих руках сведений, сообщений, прямых заявлений со стороны командиров полков, со стороны командиров дивизий, не заявляли ли они прямо, что могут принять участие в перевороте, что части их пойдут на это? Много ли было таких военных? Или это не могло быть совершено этим наилучшим, по вашему убеждению, способом, только потому, что не было такого состава офицеров?

Гучков. — Довольно трудный вопрос вы задаете. Я был убежден, что этот переворот, раз он будет совершен, будет встречен сочувственно всеми, сверху донизу. Я пульс армии нащупал. Я знал, как она исстрадалась от условий, в которые она была поставлена до переворота. Мы, в тылу, теоретически, платонически страдали, а там, кроме страданий за родину, они испытывали еще и личные страдания. Я был убежден, что армия, как один человек, за малыми исключениями, станет на сторону переворота. Я должен сказать (а я ведь не только платонически сочувствовал этим действиям, я принимал активные меры), что провести это было трудно технически. Если бы дело шло о том, чтобы поднять военное восстание, будь то на северном или румынском фронте, такое дело оказалось бы чрезвычайно легким, но план заключался в том (я только имен не буду называть), чтобы захватить, по дороге между ставкой и Царским Селом, императорский поезд, вынудить отречение, затем одновременно, при посредстве воинских частей, на которые здесь, в Петрограде, можно было рассчитывать, арестовать существующее правительство и затем уже объявить как о перевороте, так и о лицах, которые возглавят собою правительство. Таким образом, вы видите, дело пришлось бы иметь не со всей армией, а с очень небольшой ее частью. Надо было найти часть, которая была бы расположена для целей

охраны по железнодорожному пути, а это было трудно. Здесь петроградский гарнизон не представлял, конечно, трудностей, но все-таки мы не желали бы касаться солдатских масс. Я был убежден, что солдаты пойдут на это дело, что было бы достаточно одного приказания и чтобы их повели куда нужно и когда нужно. Но я хочу резюмировать ответ на ваш вопрос. В том, что этот акт будет приветствован армией сверху и донизу, я не сомневался ни одной минуты. Были люди, которым это трудно досталось; вы сами понимаете, что у многих из них известные принципиальные верования и симпатии, для многих это представляло трагедию. Но я был убежден, что, за мелкими исключениями, все бы присоединились и все бы сочувственно отнеслись. Затем, технические условия акта, который казался мне необходимым, встречали, конечно, известные затруднения.

Соколов. — Не в праве ли я понять так, что в личном офицерском составе вы встречали затруднения? Может быть, в тех частях, где нужны были офицеры такого типа, их не находилось в достаточном количестве?

Гучков. — Отказа не было, но требовалась с нашей стороны известная осторожность, потому что преждевременное раскрытие могло бы сделать этот шаг совершенно невозможным. Я твердо верил, что если бы у нас было больше времени, мы бы это сделали.

Соколов. — Так что, если бы движение 27 февраля не вылилось в те формы, в какие оно вылилось, спустя три недели, месяц, два месяца, мог бы осуществиться тот военный заговор, о котором вы говорите?

Гучков. — Надо иметь в виду, что нам не приходилось производить работу по пропаганде, нам не убеждать нужно было людей. Что старый строй сгнил, что он доведет до погибели — в этом убеждать никого не приходилось, но надо было технически сорганизовать, надо было толкнуть людей на этот решительный шаг.

Соколов. — Эти переговоры и выработка технического плана, на какое время падают — на январь, на февраль, или раньше?

Гучков. — Это все было еще в конце прошлого года.

Соколов. — Вы упомянули в ваших показаниях, что 1-го марта вы были председателем военной комиссии. Как председателю военной комиссии, вам было известно, каким образом войска петроградского гарнизона восстали — совместно ли с офицерами или, в громадном большинстве, без офицерского состава?

Гучков. — У меня впечатление такое, что они восстали самостоятельно, как самостоятельно восстали и рабочие, что они не были предводительствуемы офицерами. Но я должен сказать, что это движение, в общей массе, со стороны офицеров не встретило сопротивления.

Соколов. — Но много ли было таких офицеров, которые стали во главе движения в качестве руководителей?

Гучков. — Мы, как временная постройка, воздвигнутая на пустом месте, с целью пережить это время, между крушением старой власти и созданием новой, мы — Временный думский комитет, с самого начала встретили самую горячую поддержку со стороны командного состава. Хотя для многих в то время положение еще не выяснилось, т.-е. еще не было ясно, победило ли движение. Но и тогда они всецело присоединились к нам.

(Во время перерыва место председателя занимает товарищ председателя сенатор Иванов.)

Председательствующий. — Член совещания Соколов имеет к вам вопросы.

Гучков. — Я хотел бы ответить более категорично на ваш последний вопрос, чтобы не оставалось сомнений относительно того, что вас интересует. Это, так сказать, не вопрос конкретных случаев — то, что вам интересует — это очевидно общий вопрос настроения нашего командного состава и наших офицерских масс по отношению к существовавшему положению, к самому акту переворота, и так далее. Я должен сказать следующее: резкое, отрицательное, враждебное отношение к тому порядку, который установился у нас до переворота, было общее, за какими-нибудь ничтожными, единичными исключениями, как в офицерской среде, так даже и в высшем командном составе. В этом отношении между настроением армии и настроением всех, я сказал бы, прогрессивных, радикальных кругов русского общества я не видел никакого оттенка, никакого различия. Теперь, в смысле искания выходов из этого положения, в смысле окончательного разрешения этих вопросов, во что все это должно вылиться, там были чрезвычайные расхождения взглядов и частое, конечно, разногласие. Были сторонники всяких, самых крайних мер разрешений этого дела, ну, скажем, готовы были итти до установления у нас республиканского строя. Среди офицерства, которое, как вы знаете, является теперь истинным пролетарием, были несомненно и социалистически окрашенные люди. Но сказать, что эти крайние взгляды были достоянием большинства, этого я сказать не могу. Словом, перед ними раскрылось открытое поле, и они не знали решения, к которому могли бы притти. Но совершенно безнадежное отношение к старой власти, убеждение, что с ней нельзя ни итти, ни работать, это было у всех. Мне, с которым и простой солдат, и подпоручик, и большой генерал говорили откровенно, мне было ясно, что то, что называлось в прежнее время «перегноем строя», то-есть революционное настроение армии, было повсеместно.

Соколов. — Разрешите перейти к началу ваших указаний. Вы сообщили Комиссии, что у вас было такое впечатление, что власть, если не содействовала, то во всяком случае попуститель-

ствовала убийству Столыпина. В это попустительство, по вашему мнению, влагалась личность монарха?

Гучков. — Нет. Мне казалось, что если и были люди, которые искали и, может быть, думали угодить ему (это как крайнее допущение), то это были лакеи, которые искали, как угодить своему барину. Может быть, они тут переоценивали, но это другое дело. Затем, у этих людей была личная ненависть к Столыпину; они отлично понимали, что победа Столыпина в политическом отношении, это — конец их властвованию. Я могу назвать Спиридовича, Кулябко. В своей речи, посвященной запросу Государственной Думы о смерти Столыпина, я их назвал по именам.

Соколов. — А Курлов?

Гучков. — Курлова, Веригина, всех назвал.

Соколов. — А сам монарх не говорил, что Столыпин ему надоел, не давал основания думать, что ему ненавистен Столыпин, что он желает избавиться от этой властной фигуры?

Гучков. — Я уверен, что он ему надоел, но не думаю, чтобы он хотел устранить его выстрелом из рук предателя революционной партии. Я знаю, что последние месяцы прямо искали выхода из положения, думали, как избавиться от этого докучливого и властного человека, который имел одно достоинство, и оно во всяком случае всеми должно быть признано: у Столыпина было правдивое отношение к власти, и он говорил правду, как ее разумел, и тем тоном, как надлежало.

Соколов. — Когда вы говорили о безответственных придворных кругах, то сослались на речь, где упоминали о великих князьях, из чего я могу понять, что в число этих безответственных кругов входили и великие князья?

Гучков. — Несомненно. Я считаю их чрезвычайно ответственными за состояние нашей обороны и нашего военного дела. Но, как вы сами знаете, за последние годы их роль во внутренней нашей жизни была сведена на-нет, потому что на их место стали совсем другие лица, потому что, по отношению к ним, образовалась оппозиция, и они сами были взяты под подозрение.

Соколов. — Но, по отношению к обороне, они занимали властную позицию до самого переворота? Сергей Михайлович ведал дела главного артиллерийского управления.

Гучков. — История была такая. Когда мы приступили к реформам в армии, то мы убедились, что никакой реформы, сколько-нибудь серьезной, нельзя провести при том строе военного ведомства, который мы застали. Во главе крупных дел военных реформ и всяких крупных военных вопросов стоял совет государственной обороны, под председательством вел. кн. Николая Николаевича. Все крупные вопросы должны были проходить через этот совет, который создан был либо в конце, либо в начале японской войны. Затем, во главе всех главных управлений стояли великие князья,

как я называл, удельное княжество. Убедить в необходимости реформ военное ведомство, убедить народное представительство — этого было недостаточно, — нужно было преодолевать еще и симпатии или антипатии, возражения или предрассудки того или другого из великих князей, стоявших во главе ведомства, и затем еще все это провести через инстанцию совета государственной обороны, находившейся под председательством вел. кн. Николая Николаевича, а так как вокруг великих князей собираются всегда люди недобропорядочные, то сами великие князья, по неосведомленности, часто не имеют возможности разбираться. К известным предрассудкам, известной рутине, которой они пропитаны, присосались еще всякие посторонние вредные влияния, и когда мы толкнулись, в деле реформ, туда и сюда, и увидали, что не можем преодолеть препятствия, я выступил с речью по смете, где указал на вред присутствия безответственных людей и настаивал на их устранении. То обстоятельство, что вся Дума единогласно, в том числе и крайние правые, присоединились к формуле, которую я предложил, говоря об отстранении безответственных лиц из военного ведомства, это обстоятельство имело известное влияние, и некоторые из великих князей тогда добровольно ушли, другие же были сведены, если не совсем на-нет, то на ослабленную позицию: вместо начальников главных управлений, какими они были раньше, они остались лишь с правом вмешательства в дела отправлений ведомства и, в частности, хозяйства, и сведены к званию так называемых генерал-инспекторов. Им поручено наблюдение за общим ходом дел, без права каких-либо распоряжений, но с правом доводить о замеченных неустройствах и необходимости принятия каких бы то ни было мер до сведения военного министра, который был волен принять или не принять ту или другую меру. Так что теоретически они были сведены на этих генерал-инспекторов, но фактически один из них остался, именно — Сергей Михайлович, хозяином артиллерийского ведомства, в то время как великие князья Константин Константинович и Петр Николаевич покорились, так что известную пользу это выступление в Думе принесло. Затем скажу, что как ни велики их деяния и ошибки, все-таки потом, даже при ослабленном влиянии великих князей, когда во главе военного ведомства оказался Сухомлинов, я не только не видел улучшения, а видел прямо ухудшение.

Председательствующий. — Быть может, мы перейдем к другой области ваших объяснений, именно к вопросу об отношении правительства прежнего режима к общественным организациям, работавшим на оборону, и, в частности, к военно-промышленному комитету, во главе которого вы стояли. Может быть, в общих чертах вы нам доложите о военно-промышленном комитете и эпизодах, которые с ним связаны?

Гучков. — Как я уже докладывал, военно-промышленные комитеты возникли в связи с тем общественным оживлением, которое появилось после наших неудач в Галиции. Я лично, зная ведомства и ту среду, с которой приходилось иметь дело этой новой организации, довольно скептически относился к этому общественному начинанию, потому что думал, что нам придется преодолевать такого рода затруднения, которые не дадут нам возможности плодотворно работать. Также сумрачно смотрел я на это и в своей речи, когда принял председательствование в центральном военно-промышленном комитете и сказал, что по долгу совести должен принять его, но предвижу, сколько нам будет сделано затруднений со стороны ведомств, и вряд ли получится много пользы. Скажу, однако, что мой пессимизм на первых порах был несколько сглажен. В первые месяцы военное ведомство и, главным образом, армия, органы ее снабжения, не центральные, а на местах, фронтовые, относились к нам очень тепло, с большим доверием. И тут удалось развернуть работу и оказать целый ряд услуг. Конечно, в некоторых ведомствах мы все время встречали противодействия, основанные на том, что не во всех из них чисто, и их сношения с разными фирмами и промышленными предприятиями приучили их к известным благам жизни, которые отпадали, раз посредником являлся военно-промышленный комитет. Глухое противодействие мы кое-где встречали. Это была такая мелкая, партизанская война, которую ведомства вели с нами. Но к этому присоединилось еще другое обстоятельство, которое испортило отношение к нам правительственной власти. Правительство опасалось, что вокруг этих общественных организаций, таких, как земский и городской союзы, военно-промышленный комитет, сгруппируются общественные оппозиционно окрашенные элементы, и что со временем, после войны (а правительство чувствовало, что после войны придется к расчету строиться), рядом с городами и земствами и другими организациями, вокруг создавшихся новых центров сгруппируются общественные элементы, новые организации, с которыми придется бороться. Конечно, это чувство в кругах правительства усилилось после того, как на первом всероссийском съезде военно-промышленного комитета, решено было единогласно образовать у нас рабочую группу. Тут мы уже взяты были под подозрение. Надо сказать, что рабочие вошли в эту группу нашей организации, главным образом, с целью добиться каких-нибудь легальных форм для рабочих организаций. Их не столько интересовала работа на оборону вместе с нами, сколько единственная возможность организации для преследования своих интересов. Вот тогда мы и были взяты под подозрение сами по себе, но, главным образом, за создание нашей рабочей группы и ее деятельности. Тут началось очень сильное противодействие. Выражалось оно в том, что нас обходили разного рода заказами; после

того, как заказы были даны, затрудняли их выполнение в отношении распределения сырья, в отношении перевозок и т. д. Затем, со стороны департамента полиции был предпринят, как известно, целый ряд мер, были произведены аресты, запрещались некоторые наши собрания. Затем нас взяли уже совсем под надзор, распорядившись, чтобы мы сообщали о заседаниях рабочих групп, чтобы мы допустили присутствие представителя администрации на этих заседаниях. Целый ряд таких мелких партизанских приемов закончился, как вы знаете, арестом нашей рабочей группы центрального комитета и тем, что этот арест, как вы знаете, вызвал большое негодование и брожение в рабочей среде. Я думаю, что все это сыграло не малую роль в последующих февральских событиях. В том перечне вопросов, который мне передал председатель, есть некоторые конкретные вопросы, на которые я постараюсь тоже ответить и которые касаются деятельности центрального военно-промышленного комитета и, в частности, рабочей группы. Тут стоит вопрос: не помню ли я в рабочей группе центрального военно-промышленного комитета В. М. Абросимова, оказавшегося сотрудником петроградского охранного отделения. Затем, в связи с тем же, не могу ли я охарактеризовать Абросимова и осветить роль и значение его в рабочей группе. Затем: не возникало ли у меня, до ареста рабочей группы (арест последовал 27 января), подозрения о том, что в рабочей группе имеется сотрудник охранного отделения, и какие основания были для таких подозрений? Если подозрения были, не относились ли они в то время к Абросимову? Не приходилось ли мне говорить с А. Д. Протопоповым, с Белецким, с Васильевым или Глобачевым о том, что в центральном военно-промышленном комитете находится сотрудник охранного отделения, и что названные лица мне по этому поводу говорили, и т. д.

Председательствующий. — Прежде чем вам угодно будет ответить, скажите, пожалуйста, какое количество рабочих было в составе вашего комитета?

Гучков. — У нас было 10 человек. Нет, больше — 15. Для меня теоретически было совершенно несомненно, что мы были под ближайшим надзором департамента полиции, и было бы странно, если бы этого не было. Затем, для меня было совершенно ясно, что этот надзор должен был проникнуть в самую среду группы, будь это член группы, т.-е. рабочий, выбранный самими рабочими, будь ли это служащий, т.-е. нанятый самими рабочими, но для меня было несомненно, что департамент полиции старается, а если старается, то ему удастся проникнуть в среду нашей группы. Затем, отдельные такие факты, частные и незначительные, убедили меня в том, что, в сущности, у нас не было никаких секретов, что все было известно. Правда, у нас не было таких явлений, которые приходилось бы скрывать. В самой рабочей группе,

в их собраниях, конечно, могли высказываться мысли, которые не желалось делать достоянием департамента полиции, а, между тем, все это становилось известным. Случайно попали ко мне раза два записки, которые имели свое происхождение там, в департаменте полиции. Тут оказалось, что материалы, бывшие у нас, находились, видимо, и в их распоряжении, но, повторяю, мы ничего и не скрывали. Так что внутренняя наша переписка и, тем более, журналы нашего центрального комитета, стенографические отчеты общих съездов, все это могло делаться достоянием кого угодно. Так что я не раз предупреждал представителей нашей рабочей группы и, в частности, председателя ее Гвоздева, чтобы они остерегались, что они могут подать повод к очень неприятным последствиям. Я им рекомендовал быть осторожнее в разговорах, в переписке и т. д. Затем, когда произошел арест группы, это было в конце января 1917 года, мы, центральный комитет, тотчас же выступили с очень определенным и твердым протестом против этого ареста, и протест этот был опубликован в прессе.

Председательствующий. — По требованию министра был сделан арест или по требованию департамента полиции?

Гучков. — Этого я не знаю. Повидимому, это, как акт высокой политики, было предпринято не департаментом за свой страх, а министерством внутренних дел. Затем, вторым шагом явилась наша аудиенция, в лице моем и Коновалова, у кн. Голицына. С Протопоповым я никаких сношений не имел, потому и обращаться к нему отказался. А Коновалов и я, мы отправились к кн. Голицыну, ему мы объяснили положение дел и всю неразумность предпринятого шага, при чем он ссылался как раз на то, что ему Протопопов передавал. Кн. Голицын отнесся благосклонно и обещал еще раз рассмотреть это дело. Я откровенно ему говорил: «Я в прятки с вами играть не буду. Если вы подозреваете рабочую группу и нас в том, что мы занимаемся политикой, я ни одной минуты возражать не буду. Да, мы занимаемся политикой, но правительство само сделало из нас политическую организацию. Мы считаем, что вопрос обороны может быть решен лишь в том случае, если политически изменятся условия нашей работы. Но я только одно отрицаю — я отрицаю то обвинение, которое предъявлено нашей рабочей группе: их обвиняют в том, что они замышляли вооруженное восстание и переворот (это действительно был вздор). Я считаю, что уголовно наказуемого за ними ничего нет». Мы предприняли один шаг — это был письменный протест, второе — объяснение с кн. Голицыным, третье — собрание, которое мы созвали из представителей центрального военно-промышленного комитета и представителей особого совещания по обороне. Были тут члены Думы и государственного совета и кое-кто из представителей политических партий, при чем пригласили как раз представителей левых партий. Я помню, что был там Чхеидзе.

Не помню, Керенский был или нет, но Чхеидзе был, а кажется и Керенский был. Таким образом, я изложил положение этого вопроса и все те шаги, которые мы предприняли, а затем попросил высказаться. Со стороны членов государственного совета и Государственной Думы мы встретили, конечно, полное сочувствие и готовность в своей среде, в среде законодательных учреждений или в особом совещании по обороне, поднять этот вопрос в защиту наших организаций. Но один из представителей рабочей группы, некто Абросимов, который, к нашему удивлению, оказался на свободе и присутствовал на совещании, попросил тогда слова и в очень резкой речи указал, что рабочая группа только прикидывалась такой мирной, и в комитет пошла только для того, чтобы найти легальную оболочку, а что на самом деле она преследует открыто революционные цели, и не только путем забастовок со всякими насильственными выступлениями, но даже вплоть до вооруженного восстания и свержения власти. Таким образом, он как бы оправдывал действия власти. Тогда я, так как я всегда относился к нему с некоторой предубежденностью, сказал ему: «То, что вы говорите здесь о характере этой группы и об ее действиях за последнее время, самым резким образом расходится с тем, что известно мне и что говорил Гвоздев и другие ваши товарищи, которые ныне сидят под арестом. Так что между показаниями арестованных ваших товарищей и вашими показаниями, человека, не находящегося под арестом, я вижу самое резкое расхождение». Он тогда сел и потом уже больше ничего не говорил. Но, конечно, это вызвало смущение не у меня и не у моих товарищей, которые отлично знали группу, но у тех общественных политических деятелей, которых мы пригласили для защиты против нападок со стороны администрации. Этот человек прямо говорит: «Да, мы шли войной». Я помню, что тогда представители левых партий, Чхеидзе и другие, промолчали. Я потом уже догадался, что они не очень-то доверяли тем слушателям, которых могли у нас встретить. Абросимов мне и раньше казался подозрительным, и вот почему: потому, что он принадлежал к самому левому флангу рабочей группы и всегда науськивал на самые резкие выступления, и даже на съезде, где я не был, он выступил с самыми резкими речами. Он всегда внушал какое-то подозрение. Элемент какой-то фальши в нем был. После выступления Абросимова я на другой же день вызвал к себе Гвоздева. Нужно сказать, что наша рабочая группа была арестована вся, за исключением Абросимова и еще двух, которых не оказалось в Петрограде, и за исключением Гвоздева, который был арестован домашним арестом, так как он был болен. И так как я с большими симпатиями и доверием относился к Гвоздеву, то я, кроме заступничества за всю рабочую группу, еще специально заступался за него, и просил представителей власти, чтобы они оставили его на

поруки, что он не скроется, чтобы его не сажали в тюрьму, а оставили дома. Так что он пользовался некоторой свободой. Ночью я послал за ним автомобиль, и он приехал в одно из отделений комитета, где я с ним виделся. Я Гвоздеву рассказал всю историю с Абросимовым и сказал, что я убежден в его провокаторстве. Гвоздев, человек очень доверчивый, отрицал это и говорил, что он человек хороший, но я сказал: «Вы его берегитесь». Как вы знаете, потом, при разборе архива, выяснилось, что Абросимов был на жаловании у охранного отделения. Вот ответ на первый вопрос. Затем — говорил ли я с Протопоповым, Белецким, Васильевым и Глобачевым об этих вопросах? Нет, не говорил, потому что я никого из них не видел. Протопопова я не видал ни разу со времени его назначения на пост министра внутренних дел. Белецкого, Васильева и Глобачева тоже не видел и не говорил с ними об этих делах. Затем — не предполагалось ли организовать защиту арестованных, и что с этой целью было предпринято? Так как эти арестованные были люди, живущие своим трудом, то мы устроили подписку, чтобы их семьи, со времени заключения их в тюрьму, ни в чем не нуждались. Это мы сделали первый шаг, а затем мы решили организовать защиту. По этому делу я имел переговоры с А. Ф. Керенским, который должен был стать во главе защиты. Это было сделано, но, как вы знаете, защита не понадобилась, потому что переворот раскрыл перед заключенными двери тюрьмы, и они оттуда вышли. Чем объяснял свое оставление на свободе Абросимов, я не припомню. Помнится, мы интересовались узнать, как он остался вне ареста. Я не помню, как он объяснял,—как будто, дома его не было. Но мне казался подозрительным самый факт, потому что, повторяю, он принадлежал к крайним левым. Вот, что еще меня убедило в том, что он не чист: через некоторое время я получил сведения о том, что о нашем заседании, созванном мною и представителями политических партий, и где выступал Абросимов, об этом заседании составлен подробный отчет; отчет этот находился в руках департамента полиции. Самого отчета я не видал, но лицо, которое его прочло, рассказывало мне (а это было лицо, которое участвовало в заседании), что там есть две любопытные подробности: во-первых, перечислены все присутствующие лица, за исключением членов государственного совета, о которых автор отчета сказал, что было несколько членов государственного совета, но имен их он не знает, а затем — кое-какие имена приведены неверно. Все это исключало возможность выхода отчета из нашей канцелярии. Там было 2—3 члена из нашей канцелярии и, если бы это исходило от них (чего я не допускаю), они бы знали всех присутствующих. Стало быть, здесь был человек, который членов Государственной Думы знал, а членов государственного совета не знал, а затем — там была выпущена речь самого Абросимова. Это тогда и заста-

вило меня решить, что он и есть тот самый, кто сообщил об этом.

Тов. предс. Смиттен. — Позвольте в связи со сказанным поставить один маленький вопрос. Вы сказали, что Абросимов принадлежал к числу лиц наиболее крайних. Вы не можете вспомнить с его стороны такого выступления, которое бросалось бы в глаза, как противоречие действующему тогда закону? Нам это интересно потому, что он выступал в качестве агента охранного отделения. Можете вы как-нибудь конкретизировать крайность его взглядов?

Гучков. — Нет. Он выступал особенно резко на втором съезде.

Тов. предс. Смиттен. — Там все показания записывались стенографически?

Гучков. — Да, вероятно. Если он и позволял себе очень большие резкости, такие, как призыв к восстанию, то этого вероятно цензурный карандаш нашего председателя Коновалова не допустил, так что, может быть, вы этого и не найдете; но вообще у нас сложилось убеждение, что этот человек стоит за крайние лозунги. Он всегда толкал на самые резкие выступления. Кажется, относительно Абросимова все.

Председательствующий. — Когда вы ездили к кн. Голицыну, как он отнесся к этому вопросу?

Гучков. — Он сказал мне и Коновалову, что он совершенно разделяет нашу точку зрения в том смысле, что даже, если есть какие-нибудь несерьезные, полицейского характера, правонарушения в деятельности рабочей группы, то будет просто политически неумно принимать по отношению к ним такие вызывающие меры. Я ему говорил, что не только Гвоздев и его товарищ, но и мы с Коноваловым самым оппозиционным образом настроены против власти, даже оттенка не видим. Мы говорили: «Вы имейте в виду, что все русское общество так настроено. Если бы вам пришлось за такое умонастроение арестовывать людей, то вам всех придется арестовать». Он сказал, что тут могла быть ошибка, что все это он знает, еще раз поднимет это дело, и окажет содействие. Так что у меня осталось впечатление, что кн. Голицын был бы на нашей стороне, если бы это дело еще раз дошло до обсуждения в совете министров.

Председательствующий. — Вы изволили сказать, что вы к Протопопову не обращались. Казалось бы, к кому и обратиться, как ни к министру внутренних дел, по распоряжению которого был сделан этот арест. Почему вы к Протопопову не считали возможным обратиться? Это вопрос не праздный, он имеет для нас весьма важное значение.

Гучков. — Дело в том, что я знал, во-первых, то, что Протопопов совершенно сознательно ведет борьбу против военно-про-

мышленного комитета и всех общественных организаций, что переубеждать его не приходится, так как он явный и открытый наш противник. Мы же не хотели просить милости, а взывали только к справедливости, к государственной мудрости, почему я и считал, что это ни к чему не приведет. Это одно, а второе — я так отрицательно относился к личности Протопопова, что просто не мог бы заставить себя обратиться к нему и иметь с ним личное общение. Несколько раз мне приходилось, по делам комитета, обращаться с письмами к министру внутренних дел, но это были официальные письма, а в личное общение я не хотел становиться.

Председательствующий. — В чем же эти отрицательные свойства Протопопова заключались, что к нему нельзя было обращаться? Этот вопрос для нас весьма важен. Или этот вопрос вас стесняет?

Гучков. — Нет, я просто обдумываю, как вам более сжато высказать. Если бы Протопопов был убежденный противник, если бы он добросовестно разделял совершенно противоположные мне или друзьям моим взгляды, то я бы нисколько не погнушался иметь с ним дело, как, например, с кн. Голицыным, который убежденный правый, человек честный, верящий в то, что его взгляды столь же справедливы, как я убежден в правильности моих, к такому противнику я мог бы питать уважение и не погнушался бы общением с ним. Но раз Протопопов сделал вольт от прогрессивного политического деятеля в этот лагерь, и не по убеждениям своим, а из соображений политической карьеры и внешнего благополучия, сделал не только вольт, но совершил его таким нечистым путем, через темных посредников, через Бадмаева, Распутина, Вырубову и т. д., это все, конечно, лишило его всякого уважения в моих глазах. А затем то обстоятельство, что он когда-то принадлежал к политической партии, к которой принадлежал и я, был в числе круга моих политических друзей и, сравнительно, лично, мне был близок, — это обстоятельство делало задачу общения с ним особенно тяжелой. Если бы представилась крайняя надобность, я бы вероятно и через это перешел, но от переговоров с ним я никакого успеха не ожидал, и даже знал из переговоров, которые он вел с некоторыми лицами, что он имел в виду самый безжалостный поход против общественных организаций; он считал их чрезвычайно опасными, даже преувеличивал их общественное значение, их политическую опасность и вел во-всю шторм против них. При таких условиях я не находил нужным обращаться к нему.

Председательствующий. — Александр Иванович, позвольте еще спросить вас о рабочих военно-промышленного комитета. Вам неизвестна была деятельность рабочего Лущика, служившего тоже в секретариате?

Гучков. — Нет. Этих господ я всегда видал, потому что они в центральный комитет приходили, так что я лично их знал. Что касается служащих, которые были в рабочей группе, которые были приглашены не нами (им был открыт кредит), я их просто не видал.

Председательствующий. — Могли бы вы ответить на такой вопрос: не производил ли Абросимов впечатление лица, не только осведомляющего департамент полиции о деятельности своих товарищей и т. д., но и подстрекателя к таким выступлениям?

Гучков. — Я не знал их внутреннего быта. К нам они приходили уже сговорившимися. Выступали застрельщиками. Как у них то или другое решение составлялось, мне неизвестно, я знал это уже от Гвоздева и от других представителей группы то, что Абросимов играл роль поджигателя.

Председательствующий. — А насколько вы его знали, представлялся он оратором умным?

Гучков. — Нет, по-моему, он довольно недалекий человек, насвистанный, неспособный, человек из очень третьесортных, на мой взгляд. Тут еще один вопрос — «участвовал ли я в особом совещании по обороне и не помню ли я, что в совещании обсуждалось ходатайство англичанина, портного Джонсона об отдаче ему поставки 3-х миллионов винтовок, и что Протопопов (тогда товарищ председателя Думы) особенно усердно поддерживал ходатайство Джонсона, и добился того, что совещание согласилось представить Джонсону заказ, при чем решение совещания не было приведено в исполнение только потому, что у Джонсона не оказалось средств даже для внесения необходимых при заключении контракта пошлин». Я должен сказать, что дело Джонсона я помню, такое дело было, но насколько это изложение дела соответствует действительности, я не могу на память подтвердить. Одно могу сказать, что вообще роль Протопопова в особом совещании мне показалась очень странной, что он сплошь и рядом, не только по делу Джонсона, но и по другим сомнительным делам, являлся ходатаем и посредником в особом совещании. Целый ряд предложений, которые в ведомстве терпели неудачу и у нас были встречены отрицательно, снова появлялись при посредстве Протопопова, и он вносил эти предложения и их поддерживал. В большинстве случаев это успеха не имело. Но я должен сейчас же оговориться, что при всем своем отрицательном отношении к Протопопову я не допускаю мысли, чтобы он это делал из корыстных целей, а те, которые его знают, как я, должны признать, что он человек чрезвычайно мягкий, поддающийся влиянию, очень склонный даже совершенно бескорыстным образом людям угождать, и что если на него кто-нибудь насядет или постарается его убедить, то он и выполняет эту просьбу, будет ли эта просьба хороша или очень

плоха; — так что тут нет подкупа, корысти, а тут просто безграничное легкомыслие.

Председательствующий. — Александр Иванович, вы хорошо знакомы с деятельностью Поливанова. Мне бы хотелось выяснить отношение к нему в сферах и вопрос его удаления.

Гучков. — С Поливановым меня связывает общая работа в 3-й Государственной Думе. Мы его застали в качестве товарища министра, с ним работа в комиссии по государственной обороне была особенно тесно сплетена. Первый министр, с которым приходилось иметь дело, ген. Редигер, и его преемник, ген. Сухомлинов, появлялись в комиссии государственной обороны и в Думе редко; т.-е. Редигер появлялся редко, а Сухомлинов и совсем не появлялся, и поэтому вся общая работа связывала комиссию обороны и Думу именно с Поливановым. Поливанов ценился очень высоко в наших кругах, как человек очень умный, очень знающий, весьма работоспособный и чрезвычайно добросовестный. Мы привыкли уважать его мнение, и не потому, что оно всегда было обставлено обильным материалом, но потому, что оно всегда было искреннее. Мы привыкли к тому, что когда Поливанов на чем-нибудь настаивает, это действительно нужда, которая является чрезвычайно острой, а по другим его объяснениям мы привыкли понимать, что тот или другой вопрос не так уж настоятелен. Так что он нас не обманывал и не скрывал ничего от нас в официальных заседаниях комиссии и Думы. Затем, мы ценили его еще и потому, что работа наша в 3-й Думе поддерживалась, между прочим, некоторым кружком, который мы составили сами и в который входило несколько членов Государственной Думы, работавших в комиссии обороны, и несколько молодых генералов и офицеров генерального штаба, с генералом Гурко во главе. Кружок этот являлся первоначальной лабораторией, где разрабатывались и обсуждались различные вопросы, которые потом шли в комиссию обороны и Думы. Многие вопросы, поднятые по инициативе Думы, возникали впервые в этом кружке. Кружок генерального штаба был занят составлением истории русско-японской войны; все это люди, которые практически проделали эту войну, теоретически изучали ее материалы. Это был кружок талантливых генералов и офицеров, во главе которых стоял генерал Гурко. В этот кружок мы иногда приглашали генерала Поливанова, который в частной беседе давал нам возможность ознакомиться с другими сторонами дела и с тем материалом, который, может быть, в официальном обсуждении до нас не дошел бы, так что в нем мы видели полное желание осветить нам все закоулки военного ведомства. Разумеется, Поливанов, как и все мы, относился отрицательно к деятельности военного министра Сухомлинова, но он, как честный служака, против своего шефа никакого похода не вел. Когда же я, убедившись в том, что препятствием к разрешению воен-

ного дела является личность Сухомлинова, повел против него поход, и поход этот вылился в той бурной форме, из которой образовалась так называемая мясоедовская история, Сухомлинов заподозрел Поливанова: выходило так, будто Поливанов мне в походе помогает. А так как он со мной расправиться не мог, то и расправился с Поливановым, донес на него государю, что, дескать, интригует, а главным образом, политически окрашен в младотуреческий цвет. Поливанов был внезапно уволен и оставался не у дел, в тени, кажется, членом государственного совета. Когда очистилась атмосфера у нас на фронте, когда выяснились все обстоятельства войны, все преступления Сухомлинова и необходимость его ухода, тогда некоторые члены совета министров, в котором был председателем Горемыкин, зная Поливанова по прежней работе, настояли на совещании в ставке, чтобы Поливанов был призван опять. Я знаю, что это было встречено очень недоброжелательно, и с большим трудом удалось его вдвинуть в состав правительства; и работа его затруднялась тем обстоятельством, что он был навязан, и я знаю, что отразилось это не только на личных отношениях, но и на самой работе. Почему он в конце концов был уволен? Что подало повод к этому, я не знаю, но основная причина была та, что его считали человеком неблагонадежным в политическом отношении, личностью, не преданной верховной власти, и затем, он относился отрицательно к этим темным силам, которые имели власть и которые последнее время вели против него поход. Затем, я должен еще сказать, что если что-нибудь и было сделано для восстановления материального снабжения нашей армии, то это было сделано при Поливанове, благодаря ему. Если бы не было этого светлого периода в истории нашего военного ведомства, после галицийского разгрома, военная катастрофа разразилась бы, пожалуй, гораздо раньше. Последующие министры, Шуваев и Беляев, уже жили старым жиром; то, что было сделано при Поливанове, тот размах колеса, который был пущен в ход при нем, он, постепенно затихая и замирая, продолжался позднее, и при Шуваеве и при Беляеве, но толчок творческой работе был дан при Поливанове.

Председательствующий. — Еще один частный вопрос Вам не известно, какую роль играл кн. Андроников в деле Поливанова?

Гучков. — Я подробностей не помню, знаю, что он играл довольно решающую роль в падении.

Председательствующий. — То-есть интриговал против Поливанова?

Гучков. — Затем — председатель просил меня сказать еще относительно провокации. Он просил меня дополнить некоторыми объяснениями то, что я могу рассказать о моих сношениях с верховной властью, в бытность мою председателем Государственной Думы, затем просил осветить, в какой мере, в этом случае,

я чувствовал присутствие или помеху со стороны так называемых темных сил. Надо сказать, что все мои доклады, которые приходилось делать государю, происходили, конечно, с глаза-на-глаз. С внешней стороны, они встречали всегда очень внимательное отношение, несмотря на то, что заключали в себе всегда чрезвычайно тягостные элементы. Я поставил себе задачей, когда я шел в председатели Государственной Думы, доводить до сведения государя все то, о чем другие не решаются говорить. Я сказал государю: «Вы меня простите, ваше величество, но я сделал своею специальностью говорить вам только тяжелые вещи. Я знаю, что вы окружены людьми, которые сообщают вам только приятное, так уж сохраните за мной эту монополию говорить вам только неприятное». И надо отдать справедливость, государь довольно терпеливо, не показывая неудовольствия, выслушивал все, что я говорил. Правда, государь никогда окончательного решения не постановлял, и, считая, повидимому, что это только одностороннее освещение, искал связи в освещении с другой стороны. Говорил я раз о том положении, в котором находятся официальные представители власти, о том, как и они бессильны в некоторых вопросах, так как существуют иные влияния, иные течения, которые им мешают. Затем, должен еще сказать, что были у меня некоторые надежды, правда, очень слабые, путем общения с верховной властью, убедить ее представителей и заставить их сделать те или другие шаги. Но и эти надежды, конечно, потерпели полное крушение. И я убедился, что позади государя стоит иная воля и иные влияния, и он сам себе не хозяин.

Председательствующий. — То-есть он возражал или соглашался, а потом не делал?

Гучков. — Либо не возражал, либо соглашался, но из этого потом ничего не выходило. Недостаточно было его убедить, надо было ему самому преодолеть какие-то препятствия, которые стояли сзади; чувствовалось, что он не господин положения. Затем, тут вопрос относительно обстоятельств, происходивших за время войны, — смена разных лиц правительственной власти. Я должен признаться, что мало что могу сказать по этому вопросу. Я был все время на войне, почти разорвал сношения с представителями правительства, потому не знаю, что, кроме общих размышлений, которые вам столь же знакомы, как и мне, я мог бы сообщить вам. Я не думаю, чтобы в смене этих лиц играли роль какие-нибудь серьезные государственные соображения. Это были совершенно случайные влияния, какое-нибудь вмешательство или то обстоятельство, что вмешательство запоздало, что и вызывало ту или другую перемену. Так что я отрицаю, чтобы тут был какой-нибудь определенный план. Были какие-то поиски случайных лиц, устранение негодных и поиски годных, но это не имело в основе своей государственного смысла. Затем — относи-

тельно темных сил. Наш председатель просит меня сказать об этом. Конечно, вся суть была в этих закулисных силах, о которых я уже говорил. Думаю, что эти силы, в сущности, и руководили верховной властью всецело. Я считаю, что верховная власть была в плену у этих сил; что касается их самих, то тут несомненно была целая масса всяких элементов, которые к этому источнику власти, исходящей от престола, присосались и делали свои дела. Я убежден, что всякие темные биржевые акулы тут тоже немалую роль играли. Затем — относительно военной разрухи, — что еще дополнить к тому, что я сказал? То, что я сказал, я бы резюмировал таким образом, что мы вошли в мировой спор чрезвычайно мало подготовленными предшествующей работой. Наша армия за 10 лет, протекшие со времени японской войны, несомненно несколько улучшилась, произошли улучшения в отношении личного состава, за исключением верхов; все это на почве проснувшейся самодеятельности нашего офицерского состава. В отношении командного состава, за исключением верховного, нашей армией было сделано много. Она представляла нечто неизмеримо высшее, нежели то, что мы имели в японскую войну. Затем, в отношении материального, технического снабжения, также были сделаны шаги, и это несомненно. Но в то же время армия не оказалась на высоте современных требований войны. Главную же вину правительства и, в частности, военного ведомства я вижу не в том, что до войны было упущено, а в том, что с момента войны, когда уже вся опасность перед нами разверзлась, не были напряжены все решительно силы. То обстоятельство, что мы целый год, буквально год, первый год войны, потеряли, это и есть самое тяжкое преступление власти. Вот, кажется, все, что я могу сказать.

LXXIV.

ПОКАЗАНИЯ П. Н. МИЛЮКОВА.

4 августа 1917 года.

Содержание: I. Общий очерк политического положения с 1905 по 1912 год: 1) 17 октября 1905 г., 2) 1-ая Государственная Дума, 3) 2-я Государственная Дума, 4) 3-я Государственная Дума. II. 4-я Государственная Дума с 1912 г. по весну 1914 г. III. Военная сессия 4-й Государственной Думы (июль 1914 г. — ноябрь 1915 г.): 1) Однодневная сессия 26 июля 1914 г., 2) Закрытое совещание Думы 25 января 1915 г., 3) Сессия 27—29 января 1915 г., 4) Летняя сессия (июль — август 1915 г.). IV. Междудумье сентябрь — ноябрь 1915 г.

Председатель. — Павел Николаевич, позвольте попросить вас начать ваше объяснение. Его пределы зависят от вас. Тему мы установили в нашей вчерашней беседе.

Милюков. — Позвольте приступить к общему очерку политического положения, создавшегося с 1905 года до 1912 года. А с 1912 года, как мы предположили вчера, я сделаю это изложение несколько подробнее... Насколько я понимаю, основная задача моего доклада заключается в выяснении, прежде всего, того существенного момента, который сделал все политическое положение шатким и постоянно меняющимся, — начиная с того времени, когда Россия получила первое народное представительство. Я считал всегда и теперь считаю, что основной причиной этой шаткости положения была неполнота и неискренность тех уступок, которые мы получили, — с первого же момента, когда народное движение привело к манифесту 17-го октября. Собственно, уже быстрый переход от первой уступки ко второй, от Думы *законосовещательной* к Думе *законодательной*,—сам по себе характеризует некоторую нерешимость уступающих и некоторую вынужденность уступки... Я припоминаю выражение одного лица, имевшего возможность писать бывшему государю, что эти уступки сделаны, как он выразился, «в состоянии лихорадки»... В то время, как вы помните, началась всеобщая забастовка, вел. кн. Николай Николаевич на последнем паровозе сюда при-

ехал, и, видимо, вследствие его настояния, создалось то психологическое настроение, которое и вызвало окончательную уступку... Неполнота и неопределенность этой уступки характеризовались тем, что к ней никогда не мог быть приложен термин, который характеризует *конституционное* устройство. Я помню, когда я указывал на этот неясный пункт — с самого начала еще гр. Витте, когда мы с ним беседовали о возможном составе первого общественного кабинета, а затем — в более позднее время — Столыпину, они всегда мне указывали на то, что, к сожалению, это слово — конституция — не может быть употреблено, потому что оно не соответствует намерению дающего эту уступку... Впрочем, может быть, это отчасти соответствовало несколько славянофильскому настроению гр. Витте, который тоже, повидимому, не имел твердого взгляда на то, чем должна быть ограниченная власть монарха. Меня в этом убеждали те манипуляции, которые гр. Витте проделал над готовым проектом основных законов, который был более строен, более последователен и проводил мысль об ограниченном монархе... Гр. Витте сам высказывал, когда речь шла о военном законодательстве, чем мы ему обязаны в области установления окончательного текста ст. 96. Так что совершенно ясно, что у руководящих людей была мысль, что можно ограничиться минимальной уступкой и, дав Думе законодательную власть, не делать из этого вывода, что власть монарха ограничена... Тогда, отчасти в связи с славянофильскими взглядами гр. Витте, не выяснился и тот общественный слой, на который власть хотела опираться. Витте, очевидно, убедил — и встретился в этом отношении с одинаковым мнением тех сфер, на которые он действовал, — убедил, что поддержку надо искать среди крестьянства, а не среди дворянского сословия. В тексте Петергофского совещания, теперь уже напечатанном, есть определенное указание, что тогда дворяне считались противниками монархии, и один из вел. князей в очень резких выражениях обрушился на графа Бобринского, которому он приписывал единомыслие с Петрункевичем и кн. Долгоруковым, действовавшими против монархии, и напротив — относительно крестьян высказывалась надежда, что они будут опорой власти. Очевидно, это и содействовало изданию избирательного закона 12-го декабря, на основании которого состоялись первые выборы... Это вызвало неясное, неопределенное желание, тогда появившееся в правительственных сферах, — дать широкую социальную реформу, основав аграрную реформу на начале принудительного отчуждения. Именно тогда Витте обращался к Кутлеру и был выработан первый проект принудительного отчуждения. Некоторые остатки этого настроения сохранились еще к тому времени, когда разрешался вопрос — быть или не быть первой Думе. Я помню, в моем разговоре с Треповым, когда я поставил известные требования, без которых счи-

тал невозможным образование кабинета из большинства первой Думы, — Трепов заявил, что он на принудительное отчуждение согласен, что, по его мнению, это царь даст, но с той оговоркой, что он сам издаст манифест об этом... Таким образом, мысль, что можно опираться на крестьян и что дворянство надо откинуть в сторону, как сословие политически ненадежное, — эта мысль существовала даже в это время... Но мысль противоположная вступила с ней в борьбу тотчас же, как только появилась возможная опасность широкой социальной реформы. Дворянские организации возникли очень скоро, вслед за манифестом 17-го октября, сблизились между собой и составили то ядро (я не помню точно, к какой дате относится создание «Совета объединенного дворянства», но приблизительно к этому времени), которое впоследствии было руководящим. Борьба с аграрной реформой началась тогда же. Тогда мнению гр. Витте и Кутлера было противопоставлено мнение противоположное (оно потом и победило), что нужно создать *крестьян-собственников,* и этим покончить с требованием земли. И мы видим, в конце 1905 года и в первой половине 1906 года, победу нового направления *объединенного дворянства* над направлением крестьянско-монархическим. Мне случилось написать биографию гр. Витте для одного энциклопедического издания. По этому поводу я обратился через посредника к гр. Витте, чтобы он дал мне данные о своей деятельности. В числе этих данных было совершенно определенное указание — при каких условиях он ушел от власти. Он обещал государю раньше, что он останется у власти до тех пор, пока, во-первых, не будет заключен заем, который освобождал правительство от зависимости от народных представителей, и, во-вторых, пока не будет возвращена армия в Россию после окончания войны. То и другое он считал приблизительно завершенным к моменту обсуждения и издания основных законов, в апреле 1906 года. Но тут прибавился добавочный момент, мотивировавший его уход, о котором я сообщал и который характерен: по его сведениям, весь план дальнейшей борьбы с Государственной Думой был составлен в момент ее созыва и уже в это время было то совещание, под председательством государя, в котором Горемыкин брался распустить Думу на аграрном вопросе... Так что предвиделось, что аграрный вопрос встанет, что он примет нежелательное для власти направление и что Государственная Дума будет распущена на этом вопросе. Гр. Витте именно этим мотивировал, что он не хотел оставаться при такой постановке, ибо он не брал на себя роспуска Государственной Думы на аграрном вопросе.

Председатель. — Павел Николаевич, я бы хотел несколько углубить этот момент, так как, по ходу своих работ, Комиссия должна уделить этому известное внимание. Вы изволили сказать, что весь план борьбы с Государственной Думой был уже составлен

к моменту ее создания, т.-е. раньше, чем первая Дума начала функционировать, уже был составлен план борьбы с ней и с идеей народного представительства вообще?

Милюков. — Я не решился бы этого сказать, потому что борьба, мне кажется, шла — с этого момента и все дальнейшее время—не столько с идеей народного представительства, сколько с идеей конституции, т.-е. за монархическую власть, каковой народное представительство, понятое в славянофильском смысле, не мешало... Так что это было идейное приспособление народного представительства к сохранению монархической власти в форме самодержавия.

Председатель. — Один материальный признак конечной цели, которою задавалось правительство, вы изволили сейчас определить: это — исключение законодательного признака Государственной Думы и замена его законосовещательным.

Милюков. — Эта мысль проходит красной нитью! В дальнейшем она не всегда была ясна, т.-е. не всегда выдвигалась на первый план, потому что если бы оказалось, что законодательные функции Государственной Думы не противоречат молчаливому соглашению относительно сохранения старых прерогатив власти, то, может быть, вопрос и не пришлось бы выдвигать... Но, несомненно, задняя мысль нашей конституции — pensée ignoble, как я всегда выражался,—заключалась в том, что старая власть сохраняет за собой верховные права даже над законодательной властью. При роспуске 2-й Думы, при издании положения 3-го июня, в органах печати того времени, вы можете проследить эту борьбу двух мнений: одного, которое считает, что законодательная власть исключает возможность правового перерыва Rechtsbruch'a, — что законодательная власть, принадлежащая народному представительству, ограничивает состав верховной власти; и другого, которое полагает, что в исключительных случаях исторические права власти остаются тем же, чем они были, т.-е. над законодательной властью выдвигается понятие высшее, которое является решающим. Эта мысль проводилась совершенно определенно, вплоть до последнего времени... Я вспоминаю, что уже при вступлении на пост министра-председателя Горемыкина, Гурлянд в газете «Россия» выразил такое мнение, что в России законодательная власть принадлежит трем органам, разделена на три части (приблизительно смысл такой), и в том числе — одна треть законодательной власти принадлежит монарху... Он думал, что он этим выражает мнение Горемыкина в тот момент, когда была попытка выдвинуть это направление; но после этого очень скоро — месяца через два — «Россия» была закрыта: такое мнение, что законодательная власть народного представительства и верхней палаты ограничивает власть монарха, уже стало криминальным пунктом!.. Так что это идет красной нитью через всю

историю этих лет — попытка так формулировать законодательную власть, чтобы она не мешала признанию сохранения за верховной властью ее полноты; а в таком случае, если бы она мешала, — попытка превратить ее в законосовещательную, причем в каждый момент ослабления народного представительства всегда ставился на очередь по существу вопрос о законодательной власти.

Председатель. — Такое отношение к Думе и указанный вами план борьбы с ней возникают к тому моменту, когда определяется состав Думы, или еще до того, как стало известно, кто именно войдет в состав Государственной Думы первого созыва?

Милюков.—Разочарование, которое постигло власть в результате выборов, развивалось не сразу: был некоторый промежуток времени, — пока перед властью развертывались последствия закона 12-го декабря. Дело в том, что окончательно развернули картину выборы. Но выборы, это — тоже довольно длительная процедура... Во всяком случае, до открытия, до 27-го апреля, стало совершенно ясно, что на так называемых «сереньких» полагаться нельзя, что они изменят... Так что состав политического настроения 1-й Думы выразился до ее созыва. Даты этих совещаний дворян я сейчас не могу указать, но они упомянуты в моей биографии Витте, в новом издании «Словаря бр. Гранат»...

Председатель. — Пожалуйста, продолжайте.

Милюков. — Я остановился на том, что план борьбы с Думой имелся в виду перед самым ее созывом. Совершенно ясно, что деятельность Думы могла только укрепить его настроение и в то же время дать политическую прочность тем дворянским организациям, которые были уже готовы и которые очень настойчиво действовали, чтобы изменить направление государственной политики. В сущности, уступки дворянским организациям были сделаны задолго до открытия Думы: уход Кутлера был уже такой уступкой... Так что и в этом отношении все, что стояло в резком противоречии с дворянскими интересами, было убрано до созыва Думы... Тем не менее, изложенные мною детали моих разговоров с Треповым показывают, что существовали известные колебания и что правительство окончательного выбора между политикой монархическо-демократической и политикой монархическо-дворянской не сделало до последних дней существования 1-й Думы. Но я думаю, что в этот момент выбор уже был сделан и что подготовка 2-й Думы состоялась уже на этой почве — на почве союза элементов самодержавно-монархических с дворянскими. Это сказывается в ассигновке больших денег правым организациям: они в это время впервые получают возможность очень широко действовать на выборах. Признание в том, какую роль они сыграли на выборах, может быть найдено в их собственных произведениях. В «Собрании статей доктора Дубровина» имеется предисловие, в котором излагается история его ссоры с Пуришкевичем:

насколько я помню, причина ссоры была в том, что они не могли между собой поделить этих денег... Так что там есть и признание в этих деньгах, выданных на выборы, и указание на политическую последовательность той роли, которую они играли... Но, очевидно, при сохранении декабрьского избирательного закона все-таки повлиять на выборы было нельзя, и состав 2-й Думы оказался еще радикальнее 1-й Думы. Тогда борьба правых организаций против Думы приняла другую форму — форму заговора... Вы, может быть, вспоминаете тот черный крест, который появился в газете «Земщина», как сигнал к черносотенцам, — начать кампанию против 2-й Думы?.. Пуришкевич не скрывал, что в его руках большая организация, которая в любой момент может засыпать государя телеграммами определенного содержания. Ко времени конца совещания 2-й Думы, особенно при приближении пасхальных каникул, которые, в представлении правых организаций, были связаны с возможностью расширения деятельности левых партий в стране, правые стали указывать, что депутаты левых партий разъезжаются и готовят агитацию в широком размере... Это, в особенности, ускорило деятельность правых организаций и усилило их настояния на роспуске 2-й Думы. Таким образом, к роспуску Думы этот союз самодержавно-монархических элементов с дворянскими организациями и, прежде всего, с советом объединенного дворянства, стоящим во главе их, совершенно окреп. Столыпин уже является продуктом этого союза. Конечно, Столыпин вносит еще нечто свое... И все-таки такой крутой переворот не мог совершиться сразу! Поэтому Столыпин является, прежде всего, под флагом конституционализма и желания сохранить этот конституционализм, на чем и основывается его союз с Гучковым и с октябристами. Но в то же самое время совершенно ясно, что это лишь декорация — внешнее прикрытие, а существо дела заключается в торжестве интересов дворянских классов и в решимости монархической власти опираться именно на эти интересы... Я помню, когда Столыпин выступил в 3-й Думе со своим заявлением, я сделал темой своей речи сопоставление требований дворянских организаций с поведением правительства и старался по пунктам показать, в чем Столыпин осуществлял их требования и вел их политику... Я сейчас точно не помню содержания этой речи, но в начале 3-й Думы, при выступлении Столыпина, мною была указана эта связь между политикой правительства и закулисной деятельностью дворянских организаций... Главной задачей, которую себе поставили дворянские организации, было несомненно провести то аграрное законодательство, которое в глазах дворян устраняло возможность возвращения к вопросу о принудительном отчуждении земель, т.-е. именно то законодательство Столыпина, которому начало положено еще в промежуток между двумя Думами, потому что перед

созывом второй Думы последовал чрезвычайный законодательный акт в порядке 87 ст.: в нем уже была проведена главная статья, касающаяся крестьянства, и притом с новой—дворянской—постановкой вопроса... Суть классового законодательства 3-й Думы вначале сводилась к осуществлению и расширению в порядке законодательном тех мер, которые были проведены в порядке 87 ст. В этом отношении новая политика имела, несомненно, успех и была поддержана значительным большинством Думы. Что касается договора о конституции, — эта часть проявилась весьма слабо, потому что Столыпин, очевидно, не был уполномочен на это: это был его личный почин, личная надежда — что он может сохранить себя у власти и сохранить некоторую видимость конституции... По мере того, как дворянская политика была проводима, и большинство, которое ее проводило, оказывалось прочным,—по мере этого и услуги Столыпина делались уже ненужными и он терял то политическое значение, которое он имел в момент, когда он принял на себя выполнение этой дворянско-монархической программы. В то же самое время возрастало несколько оппозиционное настроение у одного из элементов этого союза, а именно — у октябристов. Настроение в стране, как ни как, производило на них известное воздействие: после каникул они возвращались в Думу несколько более оппозиционно настроенными... Правда, они в течение сессии обыкновенно смягчали свою оппозиционность, но извне на них известное давление было, и это сказалось в том, что они сделали попытку борьбы на конституционных вопросах: борьба эта разыгралась на вопросах о вооружении. Гучков хотел показать свою силу и силу этого элемента тем, что поставил вопрос о существенном преобразовании морского ведомства, и для того, чтобы принудить правительство произвести это преобразование, захотел впервые воспользоваться бюджетным правом Думы,—не дав ассигновки на постройку новых броненосцев. Эта попытка и была сигналом к новой борьбе между ним и Столыпиным, и это есть начало разрыва этого союза. Конец этого разрыва знаменуется моментом перерыва сессии для проведения внезаконодательным порядком западного земства. Это было сигналом для формального разрыва...

Иванов. — Это трехдневный перерыв?

Милюков. — Да. Таким образом борьба с ассигновкой на броненосцы и отказ Гучкова от председательствования в Думе, — этими двумя датами определяется начало и конец борьбы между бывшими союзниками. Надо сказать, что в некоторых отношениях они исполняли союз честно: они провели крестьянскую реформу в дворянском духе и слепо шли за правительством во всех его националистических начинаниях, так что все финляндские меры, например, — все это прошло единодушно... Но тут — они разошлись. И конец или вторая половина деятельности

3-й Думы знаменуется попытками Столыпина искать себе новых союзников. Собственно, с первого же момента, как только октябристская печать начала ставить какие-нибудь требования или напоминать о том, что необходимо сохранять основные законы, действовать в смысле конституционном, — с этого же момента правительственные органы начали говорить, что в таком случае «мы без вас обойдемся, обопремся на националистов!» Этот поворот, эта попытка искания нового большинства обозначались уже в последней сессии 3-й Государственной Думы. Таким образом, сложилась обстановка, при которой происходили выборы в 4-ю Думу: искание *нового большинства*. Все те члены Думы — октябристы, которые оказались строптивыми, которые возражали правительству по поводу ассигновки на обыкновенные надобности и другие, — все они были заподозрены и под тем или другим предлогом удалены от участия в выборах: например, Юрий Глебов был оставлен за штатом, — и можно назвать целый ряд других имен октябристов... С другой стороны, правительство решило искать союзников в лице *националистов*. Надо сказать, что поиски эти начались несколько раньше того момента, о котором я говорю. Сперва правительство хотело из наличных элементов Думы составить более надежную группу, чем октябристы, отделив от крайних правых более умеренные элементы и соединив их с правым центром националистов. Так как крайние правые целиком зависели от правительства, то это удалось довольно легко: более непримиримые остались в стороне, а большая часть оказалась умеренно-правыми... Но все-таки эта политика не дала большинства, и продолжением ее являются выборы в 4-ю Думу. К этому времени относится выделение еще одной группы, которая должна была принять на себя миссию, не удавшуюся Гучкову, — именно группы, которая назвала себя «группой центра», с Крупенским во главе. Гр. Бобринский является помощником и союзником в этой комбинации. Опору для Думы в этот раз искали в новой общественной группе — в духовенстве. Состоялся союз министерства внутренних дел с Саблером, в результате которого намечено было 150 мест для священников. Против этого последовала довольно энергичная газетная кампания. Саблер был разоблачен, и это, повидимому, подействовало на заместителя Столыпина — Коковцова. Были даны какие-то распоряжения сократить количество священников, и их число было намечено то же самое, как и в 3-й Думе. Этот заказ был исполнен аккуратнейшим образом: прошло то самое число, которое было намечено. Вообще, выборы в 4-ю Думу были несомненно аранжированы в широком масштабе... Мы, войдя в 4-ю Думу, внесли запросы, представляющие собой громадную толстую тетрадь, в которой были сведены все правонарушения, превосходящие всякую меру... Здесь не только были использованы все лазейки избирательного

закона, но даже не церемонились с самым избирательным законом! В нашем запросе подробно указано: нарушение свободы выборов во всех стадиях, начиная с подготовительной; затем — кассирование выборщиков, после их избрания; кассирование депутатов... Словом, через всю избирательную процедуру идет целый ряд злоупотреблений. Однако, результат не соответствовал ожиданиям: большинства, на которое рассчитывали, не оказалось. Оппозиция, которую всеми мерами старались истребить, оказалась даже в несколько большей численности, чем это предполагалось... Таким образом, план правительства был разрушен. В чем он состоял, — прямых сведений я не имею; но в то время говорили очень определенно, что план этот состоял в создании такого большинства, которое само ходатайствовало бы о превращении Думы из законодательной в *законосовещательную*. Это совершенно определенно тогда говорилось... Может быть, некоторые следы того, что говорилось, можно отыскать в первых заявлениях выступивших в ответ Коковцову ораторов: гр. Бобринского и Пуришкевича, которые неожиданно сошлись на одной программе. Первоначальная редакция самого заявления Коковцова была, повидимому, построена тоже под лад этим заявлениям... Словом, в этой части заседания можно и теперь видеть следы неудавшейся попытки... Так как неудача выяснилась даже раньше, чем открылась Дума, и так как затем в Думе оппозиция выступила с заявлением, а к оппозиции присоединились октябристы, и Родзянко заговорил о конституции после своего избрания в председатели, то Коковцову пришлось сделать некоторые перемены, и в заявление, рассчитанное на соглашение с так называемым «центром» (в котором верховодили Крупенский и Бобринский), внесли изменения, соответственные изменившемуся положению... Таким образом, неудача выборов в 4-ю Думу отсрочивает план, который очевидно был намечен. Коковцов, видимо, не был человеком, который мог бы выполнить этот план: он всегда отгораживался от ответственности и от солидарности с тем, что делало министерство внутренних дел, и старался себя свести к прежней своей специальности — к финансам. Он очень заботливо и брезгливо сторонился ответственности за внутреннюю политику... Мы, конечно, все время указывали на неизбежность его солидарности с товарищами, и, следовательно, на его ответственность. Вероятно, это обстоятельство и повело, в конце концов, к уходу Коковцова и к появлению на его месте Горемыкина, который начинает довольно открытую борьбу, если не за уничтожение основных законов, то за их ограничительное толкование...

Председатель. Можно вас просить подытожить ваше мнение: что именно послужило основанием к уходу Коковцова? Я бы хотел рельефнее запечатлеть это место вашего изложения...

Милюков. — Подробностей этой отставки я не припомню сейчас... Но помню, что тут была известная демагогия, которая выразилась в первых приказах Барка: ведь, указ об отмене винной монополии был введен после ухода Коковцова...

Председатель. — Мой вопрос касается ухода Коковцова...

Милюков. — Я и хочу сказать, что тут была известная демагогия, которая руководилась темными элементами. В этом уходе Коковцова и назначении Барка, сколько помню, сыграли роль эти темные силы...

Гримм. — Тогда в государственном совете происходили прения по вопросу о трезвости.

Милюков. — Я помню, что Барк явился в Думу с этой трезвостью и на этом развивал демагогические мотивы. Как я помню, в назначении Барка Распутин сыграл какую-то роль.

Иванов. — В котором году это было?

Милюков. — Это было 30-го января 1914 года... Теперь я вспоминаю точно все обстоятельства. — Дело в том, что к этому времени общественное настроение значительно возрастает: неудача правительственной комбинации, отсутствие в Думе центра, наличность двух сильных флангов — правого и левого — все это сказывается на поднятии политической температуры в Думе, и уже в первую сессию начинается борьба. В первую сессию Коковцов еще идет на некоторые внешние уступки. Я уже упомянул, что Родзянко потребовал конституции. Коковцов включил несколько пунктов, в которых говорилось, что надо бороться с отсутствием закона, с беззаконием в стране, — он внес эти фразы... На этом держалась некоторая иллюзия, что Коковцов идет навстречу центру Думы. Затем Коковцов уклонился от двух финляндских проектов, которые были внесены в первую сессию 4-й Думы. Он вел себя двусмысленно: хотя он боролся против них в совете министров, но и тут вынужден был нести за них ответственность. И проведение этих законов все-таки бросило на него тень. Так что к концу первой сессии Думы сложилось довольно обостренное отношение к Коковцову. Поэтому я и говорю, что и его уход, а затем и демагогическая программа Барка имели в виду удовлетворить, с одной стороны, деревню, а с другой — и придворные кружки и общественное настроение... В то же самое время заместителем Коковцова явился Горемыкин, который был назначен, кажется, совершенно неожиданно. Вторая сессия 4-й Думы была очень бесцветная, одна из самых бесцветных... В первую сессию мы внесли ряд проектов о свободах, что подняло несколько настроение и показало, что Дума занимается такими вопросами. После этого было быстрое падение интересов Думы, измельчание ее повестки. В это время проходили, кажется, прогрессистские проекты: о сенате, об ответственности должностных лиц, — проекты, более приемлемые для большинства, но политического содер-

жания эта половина сессии не имела... К началу второй половины этой сессии, которая открылась 30-го января 1914 года, произошла перемена власти, очень обострившая отношения, потому что Горемыкин сразу начал поход, и один за другим последовал ряд нападений на самые основные начала наших парламентских работ. Теперь я припоминаю: в марте или апреле шла эта борьба с Горемыкиным... Во-первых, он отказался отвечать на один из наших запросов (я не припомню, какой это был запрос, — какой-то мелкий)... Он заявил (сейчас я не помню, как он мотивировал), что он не должен отвечать на запрос, обращенный к нему, как к председателю совета министров, что совет министров есть совещание, учрежденное при государе. Он выдвинул неприемлемую для нас точку зрения: поставил совет министров в тень государя, под ширму, и заявил, что не должен отвечать... Это было первое столкновение. Второе столкновение явилось вторжением в нашу законодательную инициативу. Барон Таубе заявил от имени правительства, что в случае, если правительство согласилось бы само проводить закон, внесенный в силу прав думской инициативы, то Государственная Дума этим уже лишается права создать свою комиссию... Мы всегда толковали иначе: мы толковали, что если мы на эту точку зрения станем, то правительство затормозит нашу законодательную инициативу. Оно будет соглашаться, но ничего не будет делать для исполнения своих обещаний... Какой проект был на очереди — я не помню, кажется, о женских учебных заведениях, проект неважный, но заявление Таубе очень взволновало всю Думу, и тут, помню, выступили: Капнист, Бобринский, и все очень единодушно отбросили эту попытку вторгнуться в нашу законодательную инициативу... Наконец, третье, что нас особенно взволновало, это — вмешательство в неприкосновенность депутатской речи: это было привлечение Чхеидзе по 129 ст., которое вызвало с нашей стороны немедленное требование, чтобы был поставлен на повестку законопроект о неприкосновенности депутатской речи. Он был внесен и вызвал бюджетную борьбу: мы решили приступить к бюджету лишь после того, как Дума проведет закон о неприкосновенности депутатской свободы слова. Это впервые сплотило Думу на бюджетной борьбе, и мы нашли такое большинство, которое шло с нами на неутверждение бюджета не только деловое, но и демонстративно-политическое: я помню несколько таких драматических заседаний, когда октябристы обретали слова, до тех пор им непривычные... Эта сессия была открытой борьбой, вызванной Горемыкиным и его нападением на те права, которые мы считали установленными долгой практикой. Он всегда выдвигал ограничительное толкование и с этим совпадало его первоначальное заявление, что он будет соблюдать наши отношения на строгом основании закона... Затем тут произошло еще несколько событий,

которые тоже показали, что Горемыкин вмешивается в наши законодательные и бюджетные права. Председатель совета министров изменил титул одного из наших законов, что мы считали явным нарушением наших законодательных прав. Затем произошла еще следующая история с нашим бюджетным законом. Мы ввели так называемую «поправку Годнева», по которой ведомствам запрещалось расходовать суммы дробными частями. Обыкновенно было так: чтобы избегнуть запрещения расходовать выше такой-то суммы, они расходовали дробными частями по несколько раз, и таким образом в сумме получалась цифра, которую они не могли расходовать. И фактически это происходило... Так вот, эта поправка Годнева вводила запрещение расходовать частями. Эта поправка была введена в мотивирующую часть закона о росписи. Государственный совет отделил закон о росписи (т.-е. цифровую часть) от закона который заключал в себе мотивирующую поправку Годнева. Последовала ожесточенная борьба, которая закончилась уже после роспуска Государственной Думы, и Дума, как таковая, уже реагировать не могла... Это был последний момент дореволюционной борьбы. Кончилось тем, что после роспуска Думы государственный совет провел вместо одного бюджетного закона, два закона, т.-е. отделил заголовок от цифры... А это мы считали недопустимым: мы считали, что в силу этого падает закон... Кажется, что все это мелочи, частности, — но это глубоко врезывается в существо законодательных бюджетных прав Думы!.. И мы всегда, во всех этих случаях рассматривали претензии правительства, как прямое нарушение наших законодательных бюджетных прав... Вторая сессия закончилась, таким образом, ярким и резким диссонансом: с одной стороны — нашей борьбой против Горемыкина; с другой стороны— этим проведением закона о росписи, который должен был вызвать реакцию в следующей сессии Думы. В тот же период входит и наша борьба с Маклаковым... Я забыл, — когда он стал министром?

Председатель. — С 16-го декабря 1912 года.

Милюков. — Значит, он вошел в министерство после начала деятельности 4-й Думы... С ним мы вели борьбу, которая тоже имела отношение к принципиальному вопросу — о правах Думы. Маклаков с самого начала публично заявил, что он был всегда и останется членом «союза русского народа», и поставил себя прямо под удар. Он очень резко повел эту борьбу... Это была параллельная линия с Горемыкинской линией. Мне приходилось выступать против Маклакова (это, вероятно, была вторая сессия), когда он пробовал определить отношения совета министров и отдельных министров к Думе. Я помню, что он воспользовался целым рядом выражений, которые я считал себя в праве сопоставить с актом 6-го августа, т.-е. законом о законосовещатель-

ной Думе; я доказывал, что он возвращается к терминологии законосовещательной Думы... Он так ставил вопрос: что в сущности Дума делит свою власть не с государем, а с министрами, — и все время так трактовал правительство и Думу, что это два координированные органа, над которыми стоит монарх... Я точных выражений не помню, но помню, что я развивал все эти тезисы в речи, которую произнес по поводу его декларации, — по смете министерства внутренних дел... Теперь я перейду к военным сессиям Думы...

Председатель. — Вы не могли бы подробнее остановиться на борьбе с Маклаковым, которая около пасхального перерыва в 1914 году, т.-е. между 28-го марта и 15-го апреля, едва не повлекла за собой отставку Маклакова? По крайней мере, из наших документов видно, что он обращался с соответствующим письмом... Он считал, что при этих условиях он не может остаться у власти; и произошла лишь отсрочка: как вы помните, он ушел 5-го июля.

Милюков. — Это имеет отношение к военным сессиям, и я к этому эпизоду вернусь, когда до него дойду. Действительно, сложилась такая обстановка, которая вызвала его уход...

Председатель. — Сейчас мы сделаем небольшой перерыв...

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА.

Председатель. — Пожалуйста, Павел Николаевич, продолжайте ваш рассказ.

Милюков. — Я закончил периодом до войны, — теперь начну прямо с военных сессий Государственной Думы, значит, с 26 июля... Как известно, несмотря на разницу во взглядах на внешнюю политику и на способы борьбы во внутренней политике, — мы, при начале войны, совершенно определенно стали на точку зрения *поддержки правительства* и именно таким образом реагировали в заседании 26-го июля, создавши атмосферу *общего единодушия*. Нельзя сказать, чтобы мы рассчитывали, что и правительство станет на нашу точку зрения: мы просто давали ему возможность объединить все классы и национальности. Но очень скоро после этого заседания стали обнаруживаться разногласия... Я не буду останавливаться на самом вопросе о войне: я на нем остановлюсь подробно, когда буду говорить о внешней политике, а сейчас мы будем говорить о Думе. Заседанием 26-го июля, собственно, и кончилась сессия Думы, так что она была *однодневная*. Надо сказать, что, собравшись до этого заседания за день или за два, мы с удивлением узнали, что правительство хочет распустить Думу до ноября следующего года: это был проект Маклакова... Конечно, это привело совет старейшин в чрезвычайное волнение: в момент, когда мы демонстрируем единение,

оказывается, что правительство настолько не доверяет народному представительству, что хочет даже нарушить основные законы!.. Ибо, по основным законам, раз в год, для учреждения бюджета, Дума должна собираться, и, если она с 26-го июля до ноября не была бы собрана, мы считали бы это нарушением основных законов. В виду этого, в совете старейшин решили немедленно сделать заявление министру-председателю. Он, под разными предлогами, отклонил встречу с нами, и мы, представители всех фракций, отправились к Кривошеину. Я помню, что мы с Хвостовым ехали на это свидание на одном извозчике и были двумя первыми ораторами, заявившими Кривошеину, что нельзя прерывать сессию Думы на такой большой срок, что этим подрывается в корне то настроение единодушия, которое создалось, и что совершенно необходимо назначить более близкий срок...

Председатель. — Это было уже после заседания Думы?

Милюков. — Нет, это было 24-го или 25-го июля, за день или за два перед этим заседанием.

Председатель. — Но правительству тогда уже стало известно отношение Думы к моменту? Решая не созывать Думу до ноября следующего года, правительство знало отношение думских кругов к нему и к вопросу о войне?

Милюков. — Правительство до последней минуты опасалось отношения Думы и к войне и к нему. Хотя и видно было, что к этому идет: был ряд выступлений оппозиционных групп, настроение печати было такое, но правительство было так тревожно и опасливо настроено, что оно не вполне доверяло тому настроению, которое уже сказывалось в оппозиционных органах. Во всяком случае, этому, очевидно, не верил Маклаков. Кривошеин же ясно представлял себе, как это мы видели из разговоров с ним, действительное положение...

Председатель. — Маклаков не верил или не хотел верить — это остается уже на его совести...

Милюков. — Да, конечно!.. Затем Кривошеин, действительно, доложил о нашем заявлении совету министров, и мы узнали, что решили отложить *не позднее* февраля... Здесь впервые является эта формула «не позднее» — такое неопределенное обозначение... Собственно говоря, мы имели возможность наблюдать за ходом дел правительства и раньше этого времени, так как в бюджетной комиссии перед нами проходили все представители ведомств. Я припоминаю, что тогда уже нам стало известно, что Маклаков (говорили, что и Щегловитов) составили записку государю, в которой выражали определенный взгляд на необходимость скорейшего окончания войны и примирения с Германией, указывая на политическое значение дружбы с ней и на политическую опасность сближения с нашими союзниками после войны... Такие сведения у нас были относительно записки Маклакова, и говорили, что она подписана

и Щегловитовым... Потом я встречал опровержение этому: говорили, что записка принадлежит не Маклакову. Я сейчас вспомнил об этом потому, что я в заседании бюджетной комиссии, когда рассматривалась смета иностранных дел, поставил Сазонову об этом прямой вопрос, в присутствии Щегловитова и Маклакова, и встретил затрудненный ответ Сазонова — что он по этому поводу ничего не знает, а со стороны Маклакова и Щегловитова — только смущенные улыбки...

Председатель. — Это было когда?

Милюков. — Я дату не могу сказать, но это день — когда обсуждалась смета министерства иностранных дел в бюджетной комиссии... Сведения о моем вопросе попали в газеты; хотя и в сокращенном виде, в виде намека, но их все-таки можно найти в газетах... Затем, в конце января, бюджетная комиссия возобновила свои заседания после перерыва, и к этому же времени относится первая встреча с правительством уже при измененном настроении... Тогда впервые приехали наши товарищи с фронта, сообщившие нам, что на фронте неблагополучно, что у армии нет снарядов, — одним словом, тогда впервые начали для нас обнаруживаться недостатки подготовки армии. В то же время выяснилось и продолжение Маклаковской внутренней политики, т.-е. политики подозрения по отношению к населению страны и враждебного отношения к народностям, и затем политика преследования печати. Все это настолько определенно настроило общественное мнение против Маклакова, что, я помню, мы устроили закрытое совещание с представителями правительства — если не ошибаюсь — 25-го января 1915 года. В этом закрытом заседании мы высказали в целом ряде заявлений то, что имели против правительства. Мы думали, что время для внесения этих речей в открытое заседание еще не наступило, ибо считались с необходимостью поддерживать внешний вид мира с правительством... Но мы все-таки хотели переговорить с ним на чистоту в этом закрытом заседании, и я помню, что тогда пришлось говорить мне и Шингареву, главным образом, нам двоим: о внутренней политике Маклакова говорил Шингарев, я же указывал на его отношение к цензуре, к народностям, к вопросу о Галиции, об евреях, о поляках.. Тогда же я поставил требование, чтобы правительство внесло в Думу законопроект об автономии Польши, и закончил указанием на то, что мы приветствуем назначение графа Игнатьева... Мы хотели, чтобы обновление правительства пошло и дальше и чтобы прежде всего ушел Маклаков. Конечно, такое требование не вызвало особенно дружелюбного отношения, и его ответ последовал в очень раздраженной форме... Горемыкин отделался общими фразами, но все-таки обещал внести проект об автономии Польши. Сухомлинов на этом заседании оптимистически изобразил положение, — заявив, что все благополучно,

что все предусмотрено, что мы неправильно представляем себе положение... С очень резкой репликой обратился к нему в этом заседании даже Пуришкевич, который приехал с фронта и видел действительное положение. До выступлений относительно этого в открытом заседании, имевшем место в феврале, мы здесь, в закрытом заседании, говорили, что Сухомлинов обманул Государственную Думу... Сессия Государственной Думы открылась, если не ошибаюсь, 27-го января, значит через два дня после этого заседания. Эта сессия открылась уже несколько при ином настроении, чем первая. Мы заявили, что поддерживаем наше прежнее отношение к войне и не вступаем в борьбу с правительством, но подчеркнули, что правительство, с своей стороны, этого перемирия не соблюдает и пользуется нашим перемирием, чтобы укрепить свою позицию во внутренней политике. Мы сделали это очень осторожно, не вдаваясь в полемику. Сессия продолжалась, если я не ошибаюсь, всего два-три дня...

Председатель. — Она была закрыта 29-го января... Некоторые члены комиссии просят задать вам вопрос: имеются ли стенограммы закрытого заседания и ваших объяснений с правительством в январе 1915 года?

Милюков. — Увы! Стенограмм нет... Я по памяти записал то, что говорили. В наших партийных отчетах есть общее изложение, но стенограмм нет.

Иванов. — И протокола нет?

Милюков. — Ничего нет.

Председатель. — Чем объясняется отсутствие стенограмм: ведь это было заседание Государственной Думы?

Милюков. — Это было частное совещание.

Председатель. — Но пленума Думы?

Милюков. — Это было частное совещание членов Думы. Мы нарочно выбрали эту форму, чтобы не стеснять ни самих себя, ни министров в их объяснениях. Протокола не было. Потом об этом жалели, и это заседание было поводом к тому, что мы сказали, что мы таких заседаний больше не хотим. А когда правительство предлагало нам такие заседания, — мы не соглашались...

Председатель. — Вы не можете остановиться подробнее на роли Маклакова в этом заседании?

Милюков. — Он был очень груб и резок. Он, главным образом, рассердился на Шингарева, который очень ярко, в целом ряде конкретных иллюстраций, изобразил внутреннюю политику министерства. Я не помню точных выражений, — возможно, что Шингарев их помнит... Затем Маклаков обрушился также и на меня. Я помню, что в его речи не было ни одного удовлетворительного ответа, и все это были ответы резко отрицательные, враждебные... Он коснулся вопроса о цензуре и вопроса об отношении к народностям, которые я поднял... Точных выражений я вспомнить не

могу, но, может быть, при содействии Шингарева и других участников вспомню. Я долго помнил эти конкретные выражения; может быть, они где-нибудь у меня записаны.

Председатель. — А у вас нет партийной записи ваших речей и речей других ораторов?

Милюков. — Нет.

Председатель. — Горемыкин присутствовал?

Милюков. — Да, и ответил очень несложно после речи Шингарева, сказав всего несколько слов... Речь Маклакова произвела отвратительное впечатление не только на нас, но и на присутствовавших министров. Путем частных записок произошло сношение через председателя Думы с Горемыкиным: ему объяснили, что получилась неприятная картина и что он должен что-нибудь сказать... В результате этих сношений, путем записок, он сказал несколько слов: какую-то примирительную фразу, что он примет это все во внимание; а в ответ на мое требование об автономии Польши он сказал, что проект будет внесен. Это единственный пункт, на который он ответил в положительном смысле. Этим его участие и ограничилось...

Председатель. — Кто еще из министров был на этом заседании?

Милюков. — Был Кривошеин, и я помню, что он был очень шокирован... Вероятно, был морской министр Григорович. Министры так часто менялись, что трудно восстановить, кто был тогда...

Председатель (наводит справку). — Я могу вам сказать, кто тогда был: Горемыкин, Харитонов, Маклаков, Щегловитов, Сухомлинов, Григорович, Сазонов, Барк.

Иванов. — А кто присутствовал из видных членов Государственной Думы?

Милюков. — Очень многие были. Это было довольно обширное собрание: полуциркульный зал Думы был весь полон...

Председатель. — Если вы уже кончили характеристику этого закрытого заседания, то мы, быть может, вернемся к сессии 27—29 января 1915 года. Позвольте вам поставить вопрос, чем объясняется, что эта сессия была такая короткая, — желанием самой Думы или желанием правительства?

Милюков. — В тот момент мы еще не настаивали на длительных сессиях; мы стали настаивать на этом после. Что первая сессия была однодневная, — мы в этом не находили ничего дурного. Но эта вторая сессия, несомненно, разочаровала своей кратковременностью общественное мнение. Мы тогда не очень еще настаивали на ее длительности, потому что это был первый момент нашего расхождения с правительством и мы еще старались сохранить внешний вид мирных отношений; но для следующей сессии мы уже поставили наши требования.

Иванов. — Не говорил ли Горемыкин, что дело войны Думы не касается, что это дело — фронтовых и военных властей?

Милюков. — В этом заседании — не помню, чтобы он это говорил, он произнес только несколько фраз. . .

Председатель. — Несмотря на краткость сессии, бюджет был принят Государственной Думой?

Милюков. — Да. . . Затем началось поступление все более и более ужасающих сведений с фронта. . . В январе мы имели только первые сведения от некоторых товарищей, которые были на фронте (Демидов привез грозные сведения, затем Пуришкевич). А тут эти сведения стали поступать уже в массе и стали известны не только нашему кружку, но и обществу. . . Так что настроение сгущалось, и уже нельзя было скрывать отрицательных сторон положения армии. Я помню, что именно тогда и был поставлен в Думе вопрос о возобновлении сессии, именно — в мае, когда председатель Думы вернулся с Галицийского фронта и рассказал общую картину отступления. . . Тогда мы решили серьезно требовать скорейшего возобновления сессии Думы, и притом *длительной* сессии. . . В мае же мне пришлось готовить доклад для ближайшей конференции партии «Народной свободы», в которой был намечен первый проект той программы, которой мы хотели наполнить ближайшую Думскую сессию. . . Совета старейшин не было; был только «Комитет помощи раненым», состоявший из небольшого числа членов Думы. И в этом комитете, в конце мая, был поставлен вопрос о скорейшем созыве Думы. Затем мы просили председателя выписать всех членов Думы, и в первую неделю июня они приехали. . . В этот момент происходила конференция партии к.-д. (между 6 и 8 июня), и мы здесь выработали список тех неотложных вопросов внутреннего законодательства, которые должны были быть поставлены на рассмотрение сессии, — так что мы составили план будущей сессии Думы. С этим предложением мы вошли и в совет старейшин. В совете старейшин дело тянулось довольно долго, потому что председатель Думы вошел в переговоры с Горемыкиным, и Горемыкин очень уклончиво ставил вопрос о возобновлении сессии Думы. . . Я теперь точно не восстановлю всех дат, но мне кажется, что на эти переговоры ушла вся вторая половина июня, — словом, дело тянулось до тех пор, пока собрались все члены Думы и когда у нас вместо комитета помощи раненым открылся формальный *сениорен-конвент*. Тогда мы вплотную поставили наше требование о созыве Государственной Думы на определенной длительной программе ее деятельности. . . Горемыкин уклонился и от указания времени созыва и в особенности от того, чтобы эта сессия была длительная. Из его переговоров с председателем для нас стало ясно, что если даже сессия откроется, он хотел бы оттянуть объяснения правительства, поставив вперед комиссионную думскую работу. . . Мы

против этого возражали: мы хотели, чтобы сессия открылась обменом объяснений между правительством и Думой. И в конце концов мы на этом настояли. Относительно назначения срока тут была довольно длительная борьба. Родзянке не удалось получить от Горемыкина определенных обещаний, — сессия была неопределенно намечена... Не помню точно момента, когда Горемыкин получил санкцию царя — назначить сессию *не позднее августа:* это было ответом на наши настояния. Нам этот срок казался слишком неопределенным и отдаленным, и мы настаивали на его приближении. В связи с решением совета старейшин, была отправлена депутация к Горемыкину, в которой участвовал и я, и мне было поручено вести переговоры с Горемыкиным. Горемыкин держался буквальных выражений того указа, которым ему было разрешено собрать Думу не позднее августа, и доказывал, что он не может собрать ее раньше, чем правительство проведет через совет министров те законопроекты, которые оно должно, в силу царского указания, внести в эту сессию Государственной Думы. Таким образом он выдвигал этот предлог — необходимость обсудить в правительстве ряд законопроектов для внесения в Думу, — как повод для отсрочки сессии. Мы настаивали, наоборот, чтобы сессия открылась немедленно, указывая на то, что законопроекты могут быть внесены впоследствии, и на состояние общественного мнения, которое требует немедленного созыва Думы. После долгих настояний, Горемыкин несколько уступил и определил день созыва Думы — 19 июля. Кажется, указ был опубликован за 10 дней — 9 июля. Таким образом, наши настояния отчасти увенчались успехом. Когда, в интимных разговорах с Родзянкой и с нами, его спрашивали, почему он не хочет созвать Думу немедленно, — он делал намеки, что при настоящем положении общественного мнения созыву должно предшествовать изменение обстоятельств... Под этим «изменением обстоятельств» он разумел обновление кабинета, потому что понимал, что с Маклаковым и Щегловитовым мы мирно встретиться не можем: было совершенно ясно, что будет конфликт очень острый... И он действительно воспользовался этой отсрочкой до 19 июля, чтобы начать перемены в кабинете: кажется, в первой половине июля был внезапно для самого себя удален Маклаков; за ним последовал Саблер; потом, позже, Щегловитов и кто-то еще из одиозных министров...

Председатель. — Сухомлинов.

Милюков. — Да, конечно, Сухомлинов: мы настаивали на его удалении и на предании его суду...

Председатель. — Павел Николаевич, хотелось бы остановиться несколько подробнее на истории удовлетворения требований или пожеланий Думы, в отношении смены лиц, в отношении перехода портфелей от тех лиц, которых вы назвали, к другим?

Милюков. — Я должен сказать, что эта сторона дела сохранялась в глубоком секрете — и от нас, и от председателя Государственной Думы... Насколько секретно это было обставлено, что только из косвенного выражения, что «надо изменить обстоятельства», и из неофициального пояснения, данного Родзянке, что́ именно это означает, — мы могли заключить, что речь идет о перемене состава правительства... Когда я об этом заявил в совете старейшин, то те, которые не имели даже таких сведений, очень энергично на меня напали. Я предложил выждать неделю, пока эта перемена состоится. Более левые группы — «прогрессисты» — боролись против меня, требуя каких-то немедленных шагов, при чем неизвестно было, в чем эти шаги могли выразиться, помимо того, что уже было сделано... «Прогрессистами», впрочем, предполагалось обращение к царю... Но с.-д. и трудовики не хотели такого обращения. Чувствовалось, что что-то нужно сделать, но не знали: что?.. Я предложил выждать неделю, пока кончатся эти перемены. Таким образом, смена министров произошла без ближайшей связи с членами Думы и без ближайших сношений с ними. В январе, как я вам сказал, я требовал отставки Маклакова, а также Сухомлинова — после того, как он нас в Думе обманул...

Председатель. — А Щегловитова?

Милюков. — Щегловитов был объектом давнишних нападений.

Председатель. — Вам известно, что в недрах самого совета министров происходила борьба двух групп? Во главе группы лиц, желавших опираться на общественное мнение, стоял Кривошеин, и эта смена министров была, собственно, его победой над Горемыкиным?

Милюков. — Мы знали об этой борьбе еще в июле 1914 года, когда обращались к Кривошеину. Но ближайшие перипетии этой борьбы мы все-таки не знали...

Председатель. — Итак, мы дошли до летней сессии — 19-го июля...

Милюков. — Эта сессия началась при измененном составе правительства. Но этот состав нас все-таки не удовлетворял: вместо Маклакова — кн. Щербатов, вместо Саблера — Самарин, вместо Щегловитова — Хвостов, вместо Сухомлинова — Поливанов. Поливанов единственно нас удовлетворял, потому что он выдвигался, как популярная личность. Таким образом, сессия 19 июля открылась при условиях, не очень благоприятных для правительства. Правда, оно убрало главных наших противников, так что наш удар, заранее заготовленный, как бы направлялся в пространство... Но было ясно, что перемена не принципиальная, не настолько существенная, чтобы изменить общее положение, — так что сессия 19-го июля вышла определенно-оппозиционная... Мы заявили наше требование, чтобы правительство заня-

лось целым рядом внутренних вопросов. Затем, к этому же времени относится первое заявление о необходимости составления такого правительства, которое пользовалось бы *доверием страны и законодательных учреждений.* Мы остановились на этой формуле, как наиболее обобщающей и объединяющей всех... «Прогрессисты» и более левые требовали нашей прежней формулы — «ответственного министерства», которую мы отказались внести, считая, что на ней мы не объединим всех. Выдвинутая нами формула «министерства доверия» за несколько месяцев стала общепринятой: она была принята и на общем собрании Государственной Думы и в московской городской думе, — словом, эта была общая тогдашняя платформа... В связи с этой формулой начинается как будто и некоторая диференциация в Думе: появление ядра в виде *прогрессивного блока.* Очень резко против длительной сессии высказались правые: они прямо заявили, что им некогда, что дела их зовут в деревню, а менее осторожные даже намекали, что сессия будет недлительная, что правительство этому воспротивится... В связи с тем, что правые получили, повидимому, такие сведения, находилось явление их быстрого разъезда. В ближайшие же дни, по созыве Думы, их разъезд принял такие размеры, что мы потребовали от председателя Думы, чтоб он его остановил и пустил в печать списки уехавших... Таким образом, со стороны правительства было желание скорее прекратить эту сессию; мы же настаивали на том, чтобы скрепилось большинство, которое бы положило в основу своей работы длительную программу внутренних реформ. На этой почве состоялось первое сближение элементов, составивших *блок* — без крайних правых и без крайних левых, которые хотели ввести в эту программу, кроме тех пунктов, которые мы ввели, также и принципиальные законопроекты, внесенные нами еще в начале четвертой Думы, но очевидно в этой комбинации не проходившие... Я не могу точно указать даты, но именно на почве выделения центра состоялись между нами первые переговоры о создании *блока* и частные совещания, которые положили начало *блоку*... Я думаю, что это было уже в августе или же в самом конце июля... Было несколько совещаний с сочувствовавшими нам представителями государственного совета, в результате которых и там выдвинулась группа, готовая итти вместе с нами. Этими представителями государственного совета были граф Олсуфьев и некоторые другие, которые подчеркнули, что общей программы внутренних реформ недостаточно, что нужно прямое требование создания *сильной власти,* с указанием на условия, при которых власть может быть сильной, т.-е. с возвращением к нашему же «министерству доверия», и с указанием нежелательных сторон внутренней политики: борьба с национальностями, преследование печати, сословное разъединение вместо объединения... Из этих двух элементов

нашей программы — требования актуальных изменений основных черт внутренней политики и создания *кабинета доверия* — и составилась та платформа, которая в целом ряде заседаний обсуждалась между нами и представителями государственного совета, нам сочувствовавшими. Должен сказать, что первые же признаки появления в Думе прогрессивного большинства с такой программой и такими целями — чрезвычайно обеспокоили правых!.. Мы еще не успели закончить наших переговоров, как стали говорить — в противоположность прогрессивному блоку — о «черном блоке», указывая на государственный совет, как на седалище этого черного блока... Из членов Думы некоторые уже вошли в сношение с этой группой государственного совета... Помню, в первое же наше совещание, на квартире Родзянки, Балашов и Чихачев пришли с другого заседания, иначе ставившего вопрос, чем мы... Этим определилась дифференциация нашего «блока» и того «черного блока», о котором говорила печать. Балашов и Чихачев пробовали противопоставить нашему блоку проект информационного бюро между верхней палатой и правыми группами нижней палаты, но это не выгорело и привело только к тому, что произошел раскол среди «националистов»: часть откололась к ним, другая часть пошла за нами... Таким образом образовался *прогрессивный блок* Государственной Думы. Надо сказать, что, может быть, первая мысль о нем исходила из министерских кругов... Кривошеин все время был на чеку и думал, что все же настанет его время, когда он будет премьером, и считал необходимым опираться на большинство в палатах... Так что, может быть, самая попытка первоначальных переговоров была вызвана этим... Посредничество принял на себя Крупенский, который всегда являлся маклером в таких случаях. В первом же заседании, когда заговорили о желательном премьере, имя Кривошеина упоминалось теми, кто маклерствовал за него; но скоро для этих маклеров выяснилось, что «прогрессивный блок» не то орудие, которое они хотят создать: рядом с именем Кривошеина выдвигались и другие имена — некоторые называли Гучкова, другие называли Хвостова... Так что было ясно, что «блок» не орудие, а новая сила, которая вырвется, сделается самостоятельной и будет жить своей собственной жизнью... Тогда беспокойство, по поводу появления «прогрессивного блока», еще более усилилось, и вторую половину августа шла уже, так сказать, формальная борьба, в которой часть министров продолжала опираться на «блок», а другая часть и сам Горемыкин решились принять крутые меры.. Горемыкин пробовал было парализовать блоковое объединение тем, что пригласил к себе правые элементы «блока» на совещание, — кажется, это было 15 августа. Но наши товарищи, примыкавшие к «блоку», заявили ему, что уже поздно, что существует большинство, которое отнюдь не намерено входить с ним в пере-

говоры!.. Мы сделали такое постановление, чтобы не входить в переговоры с Горемыкиным, информировали его о содержании нашей программы и высказали, что мы с ним в переговоры на почве этой программы входить не намереваемся... Тогда последовала вторая попытка с их стороны — установить modus vivendi с «блоком»: именно, состоялось заседание у Харитонова, на котором были представители «блока» и сочувствовавшие «блоку» и на котором было подчеркнуто, что цель собрания — информационная... По пунктам была разобрана программа «блока», при чем Харитонов заявил, что о *министерстве доверия* они говорить не уполномочены и что он просит нашего разрешения доложить об этом государю. По всем пунктам нашей платформы последовал обмен мнений. Во многих случаях они находили наши пункты приемлемыми; в других случаях находили мало практичными и мало существенными; но, в целом, создавалась такая почва, на которой часть министров могла ухватиться за программу «блока»... Харитонов на другой день сделал доклад в этом смысле в совете министров, подчеркивая, что относительно *министерства доверия* надо обратиться к высочайшему усмотрению, потому что, очевидно, в данном составе министерство намеченной программы исполнить не может... Формулировали так: программа исполнима, но не для этого состава министров, и к государю надо обратиться относительно «министерства доверия»... Таким образом, более прогрессивный элемент министерства на этом хотел построить переход к новому «министерству доверия», прежде всего — без Горемыкина... Горемыкин почувствовал опасность, и сейчас же после этого заседания, 29-го августа (заседание было, кажется, 27-го августа), уехал в ставку, не сговорясь с другими министрами, — совершенно экстренно... Но они, конечно догадались, в чем дело. Из ставки он вернулся с готовым проектом роспуска Думы. Нам об этом стало известно в конце августа, а роспуск Думы был намечен на 3 сентября... Надо прибавить, что параллельно с разговорами о «блоке» и переговорами «блока» с правительством тут шла еще другая линия. В первое же заседание, в котором мы вели переговоры о «блоке», стало известно, что государь хочет получить командование над армией, и это вызвало большую панику в среде некоторых из наших товарищей, близких к правительству, и в нашей собственной среде. Мы находили, что занятием такого поста, на котором государь не может быть ответственным лицом, он подвергает опасности себя и страну... Некоторые из нас решили употребить самые решительные меры, чтобы отсоветовать государю брать на себя такой пост. Это настроение отразилось и в совете министров, и через министров передали царю записку, в которой категорически возражали против принятия им поста верховного главнокомандующего. При этом министр иностранных дел, морской

и военный, хотя и не присоединились к этой записке, считая себя, по самому существу своих постов, вне объединенного кабинета,— но разделяли мнение кабинета... Это важно отметить потому, что впоследствии, когда началось гонение на «блок» и на сочувствовавших ему членов министерства, пострадали прежде всего подписавшие это письмо, — так что тут, как будто, кроме политических мотивов, был мотив личный...

Иванов. — Как правые в Думе относились к этому?

Милюков. — В первое время их настроение было не совсем ясно, — кроме слухов о «черном блоке»; но затем появились признаки такой же оживленной деятельности, какую мы видели в 1905 году... «Совет объединенного дворянства», который понемногу успокаивался и засыпал, по мере того, как аграрная, политическая и социальная программы его осуществлялись, — тут встрепенулся! Это стало известно в печати через протоколы заседаний «совета объединенного дворянства» — от июля, от августа и от одного из следующих месяцев... По этим протоколам можно ясно видеть растущую тревогу. Из первого июльского протокола можно видеть общее чувство беспокойства, по поводу того, что в обществе — возбуждение, что поднимаются такие вопросы, как вопрос об «ответственном министерстве», т.-е. об изменении самих основ существующего строя... В августовском проколе это беспокойство уже фиксируется, — ставятся определенные цели. «Блок» в эти дни обсуждал свою программу и начал свое существование. Дума, с одной стороны, и союзы — земский и городской — с другой стороны, считались проводниками этой идеи об «ответственном министерстве». В самом деле, резолюции съездов в Москве шли параллельно с образованием «блока», и то политическое настроение, которое вызвало к жизни блок, перекидывалось из Петрограда в Москву и из Москвы в Петроград... Параллельно происходили совещания на квартире Коновалова: происходили заседания, реферированные в газетах, из которых видно, что та же мысль одновременно проводилась и в Москве и Петрограде, и что «прогрессивный блок» явился продуктом общего соглашения... Затем, когда создался этот «прогрессивный блок», наступила третья стадия беспокойства, которое уже фиксировалось не только на Думе и на съездах, но на «прогрессивном блоке» в особенности... Тогда раздались вопли, что правые должны соединиться, сорганизоваться и повторить историю 1905 года!.. Пробуждение «совета объединенного дворянства» сопровождалось расцветом правых организаций, которые, можно сказать, полуразложились за это время... Я помню, я сам незадолго до этого был в Астрахани, и мне показали в захолустье, на задворках, очень скромное помещение «союза русского народа», с его тамошними деятелями — Тихоновичем Савицким... Потом, все это как-то сразу расцвело!.. На Волге получались

приказы Римского-Корсакова и других, требовавшие, чтобы с мест реагировали телеграммами... Назначен был съезд в Саратове на один из осенних месяцев — сентябрь или октябрь; и затем начались оттуда телеграммы с требованием сильного правительства и назначения «настоящего» министра внутренних дел, при чем в этих телеграммах уже намечался А. Н. Хвостов... Вот та обстановка, которая подготовила полный перелом во внутренней политике. Значит, вместо примирения Думы с министрами, попытка которого была сделана Горемыкиным к открытию сессии 19-го июля, — мы видим полный крах этих министров и крушение попыток примирения с «блоком». «Блок» объявляется революционным, земский и городской союзы — явно неблагонадежными, и начинается против них преследование. А министры — один за другим — летят... Последовала отставка, во-первых, кн. Щербатова и Самарина, — это две ближайшие. Из восьми подписавших письмо только Поливанов ушел, кажется, уже в следующем году. Затем, в ноябре был съезд «союза русского народа», под председательством Щегловитова, и знаменитая речь о том, что сейчас акт 17 октября есть «потерянная грамота», а вместо нее надо вспомнить грамоту об избрании на царство Михаила Федоровича: другими словами — здесь провозглашалась откровенная реакция с откровенным выставлением лозунгов законосовещательной Думы. В эту полосу попала и отсрочка Государственной Думы, которая намечена была сперва на ноябрь, затем, под совершенно небывалым предлогом и с полным игнорированием установившейся практики, Государственная Дума была отложена до того момента, пока кончится бюджетная работа... Бюджетная комиссия собиралась, как всегда: шли обычные занятия. Она всегда кончала свою работу к моменту, когда рассматривался бюджет в Государственной Думе, т.-е. к марту, апрелю или маю, — но не раньше... А тут от нее потребовали окончания работ прежде, чем будет созвана Государственная Дума! При этом мотив был совершенно ясен (он, кажется, имелся в самом указе): что если бюджетной работы не будет, то Думе нечем будет заняться, и она займется политикой...

Председатель. — Павел Николаевич, на этом мы сегодня кончим.

LXXV.

ПОКАЗАНИЯ П. Н. МИЛЮКОВА.

7 августа 1917 года.

Содержание: Характеристика конца 1915 года. Черный блок государственного совета и общественное раздражение. Два течения — черносотенное, направленное к ликвидации Думы, и течение большинства Думы, стоявшей на позиции блока. Борьба между ними и падение Горемыкина. Штюрмер. Созыв Думы без определения срока. Приезд бывш. царя в Думу в день возобновления ее сессии, 9 февраля 1916 г. Закрытое заседание Думы 7 марта. Поездка думской делегации за границу. Роспуск Думы с 20 июня до 1 ноября. Острое отношение правительства к Думе при обострении общественных элементов. Роль Протопопова во время заграничной поездки. Речь Милюкова в первом заседании открывшейся 1 ноября сессии Думы. О тайных переговорах правительства с Германией. Увольнение Штюрмера и назначение Трепова. Перерыв сессии с 10 по 19 ноября. События в Думе в 1915—1916 г. Катастрофический характер борьбы Думы с правительством. Стихийное движение 25 февраля 1917 г. Роспуск Думы. Совещание членов Думы Выбор временного комитета. Дни переворота. Реакционные элементы.

Председатель. — Павел Николаевич. Вы остановились в своем объяснении прошлый раз на лете.

Милюков. — Нет, я дошел до поздней осени 1915 года, после августа и сентября, я довел до конца, до роспуска Думы и говорил о том черносотенном настроении, которое явилось в результате. Я, кажется, говорил о ноябрьском съезде черносотенном под председательством Щегловитова и об его речи о потерянной грамоте. Значит я подошел к самому концу 1915 года, к моменту, когда намеченное ноябрьское заседание Думы было отложено вследствие выдвинутого мотива, что бюджетная комиссия не окончит своих работ. Конец этого года можно характеризовать двумя фактами. Во-первых, растущим напором оживившихся черносотенных организаций в союзе с черным блоком государственного совета, то, что называлось черным блоком. Я тогда отметил параллельно нашему прогрессивному блоку. Очевидно это движение возымело некоторые надежды на успех. Это высказывалось неосторожным

поступком Щегловитова, который, вероятно, не выступал бы так открыто с заявлением, что манифест 17-го октября есть потерянная грамота, что необходимо вернуться ко временам Михаила Федоровича, если бы он не рассчитывал таким образом восстановить себя. Но параллельно с этим росло и общественное раздражение. Отсрочка занятий Государственной Думы под предлогом тем, что бюджетная комиссия не окончит своих работ, которая в это время заседала. Это вызвало двоякого рода реакцию; с одной стороны, более решительное течение рекомендовало вообще не считаться с этими планами, игнорировать их совершенно, и более умеренное, к которому потом примкнуло большинство, — оно настаивало на том, чтобы отнять от правительства этот предлог, чтобы показать стране, что это только предлог неокончания работ бюджетной комиссии, и поэтому форсировать эти работы, чтобы в возможно ближайший промежуток времени правительство осталось бы без этого мотива. Ведь в самом указе или в обращении к Родзянко было указано, что он должен был доложить царю, когда бюджетная комиссия окончит свои занятия, и момент доклада царю считался моментом, когда можно возобновить занятия, чтобы Государственная Дума была созвана. Эти работы бюджетные были спешно закончены. Я думаю, они были спешно закончены к обыкновенному каникулярному времени, т.-е. ко второй половине декабря. Родзянко должен был иметь доклад, и, кажется, имел его в конце декабря у государя, с тем чтобы настаивать на немедленном созыве Думы. Вместе с тем, кажется, к этому времени, к концу декабря, относится письмо Родзянки к Горемыкину, в котором он настоятельно требовал, чтобы Горемыкин покинул свой пост. Собственно заявление этого рода Горемыкин выслушал от одного из членов прогрессивного блока Шульгина, который заявил ему: «Ваше высокопревосходительство, надо уходить». Так что Горемыкину было ясно отношение к нему большинства Думы, а затем оно было подкреплено и в этом письме председателя, которое пошло ходить в копиях и стало довольно широко известно. Я не знаю, чем объясняется, что из этих двух течений — течения черносотенного, которое направлено было очевидно к ликвидации Государственной Думы, и течения большинства самой Думы, которая стояла на позициии блока, почему в конце концов победило второе, а не первое. Борьба между ними шла очевидно до того момента, когда Горемыкин на этой борьбе свалился, т.-е. до второй половины января. Борьба эта была решена приездом царя 18 января в Царское Село, куда тогда выезжал Горемыкин. Ликвидация Горемыкина была решена, очевидно, раньше этого момента, потому что за несколько дней до приезда царя состоялась беседа митрополита Питирима с Родзянкой. И раньше этой беседы, Питирим, который ездил в Киев и оттуда вернувшись с известными директивами, которые он хотел

провести через Родзянко, беседовал с ним. Суть этой беседы Родзянки с Питиримом заключалась, во-первых, в том, что Питирим настаивал и желал стать в дружеские отношения к Государственной Думе и сообщил ему по секрету, что Горемыкин будет ликвидирован и Штюрмер будет назначен. Это вызвало со стороны председателя Государственной Думы резкую реакцию против Штюрмера, как ставленника Распутинской компании, но Питирим сообщил ему, что это решение состоялось. Повидимому, ликвидация состоялась на этом основании к Государственной Думе, потому что в десятых числах января стало уже известно, что Горемыкин хочет, если нельзя не собрать Думу, то собрать ее на кратчайший срок. Он предполагал сперва на 5 дней собрать ее, и собрать только для проведения бюджета. Было, однако, совершенно ясно, что этот план неисполним, потому что можно было не собирать Думу, но, собравши Думу, ограничивать ее только бюджетом — это было очевидно немыслимо. Государственная Дума, во всяком случае, занялась бы прежде бюджета общеполитическими вопросами, тем более, что по нашему наказу полагается известный срок, кажется 7-дневный, до выслушания бюджета после того, как он роздан. Это было и формально и фактически немыслимо. Затем Горемыкин знал отношение к нему Думы, знал, что при встрече с Думой будет открытый и резкий конфликт, который скажется в тоне заявлений Государственной Думы. Таким образом, создавалось невозможное положение, из которого выход был найден не в том, чтобы не собирать Думу или чтобы собрать ее только для бюджета на пять дней, а для того, чтобы ликвидировать Горемыкина. Закулисную сторону этой ликвидации я не знаю, но решение очевидно состоялось именно на этом, т.-е. на том, чтобы не согласились с его предложением собрать Думу на короткий срок для проведения бюджета. Стало быть, естественно позиция его преемника была — созыв Думы на более продолжительный срок. Мы настаивали на программе блока и, стало быть, на продолжительности сессии, в которую, кроме бюджета, входило бы законодательство по тем внутренним вопросам, которые намечены были в нашей блоковой программе. Значит позиция Штюрмера была та, что Дума не будет собрана без определения срока и не для одного только бюджета. Повидимому, им казалось, что победа над Горемыкиным в этом пункте есть достаточное доказательство благожелательного отношения к Думе, и на этой почве в ближайшие дни после назначения Штюрмера и после увольнения Горемыкина состоялся целый ряд попыток Штюрмера и близких к нему людей как-нибудь наладить отношение к Государственной Думе, как-нибудь подготовить Думу к более или менее мирной встрече. Тогда обращались к разным членам Государственной Думы. Между прочим, обратился и ко мне прежний наш товарищ по Государственной Думе, а тогда товарищ министра внутренних дел, князь Вол-

конский, и просил меня поехать к товарищу председателя Думы Варун-Секрету, у которого я застал А. Н. Хвостова и целое совещание. Совещание это состоялось для специальной цели выяснить, как относится так называемый лидер блока к встрече Думы с правительством. Мне было сказано А. Н. Хвостовым, что самый вопрос о созыве Думы еще не решен, это было, вероятно, не верно, я так и понимал, это был, так сказать, тактический прием, и что вопрос этот будет решен только тогда, когда выяснится, будет ли Дума говорить о Распутине или не будет. Я был чрезвычайно удивлен такой постановкой дела и сказал ему, что мне кажется это странно. Ведь известно, на чем Дума оборвалась. Она оборвалась на прогрессивном блоке и на программе этого блока, которая касается не только законодательства, но и определенного состава министерства, пользующегося доверием страны. Следовательно, вот о чем надо говорить, а не о личных вопросах. Мы и начнем с того места, где мы кончили нашу беседу. Они спрашивали, нет ли возможности войти в более близкие отношения. Выставлялся тогда проект раута, который должен был устроить новый председатель совета министров. Но на это я сказал, что при нашем отношении к Штюрмеру, которого мы не считаем лицом, пользующимся доверием, раут при сложившихся обстоятельствах совершенно невозможен, что я, напротив, могу сказать твердо, что ни я, ни моя фракция в таком рауте участвовать не будут. Они делали попытки напомнить, что мы участвовали в рауте Горемыкина. Я обратил внимание, что между тем моментом, когда было вступление Горемыкина, в конце января 1915 года, и этим моментом прошел целый год, в который отношения правительства к Государственной Думе совершенно определились по отношению не только к оппозиции, но и к большинству Думы, и новых отношений к правительству не может быть, пока оно не выскажется по поводу капитальных вопросов, как оно относится к требованию большинства Государственной Думы. Они пробовали уговорить меня, что Штюрмер лицо неопределившееся, что он человек новый в этом деле, что политики он не знает, может быть, от приема дружественного зависит его отношение к Думе и блоку. Так что, не предрешая этого отношения, лучше было бы не обливать его холодной водой и дать ему некоторый аванс. На это я отвечал, что положение слишком остро, чтобы нам не высказаться совершенно определенно, что напрасны были бы его попытки искать свидания на рауте, что первая встреча его будет в Государственной Думе в первый день, и тогда он узнает наши желания и наше отношение. Таким образом, на этом кончилась наша беседа. После этого Штюрмер виделся с Родзянко. Не знаю точно содержания этого разговора, говорил ли он там о Распутине, но я знаю, что он говорил с некоторыми другими депутатами, кажется, вызывался Годнев, и с ним была беседа тоже через доверенных лиц.

Затем, уже после этих переговоров относительно Распутина, я сказал, что я ставлю вопрос принципиально, а не лично. Я на отдельных лиц нападать не буду, но это не значит, что о Распутине говорить не буду. Так оно и вышло, — кто-то из депутатов говорил о Распутине и очень остро. После этих переговоров состоялся указ о созыве Государственной Думы, при чем, так как времени ушло на переговоры много и срок 5-го февраля был слишком близкий, не успели бы вызвать членов Думы, то по взаимному соглашению действительно был намечен срок 9-го февраля. Они старались потом делать из этого вывод, что председатель Думы согласился и Дума согласна на срок 9-го февраля, т.-е., значит, по взаимному согласию. Но мы подчеркивали, что это не есть согласие, не есть выбор срока, есть только технические соображения о ближайшем возможном сроке, после того как они начали с нами переговоры, что это нисколько не снимает с очереди вопрос о запоздании Думы. Вообще политическая обстановка при созыве, ее характер, ее значение было подчеркнуто тем, что одновременно с указом о созыве Думы ушел Харитонов, т.-е. продолжалась ликвидация восьми подписавших письмо государю и считавшихся с этих пор обреченными на ликвидацию.

Иванов. — Это письмо по поводу назначения государя верховным главнокомандующим?

Милюков. — Вообще надо сказать, что назначение государя и его удаление из Петрограда очень заметно отразилось на всем ходе политической жизни конца года. С этих пор выдвигается Александра Федоровна, начинаются доклады министров у нее, и является этот новый тон назначений уже не политических, а личных, так что выдвигается вперед вся эта закулисная сторона личных влияний этих проходимцев при дворе, начинается открытая вакханалия торговли должностями.

Председатель. — Если вы закончили эту часть ваших объяснений, то позвольте просить вас остановиться несколько на перерыве, который, повидимому, уже окончился, судя по вашему рассказу, и попросить вас разъяснить некоторые обстоятельства. В проекте указа к правительствующему сенату о созыве Государственной Думы и государственного совета, спроектированном еще Горемыкиным, не в пример предшествующему в этом отношении порядку, говорится, что Дума и государственный совет созываются для рассмотрения проекта государственной росписи доходов и расходов на 1916 год, т.-е. как бы определяется этим круг занятий, предмет занятий Государственной Думы и, с другой стороны, в проекте указа о созыве Думы говорится, что продолжительность занятий совета и Думы, повидимому, в связи с этими задачами, которые ими ставятся, эта продолжительность определяется сроком не позднее 5 марта 1916 года, т.-е. на месяц. Вот,

в связи с этими особенностями мертвого текста, не можете ли вы привести нечто живое?

Милюков. — Текст связан с тем, что я излагал, — с желанием Горемыкина, если вообще созывать Думу, то созвать только для бюджета и на короткий срок. Был проект месячного созыва. Мы это слышали в числе возможностей, но текста этого указа я не знал, и известия о том, в какой обстановке пал Горемыкин, дошли до меня из близких источников. В этой самой беседе и Хвостов, и другие рассказывали, что Горемыкин пал на невозможной постановке созыва Думы и на совершенно ясно выяснившемся положении, при котором он лично не мог быть принят Думой хорошо. Созвать Думу только для бюджета было невозможно, потому что это стояло вразрез с правами Думы и было бы предметом самых резких нападений и может быть даже запроса о нарушении думских прав. Так что это было совершенно невозможно.

Председатель. — Такой проект Горемыкина был, но не известно ли вам, что был соответственный проект Штюрмера? Вообще, по нашим бумагам, к этому перерыву относится наибольшее количество вариантов, которые свидетельствуют, повидимому, о наибольшем количестве колебаний в отношении к Государственной Думе. Имеется и такой вариант, написанный рукой Лодыженского, управляющего делами совета министров: «Повелеваем в соответствии с указом нашим 23-го ноября 1915 года для рассмотрения проекта росписи государственных доходов и расходов на 1916 год (написано, а потом в скобках поставлено), и связанных с росписью законодательных предположений (это вычеркнуто) возобновить заседание Государственной Думы 1-го февраля 1916 года, предопределив в виду чрезвычайных обстоятельств военного времени перерыв ее занятий не позднее 10 февраля 1916 года». Даты тут нет. Позвольте мне для того, чтобы углубить ваше объяснение в этом пункте, огласить перед комиссией и перед вами посланную 22-го января, т.-е., стало быть, после назначения Штюрмера, бумагу, справку по вопросу о возобновлении деятельности законодательных учреждений о том, какие были высказаны в совете министров, в заседании от 22-го января, мнения по этому вопросу. При чем нужно думать, что этот вариант проекта, который я вам огласил, он был послан после 22-го января, когда именно неизвестно: «министр путей сообщения считал соответственным издать немедленно указ о возобновлении занятий законодательных учреждений с обозначением в нем длительной сессии — 10 — 15 дней». Это, повидимому, первое заседание под председательством Штюрмера: «надлежало бы, по мнению егермейстера Трепова, ныне же приступить к подробному обсуждению в совете министров современного положения для выяснения и объединения взглядов членов совета на предстоящие задачи и сущность правительственной политики в связи с исключительными условиями переживаемых

чрезвычайных обстоятельств. Затем постановления общей точки зрения и плана действий войти с членами законодательных учреждений в переговоры для выработки на началах взаимного доверия согласованности деятельности правительства и этих учреждений в организации победы; причем должно быть обещано возобновление нормальной сессии Государственной Думы и совета по достижении такового соглашения. 2) Министры юстиции, финансов и торговли и промышленности находили необходимым отложить обнародование указа о возобновлении деятельности законодательных учреждений, немедленно вступить в переговоры с представителями последних о кратковременности сессий и гарантий с их стороны, что работы названных учреждений будут проходить в условиях, устраняющих возможность возникновения нежелательных осложнений и обострений в отношениях с правительством. Засим, в зависимости от согласия на подобную гарантию, указ о созыве должен воспоследовать без упоминания о длительности сессии, в противном же случае, с обозначением срока предстоящего перерыва занятий. Председатель и прочие члены совета министров: министр военный и морской, иностранных дел, внутренних дел (Хвостов, с которым вы беседовали), народного просвещения и земледелия, а также государственный контролер и обер-прокурор святейшего синода предполагали предпочтительным издать безотлагательно указ о возобновлении занятий законодательных учреждений с 22-го февраля 1916 года и вступить в переговоры с представителями этих учреждений об установлении общего взгляда с правительством на задачи предстоящей сессии, об ограничении последней вопросом о бюджете и непосредственно связанными с войной делами и о перерыве сессии до наступления праздника святой Пасхи; в виду необходимости при оживлении военных действий устранить неизбежные, сопряженные с давлением общественным в работе законодательных учреждений осложнения . . . . . деятельность главных начальников исполнительных ведомств и членов этих учреждений в образованных по закону 17-го и 30-го августа особых совещаниях». Вот эти различные течения в правительстве, как они отразились извне.

Милюков. — Я знал, что есть несколько течений. Мое свидание с Хвостовым, повидимому, происходило в этот самый день, 22-го, я точно не помню, но я должен сказать, что одного в этих разговорах не было. Я все время подчеркивал, что правительство, чтобы определить отношение к себе Думы, должно выяснить свое отношение к блоку, к большинству, к его программе, и Трепов, который, повидимому, сам думал выдвинуться на линию кандидата в премьеры, так и ставил, но та группа, которая вела со мной разговор, оспаривала возможность этого. А. Н. Хвостов находился в личных отношениях со Штюрмером, и Штюрмер весьма мало обращал внимание на личное мнение и на все разговоры,

А. Н. Хвостов говорил, что лично он ангажирован Штюрмером. Он так ставил вопрос, что выходило, будто от меня зависит, будет Дума созвана или нет. Это немного не соответствует тому, что они говорят относительно срока и длительности в зависимости от того, будут ли устранены эти затруднения или нет. Они, несколько утрируя, подчеркивали, что если выяснится, что Дума будет упоминать о Распутине, то тогда она, может быть, совсем не будет созвана; я понимал это, как угрозу. Тогда нас обвиняли в том, что мы хотим говорить как можно больше. Теперь относительно сроков. Сроки менялись. Ведь Хвостов еще в первой половине января говорил в одном интервью, что Дума будет созвана в конце января. Самый отдаленный срок предполагался 22-го, они говорили, что это так называемый прощеный день. Они хотели 22-го созвать Думу, чтобы поменьше заседать. Мне был сообщен этот срок, но я весьма энергично против него восстал и потребовал, чтобы срок был 5-го, как это и было в печати, чтобы срока не изменяли, потому что это вызовет новое неудовольствие в стране. Тогда они пошли на уступку, и Волконский и Хвостов сказали, что срок можно приблизить, но, во всяком случае, не на 5-ое. Мы принуждены были с этим согласиться, что 5-го нельзя было вызвать членов, и назначили 9-ое февраля.

Председатель. — Позвольте напомнить вам соответствующее обстоятельство (ибо это комиссии уже докладывалось) и сообщить к сведению, так как это может иметь значение для дальнейшего изложения, что 23-го января 1916 г. Штюрмером было подписано два проекта указов правительствующему сенату о возобновлении занятий Государственной Думы, при чем он испрашивал себе право проставить сроки такового возобновления впоследствии, в зависимости от обстоятельств, а равно и датировать самые указы одним из дней, накануне их обнародования. 23-го он получил, а 26-го уже нашел нужным проставить соответственные даты.

Милюков. — Самый факт переговоров о сроке они от меня не скрывали, что это зависело от Штюрмера. Они говорили, что всячески воздействовали на Штюрмера, чтобы Штюрмер это сделал. Штюрмер подготовил обстановку, которая смягчила бы этот шок столкновения после полугодового перерыва, когда Дума была разогнана ими на блоке. Тут было ясно, что неизбежен конфликт. Они очень настаивали, и Штюрмер в этом уступил; он, видимо, хотел вначале ограничить сессию и ее компетенцию бюджетом. Так что он принял от Горемыкина готовую постановку, в первую минуту он согласился на эту постановку, а потом, когда ему стали говорить, что это вызовет обострения, тогда он, постепенно уступая, отказался от срока. Так что они были очень удивлены, когда я заявил, что никакие личные встречи, никакие переговоры, никакие визиты и никакие рауты невозможны, потому что суть дела остается невыясненной, и что вообще Штюрмер не то лицо, кото-

рому мы доверяем. Так что проект устройства раута разрушился на этом, хотя в газетах упоминался план первой встречи, в виде раута. Мы указали, что мы не пойдем на рауты, и тогда возник второй проект — проект призыва представителей отдельных фракций, или в виде визита предварительного к ним, или вызова к себе для переговоров. Мы тоже заявил, и это было заявлено в печати, что нельзя беседовать с представителями отдельных фракций, ибо в Думе есть хозяева — большинство. Если они хотят разговаривать, они должны разговаривать с большинством, и, таким образом, исполнилось то, что я хотел, чтобы встреча произошла перед лицом страны—в самой Думе, без всяких таинственных переговоров. Но тут мы натолкнулись на сюрприз, совершенно неожиданный, потому что довольно поздно, кажется, накануне дня созыва Думы — 9-го февраля, стало известно, что царь приедет в Думу. Это, очевидно, тоже был результат действия тех элементов, которые искали сближения и хотели как-нибудь уничтожить возможность острого столкновения с Думой. Это так и было понято, что это аванс и до некоторой степени покаяние за роспуск Думы на блоке. Приехав в Думу, он встречался с тем же блоком и даже члены блока были ему представлены. Однако, надо сказать, что этим фактом—появлением царя в Думе, в сущности, и ограничились уступки, и мы ни на минуту не хотели их переоценивать. Это было осложняющее обстоятельство, которое было явно рассчитано на действие на расстоянии, но которое не изменяло существа положения, создававшегося между министерством, не заслуживающим доверия, и большинством, имеющим свою программу и свои политические требования. Можно было ожидать, что после этого Штюрмер все-таки выступит с каким-нибудь осторожным заявлением, но оказалось, что и этого не было. В сущности говоря, в заявлении его категорически упоминалась фраза об исторических устоях, которые остаются незыблемыми, на которых росло и укреплялось русское государство, фраза сакраментальная — про конституционализм и про самодержавие. Достаточно было этой фразы, чтобы вернуть все наши отношения на позицию, которой держался Горемыкин при своем вступлении, т.-е. опять-таки продолжается его борьба против конституции. По существу я никогда не думал, что позиция может измениться. С внешней стороны, должен сказать, что появление Штюрмера в этом первом заседании произвело впечатление полного провала, — такая невнушительная фигура, несколько менее дряхлая, чем невозможная фигура И. Л. Горемыкина, но все-таки дряхлая, голос слабый, который не может овладеть даже спокойной и молчаливой аудиторией, затем чтение по тетрадке, чисто бюрократические фразы и заявления, словом, впечатление было самое отрицательное, так что его появление перед Думой сразу определило отношение к нему Думы. После этого было уже нетрудно кончить это заседание так, как предполагалось

и раньше,—выступлением от имени всего блока. Мы еще к ноябрьскому предполагавшемуся открытию сессии подготовили заявление от имени блока (это было первое собрание, когда блок фигурировал как таковой), т.-е. от имени большинства Думы давалась политическая оценка положения. Но то заявление не пригодилось, и за некоторое время перед созывом этой сессии — 9-го февраля — мы пересмотрели наше заявление и еще усилили его оппозиционный тон, т.-е. указали на то, что полугодовой несозыв Думы обострил все вопросы и уничтожил возможность какого-нибудь выхода из тяжелого положения, а также указали на то, что требования наши остаются неудовлетворенными, что они существенные и основные, одним словом, подчеркнули, что мы попрежнему стремимся к министерству доверия и что сохраняем все наши прежние позиции. В этот первый день даже еще более определенно высказались в государственном совете Д. Д. Гримм и Меллер-Закомельский, что они примыкают к блоку, к его программе и настаивают на ее выполнении. Когда мне пришлось выступить на следующий день, я говорил, что это не министерство доверия, а что это министерство недоверия к русскому народу. Я упомянул все тайные сношения с черносотенными организациями, о всех телеграммах, которые хотели иметь Хвостова министром внутренних дел, и указал на отношения страны, что страна считает петроградские политические события пятым фронтом. Правительство не уступает или, делая уступки, отступает на вторую линию окопов, т.-е. окапывается в верхней палате — государственном совете. Мы подчеркнули, что считаем такое положение нетерпимым, ибо мы готовились для победы, но теперь считаем всякую победу невозможной, при сохранении старого порядка управления, тут было указано на то, что выхода собственными силами Государственной Думы при таком положении мы не видим, и я окончил пессимистическим заявлением, что ответа от этого правительства я не жду и схожу с кафедры без ответа.

Председатель. — Когда государь посетил Государственную Думу, он сказал какую-нибудь речь?

Милюков. — Да. Сказал речь, довольно бесцветную, довольно благожелательную, и имел некоторый внешний успех. Он прошел в самое заседание Думы, затем его водили по всему помещению, он делал ничтожные по содержанию замечания, так что с внешней стороны это прошло гладко, и больше ничего.

Председатель. — Около этого времени предполагалось, что царь приедет в соединенное заседание особых совещаний. Очевидно нужно было какой-то акт благоволения выразить народному представительству или в форме посещения Думы, или в форме посещения соединенных заседаний особых совещаний?

Милюков. — Этого я не помню. Я помню, что в известный момент деятельности особых совещаний мы поставили вопрос

о том, чтобы царь приехал и принял председательствование, но это было в позднее время, когда положение становилось отчаянным, когда Думы не было. Тогда мы требовали, чтобы царь приехал и принял председательствование, но он отказался приехать.

Председатель. — Позвольте мне огласить один документ, имеющийся в том же деле канцелярии совета министров, за № 230, по делам Государственной Думы. Этот документ представляет собою проект речи, очевидно, несказанной царем. По содержанию этой речи вы изволите увидеть, что она вызвана запросом об отсрочке или о стеснении работ Государственной Думы и государственного совета и пытается оправдать до известной степени эту отсрочку занятостью членов законодательных палат в этих особых совещаниях. Я оглашу его затем, что вы, может быть, вспомните что-либо в дополнение к этому: «Пользуясь присутствием вашим в сегодняшнем соединенном заседании особых совещаний, я желаю ознакомить вас, гг. члены государственного совета и Государственной Думы, со своими взглядами и волею относительно предстоящих вам трудов в ближайшую законодательную сессию. Мною уже преподаны указания председателю совета министров о дне вашего созыва. Указ об этом последует на-днях. При обстоятельствах военного времени, которое мы теперь переживаем, когда все наши помыслы и силы должны быть направлены на борьбу с врагом и окончательное его поражение, нельзя и думать о возможности длительной сессии законодательных учреждений. Необходимость присутствовать в общих собраниях государственного совета и Государственной Думы и участвовать в работах разнообразных их комиссий несомненно помешала бы вам, гг., столь же ревностно продолжать высоко ценимую мною плодотворную деятельность вашу, как членов особых совещаний, при обсуждении насущных в настоящее время для бытия России вопросов по снаряжению нашей доблестной армии, о снабжении продовольствием и топливом и всем необходимым как воинов, так и мирных жителей империи. Правильные работы законодательных учреждений со всесторонним рассмотрением предположений, вносимых правительством или предначертанных по вашему почину, могут происходить только в нормальное время. Ныне, для принятия неотложных законодательных мер, следует избрать путь менее совершенный, но зато более быстрый и скорее достигающий цели, путь, указанный в ст. 87 осн. госуд. законов. Работа же государственного совета и Государственной Думы в предстоящий их призыв должна сосредоточиваться исключительно на обсуждении государственной росписи доходов и расходов на 1916 г., т.-е. на обсуждении таких вопросов, правильное и согласное с пользами и нуждами государства решение которых может быть достигнуто только путем проведения их через законодательные учреждения». Характерно, что они потом массу налогов проводили по 87 ст. (продолжает

читать). «Таково мое убеждение, такова моя воля. Я уверен, гг., что государственный совет и Государственная Дума приложат все усилия к тому, чтобы государственная роспись была представлена на мое утверждение в наикратчайший срок». Повидимому, это или проект, написанный Лодыженским, или проект Гурлянда.

Милюков. — Я вспоминаю, что об этом проекте речи я будто слышал, но она относится, очевидно, ко времени до 26-го января, может быть, даже раньше. Что касается существа этого аргумента — что некогда заниматься законодательством, а лучше заниматься особыми совещаниями — этот аргумент, я помню, употреблялся в совете старейшин правых партий, и мне кажется, что след его остался в декларации Штюрмера. Вообще этот аргумент употреблялся довольно часто, и я впервые вижу, откуда он произошел, но он довольно ходяч. Затем это первое впечатление — встречи со Штюрмером, его декларация, это должно было сгустить настроение в стране и создать настроение полной беспросветности, полной безнадежности. С другой стороны, правительство продолжало удивлять нас эпизодами, которые показывали крайнее понижение морального и интеллектуального уровня новых кандидатов. Здесь конец февраля ознаменовался делом Ржевского, отставкою Белецкого, т.-е. борьбой Хвостова с Белецким, причем каждый из них обращался к прессе, каждый старался информировать прессу, прибавляя, что это делается не для прессы, а по секрету. Мы в точности знали дело этих борющихся кандидатов, которые производили жалкое впечатление полного ничтожества. Это отразилось и на прениях по министерству внутренних дел, которые начались 1-го марта и в которых Аджемов, мой товарищ, характеризовал деятельность Хвостова, как бульварный роман, а не внутреннюю политику. С тех пор это выражение «бульварный роман», стало довольно ходячим в печати. Надо сказать, что одновременно с этим происходит провал Хвостова: 3-го он уходит фактически, а 5-го марта он увольняется формально. Продолжая прения по внешней политике, мы замечаем, что у нас правительство не только дурно, но что у нас правительства совершенно нет, причем на это заявление с мест раздается вопрос: «Распутин?» Так что характеристика положения является совершенно установившейся и низменный уровень этой политики мы уже характеризуем цитатами из Салтыкова помпадурного типа.

Председатель. — Раз вы дошли до начала марта, позвольте огласить документ, который, может быть, вызовет с вашей стороны некоторые комментарии. Этот документ не подписан. Он относится к 25-му февраля и является, повидимому, донесением соглядатаев министра-председателя и министра внутренних дел, которые были над вами поставлены. Вы знаете, что над вами соглядал заведующий министерским павильоном Куманин. Я прошу разрешения Комиссии огласить эти два документа, они датирова-

25-го февраля 1916 года: «В кулуарах и во фракционных собраниях групп прогрессивного блока ходят слухи, что правые фракции государственного совета и Государственной Думы снова стали совещаться при весьма конспиративной обстановке. На этих совещаниях было признано, что нынешнее правительство не отвечает запросам, предъявляемым правыми к государственной власти, и потому решено выставить и проводить кандидатуру на пост председателя совета министров — Танеева и на пост министра внутренних дел — Муратова». Другой документ: «Вчера вечером в квартиру председателя Государственной Думы были приглашены представители фракций, объединившихся в прогрессивный блок. М. В. Родзянко сообщил присутствовавшим, что ему выражено, во время его последней аудиенции, пожелание, чтобы во время синодальних прений были устранены, при помощи всего присущего ему авторитета, речи о безответственности, влияниях и сплетни об отдельных лицах, тем более, что сплетни эти хорошо известны и не имеют под собою того значения, которое придает им столь тревожный характер». Здесь, повидимому, намек на инцидент Белецкого и Хвостова (продолжает читать): «Наоборот, в непродолжительном будущем предположено вообще ликвидировать даже самые поводы, дающие пищу для этих вздорных слухов. Сообщая о полученных им указаниях, Родзянко просил в свою очередь лидеров думского большинства, с одной стороны, употребить свое влияние к тому, чтобы в речах партийных ораторов из состава прогрессивного блока не было нежелательных выступлений, а с другой стороны, ораторов от крайних левых и правых крыльев; применяя всю полноту председательской власти, Родзянко просил вождей прогрессивного блока в случае возможных эксцессов поддержать престиж его председательской власти. Заявление Родзянки было более или менее сочувственно встречено только в правом крыле прогрессивного блока. В центре же и на левом крыле оно было встречено явно недоверчиво, и председателю Государственной Думы было указано, что обещаний и слухов о предстоящей ликвидации «старческих» влияний пускалось в оборот уже не раз и невозможно при столь шатком основании закрывать рот желающим говорить об этой ужасной язве русской жизни. Конечно, такие эксцессы не должны быть терпимы и дискреционное право председателя Государственной Думы прекращать действительные эксцессы, несомненно, встретит поддержку большинства Государственной Думы, но, с другой стороны, эксцессы в пользовании дискреционным правом председательской власти, особенно в приподнятой атмосфере, отражающей коллективную совесть, вряд ли могут рассчитывать на организационную поддержку думского большинства, особенно, если эти эксцессы председательской властью будут явно противоречить сознанию и убеждению подавляющего большинства народных избранников. После этого обмена мнений совещанием

был признан исчерпывающим вопрос, и, как передают, обе стороны остались неудовлетворенными друг другом». Не вспомните ли вы что-нибудь об этом неудовольствии правых правительством, с одной стороны, и о проекте получить вместо Штюрмера — Танеева, а вместо Хвостова — Муратова, а с другой стороны, об этих переговорах, которые с вами вел Родзянко в связи с аудиенцией о «старчестве».

Милюков. — Сейчас я не вспоминаю этого разговора, о Муратове я помню, но о Танееве, не помню, слышал ли я этот разговор. Около этого времени стал известен доклад правых против Игнатьева и точное выражение этого доклада, что деятельность Игнатьева антигосударственна, что он действует по директивам прогрессивного блока. Доклад этот фигурировал еще на нижегородском съезде правых и был представлен Штюрмером, который считался достаточно правым, чтобы ликвидировать Игнатьева. Что касается ликвидации самого Штюрмера, я сейчас этого не помню. Помню, что разговоры были. Вообще разговоров было так много, что если их не записывать, то не вспомнишь. Об этом заседании я не помнил, но когда вы дочитали до конца, то теперь я припоминаю, что какие-то разговоры были. Затем, борьба против прогрессивных элементов, кроме Игнатьева, велась, и даже более успешно, против Поливанова в то же время. У нас 7-го марта состоялось заседание о волнениях на Путиловском заводе. Перед этим разговоры о волнениях фигурировали в нескольких заседаниях особого совещания по обороне, но мы перенесли их в Государственную Думу с согласия Поливанова, который в общем относился сочувственно к нашей точке зрения, что причины забастовки экономические и что, если есть в них политический элемент, то он вызван провокацией полиции, причем даже назвал имена отдельных провокаторов. Я в заседании особого совещания по обороне разбирал расценки Путиловского завода и указывал на причину неудовольствия, что забастовка чисто экономическая, что эти расценки отстали от той дороговизны, которая была. С нами соглашался и Поливанов. Мы перенесли тогда этот спор, в связи с соответственными запросами левых партий, в Государственную Думу, и, несмотря на то, что заседание было закрытое, мы все-таки решили принять бой. Левые не хотели делать этого, но мы развернули нашу аргументацию, и мне пришлось довольно подробно говорить на этом заседании. Там это считалось настолько опасным, что в течение нескольких дней, чуть ли не целой недели, стенографический отчет этого заседания удерживался.

Председатель. — Вы говорите о закрытом заседании Государственной Думы?

Милюков. — Да, это было 7-го марта.

Председатель. — Стенографировался ваш обмен мнений в особых совещаниях?

Милюков. — Там стенограмм не было. Там ведется только журнал, хотя и краткий, но который содержит в себе воспоминания об этих прениях. Они принимали временами довольно страстный характер. Я помню, что представитель морского ведомства выступил с очень резким обвинением против рабочих и старался придать этим забастовкам чисто политический революционный характер, связывая их с требованиями левых партий. Мы говорили, что суть дела не в этом. Наконец, 13-го марта был напечатан отчет, и наша речь и речь Поливанова, а 15-го марта Поливанов был уволен и назначен, к общему недоумению, еще один кандидат ниже уровня и ниже элементарного требования—Шуваев. Я, конечно, не хочу бросать тень на Шуваева, как на личность. Шуваев очень почтенный человек, его деятельность по интендантству всегда вызывала наше сочувствие; он простой человек, прямолинейный, это как раз то, что требуется на том месте, но в качестве военного министра, мне совершенно было ясно, что он совершенно не на месте. Человек слишком элементарных понятий и психологии и с слишком малым знанием. Его председательствование в особом совещании производило жалкое, смехотворное впечатление, полная неспособность следить за сколько-нибудь специальными докладами и резюмировать, полная неспособность руководить прениями, положительная растерянность среди этих прений указывали, что он совершенно не на высоте положения, в которое попал. Тут был только вопрос личных отношений и личного доверия. Параллельно с этим острым развитием событий, после уступок или после первых попыток создать некоторые декорации уступок, события развивались так, что в смысле ликвидации либеральных элементов ход событий шел прямо противоположно требованию блока, выяснилась еще большая невозможность иметь общую почву с правительством, и это отразилось на общественном настроении. К этому времени относятся первые проявления уже совершенно определенного, резко оппозиционного общественного мнения. 27 февраля состоялся съезд военно-промышленного комитета, в котором тогда подчеркивали разницу в тоне и характере телеграмм, посланных царю и великому князю Николаю Николаевичу, который за последнее время пользовался особой благосклонностью и сам очень подчеркивал свое дружественное сочувствие к общественным силам, сорганизовавшимся для работы на оборону. Затем, на этом съезде впервые были проведены, видной струей, демократические элементы, что и отозвалось на резолюции съезда, где уж формула министерства доверия уступила место требованию ответственного министерства. Дальше то же самое развивалось московским съездом земского и городского союзов 12—13 марта. Правда, земский съезд удержался еще в рамках старой условной формулы, она имела то значение, что борьба черносотенных элементов против блока свелась к обвинению, что блок хочет изменить форму правления, так

что требование ответственного министерства ставило блок под открытые удары черносотенной агитации. Поэтому мы и сдерживали большинство от этой формулы и оставались при своей формуле министерства доверия. Ясно было, что переход от министерства доверия к формуле ответственного министерства уже означал совершенно открытый разрыв со всякого рода мирными путями к разрешению вопроса, и на съезде в Москве 12 — 13 марта земский союз выражался в рамках старой парламентской борьбы, но городской союз принял более решительную формулу ответственного министерства, правда, не в виде требования новой формы правления, а в виде требования, обращенного к отдельному составу Думы, что, конечно, и составляло известный оттенок у нас. Одним из аргументов против ответственного министерства был у нас тот аргумент, что не существовало еще большинства, перед которым оно должно быть ответственно, что и требования ответственности слишком пестро и разнообразно определялись разными политическими партиями. Некоторые левые партии, кажется, трудовики, требовали введения предварительного всеобщего избирательного права, и, стало быть, это не относилось к четвертой Думе. А с тех пор, как появилось это большинство — прогрессивный блок, то конституционное возражение отпало: раз есть большинство, может быть и ответственное министерство перед этим большинством. В этом виде и была принята резолюция московского съезда городского союза. Такая усиливавшаяся оппозиция общественников вызвала, в свою очередь, такой же напор правых элементов против общественности. Очень скоро мы узнали, в те же мартовские дни, что существуют новые списки правых о необходимости борьбы с общественными организациями, и даже в связи с появлением этих списков ставили назначение 26-го марта, в качестве товарища министра внутренних дел, гр. Бобринского, Алексея Александровича. Затем, хотя Дума и настояла на том, чтобы сессия была без обозначения срока, тем не менее, правые элементы все время напирали на то, что Дума должна заниматься бюджетом и что раз она затягивает бюджет, а этого затягивания бюджета не было, то значит это был повод для Думы, затягивая бюджет, перескочить за каникулы и сохранять свои правильные сессии. Такие обвинения постоянно слышались. Однако, Государственная Дума не затягивала рассмотрение бюджета, и в конце марта это рассмотрение было закончено, а 5-го апреля состоялся перерыв до 16 мая. Тут наступает и перерыв в моих здешних наблюдениях, потому что с начала года стало известно, что английское правительство приглашает парламентскую делегацию приехать в Англию. К ней присоединились приглашения и Франции и Италии. Был выбран состав делегации, так что мы должны были воспользоваться перерывом, чтобы скоро после начала перерыва поехать за границу. Через неделю, кажется, после перерыва мы отправились через

Швецию и Норвегию в Англию, а потом во Францию и Италию. Оттуда делегация вернулась только почти накануне роспуска Госуд. Думы, сессия которой восстановилась 16-го мая и продолжалась до 20-го июня. Мы вернулись, кажется, 19-го июня, сделали общий доклад, а 20-го июня Думу поспешили распустить. Что ее спешат распустить, было очевидно по моим наблюдениям, но по какой политической комбинации это произошло, этого свидетельствовать не могу. Дума была распущена до 1-го ноября. Теперь, если у вас есть относительно этого периода дополнительные вопросы, то я мог бы ответить. Нужно заметить, что, вернувшись 20-го июня, я должен был через короткий срок ехать опять за границу. Меня пригласили в Оксфорд и затем в Христианию читать лекции, так что я выехал очень скоро, и вернулся уже в сентябре. Эти два перерыва лишают меня возможности давать сведения о том, что здесь происходило. Отчасти это было в связи с Протопоповым. Историю, если хотите, я могу рассказать, насчет поездки за границу.

Председатель. — Прежде всего, позвольте спросить вас, возвратившись, вы постарались себе здесь составить предположение о том, что было без вас. Не можете ли вы объяснить, в связи с какими обстоятельствами жизни, в ваше отсутствие, 1-го июня 1915 г., за несколько дней до роспуска, Штюрмер, председатель совета министров, счел долгом представить к высочайшему его величества подписанию проект двух указов правительствующему сенату о перерыве занятий государственного совета и Государственной Думы: «Испрашивая полномочий проставить как срок таковых перерывов, так и срок предстоящего возобновления занятий государственного совета и Государственной Думы впоследствии, в зависимости от обстоятельств, равно и датировать самый указ одним из дней их обнародования». Из этого вы можете усмотреть, что 20-го июня 1916 г. Дума была распущена не царем, а Штюрмером по уполномочении его царем. Очевидно, мысль Штюрмера о необходимости испросить себе таких полномочий стояла в связи с остротой момента между Государственной Думой и правительством.

Милюков.—Я думаю, что хотя я и не мог следить за этой сессией, я, вернувшись, узнал, что она прошла довольно мирно, даже слишком мирно для такого бурного времени, после того, как выяснилось, что мы с правительством итти не можем. Тогда я употреблял выражение параллелизм действий, единственное, что я мог найти, чтобы охарактеризовать возможный способ не-конфликта, и мы этот параллелизм пустили в ход. Раз Дума существует, то она занимается законодательством, и тут проходили некоторые из наших проектов блока полностью; наконец, городское самоуправление прошло, не знаю, было ли оно полностью, но городская реформа была проведена, частями она прошла, так что сессия затянулась, и это нам стоило довольно больших обвинений. Нам

говорили: в такое время вы занимаетесь законодательством; блок обвиняли и постоянно делались попытки взорвать блок. Мне лично приходилось нести это на себе; я считался автором блока, я вел политику блока и считал, что нужно такое большинство в четвертой Думе. Я убеждал нетерпеливых в том, что мнение большинства отразилось на поведении правительства, и что стоит нам взорвать блок, как правительство получит возможность маневрировать, а сейчас мы прижали его в угол и держим в тупике. Блок дождется чего-нибудь другого, потерпите. Ясное дело, что Государственная Дума не есть инструмент внепарламентской борьбы, но если окажется необходимой внепарламентская борьба, то Государственная Дума будет всегда на месте. Вот была моя аргументация. Более левые были недовольны, что сессия будет спокойна, эта сессия как раз производила впечатление слишком большого спокойствия после бури. Мы считали это просто временным затишьем, но раздражало то обстоятельство, что, резко поставив конфликт с правительством, мы из этого не сделали никаких ближайших выводов. У меня был взгляд, что едва ли могло быть более острое отношение правительства к Думе, при обострении общественных элементов, при том характере отношений, которые у нас существовали в союзе, потому что блок ближайшим образом был связан с земским и городским союзами, и агитация против земского и городского союзов не могла оставлять равнодушной Думу, и поэтому понятно желание ее закрыть. Я должен сказать, что сведение о том, что есть желание закрыть Думу до нашего возвращения, стало нам известно за границей. Родзянко дал знать об этом делегации, и это вызвало с нашей стороны волнение и ответную телеграмму — «задержите Думу, до нашего возвращения», и это, повидимому, и послужило причиной тому, что Дума все-таки дожила до нашего возвращения: приличие было соблюдено. Мы доказывали невозможность того, что парламентская делегация путешествует и вернется, когда Думы не окажется. Делегация должна вернуться и доложить о результате поездки.

Председатель. — Пожалуйста, теперь расскажите нам относительно заграничной поездки, в связи с Протопоповым. Но может быть вы хотите перерыв. Сделаемте перерыв на четверть часа.

ПЕРЕРЫВ.

Милюков. — Вы хотели, чтобы я по отношению к заграничной поездке говорил о роли Протопопова. Протопопов был нам навязан в состав этой экспедиции. Родзянко не поехал, нужно было, чтобы поехал официальный представитель Думы — товарищ председателя Госуд. Думы, случайно попавший в товарищи председателя Думы, просто за отсутствием других кандидатов. Свою неподготовленность к той роли, которая ему предназначалась, — представи-

тельствовать от имени всей экспедиции, — Протопопов обнаружил с первых шагов. Это слишком бытовой тип обанкрутившегося дворянина, к европейской среде он не подходит. Приходилось применять чрезвычайные меры, чтобы его удержать на высоте положения. Надо сказать, что он был довольно послушен, в этом отношении на него жаловаться было нельзя. Обыкновенно, все ответственные выступления он проектировал раньше, и мы вместе проектировали, сообща обсуждали то, что он говорил от имени всех. Но надо сказать, что он был чрезвычайно либерален, даже радикален, и его неожиданный радикализм приводил меня в недоумение. Он давал гораздо больше обещаний, чем мог дать, в качестве октябриста, так как он давал их не только от своего имени, и выходило, что мы гораздо более могущественны, чем были в действительности, и это могло вызвать у иностранцев напрасные иллюзии. Я помню, например, как на обеде у Ротшильда он обещал равноправие евреям. Я подчеркнул, что это от него зависит, мы все за равноправие, но не его фракция, и что во всяком случае, если он присоединяется, то все зависящее от Думы будет сделано. Он тогда все-таки понял, что поставил себя в довольно ответственное положение, и на другой день придумал соответственный выход и говорил, что надо предварительно убедить царя, и тогда Дума даст равноправие. Вот маленький эпизод, который показывает его неосторожность и желание показать больше, чем можно исполнить и невозможность согласовать это с его натуральной позицией. В общем мы на него не жаловались, он несколько поражал иностранцев странностью внешних приемов, своих привычек, слагались анекдоты, но все-таки он вел линию более или менее приличную. Когда мы возвращались, то возвращались тремя партиями. Он попал в последнюю, его просили остаться там на несколько дней, так что я проехал через Стокгольм раньше, и о его похождениях в Стокгольме узнал уже несколькими днями позже того, как он вернулся. Я узнал, что он в кулуарах Думы рассказывает довольно откровенно о своем разговоре с Варбургом о германских предложениях о мире. Я пришел в недоумение и просил его приехать к себе. У меня был Шульгин, и мы втроем устроили совещание. Я говорил, что о таких вещах нельзя говорить откровенно, что это вопрос международный и может вызвать скандал, а раз он заговорил, то пусть скажет нам, в чем дело. Он вытащил записную книжку и передал нам тот разговор, который повторяли довольно часто впоследствии. Вообще Протопопов, это — человек, про которого нельзя сказать, чтобы он сознательно, намеренно говорил неправду, но у него эта Хлестаковская черта имеется. Он органически говорит не так, как было. Мне приходилось его наблюдать в течение одного дня, когда он устанавливал в разных версиях происшедшее, с полной уверенностью, что это верно. Нам он рассказывал, таким образом, что с ним завел переговоры официальный

представитель Германии; я забыл фамилию посланника германского, сейчас вспомню. . .

Председатель. — Фон-Люциус.

Милюков. — Вот, фон-Люциус, и что только случайное обстоятельство, что он повредил себе ногу, не дало ему возможности принять участие в беседе и вместо себя он послал Варбурга. Таким образом, беседа была гораздо более официальна, потому что, в сущности, по дальнейшим сведениям обнаружилось, что фон-Люциус и не собирался с ним видеться, а дальше выяснилось, что аранжировку разговора на эту тему он предоставлял Варбургу. Он втягивал в эту беседу местного нашего посла Неклюдова, но из моих разговоров с Неклюдовым, во время моего позднейшего проезда через Стокгольм, совершенно ясно выяснилось, что Неклюдов узнал post factum об этом событии в общих чертах и не поощрял Протопопова, так что вся беседа получила более случайный характер и политически не важный. Затем, то, что он передал о словах Варбурга, совпадало с тем, что было слышно о возможных предложениях германцев, или маленький вариант его изложения, но по существу некоторые присоединения на западном фронте, вопрос о Литве и Курляндии в смысле присоединения к Германии, судьба Польши определились по взаимному соглашению. Относительно Эльзаса и Лотарингии готовы были сделать уступки, пересмотреть границу Лотарингии, вопрос об Эльзасе отстранялся как не подлежащий обсуждению, затем вопрос о возвращении колоний. Вот примерно общий очерк этих условий. В более позднее время я опять стал придавать большее значение этой встрече, но тогда мне казалось, что это случайный эпизод и что при проезде через Стокгольм он пошел на это, чтобы получить интересное впечатление туриста. Но вернувшись, он сделал из этого вовсе не интересное впечатление туриста, а ступень к своему восхождению, потому что докладывал разговор государю и сделал из него нечто, как бы серьезное предложение, а затем надо сказать, что позднее я узнал, особенно когда сделался министром иностранных дел, что сношения Протопопова с Стокгольмом не кончились, там с Perrin установились регулярные сношения, и я передал Керенскому две шифрованные телеграммы; одна из них большая, другая маленькая, которые, повидимому, имели не последнее значение. Я не знаю, разобран ли шифр, потому что у нас они не могли быть разобраны, и поэтому я их так и передал. Я спрашивал несколько раз А. Ф. Керенского, и он говорил, что кажется тоже не разобрал. Одна большая, другая маленькая.

Председатель. — Через Perrin послана. Кто адресат?

Милюков. — Они были адресованы через министерство.

Председатель. — Будьте добры сказать, что вы знаете о связи Perrin с этим свиданием с Варбургом и т. д.?

*

Милюков. — Этого я не могу сказать, потому что не знаю и судьбы этих телеграмм, не знаю, были ли они расшифрованы.

Председатель. — Это все равно, всякая телеграмма должна быть расшифрована. У нас есть прекрасный специалист.

Иванов. — Да, но где она?

Милюков. — Я просил дать мне расписку в получении телеграмм. Я передал ее Керенскому во время заседания совета министров, в первые дни наших министерств, когда у нас больших формальностей не было, и затем он говорил, что, кажется, передал кому-то для расшифрования, но шифров таких не найдено. Было бы интересно напомнить ему и установить.

Председатель. — Когда вы изволили получить телеграммы?

Милюков. — В министерстве иностранных дел мне передали в числе бумаг.

Председатель. — Телеграммы были адресованы кому?

Милюков. — Они шли обычным путем, через министерство прямо Протопопову.

Председатель. — Который не был министром; как же они попали в министерство иностранных дел?

Милюков. — Не знаю, не могу сказать. Они были написаны особенным шифром, который специально не употреблялся, они прошли через Неклюдова, хотя Неклюдов не знал их содержания, а посланы были Неклюдовым.

Председатель. — Кто отправитель?

Милюков. — Не знаю, не помню.

Председатель. — А город отправки?

Милюков. — Стокгольм.

Председатель. — Вы помните, что на имя Протопопова, а может быть это для контр-разведки?

Милюков. — Нет, нет, они прямо были направлены в министерство иностранных дел.

Председатель. — Они были адресованы в министерство иностранных дел?

Милюков. — Да.

Председатель. — На имя Протопопова?

Милюков. — Да, это было в первые дни министерства, стало быть, в первые дни марта.

Смиттен. — Значит, они должны были итти Штюрмеру?

Милюков. — Очевидно. То-есть нет, Покровскому.

Председатель. — Вы помните, что Протопопову было адресовано?

Милюков. — Иначе я не мог бы знать, что это Протопопову. Адрес не был зашифрован.

Председатель. — Совершенно верно. Вы знаете, мы не знали об этом.

Смиттен. — Копия не могла сохраниться в делопроизводстве министерства?

Милюков. — Нет, копии нет. Я вообще жалею теперь, что не сохранил ее и не провел обычным путем, как исходящие бумаги, но тогда я думал, что это спешно и важно, и я передал Александру Федоровичу не через министерство иностранных дел. Наверно это знают, надо спросить, я не помню, кто мне передал — Татищев или Половцев. Татищев, во всяком случае, должен знать. Обратитесь к нему, он даст вам справку.

Смиттен. — Вы говорите, что они были направлены через Неклюдова?

Милюков. — Мне было сказано, что Неклюдов содержания их не знает.

Председатель. — Эта телеграмма шла телеграфом или почтой?

Милюков. — Телеграфом.

Председатель. — Ну, слушаю, мы расследуем это обстоятельство.

Милюков. — Первая телеграмма был ряд телеграфных бланков, сложенных пачкой; вторая была в один или в два листочка.

Смиттен. — Если Неклюдов подписал первую телеграмму, вы знаете, что она прошла через его руки, значит это для того, чтобы придать гарантии дипломатической переписки и чтобы была обеспечена тайна, следовательно, если Неклюдов пропускал, значит у него должна была остаться копия?

Милюков. — Это не наверно. Не знаю, дал ли он только свое имя или провел ее через свою канцелярию. Эту справку можно навести.

Смиттен. — Другая телеграмма тоже была снабжена подписью Неклюдова?

Милюков. — Относительно другой точно не помню, потому что тут был промежуток.

Гримм. — Вы изволили передать телеграмму Александру Федоровичу Керенскому, в качестве министра юстиции, для расшифровки и привлечения?

Милюков. — Да, я знал, что дело Протопопова идет, и думал, что тут ценный документ.

Председатель. — Ну-с, слушаем.

Милюков. — Сообщение Протопопова, конечно, интересовало меня и с той стороны, что ходили вообще слухи о попытке германцев всеми способами добиться того, чтобы завязать сношения с нашим двором по вопросу о мире. История с Васильчиковой предшествовала этому и произвела известный шум, и мое внимание было направлено теперь в этом направлении, и когда Протопопов, взяв это из случайного эпизода, сказал, что будет говорить царю, я испугался и думал, что как бы это предложение не было принято серьезно, и убеждал Протопопова не приписывать особого

значения и смотреть на это, как на случайный эпизод туриста, и в этой форме изложить. Потом я убедился, что он сделал как раз обратное, придал этому очень большое значение и на этом выиграл во мнении государя. Нужно сказать, что самое назначение Протопопова произошло довольно неожиданно для всех и всех крайне удивило. Насколько я знаю, он говорил с Родзянкой и вызвал у Родзянки довольно энергичную, отрицательную реакцию. Я лично, помню, встретил его в Государственной Думе на заседании бюджетной комиссии и тоже выразил ему изумление по поводу его назначения и спросил его, как он на это смотрит политически, может ли он оставаться со Штюрмером, намерен ли проводить программу Штюрмера или будет проводить свою программу. Он на этот вопрос отвечал сбивчиво, но как бы относясь критически к Штюрмеру и входя в мой тон. Теперь я вижу, что это был способ благополучно окончить беседу, но тогда мне казалось, что у него есть идеологическое обоснование. Несколько позднее я узнал, что в его назначении приняли участие так называемые темные силы, хотя значительно позднее, когда возникла борьба между ним и Бобринским, министром земледелия, он это отрицал; он хотел устроить свидание с членами блока по поводу продовольственного вопроса, смотря на это свидание, как на способ выяснения нашего отношения к нему. Оно состоялось тогда у Родзянки. Я не буду рассказывать подробностей, потому что они распространялись в большом количестве экземпляров. Запись эта сделана мной самим по памяти. Я там не вел записи, а после разговора по свежей памяти записал, и очевидно настолько близко к истине, что Протопопов потом был уверен и обвинял Родзянко, что за стеной сидели стенографистки.

Председатель. — У нас в комиссии в следственной части очевидно есть эта беседа, но в виду того, что вы сами составили эту запись, не можете ли вы прислать один ее экземпляр, при чем мы занесем в протокол, что то, что вы пришлете, есть то, что вы записали.

Милюков. — Я не знаю, есть ли у меня экземпляр. Я тогда же прочел беседу в заседании фракции центрального комитета, кто-то из товарищей взял ее у меня и унес, это было еще в виде черновика, и, сколько я знаю, она ко мне не вернулась. Но по существу заявления Протопопова ничего не изменяли. Для нас оно и без справок было ясно, если сопоставить даты 18-го сентября — его назначение, а 21-го сентября проведение по 27-ой статье распоряжения, по которому представители полиции должны допускаться на закрытые заседания общественных организаций, что потом вызвало большую реакцию и крайнее раздражение против правительства. Таким образом, было совершенно ясно, что назначение Протопопова опять ничего не меняло, а только давало новый повод к раздражению. Возможно, что назначение Протопопова

состоялось с той мыслью, что Протопопов, как член делегации, обладает некоторыми данными, дающими повод к смягчению. Вообще наблюдалось, что правительство принимало те или другие меры к смягчению ожидаемого конфликта, или меняя, как раньше было, председателя совета министров, или приглашая, по его мнению, лицо, годное, чтобы повлиять на Государственную Думу. Но в довольно короткое время стало довольно ясно, в результате нескольких соприкосновений, что Протопопов не является лицом, способным смягчить конфликт, который обострился до последней степени. Протопопов таким образом отошел совершенно на второй план при начале сессии первого ноября, и главной целью нападения остался Штюрмер. К первому заседанию открывшейся сессии относится моя речь 1 ноября, которая была запрещена, но распространилась в большом количестве. Если хотите, я на этой речи остановлюсь. Материалы для этой речи я собрал во время второй моей поездки, которая совпала со временем назначения Штюрмера министром иностранных дел, так что я по свежим следам мог наблюдать впечатление, которое произвело это назначение за границей. Впечатление было удручающее, и я наглядно видел, стоя близко к нашему лондонскому и парижскому посольству, насколько гибельно отразилось появление Штюрмера на наших отношениях с союзниками. Бенкендорф, который беседовал со мною довольно откровенно, рассказывал, что появление Штюрмера испортило все его отношения, что он привык пользоваться доверием иностранцев, что всегда ему предупредительно сообщали всякие секретные сведения, а теперь он оказался в таком положении, что когда он приходит, то от него припрятывают в стол бумаги, чтобы не показывать, и что, когда он, шокированный этой переменой, спросил о причине, то ему сказали: «Знаете, мы не уверены теперь, что самые большие секреты не проникнут к нашим врагам. Напротив, мы имеем признаки, что каким-то способом эти секреты становятся известными неприятелю со времени назначения Штюрмера». Такая беседа с Бенкендорфом, конечно, очень меня настроила в направлении всяческих подозрений, и я в дальнейшем стал собирать сведения о том, как обстоит дело.

Председатель. — Павел Николаевич, этот разговор не нашел ли себе подтверждения в ваших последующих отношениях, может быть, не с нашим послом в Лондоне, но с английским послом в России?

Милюков. — Это был такой деликатный вопрос, что я не решался заговорить.

Председатель. — Может-быть, против вашей воли это вторгалось в сферу вашего сознания?

Милюков. — Я считал это настолько ужасным, что, конечно, намеренно и систематически избегал этих разговоров, во-первых, я не мог показать, что наш посол дошел до такой откровенности

со мной, все-таки частным человеком, хотя и членом Думы, чтобы рассказать о таком факте, с другой стороны, я боялся, что если бы я заговорил, то фиксировал бы настроение. Так что я старался воздерживаться.

Председатель. — А в последующем, у вас не было поводов как-нибудь определить тот способ, которым, судя по вашему разговору с Бенкендорфом, эти тайны, сообщаемые русскому правительству, могли проникать в руки наших противников?

Милюков. — Нет, дальнейших разведок я не делал. Это был слишком деликатный вопрос, чтобы к нему прикасаться, и я этих разведок не производил, но поневоле я натолкнулся на другое явление. Когда я приехал в Швейцарию, то там было общее мнение тогдашней эмиграции, что русское правительство, через своих агентов, ведет переговоры с Германией. Это считалось общепризнанным. Когда я стал доискиваться фактов и данных, то мне стали сообщать факты, из которых некоторыми я воспользовался в своей речи. Во-первых, указали на германофильский салон Нарышкиной и другой дамы, баронессы — я забыл ее фамилию.

Председатель. — Буксгевден?

Милюков. — Нет, это был германофильский салон в Montreux, перетащенный из Италии. Туда специально приезжал чиновник, присланный Штюрмером, он очевидно наблюдал, в роде Ратаева, и другое лицо (не помню его фамилии, кажется, она названа в моей речи), специально посланное для сношений и бывшее в этом салоне постоянным посетителем. Все это вызвало большие подозрения со стороны эмигрантов. Далее, я получил записки некоего Рея, обращенные ко мне лично, как к председателю партии народной свободы. Одна из этих записок была направлена против нашего посла Извольского и заявляла, что Извольский принимает участие в переговорах с германцами и что эти переговоры ведутся как-то через банки. При чем указывались случаи сношений агентов Извольского с банками. Это последнее заявление Рея мне показалось очень подозрительным. Когда я вернулся в Париж и спросил Извольского, в чем дело, и дал ему заявление Рея, то Извольский снесся с Брианом и сказал, что Рей — это друг Вильгельма II, архитектор, который строил дворцы, не нуждающийся, но соблюдающий интересы Германии.

Иванов. — Француз?

Милюков. — Август Рей, повидимому, француз натурализованный, переменивший подданство.

Председатель. — Он вам писал?

Милюков. — Он мне дал эту докладную записку об Извольском и о его сношениях с германцами, которую я передал Извольскому, потому что видел, что тут вранье. Извольский вошел в сношения с Брианом и на другой день передал, что Рей значится на фишке, как человек подозрительный, как агент, но агент

особого типа, квалифицированный, не платный, не наемный. Относительно банков он сказал, что, правда, были сношения с банками, но по вопросу о займе или по финансовому вопросу, который, по поручению министра финансов, надо было провентилировать за границей.

Председатель. — Павел Николаевич. Вы не припомните имя и отчество этой Нарышкиной, о которой вы упомянули?

Милюков. — Елена Константиновна. Для меня в дальнейшем выяснилась невинность этой дамы, но все, что сообщалось за границей о ней, особенно относительно ее поездки туда, приуроченной ко времени этих переговоров, было подозрительно. Она — родственница жены Извольского, останавливалась у него в посольстве, чем его шокировала, жила довольно долго и демонстрировала и там свои германофильские симпатии. Вообще к Извольскому в Париже сложилось довольно враждебное отношение, отчасти благодаря его угловатости в личных сношениях, но в особенности потому, что жена его остзейского происхождения, баронесса (я забыл ее фамилию). Все это казалось демонстративным, особенно для чувствительных французов. Может-быть, обороты речи, которые для нас прошли бы незаметно, обращали на себя их внимание, и указывалось, что в русском посольстве германофильское гнездо. Вот так сложились мои впечатления, которые послужили канвой для моей речи 1 ноября, а затем также и те сведения в иностранных газетах о том, как было принято назначение Штюрмера и как смотрели на его связь с темными силами. Было ясно с самого начала, когда он приблизил к себе Манасевича-Мануйлова, что тут дело не чисто. Манасевич считал, что он оказал услугу Штюрмеру, и впоследствии ему на это указывал. У меня есть копия письма Манасевича Штюрмеру (я сейчас его не нашел), в котором он упрекает Штюрмера за то, что он заботился, старался о нем, а Штюрмер его от себя удалил и не хочет иметь при себе. Это относится к позднейшему моменту, когда Штюрмеру указали, кто такой Манасевич и как невыгодно иметь с ним дело.

Председатель. — У вас есть копия? Мы знаем про это письмо, но, если не ошибаюсь, его у нас нет; может-быть, вы можете достать?

Милюков. — Я отыщу. Что меня еще укрепило в мыслях, что есть что-то таинственное в способе сношений с германцами,— это прошлое Манасевича-Мануйлова, о котором мне сообщил Извольский. Это было во время бытности Извольского министром иностранных дел. К нему явился Пурталес, очень смущенный, и заявил, что он попал в чрезвычайно неприятное положение, рассказал ему историю, о которой Извольский раньше знал, именно о попытке подкупа одного из сотрудников «Нового Времени». При этом указывалась довольно солидная цифра, кажется, 800.000, которая была дана в распоряжение Пурталеса для этого подкупа.

Посредником при этой операции взялся быть Манасевич, который и сделал это предложение. Мне говорили, что он сделал это предложение Пиленко, который резко отказался и прогнал его. Он об этом факте высказался уклончиво, но так как я имел сведения от Извольского, а Извольский сослался на Пурталеса, то это для меня было несомненным фактом, который давал мне возможность на это сослаться, характеризуя Манасевича. Затем относительно взяток Манасевича,—тут у меня были довольно разнообразные здешние сведения. Когда Штюрмер хотел начать против меня дело, то я занялся подбором этого материала, и выяснил, что хотя юридически трудно формулировать это обвинение, но в порядке бытовом оно очень вероятно. Об этом, вероятно, знает Завадский, который может точно сказать, каково было то показание Манасевича о взятке, на которое я ссылаюсь. Показание, повидимому, было не прямое и без свидетелей.

Председатель. — Т.-е. о попытке получить через Манасевича Штюрмером 1.000.000 рублей?

Милюков. — Я не знаю цифры.

Председатель. — Вы говорите о взятке от Рубинштейна?

Милюков. — Это показание, которое Манасевич давал уже после ареста. Я не помню подробностей, но дело шло о деньгах, им фактически полученных.

Председатель. — Для чего?

Милюков. — Как он намекал на следствии, предназначенных для передачи по начальству; это Завадский может точно сказать.

Председатель. — Вы говорите об истории с Татищевым?

Милюков. — Совершенно верно. Говорят, было два показания: одно, которое он дал сначала, затем с ним случился припадок, показание было прервано; потом давалось другое показание, в более осторожных выражениях. Таким образом вот тот материал, который послужил канвой для моей речи. Самое сильное место, об Александре Федоровне и об ее связи с этим кругом, я взял из германской газеты. Я воспользовался этим, во-первых, как способом, чтобы сказать это в наиболее удобной форме в Государственной Думе, а во-вторых, чтобы показать, что за границей уже имеются эти сведения.

Председатель. — Это место, которое не было вычеркнуто впоследствии, когда речь появилась в печати?

Милюков. — Нет, это было вычеркнуто, и это самое главное место — относительно партии при молодой императрице, которая состоит из таких-то лиц.

Гримм. — Вы прочли на немецком языке?

Милюков. — Да, я прочел это по-немецки.

Председатель. — У вас есть подлинник этой газеты, из которой вы это взяли?

Милюков. — Я это взял из «Neue Freie Presse». Как я узнал позже, состоялось заседание совета министров, в котором Штюрмер решительно выступил с требованием отсрочки Государственной Думы, т.-е. перерыва ее занятий. Поддержки он не встретил, большинство министров высказалось против этого, и единственное удовлетворение, которое ему дали, это по поводу вопроса о моем преследовании, который тогда же был поставлен в этом же заседании совета министров. Было отклонено предложение преследовать меня от правительства, и они предоставили это делать ему лично в форме обвинения меня в клевете.

Председатель. — Стало тогда известно вам или вашим товарищам по фракции, или вообще в думских сферах о том, что Штюрмером испрошено высочайшее повеление на представление ему бланковой подписи царя на роспуск Думы без обозначения созыва, т.-е. на перерыв сессии без обозначения времени созыва следующей сессии?

Милюков. — Да, мне кажется, что об этом говорили. Сведения проникали в нашу среду, так как установился известный контакт.

Председатель. — Вам известно было о некоторых мерах, которые принимал Штюрмер, чтобы не разразился тот скандал, который не мог не разразиться после вашей речи?

Милюков. — Нет, я не помню. Какие именно меры?

Председатель. — Вам не известно, что проектировалось и даже было написано 31 октября 1916 года письмо Бориса Штюрмера на имя Родзянки? Я позволю себе его огласить: «До сведения моего дошло, что в день возобновления занятий Государственной Думы предполагаются выступления ее членов с внеочередными заявлениями. Принимая во внимание, что при исключительных условиях переживаемого военного времени возбуждение в открытом заседании Думы некоторых вопросов может оказаться противоречащим интересам государственной обороны, имею честь, на основании ст. 44 Учр. Госуд. Думы, покорнейше просить ваше превосходительство, на случай, если вы сочтете оглашение таковых внеочередных заявлений допустимым, сделать распоряжение об объявлении заседания закрытым». О такой попытке вы не слышали?

Милюков. — Очень смутно помню. О каких же внеочередных заявлениях могла быть речь? Ведь дело шло о речах, но я не помню, в какой форме мы говорили эти речи.

Гримм. — Это и были внеочередные заявления.

Милюков. — Совершенно верно.

Председатель. — Так что, очевидно, сведения об этом дошли до Штюрмера?

Милюков. — Во всяком случае, заседание не было закрытым.

Председатель. — Это только проект письма, — этого письма не было, — но интересно, знали ли вы об этих предположениях?

Милюков. — Я смутно вспоминаю, что о содержании своей речи, т.-е. о некоторых ударных пунктах ее, я сообщил кому-то из октябристов, который сообщил Родзянке, а он со мною разговаривал, хотел меня склонить быть осторожным и не называть известных лиц. Я все-таки это не принял во внимание и высказал все то, что хотел. Я помню, что попытка такая была, но не вследствие обращения к нему Штюрмера. Некоторый способ воздействия на меня был употреблен, но мне кажется, это шло не выше Родзянки. Если это шло выше, то это для меня новость.

Председатель. — Может-быть, предпочли сношение Штюрмера с Родзянкой по телефону или изустно сношению письменному?

Милюков. — Может быть. Затем последовало увольнение Штюрмера, 10 ноября, и назначение Трепова, а вместе с тем перерыв сессии до 19 ноября, как говорили тогда, для того, чтобы дать возможность новому премьеру осмотреться и обдумать свою программу, с которой он выступит. Так как Трепов считался кандидатом либеральным, и давно шло к тому, чтобы выдвинуть его в такой момент, когда можно сговориться с Думой, чтобы представить в качестве приемлемого для Думы человека, то первое впечатление от увольнения Штюрмера — это было впечатление полной победы Думы после удара по Штюрмеру. Казалось, что формально это есть как раз первый шаг к ответственности, что лицо, вызвавшее резкое осуждение, было удалено. Конечно, это было только первое впечатление. Надо сказать, что А. Ф. Трепов не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы круто повернуть. Первое время, правда, говорили, что он хотел принять власть на известных условиях. Он понимал, что надо подобрать министров, т.-е., чтобы право выбора министров было ему предоставлено, но, повидимому, это было его личное мнение, которое в момент его назначения едва ли было поставлено как условие. Нас интересовал вопрос, является ли Трепов составителем кабинета по своему усмотрению, или просто как новое лицо в старом составе кабинета. Вскоре выяснилось, что Трепов ни в какие переговоры о соглашении ни в какие обязательства по отношению к большинству Думы, к блоку, не войдет. Так что назначение Трепова тоже никакой перемены в этой уже установившейся между правительством и Думой линии не произвело. Значит, эти 9 дней, которые протекли между перерывом и возобновлением сессии, прошли без всяких перемен, даже без всякой попытки со стороны Трепова сделать нечто в роде того, что делал Штюрмер. Положение осталось до 19 числа тем же, как было раньше. Отсюда, конечно, и решение блока оставить прежним свое поведение и сделать соответственное заявление сейчас же, как только Трепов выступит со своим заявлением. Заседание вышло, надо сказать, более бурное, чем мы ожидали, потому что левые партии решили совсем не принимать Трепова, не допускать его заявлений и устроить ему обструкцию. Мы же

для этой обструкции не видели оснований. Можно было бы отнести ее к Штюрмеру, но устраивать обструкцию человеку, который впервые явился, не открыл еще рта, нам казалось нецелесообразным. Последовало бурное заседание, в котором выступали Чхеидзе, Керенский, Скобелев, и были, на основании наказа, исключены за это. Затем началась речь Трепова и наши ответы, суть которых заключалась в том, что так как ничего не изменилось, то мы будем продолжать борьбу с правительством. Я сейчас не помню событий в ближайшие дни, но положение обострилось окончательно тогда, когда извне с общественной стороны пришел новый толчок, именно московский съезд начала декабря. Съезды эти были запрещены еще при Хвостове, когда они предполагались за год перед тем, в декабре 1915 года. Тогда Хвостов нашел, что атмосфера в Москве слишком тяжелая, и что в декабре их созывать нельзя. Затем, в дальнейшем, последовала та борьба с земским и городским союзами, о которой я уже упомянул. Теперь, когда борьба вошла уже в другой фарватер открытого конфликта, и когда мы сами пошли этим путем, в Москве была сделана попытка явочного открытого съезда. Он был созван. 9 10 и 11 декабря последовали истории с приставом Шпанковичем и с фактическим принятием резолюции, очень определенной и уже ясно ставившей на очередь вопрос конфликта с властью. Государственная Дума, которая все время вела политику поддержки этих общественных организаций и уже раньше сделала запрос об отношении к ним правительства, немедленно на это реагировала. 9 — 11 декабря были события в Москве, а 13, затем 15 и 16 декабря последовали события в Думе. В Думе мы решили поставить на очередь прежний запрос об отношении правительства к общественным организациям и потребовать ответа. Нужный по нашей технике известный срок истек, и это дало нам возможность немедленно поставить на очередь этот вопрос. Тут последовала попытка обструкции со стороны правительства. Здесь была применена ст. 44 от имени военного министерства и от имени Протопопова, чтобы закрывать заседания, как только мы начнем говорить об этих вещах. Мы решили бороться против этой попытки правительственного закрытия заседания, и 16 числа мы перенесли прения на другой номер повестки, номер, правда, не очень подходивший к этим разговорам, но дававший возможность говорить и об этом вопросе. Таким образом, мы избегли применения статьи 44 и, открывши прения по предыдущему номеру повестки, высказались, как хотели. На этот раз речи были очень определенны. Мне и другим приходилось говорить в том смысле, что мы здесь возвращаемся ко времени до 17 октября, что сейчас на очереди стоит переход борьбы в явочную форму, которая может не считаться с законом, что теперь восстановится единый фронт, так как до этого момента левые всячески старались себя отделить от блока и нас отделить

от них. Мы же доказывали, что борьба должна итти так, как она велась до 17 октября, должна вестись общим фронтом, так как перед нами общие задачи и единый враг. Я заявил только, что разница в том, что масштаб борьбы, размер борьбы, будет другой, чем в 1905 году, и кончил свою речь указанием, что в воздухе накопилась гроза, и неизвестно, куда падет удар. Это собственно и было последнее слово, произнесенное Думой накануне катастрофического поворота событий, потому что поздно ночью явился указ о перерыве до 19 февраля, а на следующий день произошло убийство Распутина. Все это подчеркнуло катастрофический характер, который получила борьба. В дальнейшем конец декабря показал, что и правительство уже посмотрело на вопрос именно так, что примирительная попытка Трепова не осуществилась. 20 декабря ушел Макаров и назначен был Добровольский, 28 декабря ушел Трепов и назначен был Голицын, ушел Игнатьев, назначен Кульчицкий. Тут уже наглядно перед всем обществом демонстрировался отказ от примирительных тенденций. Ясно было, откуда идет выбор: Голицын — председатель комитета, находящегося под покровительством Александры Федоровны (значит, личная кандидатура), человек не имевший никакой позиции в политике, выбранный по принципу личного доверия. Одним словом, к концу 1916 года уже вполне сложилась вся обстановка открытой и притом вполне легальной борьбы с правительством. Чувствовалось, что событие 17 декабря только первое в ряде событий, чувствовалось, что что-то должно произойти, все об этом говорили, и очевидно было, что предстоят дальнейшие катастрофы. В это время представители земского и городского союзов, военно-промышленного комитета и члены блока вступили друг с другом в сношения, на предмет решения вопроса, что делать, если произойдет какое-нибудь крушение, какой-нибудь переворот, как устроить, чтобы страна немедленно получила власть, которую ей нужно. В это время, в этих предварительных переговорах и было намечено то правительство, которое явилось в результате переворота 27 февраля. Назначен был, как председатель совета министров, кн. Львов, затем частью намечались и другие участники кабинета. Тогда же, я должен сказать, было намечено регенство Михаила Александровича, при наследии Алексея. Мы не имели представления о том, как, в каких формах произойдет возможная перемена, но на всякий случай мы намечали такую возможность. Я не знаю, как теперь продолжать изложение, — в дальнейшем оно подходит вплотную к тому, что совершилось 27 февраля. Надо сказать, что этому предшествовали некоторые попытки со стороны Протопопова и других темных источников предварить ту грозу, которая собиралась, попытки сделать нечто в роде того, что сделал Дурново в 1905 году, т.-е. дать революционным силам сражение там, где захочет Протопопов, а не там, где они. Я помню

в феврале заседание представителей различных общественных организаций и членов блока, в котором участвовал и я и в котором обсуждался вопрос о форме выражения поддержки Государственной Думы общественным мнением, главным образом, рабочими кругами, и проектировалось шествие рабочих к Государственной Думе. Я тогда высказался против этой формы, указывая, что такое шествие легко взять в тиски и расстрелять. Весьма энергичным защитником этой формы явился рабочий Абросимов, который впоследствии оказался провокатором. Так создалась та атмосфера, которая вызвала меня на написание письма, приглашавшего рабочих остаться спокойными и которое часто выставлялось против меня, как желание предотвратить революционную развязку. Я указывал в этом письме, что не следует выходить на улицу в тот момент, когда зовут туда темные силы. В дальнейшем оказалось, что это было время Протопоповской затеи и подготовки расстрела революции пулеметами.

Председатель. — Остановитесь, пожалуйста, на этом подробнее.

Милюков. — Мы слышали об этом проекте за несколько времени до 27 февраля. Я помню, что мы даже ставили неоднократно правительству вопрос, правда ли, что полиция в каких-то местах Петрограда занимается обучением стрельбе из пулеметов. Я помню, что раз мы задали такой вопрос в заседании совещания по обороне, и Шуваев клялся и божился, что ему о таких пулеметах ничего неизвестно и что если бы он знал, он потребовал бы их на фронт. Говорили мы об этом и в Государственной Думе, но не помню, в какой комбинации, возможно, что это было в бюджетной комиссии, возможно, что намеки об этом были даже и в речах в пленуме, в общих собраниях Государственной Думы. Чувствуя, что создается обстановка, аналогичная тому, что сделал Дурново в Москве, в декабре 1905 года, я настаивал, чтобы этой формы борьбы не предпринимать. Это было причиной, почему я опубликовал это письмо. Надо сказать, что очевидно и в рабочих кругах и в кругах социалистических партий понимали эту опасность, поэтому и удалось удержать рабочих от этого движения, которое предполагалось в середине февраля. Я помню мои разговоры с представителями социалистических партий в Государственной Думе. Кажется, с Чхеидзе приходилось говорить и с другими, которые были в полном недоумении, которые видели, что в рабочей среде происходит брожение и появляются прокламации. Я еще в одной из декабрьских своих речей показывал с кафедры Государственной Думы целую кучку таких прокламаций, которые провоцируют население на выступления, а лидеры социалистических партий об этом не знают и находятся в недоумении, откуда это идет. События 26 и 27 февраля застали нас врасплох, потому что они не выходили из тех кругов, которые предполагали возможность

того или другого переворота, но они шли из каких-то других источников, или они были стихийны. Возможно, что как раз Протопоповская попытка расстрелять тут и сыграла роль в предъидущие дни — первые встречи на улице, стрельба из пулеметов, натравливание некоторых военных частей, затем полицейские в солдатских шинелях, их фигурирование на улицах. Было совершенно ясно, что инсценируется что-то искусственное. Вызванное этим раздражение в некоторых полках вызывает реакцию со стороны полков, стихийное движение раннего утра, 27 февраля. Но затем остальное уже происходит автоматически. Я помню мои впечатления этого дня. Я проснулся утром, — говорили, что крики на улице, — я вышел на балкон, это прямо у казарм Волынского полка, и увидел эту сцену первого стихийного выступления. Солдаты без оружия махают шапками и кричат прохожим, чтобы они присоединились. Полное хаотичности начало движения. Вечером я узнал, что Государственная Дума распущена, потому что сведения об этом мне по телефону сообщил Родзянко еще 26-го вечером, но, очевидно, что движение не стояло ни в какой связи с роспуском Думы. Оно просто фактически совпало с этим роспуском. Я немедленно отправился в Государственную Думу. Там состоялось совещание членов Государственной Думы, затем последовали выборы, поручение совету старейшин выбрать временный комитет. Словом, в течение дня уже Государственная Дума приспособилась, как реагировать на возможный переворот. По мере того, как этот переворот разростался, по мере того, как становилось ясно, что вся столица попала в руки восставших войск, и что войск, которые могли бы усмирить, нет, — постепенно все переходили на ту сторону.

Председатель. — Вам было тогда известно, что Думу распустил не царь, а Голицын, без сношения с царем, по тем бланкам, которые у него были в распоряжении?

Милюков. — Нет. Вообще мы привыкли к этим бланкам. Что вопрос о роспуске будет поднят, мы считали возможным; что в этот момент будет роспуск, не знали.

Председатель. — Вы изволили сказать, что вы привыкли к этим бланкам. Почему у вас не было попытки протестовать с кафедры Государственной Думы против такого порядка, который являлся незаконным даже с точки зрения уголовного закона?

Милюков. — Мы считали, что это было по прежней форме, в смысле соглашения с председателями палат. Это была обычная практика всех прежних Дум, а тот развал, который получился, т.-е. бланки в чистом виде, подписанные без всякого соглашения, это нас заставало несколько врасплох, к этому мы еще не присмотрелись. К тому порядку мы привыкли, традиционную

систему, что есть свобода соглашения, знали. Теперь, кажется, я вплотную подошел к естественному концу моих показаний.

Председатель. — Может быть, вы постараетесь вспомнить и продолжить.

Милюков. — Я остановился на моменте, когда Дума создавала этот временный комитет, чтобы реагировать на происшедшее. Тут начинается история революционных дней. Я лично провел все эти четыре дня в помещении Государственной Думы и там ночевал, так что мне известна сторона картины, которая проходила перед нашими глазами, и те переговоры, которые велись по телефону. Я думаю, что на-днях, вероятно, выйдет отчет Временного комитета об этих днях, т.-е. точное описание день за днем, как происходило это дело. Мои теперешние указания будут менее точные и не особенно нужные, в виду этого документа, который появится. Я не совсем точно помню, в какой момент какого дня происходили известные события, а там это точно описано. Я не помню сейчас, когда происходили первые переговоры Родзянки с Голицыным, сношение с царем, первые телеграммы. Это все там точно изложено день за днем. Я не мог бы восстановить это подробно. Затем: последнее заседание совета министров, осада Мариинского дворца, уход этих министров, большей частью, через задний ход, арест министров, появление их одного за другим в Таврическом дворце. Все это будет подробно описано там.

Председатель. — Вы знакомы с содержанием той книги, вы, может быть, принимали участие в составлении ее, и можете удостоверить, что все, там изложенное, соответствует истине?

Милюков. — Там были неточности, которые я дополнительно исправил. Все, что изложено там, верно.

Председатель. — В чьем издании?

Милюков. — Я думаю, что это будет издание комитета Государственной Думы. Вот, кажется, и все.

Председатель. — Но, соответственно нашему ходатайству к вам в отношении пределов ваших объяснений, вы, кажется, выделили отдельные вопросы, где вы в хронологическом порядке все изложили; естественно будет перейти к ним.

Милюков. — Должен сказать, что к ним у меня не было времени подготовиться. Вы хотели, чтобы я характеризовал, так сказать, эволюцию темных сил. Видите ли, общее мое впечатление, что темные силы,—их, во-первых, надо расклассифицировать, так как есть разные категории темных сил. Есть, во-первых, двор и ближайшая обстановка двора. Это один элемент. Затем есть реакционное дворянство около «совета объединенного дворянства» и, наконец, есть организации, которые являлись орудием этих других сил, т.-е. двора и реакционного дворянства. Так что, собственно, тут три элемента можно проследить. Наиболее доступ-

ным для наблюдения, конечно, был третий элемент, — все эти организации, со всеми подходами против Думы, с этими крикливыми речами, субсидируемыми газетами и т. д. Это все легко подвергается наблюдению. Несколько труднее можно было наблюдать конспиративную сторону этих союзов и дружин, с их террористическими попытками. Но это тоже более или менее прошло перед нашими глазами, потому что ряд покушений, ряд убийств, вызывал запросы в Государственной Думе, наши обвинения к союзу русского народа, его вождям. Затем, были процессы, правда, затушеванные весьма, но все-таки выяснившие положение дел достаточно: процесс финляндский, по убийству Герценштейна, материал для процесса Иоллоса, которые нам все-таки становились известны. Так что по всему этому можно раскрывать первичные формы, которые имела деятельность темных сил в ту пору, когда данные народу уступки казались такими еще недавними, свежими, и, казалось, что можно их взять назад. Словом, эта борьба времени первых двух Дум шла остро, там терроризм практиковался самым решительным образом. Мне лично приходилось на себе это испытывать. В момент первых двух Дум и в начале третьей Думы я был одним из объектов довольно систематического преследования со стороны союзников. Затем, когда цель была достигнута, положение 3 июня издано, подобрана Дума, социальный состав которой вполне соответствует желанию правительства, с которым правительство может итти, тогда мы видим новый фазис — террористическая деятельность отмирает. Вообще говоря, это была рискованная форма и неудобная, хотя она была инсценирована у тех и других кругов, о которых я говорил. Но связи с этой формой деятельности, конечно, они никогда не сознавали. Только в исключительных случаях мы находили ниточки, которые шли дальше и выше, но обыкновенно круг замыкался мелкими людьми, и мелкие люди попадали в процессы, даже не средние инспираторы, как Дубровин, — его трудно было вытащить, — а тот, кто выше, совсем скрывался во тьме. После того, как победа достигнута, социальные элементы представительства заменены в желательном смысле, происходит некоторое отмирание в террористической деятельности. В ней не признаются, ее отрицают. Самое большее, что делают, это прикрывают прежних виновников, дают средства скрыться, жить где-нибудь на окраинах России, не попадаясь в руки юстиции. Так что эта деятельность ликвидируется. Другая деятельность политических организаций продолжается уже в корне оппозиционной борьбы в парламентских формах, опять-таки, повидимому, эти люди получают поддержку. Они получают большой приход материальных средств во времена выборов, когда у правительства является надежда провоцировать выборы при их помощи. Поэтому, действительно, ко времени выборов приурочивается и расцвет их деятель-

ности. Но после неудач перед выборами в 4-ю Думу и этот момент отпадает. Очевидно, что тут тоже надежды у них слабеют. Форма, которая остается, это печать правительственная. Надо сказать, что правительственная печать в широких размерах субсидировалась впервые при Столыпине Гурляндом, — так называемая, кнопка, на которую надо нажать, чтобы вырвать кадетское жало. Это выражение Столыпинской газеты. Она повела к созданию целой сети таких изданий во всяком большом губернском центре, которые назывались местными именами губернии или окраины. По этому признаку их довольно легко узнавать. Тут создалась целая компания наемных журналистов. Газеты обыкновенно мало читались, почти всегда едва-едва прозябали, но деньги на них систематически тратились до самого последнего времени. Оживление этого рода деятельности является тогда, когда возобновляется борьба уже во время войны, когда появляются эти попытки конца 1915 года. Тут и субсидии немного увеличиваются. «Земщина» и «Голос Руси», эти два здешних официоза, получают деньги. Уменьшаются только субсидии Скворцову, почему-то «Колокол» не одобряют, и он получает вдвое меньше: вместо 12 000, кажется, 6 000. Таким образом, эти организации переживают период расцвета, достигают результатов, затем, понемногу чахнут, превращаются или в систематические организации правительственной печати или в субсидируемые органы дворянства и правых партий правительства. Террористическая деятельность отмирает, хотя, впрочем, тоже только до последнего времени. В последнее время даже и террористическая деятельность вновь восстанавливается. Дубровин получает какую-то новую, довольно значительную ассигновку, и эти средства направляются на оживление его деятельности. Эпизод со мной — наем Гуцуло — это, повидимому, один из эпизодов возрождающейся террористической деятельности.

Председатель. — Какие у вас сведения о деньгах, которые он получил?

Милюков. — Сведения фигурировали в печати, что Дубровин получил довольно большие деньги, но помимо печати я сведений не имею. Я думаю, что если порыться, можно найти источник, через который это проникло в печать. Гуцуло получил задаток не очень большой, кажется, 300 рублей. Это довольно трудно доказать, потому что базируется только на его показаниях, но показания его психологически вероятны. Первый центр, двор и то, что при дворе, это наиболее интересно, но, к сожалению, наиболее трудно наблюдаемо. Тут можно следить за Распутиным. Связь несомненно давняя, лет 9 тому назад устанавливаются эти отношения, в 1908 — 1909 году, надо считать. Распутин, конечно, не первая фигура этого рода, только наиболее яркая. Сам по себе Распутин, не типичная темная политическая сила. Им начинают

пользоваться, когда он акклиматизируется, когда пускает корни. Типическая форма этих темных сил скорее организация большой шайки для извлечения денег всеми способами. Чем дальше, тем больше эта компания: Распутин, Андроников и можно назвать еще несколько имен, они систематически организуют такое сообщество для извлечения денег от клиентов, которые не могут провести своих дел законным путем. Тут создается организация освобождения от воинской повинности, довольно значительные темные дела, протекция назначения на должности, не только на должности министров, но иногда на очень мелкие должности. Сам Распутин стоит в центре просто потому, что он передаточный механизм; он та пружина, которая направляет все эти ходатайства на усмотрение. Даже трудно сказать, чтобы он всегда пользовался результатами. Тут прямо какая-то смесь денежного интереса и готовности услужить. Вообще, политическая сторона выплывает только по временам. Несомненно, что Распутин с самого начала играет некоторую политическую роль. Если вспомнить это путешествие по России, когда мощи открывались (я не помню точно, когда это было), и вспомнить Распутинскую брошюрку, изданную по этому поводу, в которой он описывал, как царя всюду встречают, как народ его любит. Кажется, в киевских торжествах он тоже участвовал. Вы видите политическую психологию, опять-таки ту же самую, которую я отметил, когда говорил про крестьянскую Думу первого времени создания этой демократической монархии на почве сентиментального народного сочувствия. Так что, очевидно, что эта струя, такая подпочвенная, все время существовала, но наружу она показывалась только в исключительных случаях. Наружу мы сами вывели Распутина, когда Государственная Дума впервые о нем заговорила. Тогда это был первый скандал, который был публично устроен. В руки Родзянки попали некоторые документы, которые он передал царю. Об этом вы можете его спросить. Это первый случай раскрытия отношений Распутина к царской семье. Затем речи в Государственной Думе о нем, в результате его удаление временное из Петрограда и довольно скорое потом возвращение. Все это находится на границе политики и личных фамильных дрязг. Но в позднейшее время это, несомненно, опять приближается к сфере политической. Весь характер назначений последних лет это, несомненно, уже результат попытки взять политику в руки лично доверенных лиц, исключая, вообще, даже политические стремления, а просто вследствие постепенно растущего чувства небезопасности и потребности некоторой самообороны. Чем дальше, тем больше употребление такого рискованного средства политического, изолирует тех, кто его употребляет. Мы видели это к концу прошлого года совершенно ясно, когда даже ближайшие

родственники отказались от поддержки, от солидарности на этой почве.

Председатель. — С кем?

Милюков. — С Распутиным и с теми, которые его употребляли. На этой почве создавались очень определенные семейные столкновения, потому, что чувство опасности росло ведь и в среде этих родственников. По мере того, как Государственная Дума чувствовала, что она вовлекается в конфликт, по мере того, как развертывались общественные силы, это создавало совершенно определенное сознание династической опасности, не только личной. Мне пришлось быть в Крыму немедленно после 18 декабря прошлого года. Я как раз там попал в среду великих князей. Там кругом эти великокняжеские дачи. Я видел впечатление, произведенное событием 18 декабря. С одной стороны, впечатление радости, что, наконец, очищена атмосфера и является какая-то возможность миновать династический кризис, а с другой стороны, чувство полнейшей безнадежности, потому что из личных сношений, которые, повидимому, не раз предпринимались, выяснилась полнейшая невозможность объяснить размеры опасности и выбрать какой-нибудь безболезненный исход. Уже в первые дни революции великие князья прислали к нам в Государственную Думу заявление, в котором они настаивали на создании ответственного министерства и на Учредительном Собрании, но это уже была последняя попытка после событий. Она свидетельствовала только о последнем отчаянном усилии. Еще когда я был в декабре в Крыму, говорили, что силы считаются уже окончательно исчерпанными, и родственники государя признавали, что дело совершенно безнадежное. Надо сказать, что таковы же последние впечатления у всех, кто его видел. Он производил впечатление человека задерганного, который перестал понимать, что нужно делать, чтобы найти выход из положения. Более конкретно мне трудно изложить эту тему влияния этих темных сил. Может быть, есть более конкретные вопросы?

Председатель. — Может быть, это соседняя тема, но тесно связанная с той, которую вы сейчас развивали, тот вопрос, который вы задавали в отношении некоторых предшествующих периодов, вопрос об объединении темных сил союзных организаций и об их попытке выкинуть некоторую идеологию государственного масштаба и в связи с этим их стремление изменить основные законы, или, по крайней мере, наметить те формы, в которые могли бы вылиться новые основные законы. Это все попытки поднять и возвысить до государственного значения реакционные элементы, которые относятся к концу 1916 года или к началу 1917 года. Вот хорошо, если бы вы остановились несколько на них. Может быть, я нечто вам напомню в этом отношении. Вы еще раньше, в 1914 году, в своих речах говорили об этом.

Милюков. — Т.-е. до войны. Я говорил об этом в течение всего десятка лет и для меня это было красной нитью всей моей политической борьбы, потому что я считал, что здесь главное зло. Куда бы мы ни уходили, мы возвращались к этому пункту.

Председатель (читает). — «Теперь союз правительства с партией правительственного переворота совершается открыто и цинично», — говорили вы 26 апреля 1914 года, — «в палате Михаила архангела цитировались слова министра внутренних дел при приеме представителей той черносотенной армии железнодорожников, которую создал Рухлов: «принимаю этот знак, а членом вашего союза я был и всегда буду».

Милюков. — Это по поводу Маклакова.

Председатель.—«Каково политическое положение, при котором министр внутренних дел может открыто и гласно сделать признание, что он является членом партии политического переворота». Это 26 апреля.

Милюков. — Это относится к тому моменту моих показаний, где я говорил, что я уличал Маклакова даже в употреблении самой терминологии до 17 октября. Это, несомненно, делалось не бессознательно.

Председатель. — Вот вторая цитата. В заседании 2 мая вы высказались так: «В речи министра внутренних дел я искал ответа на те вопросы, которые мы задавали и, прежде всего, ответа на вопрос: как же относится министр к правым партиям, к государственным переворотам». Вы помните, его об этом спрашивали трижды с этой трибуны. И вот, вы пробуете всмотреться в его декларацию, чтобы выяснить себе, как же он на это отвечал. Что вам известно было в этот момент и, исходя из этого, что вам стало известно в отношении союза партии государственного переворота и правительства в период времени конца 1916 и начала 1917 года?

Милюков. — Так как я всегда подозревал, где находятся корни такого рода элементов, то я следил за внешними проявлениями, подбирая материал. Но мне всегда приходилось клеить мозаично из отдельных фактов, часто мелких. Так что мои сведения апостериорны, они скорее догадки, чем сведения. Относительно Маклакова, для меня не было сомнения, что он стоял очень близко у источника, пользовался личным доверием, вкравшись в это доверие, когда ликвидировали Столыпина, что он ведет определенную линию, что он не может отступить ни на иоту. Поэтому я всегда старался его проверять, всегда старался подчеркивать психологию его выражений, которые он употреблял. Но все-таки это были мои заключения, а не прямые сведения, которых у меня не было.

Председатель. — Вот точно так же нам представляется, что в конце 1913 и в первые месяцы 1914 года оппозиция в Думе,

в частности, вы и даже Маклаков, говорили о готовящемся coup d'état, государственном перевороте и об организации этого союза.

Милюков. — Тут, повидимому, они начали проводить идею князя Мещерского о превращении законодательных учреждений в законосовещательные, и они хотели это сделать именно тем способом, который напечатал князь Мещерский, чтобы царю представлялось два мнения верхней и нижней палаты и чтобы он выбирал. Я думаю, что около конца 1913 и начала 1914 года мы имеем в виду именно это, и самое вступление Горемыкина, — мы его встретили, как попытку осуществить эту задачу. Его вступление сопровождалось слухом о том, что нечто подобное готовится. Так что в том, что он потом делал, во всех попытках ограничительно истолковать права Государственной Думы, мы видели подступ к осуществлению основной задачи. Но, повторяю, это только слухи и толки правых газет. Это был наиболее чувствительный барометр. По правой печати можно было судить о том, что они затевают.

Председатель. — О кружке Римского-Корсакова, о переменах в государственном совете, о назначении Щегловитова председателем государственного совета и о записках, которые особенно энергично стали представляться из этого кружка, вам что-нибудь известно? Не ставили вы этого в связь с предстоящим нападением на существовавшее положение справа?

Милюков. — Какие-то слухи были, но сейчас я не припомню.

Председатель. — Например, о записке Говорухо-Отрока?

Милюков. — Это я не помню, это просачивалось только в правую печать и всегда соответствовало поднятию ее тона. Близких же сведений не имею.

Председатель. — Затем вы выделили, как отдельную тему, тему о войне и о военном министерстве.

Милюков. — Я не знаю, могу ли я тут принести большую пользу: есть люди, которые могут принести больше пользы, чем я. Значит, по вопросу о Сухомлинове? Мое первое впечатление — совершенное несоответствие Сухомлинова с серьезностью момента: не столько предательства, сколько полного рамолисмента, полной неспособности сколько-нибудь стать на высоту положения. Это было, когда они устроили у нас в Думе частное совещание в кабинете председателя по поводу программы, не помню, морской или большой программы вооружения (кажется, была большая программа), когда они пытались показать нам, для чего это нужно. Объективно говоря, это нужно было потому, что, несомненно, это были годы колоссального усиления германских вооруженных средств, когда этот вопрос ставился во всех парламентах. Это было время, когда Франция возвращалась к трехлетнему сроку службы и когда, в конце концов, французский гене-

ральный штаб стал нам делать указания, потому что мы сами, повидимому, ничего не понимали как следует. Потом я прочел в одной статье, напечатанной в «Correspondance», о целях большого железнодорожного займа, который был нам дан в $2^{1}/_{2}$ миллиарда для постройки военно-стратегических железных дорог. Оттуда я извлек и эти сведения, относительно того, что, наконец, французский генеральный штаб создал для нас идею этой большой политики. Тогда они пришли к нам, рассчитывая, что надо немножко обработать Государственную Думу и приучить ее к идее громадных затрат, которые нужны. Сухомлинов обнаружил тогда свое полнейшее убожество в военных вопросах. Мы были небольшими военными знатоками, но могли судить, что он совершенно не в курсе дела, что он не может сложить первых букв, первых слов той большой реформы, которую он хотел втолковать. Это первое мое впечатление, после которого ничего другого я от него не ожидал. Затем, второе впечатление, это — знаменитая статья в феврале 1914 года в «Биржевых Ведомостях», под заглавием: «Мы готовы». Правда, стало известно, что статья эта была коллективно составлена пресловутой Ржевской, получившей сведения от Сухомлинова и сообщившей их редактору «Биржевых Ведомостей» Бонди. Я считаю, что эта статья была фатальна. Она была одним из толчков, вызвавших в 1914 году войну. Конечно, обмануть Германию она едва ли могла, когда она говорила, что у нас все в порядке, снарядов довольно, артиллерия в большом количестве, но она могла заставить германское общественное мнение отнестись с большой осторожностью к тому, что делалось в России, а главное — она дала германскому правительству возможность несколько подстрекнуть германское общественное мнение. Я следил за германскою печатью того времени, и помню, какое это произвело сильное впечатление. На ней играли германские шовинисты, доказывая, что война необходима. Так что я считаю, что это заявление было одним из толчков, вызвавших войну в 1914 году. Для германцев стало совершенно ясно, что до 1916 года ждать нельзя, потому что тогда французы будут в выгодном положении, и мы кое-что осуществим из нашей большой программы. Третье мое впечатление о Сухомлинове — оно уже совпадает с январем 1915 года, когда он являлся к нам докладывать, что все благополучно. Это, пожалуй, было самое сильное впечатление, потому, что оно совпало с первыми неудачами, с явным доказательством неблагополучия, и тут уже приходилось притти в полное недоумение. Я должен сказать, что лично я был далек от предположения, что тут есть что-нибудь другое, кроме простой глупости и рамолисмента, но что тут есть предательство и измена, мне и в голову не приходило. Да и теперь я вижу, что измена и предательство были кругом этого человека, которого утилизировали, как хотели. Он казался легкомысленным

и, вероятно, с таким же легкомыслием он уступал тем течениям, которые довели его до этого, но, во всяком случае, для страны это оказалось таким бедствием, мимо которого проходить нельзя. Последнее впечатление было решающим, для того, чтобы занять определенную позицию по отношению к правительству, чтобы решительно притти к мысли, что нельзя с таким правительством войну успешно довести до конца — нельзя. Для страны это был первый толчок к слухам об измене. В одной из речей я сопоставил этот ползучий слух об измене, в связи с нашими неудачами, с крайним легкомыслием, которое обнаружил Сухомлинов. Вот, что я могу сообщить о моих личных впечатлениях Сухомлиновской деятельности. Затем, по мере его обвинения, до меня стали доходить отрывочные факты. Я кое-какие показал, когда меня вызывали по делу Сухомлинова, но это второстепенные вещи, которые до меня доходили.

Председатель. — Затем, еще последний вопрос, — именно о пользовании ст. 87 и о пользовании ст.ст. 17 и 18.

Милюков. — К этому вопросу надо хорошенько подготовиться. Как ни ясны злоупотребления этими статьями, но дело в конкретных случаях. Я помню, в какой ужас приходили, когда наша комиссия по проверке росписи показала нам, что все это сравнительно скромные средства для бюджетной борьбы, которую мы проводили, вталкивая и вливая тот или другой кредит, как все это ничтожно сравнительно с тем, что плыло мимо нас, как жалки те урезки, которые мы проводили, и как они восстановлялись совершенно свободно под этими дырами, которые существовали в нашем бюджетном праве. Сейчас у меня впечатление полной беспомощности, полного бессилия перед действием этих статей. Если хотите, конкретный материал собран в изобилии в наших докладах по проверке росписи, а затем в речах некоторых наших товарищей. Член Государственной Думы Лебедев сделал о злоупотреблении этими статьями доклад, в котором собраны эти данные. Затем, с 87 ст. мы столкнулись в последнее время, когда они целыми томами начали издаваться. Теперь 87 ст. — нормальное законодательство, и я должен сказать, что это довольно тесно связано с коренным вопросом, который вы ставите. Я считаю, что наше законодательство приостановилось со времени существования Государственной Думы, ибо никакое законодательство не могло существовать, когда существовали эти два, тормозящие друг друга органа, когда правительство было глубоко враждебно всякой идее сколько-нибудь серьезного законодательства. Значит, все, что мы получили путем громадной потери времени, все это было жалкой крупицей сравнительно с тем, что было нужно. А так как мы старались заниматься основным законодательством, то мы этого нормального законодательства не могли вести, а вермишель нас не интересовала. Постановка

законодательства такова, что она слишком централизована, очевидно, ряд мер, которые, при наиболее разумной постановке власти, отделения ее от исполнительной, никогда бы не прошли в законодательные учреждения, — проходят, и так как нормальной деятельности не существует, то они поневоле осуществляются в порядке 87 ст. Это объясняет, почему, несмотря на эти томы мер, изданных по 87 ст., мы в последние годы задались вопросом поставить это перед Государственной Думой. Мы решили сперва это, как фракция, а потом, как блок. Когда мы подготовляли это во фракции, среди этого материала мы находили очень мало ударных пунктов, потому что это все действительно такое вермишельное законодательство, которое ударных пунктов не заключает. У нас только три закона, которые вызвали упрек, что мы занимаемся пустяками, когда мы ставили принципиальный вопрос о 87 ст. Так, что я думаю, что дело в той мозаике, которая может быть собрана, как уличающий материал.

Председатель. — Вы считаете, что вопрос о закономерности применения ст. 87 подлежит детальному обследованию и только после этого можно сделать какие-нибудь выводы, потому что общественный взгляд на 87 ст. для всех совершенно ясен?

Милюков. — Да. Общественный взгляд сводится к тому, что они могли великолепно пренебрегать Государственной Думой. Со своими бюджетными правами и с своей практикой законодательства они не нуждались в Государственной Думе.

Председатель. — Вы не помните, чтобы в отношениях правительства к государственному совету и в отношении решимости правительства видоизменить партийное соотношение государственного совета играла когда-нибудь роль записка, предложенная Треповым бывшему императору в конце ноября 1916 года по этому вопросу? Позвольте огласить документ: может быть, вы оживите его вашим воспоминанием. Оглашается документ, на котором имеется надпись: «Доложено его величеству. Царское Село. 26 ноября, 1916 года. Председатель совета министров Трепов». Это из того же дела № 230, часть 3-я (читает): «Несмотря на сочувственное отношение Государственной Думы ко всем содержащимся в правительственной декларации основным положениям. . .». Было такое сочувственное отношение?

Милюков. — Трепов очень старался укрепиться. Он старался делать хорошую мину при плохой игре.

Председатель (продолжает читать). — «Декларация эта встречена Думой с крайней сдержанностью. Соответственно с сим и положение, принятое большинством Государственной Думы по отношению к правительству, является как бы выжидательным, что неоднократно подчеркивалось как в речах отдельных членов Государственной Думы, так и в органах повременной печати, отражающей взгляды и настроения большинства представленных Думой

партий. Главная причина таковой, несомненно граничащей с враждебностью недоверчивости служит, как явствует из думских речей и газетных сообщений, до крайности неприязненное отношение огромного большинства Государственной Думы к некоторым отдельным членам правительства и прежде всего к управляющему министерством внутренних дел. Подчеркивая несоответствие отдельных его выступлений и заявление от имени объединенного правительства общей программы, члены Государственной Думы выражают упорное сомнение в согласованности политики важнейшего по своему значению министерства внутренних дел с общим возвещенным правительством началом, чем, по их мнению, сводятся на-нет все попытки руководителей прочих органов правительства найти пути для совместной с Государственной Думой работы. Независимо от сего в думских речах указывались некоторые влияния, поддерживающие управляющего министерством внутренних дел и проводящие через него и других, поддающихся их воздействию должностных лиц, независимо от совета министров вредную, с точки зрения интересов государства, политику. Такое отношение к правительству объединяет громадное большинство Государственной Думы, не исключая даже большей части правых партий, при чем со стороны представителей последних в отношении управляющего министерством внутренних дел последовали не менее резкие выпады, нежели со стороны членов Думы, принадлежащих к прогрессивным партиям. Переходя к государственному совету, надлежит заметить, что и здесь отношение к правительству не может почитаться вполне благоприятным. Безусловно сочувственно отнеслась к правительственной декларации одна лишь правая группа государственного совета, в прежнее время, правда, имевшая в нем руководящее значение. За последние два года, однако, ряд последовавших назначений в государственный совет лиц, не примыкавших по своим воззрениям к правой группе, а также резкое уменьшение числа консервативно настроенных выборных членов государственного совета весьма существенно отразились на численном соотношении отдельных групп государственного совета, и правая группа даже в соединении с ближайшей к ней группой так называемого правого центра не имеет уже большинства голосов в совете. В настоящее время, однако, группа правого центра не только не склонна всецело стать на точку зрения правой группы в смысле единения с правительством, но в речи своего представителя подчеркнула определенно отрицательное свое отношение к управляющему министерством внутренних дел и недоверие к объединенности действий правительства и соответствию их основным началам правительственной декларации». Характерно, что эта записка не подписана и носит официозный характер, но надпись подлинно Треповская делает ее официальным документом. Так что мне кажется, что он колебался,

представляя ее, — при одном отношении это будет официально, а при другом — не будет ничего значить. «Засим речи прочих представителей групп государственного совета, входящих вместе с представителями большинства думских партий в состав так называемого парламентского блока, не отличались по существу, а в некоторых случаях и по резкости, от речей членов Государственной Думы. Таким образом надлежит признать, что взаимоотношения правительства с государственным советом также не могут почитаться в данное время обеспечивающими взаимное доверие и должное единение, столь необходимое для планомерной законодательной работы, и весьма возможно, что формула перехода к очередным делам после обсуждения правительственной декларации в государственном совете окажется в существе мало отличающейся от нижеследующей принятой в Государственной Думе формулы: «Признавая, что совершившиеся в составе кабинета изменения далеко еще не закончены и представляют смену лиц, а не перемену системы, а поэтому недостаточны, чтобы изменить отношение Государственной Думы к правительству, Государственная Дума заявляет: 1) что влияния темных безответственных сил должны быть устранены; 2) что Государственная Дума попрежнему будет стремиться всеми доступными ей законными способами к тому, чтобы был образован кабинет, объединенный одинаковым пониманием задач переживаемого времени, готовый в своей деятельности опираться на Государственную Думу и провести в жизнь программу ее большинства».

Милюков. — Это, конечно, погребло его надежду, так как мы нашли в верхней палате большинство, которое признало наше ответственное министерство, и еще прибавили «темные силы», потому что это было предложение государственного совета, которое мы приняли. Мы провели формулу, которая их поразила и повергла в ужас, поэтому они решили изменить цифровое отношение к невыгоде блока. Они начали запугивать членов блока, затем назначили новых и, наконец, переменили пропорцию соотношения.

Председатель. — Вам ничего не было известно об этом докладе и об истории подкопа под государственный совет за этот месяц, собственно за три недели, когда было решено переместить численный состав?

Милюков. — Мы это видели, и верхней палате это было известно. У меня в речи есть относительно этого статистика, которую я ввел даже и в свой фракционный доклад. При помощи Давида Давидовича я высчитал, какое у нас большинство. Про этот поход я знал, но про документ не знал.

Смиттен. — Вы не можете ли вспомнить хотя бы несколько фамилий лиц из числа назначенных членов государственного совета, на которых производилось воздействие с целью запугать?

Милюков. — Кажется, в газетах была по этому поводу некоторая детрактация, так что можно навести справки.

Председатель. — Благоволите просмотреть этот документ и сказать — вами ли он составлен и точно ли он излагает содержание совещания Протопопова у Родзянки 19 октября 1916 года? (Показывает.)

Милюков. — Да, это то самое.

Председатель. — Значит, это точно воспроизводит вашу беседу с Протопоповым?

Милюков. — Я слышал, что есть некоторая амплификация.

Председатель. — Мы говорили об истории отдельных министров и министерств... Может быть, вы скажете. Это вам очень близко, и министерство иностранных дел должно быть очерчено. Я думал, что вы по вашим записям дадите нам сведения.

Милюков. — Я этого не записывал, но это близко касается моих занятий. С какого же периода?

Председатель. — Политика Сазонова в связи с периодом перед войной и последующая, когда война разразилась, и затем перемены, занятие поста министра иностранных дел Штюрмером.

Милюков. — Когда Сазонов был назначен министром иностранных дел, на его назначении основывались надежды правого течения, особенно националистов, так как он считался националистом и признавал себя принадлежавшим к этой политической группе, и считали, что он поведет к националистической политике, как раз противоположной политике держав согласия.

Председатель. — Вы говорите о надеждах...

Милюков. — Которые были связаны с вступлением на пост министра Сазонова. Я не помню, это в 1910 году.

Председатель. — Да, 8-го ноября 1910 г.

Милюков. — Да, поэтому естественно, что я несколько насторожился, при его первых появлениях в Государственной Думе, потому что я всегда очень решительно преследовал националистическое течение во внешней политике, потому что всегда с ним боролся. В некоторой степени его уступчивость в этом отношении сказалась в этом свидании в Потсдаме, в 1910-м году, когда он был чрезвычайно уступчив. Тогда выговорили германцы железную дорогу в Персию, контракт с нашими непостроенными дорогами, сильно ограничили наше право строительства сроком, а после срока выговорили себе права. Вообще тогда расчет императора Вильгельма был как-нибудь отвлечь Россию от начавшегося и идущего полным ходом сближения с державами согласия. Надо сказать, что временно это германцам удалось, но надо сказать, что это был отдельный эпизод, который в общей политике Сазонова остался частностью; в общем он продолжал политику Извольского, которая состояла в сближении нашем с Францией и Англией для защиты от германских аппетитов. Когда это обстоятельство выяс-

нилось, я стал сторонником Сазонова и стал защищать его от нападок, ибо, как только выяснилось его направление, то, естественно, на него стали нападать германофилы, т.-е. правые. Таким образом, поскольку Сазонов являлся защитником интересов наших и наших союзников, я всегда выступал его защитником и сторонником. Мы расходились в области более близких национальных интересов, особенно в области ближнего Востока. Сазонов не был достаточно знаком, по-моему, с Балканским вопросом и не особенно обращал на него внимание. В этом отношении русская политика пошла по неверному пути. Тут мне приходилось часто предостерегать и предостерегать, к сожалению, напрасно, и приходилось указывать, что результат получился плачевный, потому что не пошли по тому пути, который мне казался правильным. Это сказалось в исходе войны балканцев с Турцией и потом между собой войны, при которой Россия не исполнила обещаний, данных ею Балканским государствам и, главным образом, Болгарии и этим вызвала нарушение равновесия среди балканцев и постепенный переход болгар на сторону наших противников, который сказался в этой войне. Между тем, добившись результата соглашения споров Сербии и Болгарии, мы могли бы сохранить очень устойчивое положение на Балканах, если бы стояли на почве того соглашения, которое состоялось, и в результате которого болгары вступили в войну. Между тем, мы поддались, уступили требованиям Сербии, потворствовали соглашению Сербии с Грецией за счет болгар, затем вследствие чувств личной обиды царя на политику Фердинанда мы толкнули Болгарию в лагерь наших противников, затем мы науськали на нее Румынию и, наконец, привели к этому злосчастному Бухарестскому договору, оставшемуся искрой, которая всегда могла привести к общеевропейскому пожару. Я всегда это говорил, резко осуждал наше поведение при подписке договора, полную потерю нашего влияния, неумение утилизировать наши силы. Я считаю, что Бухарестский договор создал ту обстановку, которая вызвала нынешнюю войну. Конечно, германские пути остаются германскими путями, но если бы мы имели твердую почву на Балканах, то, конечно, никогда Австрия не посмела бы послать ноту Сербии, и, следовательно, война состоялась бы не по этому поводу. Следовательно, я ставлю связь этой войны прямо с нашей неудачной политикой на Балканах. Это был пункт моих разногласий с Сазоновым, во время моих думских выступлений я постоянно указывал, кричал, но, к сожалению, напрасно. Даже, когда началась война, у нас были шансы вернуть Болгарию в свою орбиту, но мы этим пренебрегли, и Болгария оказалась в лагере противников. С Болгарией, как нашей союзницей, мы покончили бы с Турцией очень легко, и сейчас не существовало бы балканского театра и, конечно, мы имели бы давно в наших руках проливы, а это

было бы залогом, при том или ином исходе, всяческих уступок со стороны наших противников. Этого сделано, к сожалению, не было, и там игра была проиграна. Затем, по мере приближения к этой войне, я не одобрял некоторых излишних уступок националистическим и милитаристическим стремлениям, которые все-таки приближали войну, вместо того, чтобы ее отдалить. В этом немного виноваты наши союзники, которым мы уступали чрезмерно, однако, я должен был изменить свое суждение после начала войны, — мое суждение этого национализма, шовинизма, некоторого рода агрессивности, как я считал, относилось ко всем странам, в том числе и к Германии, и я должен признать свою ошибку, — я считал в Германии националистическое движение не таким сильным, как оказалось. Я думал, что, противодействуя националистическим движениям в других странах, мы приостановили бы и германский национализм, но при моем более внимательном изучении событий, оказалось, что германский шовинизм перед войной охватил всю нацию. Я начал это подозревать в 1911 г., в 1913-м это становилось более ясным, тем не менее, я старался сдерживать ответы на германскую провокацию, дававшиеся нами и нашими союзниками, которые теперь, задним числом, я нахожу были естественны. Но, не считая германские действия провокацией, я тогда стоял на другой точке зрения и считал, что надо сохранить мир, надо сохранить его путем гораздо большей сдержанности не только в речах, но и в вооружении. Я сейчас признаю, что скорей я был неправ. Когда Германия объявила войну, я на этот исход не рассчитывал, он для меня стал ясен, когда появилась сербская нота, я делал попытки иным способом предотвратить войну и настаивал, чтобы мы с Сербией обращались осторожно, что Сербия только предлог, а дальше идет европейская война, я настаивал на том, чтобы не поддерживать Сербию до конца, а скорей делать уступки и миновать этот пожар. Но когда я потом прочел оранжевую книгу, прочел документ европейский, то я должен был признать, что Сазонова обвинять не в чем. Он как раз проводил тот курс, который я поддерживал, и даже как раз в те дни, когда я настаивал, параллельно делалось там то же. Так что по отношению к Сазонову, скорее, я себя обвиняю в слишком большом пацифизме, что, закрывая глаза, на краю опасности, я не то чтобы не видал, но преуменьшал его значение, я думал, что мирным способом мы можем больше сделать, но Сазонова я обвинять не могу. Таким образом, выходит, что общее направление Сазоновской политики я поддерживал, а не одобрял лишь его политику излишних уступок, которую объясняю недостаточным знакомством с положением, но его политику по отношению к союзникам я обвинять не стану, хотя тогда осуждал резко. Когда началась война, тут уже мы определенно встали на дорогу общей поддержки задачи дипломатии, в едином понимании этого

слова. Но стояла и другая задача, задача остановить попытки Германии как бы отвлечь нас в другую сторону. Тут опасность была несомненна. Германия чрезвычайно искусно организовала состав шпионажа, всеми возможными путями; даже во всех странах, странах, которые гораздо более остерегаются, даже во Франции германское влияние находило место, я уже не говорю об Англии, которая далеко не сразу сумела оградиться. У нас, при нашем добродушии, при недостатке остроты националистического раздражения против немцев, которое имелось у французов, у нас оказались шансы германского влияния еще бо̀льшими, в особенности со стороны взгляда, который Бисмарк высказал в своих записках, где говорил, что естественная династическая дружба между монархиями составляет основу союза и должна сблизить две монархии больше, чем они сблизились бы с республикой. Ошибся он в том смысле, что Германия после него стала на путь агрессивный, Германия первая отказалась от договора о перестраховке нейтралитета, который был заключен в 1881 году, и который она прекратила в 1890 году. Таким образом она сама толкнула нас к сближению с республикой, и Александр III сделался сам сторонником этого сближения, несмотря на его национализм. Непосредственное влияние германцев в 1890-м году как будто ослабело, но германцы продолжали претендовать на влияние на дела России в балканской войне. Последний опыт в 1898 — 1913 г., и только 1908 и 1909 г. Босния и Герцеговина, — здесь, повидимому, Эренталь очень цинично отстаивает интересы Австрии и Германии на Балканах, это нас окончательно увело в лагерь согласия, и, таким образом, опасность германского влияния оказалась устраненной. Я ревниво наблюдал за этим. Я сказал вам, что в 1914 году я поставил обвинение Щегловитову и Маклакову относительно германофильства, выразившегося в этой записке; они опровергали, что была такая записка, но я все-таки думаю, что она была. В сущности, о Маклакове я слышал из очень авторитетных источников. Я подозрительно относился к неустойчивости германских влияний, и в этом отношении Сазоновская линия продолжала вызывать мое одобрение. Он настойчиво стоял на доведении войны до ее естественных пределов, до достижения тех целей, которые мы поставили, и систематически устранял всякие попытки, а германские попытки, несомненно, были,—опыты найти точку соприкосновения и повлиять на дипломатию, повлиять на царя, которые и кончались систематически неудачей. Я должен сказать, что на это царь реагировал определенно отрицательно, но обстановка кругом него была очень подозрительная, и я очень одобрял, что Сазонов определенно держался линии нашего союзнического курса. Переменилась ли эта политика при Штюрмере . . .

Председатель. — Простите, Павел Николаевич. Что вы имеете в виду, когда говорите о попытках повлиять на царя, и что вы имеете в виду, что эти попытки находили себе почву в окружающих царя?

Милюков. — Тут есть обращение, даже письменное, к гр Фредериксу со стороны какого-то графа, придворного двора императора Вильгельма, письмо, в котором в очень осторожных выражениях намекается на возможность восстановить дружеские отношения, если царь захочет. В ответ на это письмо было категорическое заявление, что никакого ответа на будет, хотя проект ответа был приготовлен, осторожный, дипломатический проект, но ответ был отвергнут потому, что царь сказал, что отвечать не желает.

Смиттен. — К какому времени относится эта попытка?

Милюков. — Я должен был бы знать это, но не знаю.

Смиттен. — Ко времени войны. Каким образом найти нить и пути, чтобы установить содержание письма?

Милюков. — Это письмо есть в министерстве иностранных дел со всеми подлинниками, с проектом ответа и резолюцией царя.

Смиттен. — Официозного характера письмо?

Милюков. — Да. Ведь такая атмосфера была кругом. Я разумею, конечно, лично влияние Александры Федоровны. Не знаю, что говорится о ее сношениях, допустим, что они были личного характера, это возможно, но что они были, это несомненно. Были лица, которые приезжали регулярно, говорилось, что это поездки за лекарствами, вероятно, были личные сношения с родственниками, были предлоги, были случаи протекции, которые оказывались раненым и даже убитым на счет похорон их, были случаи непосредственного влияния, была общая атмосфера сочувствия Германии.

Председатель. — Каких лиц вы имеете в виду?

Милюков. — Александру Федоровну.

Председатель. — Вы говорите, были случаи поездок?

Милюков. — Я знал фамилии их. Я узнал фамилию лица, которое ездило регулярно через границу за лекарствами, но теперь не могу ее вспомнить. Были ходатайства, которые передавались, несомненно, случай ходатайства о похоронах влиятельного офицера, убитого здесь, ходатайство немедленно дошло и было немедленно исполнено, благодаря личному воздействию; был ряд маленьких случаев, которые показывают, что были симпатии, сочувствие и непосредственный контакт. Я не делаю вывода, что были политические переговоры, но что вызывало сочувствие, для меня это несомненно.

Председатель. — Павел Николаевич, вы помните — упомянули о лицах, которые ездили; вы, может быть, только фамилию этих лиц не помните, но помните, кто вам об этом говорил?

Милюков. — Я знал раньше, но теперь не помню, не могу сказать; если вспомню, скажу.

Председатель. — Вы, может быть, постараетесь вспомнить, — нам очень важно знать, кто из окружающих их лиц в этом принимал участие.

Милюков. — Затем относительно Распутина было бы интересно установить факты к этим делам. Надо сказать, что к войне он относился отрицательно. Я имел случай это удостоверить перед войной. Тут была одна из корреспонденток, жена итальянского журналиста, которая мне сообщила о своем непременном желании познакомиться с Распутиным и спрашивала, о чем его спросить. Это было до объявления войны, я узнал, что она готовится, и просил спросить Распутина, будет война или нет. Она довольно искусно пробралась к нему, получила его доверие и задала этот вопрос; он сказал: да, говорят, война будет, они затевают, но, бог даст, войны не будет, я об этом позабочусь. В дальнейшей фразе о нем как о германском посреднике, говорить не приходится, потому что он вообще был посредник, и этого рода льгота могла пройти так же, как и другая. Еще до моего сведения дошло одно загадочное обстоятельство, это при Штюрмере, которое мне так и не удалось выяснить, а стоило бы. Мне как-то прислали американский журнал, в котором были статьи: мирные предложения, которые были сделаны России. С одной стороны, портрет фон-Ягова, с другой — Штюрмера, а в тексте излагаются мирные предложения, которые были предложены Штюрмеру. При внимательном чтении статьи дело представляется несколько иначе, чем говорится в заголовке. Статья излагает содержание статьи швейцарского журнала «Bern. Tagewacht». Этот журнал очень руссофобский, который действительно излагает пункты, якобы действительно предложенные России, который излагает мирные переговоры, предложенные Штюрмеру, и довольно правдоподобно. Как они попали в «Bern. Tagewacht», какие сведения у них есть, я так и не добрался и официальных следов в министерстве иностранных дел не нашел, однако, намеки были постоянные, так что, может быть, тут кое-что и было.

Смиттен. — В качестве министра иностранных дел вы не пытались проверить путем сношения с нашими дипломатами, представителями за границей, у нас ведь нет иного пути как этот, каким образом Америка . . .

Милюков. — Нет, Америка взяла из «Bern. Tagewacht», а вот как швейцарская пресса, откуда она брала сведения, этого я не знаю.

Смиттен. — А вы не делали попытки этого после раскрыть?

Милюков. — Должен сказать, что не делал, но я думаю, что если бы тут было бы что-нибудь, я через наших швейцарских представителей узнал бы.

Председатель. — Вы говорили в своей речи, произнесенной 28 апреля 1914 г. и 13 декабря 1914 г. о «Колоколе». Там мы нашли такое заявление: «Уверяют, что объявление войны с Турцией... (читает)... как на нашего спасителя от бессмысленного кровопролития указывают на одного проникновенного старца, истинного патриота, горячо любящего Россию, при чем близкого к кормилу нашей политики, который удержал своим благородным влиянием от страшного шага. Итак, господа, судьба России, потому что война и мир есть судьба, находится в руках этого самого старца, по моему убеждению, мы находимся» и т. д. Вы не помните, к этому времени вашего заявления в вашем распоряжении не было данных, подтверждающих эти указания?

Милюков. — Нет, этих указаний не было.

Председатель. — Об одном моменте, относящемся к значительно раннему времени, хотелось бы вас еще спросить. У вас были в 1906 году со Столыпиным, или с Треповым, или с тем и другим переговоры об образовании общественного кабинета?

Милюков. — Переговоры с Треповым были за несколько недель до роспуска первой Думы. Кажется, я говорил, в начале моих показаний, что он колебался, устроить ли министерство большинства Думы или распустить ее, и тогда он ко мне обращался по поручению государя и наводил справку. Во-первых, Трепов лично обращался, затем, после этого, у меня было по этому поводу совещание с Ермоловым, а также со Столыпиным несколько позже, чем с Треповым, так что в общем они нащупывали почву, нельзя ли составить министерство большинства, но я поставил очень категорические требования, на которые они не пошли, и на этом эти переговоры и прекратились.

Председатель. — Вам неизвестны эти два документа? (Показывает.)

Милюков. — Интересный документ. В нем есть некоторое знание элементов, но в целом это очень уж что-то широко захвачено, совершенно невероятная постановка. Это написано довольно давно, еще до выступления Италии. А какого происхождения этот документ?

Председатель. — Я вам могу это сказать, но я хочу спросить вас, не было ли соответственного документа в министерстве иностранных дел? На запрос Комиссии, в виду некоторых нехватавших нам документов о посылке нам представлений министров, в форме ли официальных докладов или писем бывшему императору, вообще деловой части бумаг, нам был послан через министра председателя, тогда военного министра, ряд документов, которые представляют собою представления министров царю и т. д., одним словом, часть официального архива Царскосельского дворца, и вот в числе документов был этот документ. В министерстве ино-

странных дел нет такого официального документа, который был бы идентичен с этим или, по крайней мере, представлял бы вариант этого документа?

Милюков. — Очень сомневаюсь. Этот документ найден в Царскосельских бумагах, но откуда видно, что это были представления министров?

Председатель. — Нам прислали по ошибке ряд бумаг, с одной стороны, личных, с другой стороны — ряд бумаг неопределенных, как эта.

Милюков. — Я не думаю, чтобы это мог быть документ, исходящий из министерства иностранных дел.

Председатель. — Так что это не является вариантом какого-нибудь официального акта?

Милюков. — Нет. Кроме того, здесь есть доля фантастического, что едва ли мог бы написать официальный представитель дипломатии. Тут есть много такого, что действительно было, так что очевидно, что некоторое знание общего положения есть, но в то же время формулировка такова, что трудно верить, чтобы это могло итти от лица, официального и ответственного. Меня интригует этот документ. Я думаю, что это какой-нибудь доброволец, может быть, бывший на службе, или имевший прикосновение к министерству, но, во всяком случае, franc-tireur министерства.

LXXVI.

ДОПРОС Д. Н. ДУБЕНСКОГО.

9 августа 1917 года.

Содержание: Назначение Дубенского в ставку историографом. Газета «Русское Чтение». Получаемая на газету субсидия. Свитский поезд. Рост влияния Распутина. Орлов, Дрентельн, Нилов. Новые назначения, связанные с приездом императрицы. «Пульс» Протопопова. Недоступный кружок. Вырубова. Слухи о совещании вел. князей. Деспотическое влияние бывш. императрицы на царя. Потворство немцам бывш. императрицы. Слухи и разговоры. Общественное мнение. «Глубокая рознь русских интересов с интересами Александры Федоровны». Тяжкая служба в поезде. Великие князья. Секретєв. Мнение бывш. императрицы Марии Федоровны. Предположение о переносе ставки в Царское Село. «Тайнички». Тревога в Петрограде. Назначение Беляева. Ненормальность Протопопова. Добровольский и поддержка колонистов. Немецкая Распутинская организация. Манус. О развивавшихся и выяснявшихся событиях февраля. Царь — фаталист. Выдержка или равнодушие? О «событиях» в ставке было не принято говорить. Известие о роспуске Думы и государственного совета. Телеграмма харьковского земства. Командировка генерала Иванова. Телеграмма Родзянки. Легкомыслие Воейкова. Иванов — диктатор. Отъезд царя из ставки на Лихославль. Вести о Временном Правительстве. Поворот на Псков. Генерал Рузский. Поклонники конституции. Попытки вернуть самодержавие. 2 марта. Ночные переговоры Рузского с Родзянкой по прямому проводу. Согласие царя отречься. Сожаление свиты. Экстренное заседание в ставке 27 февраля. После отречения. Свидание с матерью. Возбуждение против Воейкова и Фредерикса. Оплот немцев. Немецкая партия. Арест Воейкова и Фредерикса после отъезда царя. О дневнике Дубенского.

Председатель. — Ваше имя и отчество, генерал?

Дубенский. — Дмитрий Николаевич Дубенский.

Председатель. — Какое официальное положение вы изволили занимать в последнее время старого порядка?

Дубенский. — Я и теперь состою членом совета главного управления государственного коннозаводства. Я был в октябре приглашен в министерство двора состоять в распоряжении министра императорского двора, для ведения записи событий на войне.

Председатель. — Когда состоялось такое ваше приглашение?

Дубенский. — Насколько я помню, 20 или 22 октября 1914 года.

Председатель. — Так что оно было вызвано возникновением войны, и вы должны были быть историографом войны?

Дубенский. — Да, я был на войне. Я, как знающий конское дело, был помощником у князя Щербатова, который был управляющим государственным коннозаводством и ведал пополнением армии лошадьми северо-западного фронта.

Председатель. — Это до вашего назначения историографом?

Дубенский. — Да. Историографом я был назначен с момента войны, 20 или 22 октября. Будучи в трехдневном отпуску в деревне, я, совершенно неожиданно для себя, получил приглашение явиться в канцелярию министра двора, к генералу Мосолову. Телеграмма была такая: «Назначены для высочайшего сопровождения. Прибыть в 9 часов утра. Перед отбытием заезжайте ко мне».

Председатель. — Телеграмма была подписана Воейковым?

Дубенский. — Нет, Мосоловым. Я приехал к нему. Он говорит: «Вы назначаетесь сопровождать высочайшие поезда во время следования государя по пути». И в тот же день я выехал. Поехали мы тогда в Барановичи. С этих пор я все время бывал, когда государь был в путешествии, когда же он возвращался сюда, то я никакого отношения совершенно не имел.

Председатель. — Как же сочетаются эти три ваши должности: с одной стороны, вы были в центре коннозаводства, затем вы должны были сопровождать высочайшие поезда, и, наконец, быть историографом войны?

Дубенский. — Я очевидно плохо объяснил. Когда началась война, я был в распоряжении князя Щербатова, мы с ним ездили по фронту и пополняли армию лошадьми. Затем, совершенно не знаю почему, я был призван писать дневник событий войны. Может быть потому меня пригласили, что я был редактором-издателем «Летописи войны». Одним словом, я за два с половиной года не мог доискаться, кто меня рекомендовал и почему я попал. Положение мое до назначения в распоряжение министра двора было очень хорошее, самостоятельное. Я был очень доволен, так как дело конское я очень хорошо знаю.

Председатель. — Но вы знаете также и историческое дело, не только дело конское?

Дубенский. — Да, у меня есть труды — «История России», которая написана в картинах и переведена на другие языки, потом «История русского солдата», затем я писал разные исторические исследования. Так что для вас это ясно?

Председатель. — Одна часть для меня ясна, но не ясна другая часть. Повидимому, вы должны были сопровождать высочайшие

поезда по должности историографа, чтобы ближе быть к центральной фигуре верховного главнокомандующего?

Дубенский. — Я был отчислен от той должности, и вместо меня там был назначен генерал Петрово-Соловово.

Председатель. — Почему же ваше приближение к верховному главнокомандующему, вызванное возложением на вас обязанности историографа, касалось только высочайших поездок, и в какой связи это находилось с обязанностью сопровождать высочайшие поезда?

Дубенский. — Верховным главнокомандующим был Николай Николаевич; тогда государь только изредка ездил; решено было эти посещения описывать и издавать на казенный счет, под большой цензурой. Вы изволили видеть эти книги?

Председатель. — Видел.

Дубенский. — Это была дневная запись, которая просматривалась каждый раз в особой комиссии, состоявшей под председательством Мосолова, из Штакельберга, Суслова, Феденко, Дрентельна. Что можно, они пропускали, а что нельзя, вычеркивали.

Председатель. — Но вы не изволили ответить на мой вопрос, который заключается в том, почему историографу нужно было присутствовать и писать историю только во время поездок?

Дубенский. — Дело в том, что государь в то время не был главнокомандующим. Книга называется «Его величество в действующей армии», и было строго указано отнюдь не касаться верховного главнокомандования, а только пребывания государя в войсках. Так что, когда государь возвращался сюда, моя деятельность прекращалась, и то, что делалось в Царском Селе, что делалось в Петрограде, меня совершенно не касалось. Вам это ясно или нет?

Председатель. — Да, это несколько яснее теперь. Таким образом, вы не должны были описывать войну, а должны были описывать только поездки бывшего императора?

Дубенский. — Все, что касается войны, меня очень интересовало и интересует, но это все вычеркивалось совершенно. Например, в самом начале, когда были у нас успехи в Восточной Пруссии, я сказал, что успехи в Восточной Пруссии потому не развились, что мы их своевременно не поддержали, но тогда мне заявили: «Это будущий историограф опишет, а вы должны написать только, что государь приехал и уехал». Сказать можно было только, что в это время дела наши в Пруссии шли успешно, общего описания мне не разрешалось. По этому поводу я много спорил, так как книга выходила очень сухая, нельзя было касаться ничего, кроме фактической стороны. Это было даже не историческое описание, а более широкий камер-фурьерский журнал.

Председатель. — Теперь это совершенно ясно. Скажите, а те деньги, которые вы получали в главном управлении по делам печати, находились в связи с этим делом?

Дубенский. — Ни в малейшей связи. Деньги эти, как вы изволите знать, крайне небольшие, шли на возмещение расходов по очень дешевой, издаваемой мною газете «Русское Чтение».

Председатель. — Что это была за газета?

Дубенский. — Это была газета народная. Сначала она выходила два раза в неделю. Издана она была по моему личному почину и на мои личные деньги. До первой революции я ни копейки не получал и не хотел получать, а после революции, когда вместо 60 тысяч подписчиков, осталось 20 тысяч, мне выдавали сущие гроши. После революции у меня тираж пал совершенно.

Председатель. — У вас тираж пал, но субсидии эти продолжали вам выдавать, и за последние годы они увеличились?

Дубенский. — Да, за последние два года.

Председатель. — Позвольте проверить точность цифр: в 1913 году вы получили 4 тысячи, в 1914 году — 9 тысяч, в 1915 — 12 тысяч, в 1916 —30 тысяч? Чем объясняется рост этих выдач?

Дубенский. — Я большое количество газеты посылал в армию и, затем, вследствие непомерного вздорожания всего. Сначала газету можно было издавать, имея некоторую даже пользу, и она стоила 2 руб. 50 коп.

Председатель. — За 2 руб. 50 коп. можно было получать газету два раза в неделю?

Дубенский. — Да. Потом цена газеты стала повышаться, и она стоила 2 руб. 90 коп., потом 3 руб. Все это такие мелкие цифры, которые не давали возможности вести газету, но я ее держал потому, что у меня в это время был контракт с Метцелем, который давал мне в год за объявления до 30 тысяч. Тогда субсидии почти не нужно было, но когда началась война, и когда объявления все рухнули, то, чтобы поддержать газету, мне дали субсидию. Позвольте вам сказать, что моя газета была, конечно, правая, но беспартийная.

Председатель. — Но она была политическая газета?

Дубенский. — Разрешите для окраски сказать, что я Глинкой-Янчевским и другими крайними правыми обвинялся в том, что я издаю газету на финляндские деньги, и я его привлек к суду.

Председатель. — И что же, суд его обвинил?

Дубенский. — Да, но потом я его простил.

Председатель. — Вы давали какой-нибудь отчет в расходовании этих сумм?

Дубенский. — Нет, не давал.

Председатель. — Как же вы смотрели, почему вам даются эти деньги, почему государству нужно поддерживать «Русское Чтение»? Как вы это объясняли?

Дубенский. — Объяснял я тем, что к газете хорошо относились, в особенности мои подписчики.

Председатель. — Их было у вас много?

Дубенский. — Главным образом, у меня были крестьяне; высший мой подписчик, можно сказать, был сельский священник.

Председатель. — Теперь эта газета не издается?

Дубенский. — Да, она временно прекращена, потому что теперь невозможно издавать, нет бумаги.

Председатель. — Вы начали ответ на мой вопрос о том, почему вам выдавались деньги?

Дубенский. — Только потому, что газету совершенно невозможно было без этого издавать. До войны, когда были объявления, можно было издавать. Меня это дело интересовало, я находил, что народу нужно говорить, и все время говорил, главным образом, о необходимости просвещения, но по возможности не касался борьбы партий. Меня обвинял в кадетизме тот же Глинка. Произошло это вот почему. Помните, было предположение, что газета «Речь» издается на финляндские деньги? Печатались и моя газета и «Речь», обе в типографии «Слова». . .

Председатель. — Разрешите вас просить в эту сторону не уклоняться, это нас очень далеко заведет. Так что вы были до такой степени беспартийны, что вас упрекали в кадетизме. Но позвольте вас спросить, ведь и другим издателям было тоже тяжело, почему же на вас пал такой счастливый жребий? Вы обращались к кому-нибудь с ходатайством, выхлопатывали себе эти деньги?

Дубенский. — Я обращался с ходатайством в главное управление по делам печати. Единственно, что я могу сказать, это — что у меня довольно много серьезных сочинений, например: «История России», «Картины Родины», «История Русского Солдата». Это большие сочинения; поэтому я всегда котировался среди лиц, которые могут до известной степени принести пользу народу. Я никогда не был крайним, хотя я не хочу себя обелять. Одним словом, я считал, что необходимо народу говорить именно о просвещении.

Председатель. — Генерал, скажите, а что вы раньше делали? Вы изволили служить по коннозаводству, а ваше основное занятие?

Дубенский. — Я долго служил в генеральном штабе.

Председатель. — Вы кончили академию генерального штаба?

Дубенский. — Не кончил по болезни. Несмотря на то, что я не кончил, я был назначен в генеральный штаб по распоряжению генерала Обручева. 20 лет я был делопроизводителем мобилизационного отдела. Ко мне хороше относился генерал Обручев и благодаря ему я принял участие в литературе, был секретарем «Русского Инвалида», написал «Коннозаводство и перевозочные средства», по которому до сих пор учатся в академии. Генерал

Обручев, вместе с благословением, сказал мне, что нужно издавать «Народную Газету». Но мне на это ни копейки не дали.

Председатель. — Так что ясно, что главная ваша служба протекала в генеральном штабе, и затем вы попутно занимались литературой. Позвольте вернуться к тому моменту ваших объяснений, когда вы были назначены сопровождать высочайшие поезда. Когда же вы начали сопровождать отрекшегося императора?

Дубенский. — В 1914 году.

Председатель. — Вы изволили быть назначены в сентябре?

Дубенский. — В октябре.

Председатель. — Это его поездка с 21 октября по 2 ноября?

Дубенский. — Эта поездка в первом томе описана. Позвольте сказать, что во всех этих изданиях я не был материально заинтересован: они производились на казенный счет, проверял министр двора, а деньги шли в распоряжение бывшей императрицы.

Председатель. — Позвольте теперь задать вам общий вопрос, потому что вы, как лицо, причастное к литературе, и лицо, слушавшее лекции в академии генерального штаба, вероятно, можете на него ответить. Что вам известно о политических течениях того времени, насколько эти политические течения и события отражались в том кругу, к которому вы принадлежали? Иначе сказать, восстановите в вашей памяти главнейшие моменты политической жизни России последнего времени, хотя бы те, о которых вы осведомлялись, сопровождая высочайшие поезда. Скажите нам, как они воспринимались окружавшими вас лицами?

Дубенский. — Когда я был туда назначен, я был поставлен очень далеко и не ездил в поезде, где ездил государь, а в другом, так называемом, свитском поезде. Свитский поезд не значит, что там ехали лица свиты, а ехал служебный персонал, среди которого был я. Нас держали очень далеко, и вначале я даже редко приглашался к высочайшему столу. Я всегда присутствовал, когда государь выезжал к войскам, и все, что он говорил или делал, я записывал. Так что на ваш вопрос, как относились там к событиям, я должен сказать, что многое мне совершенно неизвестно. Не то, чтобы я не хотел вам говорить, но мне это неизвестно, и я бы вдался в область фантазии. Потом я был хорош с Орловым, с Дрентельном, с профессором С. П. Федоровым, с генералом Ниловым, и косвенно начал получать кое-какие сведения; остальное же было совершеннейшей тайной. Если вы просмотрели мой дневник, то вы изволили видеть, до какой степени мы ничего не знали. Так что я вам с удовольствием расскажу, если вы зададите вопрос, все подробности, как относились к известным событиям, но это будет только передача тех разговоров, которые шли вокруг высочайшего поезда. Со мной государь никогда не говорил, — только иногда, как любезный человек, скажет что-нибудь в роде этого: «Легкий у вас слог», «Вы заметили, какие красивые казаки?», «Вы

заметили Апшеронский полк?», «Неправда ли, генерал Мищенко имеет бравый вид?» и т. д. Насколько мне известно, и другие мало знали; мы пользовались только слухами.

Председатель. — Генерал, вы назвали несколько имен; все это имена лиц, которые были противниками влияния Распутина на государственные дела. Может быть, вы сами, или через них, можете сказать, как усиливалось это влияние, особенно во время отсутствия государя, во время этих поездок? Как реагировали у вас на это усиление влияния?

Дубенский. — Я понимаю, что я даю показания в высшей степени серьезные, я человек пожилой, поэтому я прошу вас отнестись к моим словам с полным доверием, и поэтому я отделяю слухи от того, что я знал. Вы изволили спросить, как росло влияние Распутина, но это было в то время, когда нас не было здесь; значит, это были только слухи, которые долетели до нас в ставку.

Председатель. — Они нам не интересны, потому что мы все это знаем по более близким источникам.

Дубенский. — Те лица, которых я знал, были полными противниками Распутина, он пользовался среди них полным презрением, ненавистью. Я сам находил, что это погибель для России; нравственный гнет мы все испытывали, и я много раз говорил с Орловым, что нельзя допускать, чтобы такой человек имел влияние. Вероятно, вам известно, что Орлов очень сильно на это реагировал. Также реагировал и Дрентельн, но каждый по-своему: Орлов был более экспансивен, Дрентельн был сдержаннее, он иногда промолчит, но так, что уж лучше бы говорил. Что касается Нилова, то он с глубокой ненавистью говорил о Распутине и, как человек горячий, ругал его невозможными, непечатными словами. То же скажу и про Фредерикса. Вообще все, даже флигель-адъютанты, которых я знал, кроме, может быть, Саблина, который стоял от нас далеко, все относились к Распутину отрицательно. Как росло его значение, я не могу сказать. Я могу сказать только то, что и вам известно, что императрица была встревожена опасностью потерять мужа и ребенка, что она верила, что Распутин их спасет, и до тех пор, пока он находится при них, государь и Алексей Николаевич будут целы, но это все — область фантазии.

Председатель. — Все то, чему вы не были свидетелем, мы установим иными данными; но вы скажите, как отражалось у вас усиление влияния Распутина, в связи с усилением его влияния на императрицу?

Дубенский. — По мнению многих, даже всех, до июня прошлого года, когда императрица почти не бывала у нас в ставке, влияние ее было невелико, но с июня прошлого года, говорят, ее значение сильно возросло. Я знаю, что противником поездок императрицы в ставку был Фредерикс, это он мне сам высказывал: «Я всегда говорил, что не нужно, чтобы императрица была

в ставке». Про Распутина он говорил: «Скажите, а Распутин, скверная личность, — о нем много говорят?» Я знаю (не от него, конечно, а от других), что он говорил потом и государю и императрице, что быть в ставке ей не следует.

Председатель. — Как окружающие относились к этим поездкам в ставку? Было ли это естественное желание жены видеть мужа, по мотивам личного свойства совершавшей поездки, или окружавшие вас лица ставили это в связь с какими-нибудь моментами государственной жизни, с влиянием этого негодного человека, о котором не может быть двух мнений?

Дубенский. — Мое личное впечатление, и по разговорам с товарищами, было таково (но это область слухов), что когда императрица приезжала, государь совершенно уединялся, они завтракали, и после завтрака он целый день проводил с ней. Говорят, что в это время, именно с июня прошлого года, с ней приезжала Вырубова, говорят . . .

Председатель. — То-есть это уже не говорят, это вы видели.

Дубенский. — Да, это я сам видел. И будто бы к этому времени подготовлялись разные назначения. Между нами говорили, что вот приехала, и опять будут назначены разные лица, и, кажется, это действительно совпадало. Помню очень хорошо, как в прошлом году приехал Протопопов, я хорошо помню, это было 3 июня. Я его немного знал, помню даже его фразу перед посещением государя, как он прошел в кабинет, а потом подходит ко мне и говорит: «У меня пульс был 120, а теперь 70». Я говорю: «Почему же?» А он говорит: «Я так волновался перед тем, как итти к государю, а теперь успокоился». Когда случилось это свидание, стали говорить, что это неспроста, что, вероятно, Протопопов получит назначение, но опять-таки говорили, что его рекомендует Родзянко, затем, что он проходит через Распутина, и тут опять сплетни.

Председатель. — Ну, сплетни должны быть исключены. Генерал, скажите, пожалуйста, этот дневник несомненно ваш, и вы то, что знали, совершенно правильно, с объективным спокойствием сюда записывали?

Дубенский. — Не очень спокойно. Я человек нервный, больной и не всегда спокоен.

Председатель. — Вы не замечали, что по мере того, как через Распутина усиливалось влияние императрицы на ход государственных дел, увеличивалась бы и ненависть к бывшей императрице?

Дубенский. — Видите ли, то, что я писал . . . это . . . жил же я в Петрограде, видел эту глубокую ненависть к Распутину, к ней. Потом, когда случилось это убийство, насколько я сам негодовал, ведь это действительно было отвратительно, ведь я сам русский человек, я сам ненавидел его и слышал и говорил исключительно с теми, кто его ненавидел Я никогда его не видал, я избегал,

я мог его видеть, но я и Дрентельн, мы избегали его, потому что, помимо моей ненависти, это поставило бы меня в невозможные условия. Я был в стороне, описывал события; вид этого человека мне был бы крайне неприятен, так что ненависть укреплялась. Вы, вероятно, подчеркнули некоторые вопросы, вы может быть мне напомните; так мне трудно говорить . . .

Председатель. — Да, это именно совпадает с тем, что здесь написано, когда вы отмечаете . . .

Дубенский. — Здесь, как потом оказалось, было много неверного. Я не был посвящен в то, что делается, приходилось питаться слухами. С Воейковым я никогда. . . я с ним был нехорош. . . я не хочу сказать ничего дурного. . . но мы не симпатизировали друг другу. Но человек безусловно порядочный, хороший, по долгу совести должен сказать, это Фредерикс. Он тоже был сдержан, но ко мне хорошо относился, верил. Он ненавидел этого Распутина; но там был свой, очень плотный, недоступный чужому влиянию кружок, в который никого не пускали.

Председатель. — Да, но кроме Вырубовой, кого вы можете назвать?

Дубенский. — Не знаю. Я думаю даже, что Воейков бывал по необходимости, не думаю, чтобы он очень тяготел. Эта область мне совершенно неизвестна, я просто боюсь вам передать не то, что было.

Председатель. — Скажите, генерал, что вы знаете по вопросу, о котором упоминается в вашем дневнике, о совещаниях великих князей, направленных против Александры Федоровны, и о приглашении бывшей императрицы в Англию?

Дубенский. — Мой сын до академии служил в конной гвардии, и был очень хорош с Дмитрием Павловичем, и я был хорош с ним. Это была область слухов, не знаю, было ли это совещание, или это область предположений. Я не могу в точности сказать, что там было, но слух передавался.

Председатель. — Да, но эти слухи, эти сведения вы получали от совершенно определенных лиц, от лиц, ближе вас стоявших к событиям?

Дубенский. — Тут, вероятно, написано. Я ни малейшим образом не хочу скрывать ничего; если вы мне прочтете, я вам подтвержу; но, сколько мне помнится, все это область моих предположений. Ведь это, кажется, вы просматриваете декабрь; это было необычайно смутное время: разговоры, угнетенное настроение, неизвестность, когда поедем, куда поедем. Спрашиваешь кого-нибудь. Говорят: «уезжаем»; потом говорят: «нет, не уезжаем»; было такое положение, что я не мог сказать семье, когда мы едем и куда едем.

Председатель. — У вас категорически говорится (читает): «По желанию императрицы Александры Федоровны, назначен

кн. Голицын вместо Трепова». Конечно, вы не были очевидцем, но вам это было известно от других.

Дубенский. — Да, это я могу подтвердить. Это единогласно все говорили, безусловно. Я настолько в этом был уверен, что и поместил. Про него говорили, что он человек порядочный, но совершенно не подготовлен, назначен совершенно неожиданно. Я и считал своим долгом все то, что я слышал, заносить в дневник, потому что все, что мы пережили, все это события громадной важности, и, насколько было возможно, я считал нужным записывать.

Председатель. — Вы изволили сказать об одном приезде Протопопова. Это единственный был приезд на ваших глазах?

Дубенский. — Нет, он потом в октябре был.

Председатель. — Ну, и что же, имея привычку записывать, разве вы не ставили ему вопросов более общественного характера, чем вопрос о его пульсе?

Дубенский. — Это он сам тогда сказал; я просто рассказал это, как картину его характера. Он был человек взвинченный, об этом говорить не стоит; но помню, в октябре, когда он только что был назначен, перед тем он был на высочайшем обеде и сказал мне: «Заезжайте завтра ко мне». Так как это был новый министр, мне было интересно, и я поехал к нему, в поезд. Это было часов в 11, он не вставал еще, в салоне сидел Курлов, и когда я пришел, Курлов сказал: «Сейчас Ал. Дм. придет». Действительно, он вошел, был очень щеголеват, весел, и я помню его фразу, которую должен вам передать: «Вот вы всегда были правее меня, а теперь я правее вас». Я говорю: «Почему? Теперь все правые, теперь война». А он говорит: «Нет, нет, вы были правей, а теперь я правей», и затем начал шутить, он был очень любезен, charmant, и стал говорить, что у него идеи в голове . . .

Председатель. — А вы выражали в этом сомнение?

Дубенский. — Нет, не выражал, но ведь трудно с ним говорить, он очень много говорит. Курлов все время молчал, а он к нам обращался. Говорил, что влюблен в государя и в государыню. Затем он приезжал, кажется, еще раз, но я был послан на фронт и его не видал. Относилось к нему большинство с сомнением, а Нилов прямо говорил, что это министр на три недели.

Председатель. — У вас имеется запись касательно бывшей императрицы: вы говорите о том, что она держит в полном подчинении своей воле царя, а дальше говорите и о другом факте, который ей приписывался, о том, что она выдвигает плохих людей, чуть-что не шпионов.

Дубенский. — Да, это я могу сказать: государь был в полном подчинении. Достаточно было их видеть четверть часа, чтобы сказать, что самодержцем была она, а не он. Он на нее смотрел, как мальчик на гувернантку, это бросалось в глаза. Когда они

выезжают, и она садится в автомобиль, он только и смотрит на Александру Федоровну. По-моему, он просто был влюблен до сих пор, какое-то особенное чувство было у него. А относительно шпионов, вероятно, это была область . . . ведь это такое страшное обвинение, что по долгу совести я сказать не могу. Мне говорили, что Протопопов издавал «Русскую Волю» и целый ряд таких, но я не могу утверждать, кто там шпион. Безусловно, говорили о Штюрмере, называли его дрянным человеком. Нилов прямо говорил, он человек несдержанный, он прямо говорил Долгорукому, когда его сажали за стол рядом со Штюрмером: «Не сажай меня рядом с этим мерзавцем».

Председатель. — Какова же была подкладка такого отношения Нилова к Штюрмеру?

Дубенский. — Про Штюрмера говорили, опять в области предположений, что он нечист в денежных делах, что он сторонник мира; все это на такого горячего человека и глубоко преданного России, как Нилов, производило довольно сильное впечатление. Я прямо и определенно должен сказать, что считаю Нилова кристальным человеком; он безусловно предан государю; теперь уже, конечно, мы с ним вместе присягали, но его нельзя было никакими милостями купить, императрица его имени слышать не могла.

Председатель. — На странице шестой вашего дневника имеется такая запись: «Драматичность положения в том, что императрицу определенно винят в глубочайшем потворстве немецким интересам. Все думают, что она желает мира, желает *не* воевать с Германией. Создает такие партии внутри России, которые определенно помогают Вильгельму воевать с нами. Я лично этому не верю, но все убеждены, что она, зная многое, помогает врагу. — Распутин был будто бы определенный наемник немцев».

Дубенский. — Я помню, это в январе было, когда говорили то про Распутина, то, что императрица сочувствует этому, и тогда меня все осаждали, даже свои домашние говорили, вот вы так говорите, а на деле вот какие явления: Распутин, это — наемник. Трудно было этому противоречить, и я счел долгом записать, что все говорят. Я, например, не могу до сих пор допустить, чтобы она могла выделять интересы Германии. Это очень бессмысленно прежде всего. Ведь она была матерью будущего русского императора.

Председатель. — Генерал, очень интересно, как получились эти записи? Откуда это началось? Позвольте поставить вам вопрос. Я мог слышать вести, живя в другом городе и не соприкасаясь с лицами, которые окружали императора, мог занести это в свой дневник, но у меня эти слова стали бы звучать совсем иначе. Вы же ездите в свитском поезде, со служащим персоналом, сообщаетесь в ваших поездах, хотя бы с Ниловым и другими, и заносите все это в ваш дневник. Ваша запись есть нечто особое,

что заставляет внимательнее относиться. 28 декабря вы были в Петрограде?

Дубенский. — Тогда, вы сами помните, какие были всюду разговоры. Придешь из своего кабинета в семью, к детям, где сидят люди, принадлежащие к обществу, все-таки к более, позвольте так сказать, высшему обществу: мой сын — лицеист, окончил, у него была масса лицеистов; второй сын, старший,—конногвардеец, у него была масса конногвардейцев, и тогда все это говорили. Я мог бы это и не записывать, но я наврал бы в моем дневнике, я не для вас писал, а для себя, я не мог указать, кто говорил, все говорили. Нилов говорил то же, что я: «Я не могу допустить, чтобы она была изменницей, но она сочувствует им, это видно!»

Председатель. — Значит, это «все говорят» нужно понимать так, что это говорилось не только в среде вашей семьи и детей, но и в среде Нилова, Дрентельна, Орлова?

Дубенский. — Нет, Дрентельна не было, Орлова не было, и Долгорукова я не видал, а в декабре, когда был в Петрограде, я и Нилова не видал, и этот слух относится всецело к петроградским слухам. Имейте в виду, что, когда я приехал в Петроград, я держался особняком.

Председатель. — Для меня это совершенно ясно, но 28 декабря генерал Дубенский заносил в свой дневник: «Драматичность положения в том, что императрицу определенно винят в глубочайшем потворстве немцам и немецким интересам» и т. д. Так что это, повидимому, не только мнение улицы, толпы, не только товарищей вашего сына, но и мнение окружающих императора и императрицу.

Дубенский. — Мнение общества. Я отлично понял, что вы спрашивали не к этому моменту, я нарочно говорил о Нилове, я в этот момент не говорил с Ниловым. Все говорили, отличия нет, я передавал настроение всех.

Председатель. — Но и вашей среды?

Дубенский. — Да, да, всех, всех. Я помню, как писал. Я прошел из гостиной к себе в кабинет и с ужасно тяжелым чувством писал, что императрицу обвиняют в шпионстве, и обвиняет кто же? Все мои знакомые.

Председатель. — Вот другое место вашего дневника: «Слабое, плохо организованное правительство наше, с государем во главе, с Протопоповым, жалким стариком кн. Голицыным, начинает бороться, но ничего не выйдет, ибо очень плохи сторонники правительства; а между тем должно уступать требованиям взволнованного общества. Надо беречь престиж царской власти, но едва ли можно сохранить самодержавие. Слишком проявилась глубокая рознь русских интересов с интересами А. Ф. Не следует собирать Госуд. Думу 12 января, ибо ничего не выйдет, кроме скандала. Заседание будет полно протеста и всяких оскорблений; кроме того,

такая бунтующая Дума вредна. Сам роспуск, т.-е. неоткрытие ее, пройдет без больших осложнений. Покричат рабочие, напишут грозные статьи газеты, и все; но при условии, чтобы власть была твердая у правительства и понимающая интересы России». Этот факт, который вы отмечаете в результате своего наблюдения о существующей глубокой розни русских интересов с интересами императрицы», это — как вывод из всего.

Дубенский. — Как результат всего того, что я переживал. Что же мог в декабре Голицын? Ведь это ужас брал. Я желал твердой власти. Я ведь это для себя писал, я искренно говорю, нужно было пойти, нужно было что-нибудь сделать, нельзя же было слушать балаболку эту, Протопопова. Поэтому, если вы будете требовать от меня протокольных сведений, я не могу вам их дать. Я могу сказать только то, что я переживал. Как это было трудно, все эти два с половиной года служить в этом поезде, это такая каторга, которой я не знаю подобной. Все не так. Мой сын пять раз ранен, я сам побежал бы на войну, я все отдаю войне, я целиком русский человек, и я вижу, что ничего не выходит; ходим мы кругом да около. Не было талантливых людей, не было даже горячих людей, были порядочные люди, но такого . . . Должен быть в этой войне размах широкий. Как Вильгельм ведет дело, а как мы! Ведь я это видел, вы думаете это легко переживать? Это очень трудно переживать.

Председатель. — Вы отмечаете: «Теперь все Владимировичи, все Михайловичи в полном протесте императрице; это просто по недоразумению и по желанию прислужиться «обществу».

Дубенский. — Это мое личное мнение, что люди, которые так были заинтересованы, которых все положение было создано в прежнем царствовании, не думаю, чтобы они искренно желали таких перемен. Просто они испугались.

Председатель. — Да, но они стояли на точке зрения своих интересов, а интересы их подсказывали им невозможность существования с продолжением влияния Распутина и распутинства после его смерти.

Дубенский. — Да, да, их это очень оскорбляло, я это знаю. Я высоко ценю Дмитрия Павловича. Он очень сдержанный и очень умный человек, с огромной волей; но видно было, что его это возмущало, и их это обижало. Всех их отмели, остался этот неудачный человек.

Председатель. — Кто неудачный человек?

Дубенский. — Распутин. Они прежде, как будто, не говорили об этом. Должен сказать, что я их мало знал. Я встречал их только в свитском вагоне.

Председатель. — Какое вы имели отношение к Секретеву, вы с ним были знакомы?

Дубенский. — Я с Петром Ивановичем был знаком. У меня были с ним простые отношения, он очень любезный человек, очень неглупый, я не помню, где я с ним познакомился.

Председатель. — Вы не знали про эти его дела со всякими поставками?

Дубенский. — Очень много о нем говорили, но я этому не верил. Про него ужасно много гадостей говорили. Когда бывало я приезжал, товарищи мне говорили: «Охота вам с Петром Ивановичем?». Но я не верил. Во-первых, когда я у него бывал, я видел, что он жил очень бедно, жена его очень скромная женщина, он с утра до вечера был занят, но так как он действительно крутил громадные дела, то всегда ему это и приписывали. Я его не оправдываю, но я рассказываю, почему я с ним знаком. Он интересный человек, умный, но я с ним никаких дел не вел, так что, например, я так и не мог получить от него автомобиля, когда весь Петроград получал. Он не делал не только никаких потворств, но даже нормального: мне было разрешено приобрести автомобиль, но он давал такую дрянь, что было совершенно невозможно. Он был интересен, иногда устраивал у себя каких-нибудь песенников.

Председатель. — Со слов Чернышева вы говорите о Марии Федоровне (читает): «Императрица Мария Федоровна говорила: «Я верю, что господь помилует Россию, и императрица Александра Федоровна должна устраниться. Как это будет — не знаю; но будет... Может, Александра Федоровна сойдет окончательно с ума, может быть, пойдет в монастырь или вообще пропадет»... Состоящий при Марии Федоровне кн. Шервашидзе сказал: «Я надеюсь, что Николай-угодник спасет Россию; но сохранит ли он династию — я сомневаюсь».

Дубенский. — Совершенно верно. Очень много говорили об этом. Мне сам кн. Орлов говорил, что нужно императрицу куда-нибудь убрать — в Ливадию — куда хотите, но чтобы она там жила, иначе это кончится величайшим крахом. Говорили и про монастырь, говорили все то, что вы, вероятно, знаете. А что Чернышев сказал — это несомненно исторические сведения; потому я их и записал.

Председатель. — Между 15 — 22 января вы пишете (читает): «Говорят опять о переменах и о враждебности великих князей к царской семье. Государь не решается уехать в ставку, так как боится оставить семью. Сюда вызывается гвардейская кавалерия с фронта, ибо опасаются волнений. Мне кн. Оболенский передал, что распоряжение о переводе гвардейской кавалерии последовало по приказанию государя, который сказал, что *для отдыха* следует поочередно направлять в Петроград сначала 3-ю гвардейскую конную дивизию, затем 1-ю и потом 2-ю. В Царское Село командируется гвардейский экипаж, так как сводный полк не очень наде-

жен». Что вам давало основание сделать эту запись о боязни государя оставить семью?

Дубенский. — Это все говорили. Когда приезжаешь в канцелярию, то спрашиваешь: «Когда поедем?» — «Неизвестно».

Председатель. — Под 11 — 12 февраля вы делаете такую запись (читает): «17 февраля вступает в должность генерал-адъютант Алексеев; у него остается Гурко. Говорят, что ставка будет в Царском, т.-е. там останется государь и очень ограниченный при нем состав. Если это осуществится, будет неладно. Влияние Александы Федоровны вырастет, а это не на пользу интересам России».

Дубенский. — Опять-таки должен сказать, что когда я это писал, то, я помню, я не хотел сказать, что будет явная измена, но вообще такое влияние женское в таком серьезном деле, как в ставке, где с утра до вечера все должны работать, влияние Александры Федоровны и всей женской компании несомненно имело бы ужасное действие.

Председатель. — Вы в предыдущей записи заносите слова императрицы Марии Федоровны о том, что «Александра Федоровна совсем сойдет с ума». Разве окружающие лица считали, что Александра Федоровна нездорова психически?

Дубенский. — Мы считали, что то, что делается по отношению к Распутину, ее мистическое настроение, совершенно не соответствует духу православной церкви, потому что все эти тайнички — это психоз.

Председатель. — Что значит тайнички?

Дубенский. — Это в соборе маленькие ниши, где она молилась; в старину это называлось тайнички. Это показывало, что у нее крайне потревожены нервы. Это не мои слова, это слова Марии Федоровны, которая считала, что она ненормальная и сумасшедшая, и думала, что она совсем сойдет с ума. Лично я, например, в этом отношении не согласен с Марией Федоровной. Я нахожу, что императрица Александра Федоровна в высшей степени нервный человек, но твердый, и до сумасшествия далеко.

Председатель. — 22 февраля, в среду, вы начинаете свою запись словами (читает): «Отъезд государя в ставку. Этот отъезд был неожиданный, многие думали, что государь не оставит императрицу в эти тревожные дни. Вчера прибывший из Ялты ген. Спиридович говорил, что слухи идут о намерении убить Вырубову и даже Александру Федоровну, что ничего не делается, дабы изменить настроение в царской семье, и эти слова верны». Почему вы делаете эту запись? Как вы объясняете этот неожиданный отъезд в эти тревожные дни?

Дубенский. — У меня 21-го был Спиридович, который только что приехал из Ялты; он часа полтора сидел и рассказывал то, что я записал. Он признавал, что уезжать из Петрограда невозможно,

потому что тут накопляются такие события, которые, по его мнению, должны были бы государя остановить. Простите, я не совсем понял ваш вопрос.

Председатель. — Эта запись состоит из двух частей; вы изволили сейчас повторить вторую запись, а меня интересовала первая — почему вы и другие думали, что государь не оставит императрицу в эти тревожные дни, и чем вы объясняете неожиданность этого отъезда?

Дубенский. — Насколько я припоминаю, кажется, было так: государь ехал на короткое время, 1 марта он должен был вернуться сюда, и решено было, что он поедет, а 1 марта вернется, и уже тут были разговоры о создании нового ответственного министерства, был целый ряд соображений; но, очевидно, что-то произошло, что мне, вероятно, было неизвестно, почему мы вдруг, внезапно уехали. Какие были соображения, я не могу вам объяснить. Вероятно, Алексеев его вызвал или были какие-нибудь события, о которых я не знаю.

Председатель. — Как вам объяснял ген. Спиридович свой приезд в Петроград?

Дубенский. — Когда Спиридович приехал ко мне утром, он говорил, что у нас идет полное падение императорской фамилии, и ничего ровно не делается для того, чтобы поднять ее престиж. Что в Ялте можно многое сделать, в смысле призрения раненых и больных, и он многое сделал, но все это по личному своему почину, и никто даже не подумал присоединить к этому имя государя и государыни, о них совершенно забыли, и это в самой резиденции государя, а вместо того идут разговоры, что хотят Вырубову и государыню убить. Он приехал хлопотать о создании каких-то новых учреждений в Ялте.

Председатель. — Генерал, что предпринималось в связи с ожидавшимися волнениями в Петрограде? Кое-что вы занесли в свой дневник — это перемена частей гарнизона, замена одних другими, а еще что?

Дубенский. — Положительно не помню. Я потом узнал о пулеметах. Должен сказать, что я оказался очень непрозорливым: я думал, что никакого восстания не будет, это было мое искреннее мнение. Поэтому, когда я уезжал, жена и дети волновались, а я говорил: «Не стоит волноваться, ничего не будет». Оказалось, что я ошибся.

Председатель. — Я пропустил одну запись, более раннюю, на которой мне хотелось бы остановить ваше внимание; она относится к 4 — 6 января. Вы пишете: «Определилось, что Государственная Дума и государственный совет соберутся не 12 января, а 14 февраля. Это очень мудрое решение, ибо собрать Государственную Думу в дни, когда ждут и жаждут всероссийского скандала, немыслимо. В этот месяц многое успокоится, забудется,

произойдут события, и Государственная Дума может начать свою говорильню».

Дубенский. — Вас, вероятно, интересует выражение «произойдут события»?

Председатель. — Да.

Дубенский. — Я помню, это события на фронте, т.-е. то, что заставит Думу немножко спокойнее отнестись к политическим событиям. Я ничего не знал и не мог намекать на что-нибудь другое.

Председатель. — Вы не знали о вызове Маклакова ко двору и о проекте манифеста, который он писал, о предположении не прерывать занятий Думы, а распустить ее?

Дубенский. — Эти разговоры были в обществе, а о вызове Маклакова я не слышал. Если бы я слышал, я бы наверно занес это.

Председатель. — Я пропустил еще другое место, относящееся к тому же времени. Вы отмечаете в дневнике 5 января: «Назначен военным министром ген. М. А. Беляев, а Шуваев ушел в государственный совет. Шуваев был очень ограниченный и лукавый человек, улыбавшийся Думе». Вы не знаете об обстоятельствах назначения Беляева, и почему у вас составилось представление о Шуваеве, как о человеке, улыбавшемся Думе?

Дубенский. — Я видел его в Думе и видал в ставке. Я слышал его различные мнения, и в ставке он говорил совсем не то, что говорил в Думе. Когда он бывал в Думе, он всегда шел с открытыми объятиями. Шуваев честный человек безусловно, в смысле материальном.

Председатель. — К 29 января относится такая запись: «Узнал, что захворал наследник. Сергей Петрович Федоров бывает ежедневно в Царском Селе. У наследника кровоизлияние внутрь около почек или в почки. Состояние тревожное. Императрица мрачна, красна лицом, молчалива и грозна. Государь — ничего, как всегда».

Дубенский. — Это со слов Сергея Петровича.

Председатель (читает дальше): «Катенин мне сказал, что Протопопов ненормален, и убеждается в этом ежедневно. Показывал мне записку, где набросаны отдельные слова». Что это за записка?

Дубенский. — Я ее видел. Это прямо записка сумасшедшего. Просто клочок бумажки, четвертушка, и там слова: «Москва», «Поддержать», еще что-то, какие-то отрывки.

Председатель. — Это вам показывал Катенин?

Дубенский. — Да, показывал и говорил с возмущением. Он приехал с доклада, вынул из портфеля и показал; было написано синим и красным карандашом.

Председатель. — Зачем ему передал Протопопов эту бумажку?

Дубенский.—Как руководящее основание к деятельности. Катенин говорит: «Я взял и сказал: хорошо, хорошо, я все сделаю».

Председатель.—Т.-е. ответил так, как отвечают сумасшедшим?

Дубенский. — Нет, просто успокаивающе: «Хорошо, хорошо, я все сделаю». Эта записка была настолько любопытна, что я об этом занес. Он мне показал, как образец.

Председатель. — 26 января вы пишете: «Идет разумный поход на Протопопова. С немцами, говорят, министр юстиции хорошо дело делает и всю ликвидацию ликвидировал. Все уверены во взятках и в высокой поддержке колонистов». Каково происхождение этой записи?

Дубенский. — Это говорили, кажется, про Добровольского. Не помню, кто сказал, но это слух.

Председатель. — Но не можете ли вы определить, тут записано в несколько неопределенной форме: «С немцами, говорят, министр юстиции хорошо дело делает и всю ликвидацию ликвидировал».

Дубенский. — Говорили, что он уничтожил ликвидацию немецкого землевладения, что все это прекратил. Это мне передавали.

Председатель. — «Все уверены во взятках и в высокой поддержке колонистов». Что это значит?

Дубенский. — В высокой поддержке колонистами министра. Но это область слухов; я не знаю, насколько это обвинение верно. Когда пишешь дневник, то все слухи записываешь.

Председатель. — Под 6 января у вас записано: «Стало известно, что в Лондоне, на место скончавшегося Бенкендорфа, назначен бывший министр иностранных дел С. Д. Сазонов, убежденный враг немцев. Интересно, что про него сказал Штакельберг: «Это слишком хорошо для англичан и, очевидно, не очень хорошо для немцев». В этой небольшой фразе все сказано: все для немцев со стороны наших немцев». Какой смысл вы вкладывали в эту фразу: «Это слишком хорошо для англичан»?

Дубенский. — Тот смысл, что он являлся горячим сторонником интересов Англии. Должен оговориться, это сказал барон Штакельберг, он безусловно немецкого происхождения, но я отнюдь никогда не мог подозревать, чтобы он мог поддерживать немцев.

Председатель. — Какой это Штакельберг?

Дубенский. — Очень дельный человек, он церемониймейстер императорского двора, о нем в дневнике дальше есть. Но были такие разговоры, что англичане слишком нас третируют, слишком выдвигают собственные интересы, и поэтому, если попадает к ним такой посол, как Сазонов, то они еще больше поднимут голову и будут нас уже совершенно презирать. Вот в каком смысле, а не в смысле измены.

Председатель. — Тут еще вопрос (читает): «Многие начинают говорить о значении немецкой Распутинской организации. Манус— душа всех друзей немцев; он финансист, по имени Игнатий Порфирович». Что вам известно об этой душе всех друзей немцев?

Дубенский. — Я помню, в каком-то банке говорили о значении Распутина. Мне это довольно значительный человек говорил, член правления банка, Азиатского, кажется. Он говорил: «Вы неправильно смотрите на дело. Не Распутин, а Манус ведет всю эту немецкую затею, через него деньги идут, и на эти деньги содержится Распутин». Вот что я слышал, и это записал. Не то, что я не хочу, но действительно не могу сказать, кто это мне сказал; это городской слух.

Председатель. — В январе у вас был разговор с Воейковым, в Царском Селе: «7-го января выехал в Царское Село, в 10 ч. утра. Был у Воейкова. Он бодр, торжественен, но видимо озабочен. Я говорил ему, что надо сообщать народу и армии то, что делается в России, что обеспокоено преимущественно городское петербургское и московское интеллигентное общество, но народ пока спокоен. Надо давать не глупые правые органы, а такие, которые создают спокойное правое настроение. Я сказал Воейкову то, что искренно думал. Случилось политическое убийство, и ничего более. России нет дела до этого, а царскому дому лучше, хотя временно Александра Федоровна огорчена. Нельзя придавать этому значения, и сказал далее, что диктатор продовольствия необходим, без него ничего не выйдет, и хлеб останется нераспределенным. Воейков вполне разделил мою точку зрения и сказал, что скажет Протопопову о снабжении народа вестями». Вот содержание вашей беседы, ясно и точно изложено. Но как же вы представляли себе связь Воейков — Протопопов?

Дубенский. — Я к Протопопову имел очень мало отношения. Мы за последнее время очень много говорили, что действительно народ ровно ничего не знает, и до народа не доходят даже обычные известия с войны. Ведь газеты в толщу народа не идут. Говорили, что нужно непременно сообщать, что происходило. Я думал, что на первое время надо давать раз в месяц: в январе происходило то-то, царь был там-то, мы укрепились там-то, и такие-то законы изданы. Воейков сказал, что собирался сказать Протопопову, но из этого ровно ничего не вышло.

Председатель. — Это все запись, в которой вы сообщаете нечто со слов ваших собеседников. Мне бы хотелось, чтобы вы подробнее остановились на событиях, которых вы были очевидцем на-днях, предреволюционных и революционных. Может быть, оторвавшись от дневника, вы расскажете, как доходили до вас сведения о том, что делалось здесь. Вы с 22 февраля в действующей армии. Может быть, вы установите изо дня в день не только как вы, будучи в Могилеве, воспринимали события, но и как они в вашем сознании развивались?

Дубенский. — Я прошу помочь мне. Я довольно хорошо все помню, но боюсь впасть в ошибку. Когда мы туда приехали, нас встретил Алексеев, так что ничего необычного не произошло. Так

прошло 23-е, 24-е (февраля); 24-го было настолько спокойно, что я переговаривался по телефону с семьей (говорили мы с Царским), и мне сказали, что семья здорова, и ничего особенного нет, но к вечеру стали получаться какие-то сведения, что там начались беспорядки.

Председатель. — У вас отмечено: «24-го, пятница. Могилев. Тихая бесталанная жизнь».

Дубенский. — Да, ведь я никогда не хотел своих сослуживцев . . . я ведь тут некоторых ругаю, это ужасно тяжело.

Председатель. — Да, но это ведь не касается дела, нас интересуют только некоторые моменты (читает): «Тихая бесталанная жизнь, все будет по-старому. От «Него» (с большой буквы) ничего не будет, могут быть только случайные внешние причины, кои заставят что-либо изменить». Затем, вы говорите о том, что получены сведения о заболевании детей, Алексея, Ольги и Татьяны, корью. Так прошло 24-ое. Вы отмечаете сведения из Петрограда: «В Петрограде были голодные беспорядки, рабочие патронного завода вышли на Литейный и двинулись к Невскому, но были разогнаны казаками». Вслед за записью о болезни детей: «Государь сообщил Федорову, что он очень обеспокоен доставкой продовольствия на фронт. В некоторых местах продовольствия получено на три дня. К тому же получились заносы у Казатина, и продвинуть поезда сейчас невозможно».

Дубенский. — Потом 25-го стали выясняться события, слухи были. Кое-кто приехал из Петрограда, тут начались рассказы, говорили, что Австрия занята, масса слухов; что же касается самого интересного, т.-е. жизни ставки, то она проходила так же однообразно: государь выходил в половине десятого в штаб, до половины первого был с Алексеевым, в половине первого был всегда завтрак, который продолжался всегда, как и обед, один час. После высочайшего завтрака, прогулка и поездка на моторах. Затем, в пять часов, был чай, после чая государь получал почту из Петрограда и до половины восьмого занимался. Очень может быть, что в виду этих тревожных сведений, в это время, между 5 и 7, к нему прибегал Алексеев. Я говорю, прибегал, потому что он так быстро ходил, что именно вбегал с сообщениями. После был, в половине восьмого, обед, который продолжался час; после обеда, в половине девятого, государь опять уходил заниматься в кабинет до вечернего чая, до половины двенадцатого, и после половины двенадцатого он с лицами ближайшей свиты (я там не бывал, я бывал только за обедом) уходил к себе. Так что течение этих дней нельзя было отличить от прежних. Лично я был в большой тревоге, я чувствовал, что что-то происходит. Я не мог получить телефона с Царским, беспокоился о своей семье, но все-таки мы все думали, что это не революция, а голодные бунты. У нас, до 27-го (февраля), когда мы выехали, никто

не верил, что революция. Когда вы изволите просматривать 27-ое, вы увидите у меня, что пока мы ехали по железной дороге, нас встречали урядники, губернаторы. Было полное спокойствие.

Председатель. — Вы говорите, что было спокойствие; но слухи были тревожные. Чем же объясняется это спокойствие? Тем ли, что слухи были недостаточно тревожны, или тем, что, несмотря на очень тревожные слухи, к ним очень пассивно относились?

Дубенский. — Я думаю, пассивно относились. По крайней мере я лично очень волновался; я чувствовал, что что-то нужно сделать.

Председатель. — Чем вы объясните эту пассивность? Поскольку выясняется особа и личность государя, он человек, который может понимать . . .

Дубенский. — Он человек очень не глупый.

Председатель. — Вот именно, это я и хотел сказать. Чем же объясняется, каким свойством характера, что при некотором уме. . .

Дубенский. — Никак я не могу объяснить его отношения. Это такой фаталист, что я не могу себе представить. Он всегда ровно, как будто равнодушно относился сегодня, как вчера. Вот маленькая подробность: когда случилось отречение, я был совершенно расстроен, я стоял у окна и просто не мог удержаться от того, чтобы, простите, не заплакать. Все-таки я старый человек. Мимо моего окна идет государь с Лейхтенбергским, посмотрел на меня весело, кивнул и отдал честь. Это было через полчаса после того, как он послал телеграмму с отречением от престола, в ожидании приезда Шульгина.

Председатель. — Генерал, тут напрашивается, как возможное объяснение, что это громадная выдержка, большая привычка, или это объяснение приходится устранить?

Дубенский. — Я думаю, видите ли, что это громадная выдержка. Я говорил, что он отказался от Российского престола просто, как сдал эскадрон. Вот такое у меня было оскорбленное чувство, но когда я его провожал, когда он от матери шел в вагон, тут нельзя было быть спокойным. Все-таки я поражался, какая у него выдержка. У него одеревенело лицо, он всем кланялся, он протянул мне руку, и я эту руку поцеловал. Я все-таки удивился, — господи, откуда у него берутся такие силы, он ведь мог к нам не выходить!

Председатель. — Все удивлялись, а потом нашли ключ к этому. Я хотел бы повторить вопрос, чтобы вопрос исторической государственной важности выяснить до дна. Нам давало показания лицо, которое присутствовало при моменте отречения, и это лицо тоже говорило, что напрашивается объяснение выдержки, но по впечатлению этого лица, которое не менее вас было удивлено спокойствием, такое объяснение должно быть устранено; тут не выдержка, это действительно спокойствие, спокойное отношение

к событиям громадной исторической важности и громадного личного значения.

Дубенский. — Я не могу этого сказать. Когда он говорил с Фредериксом об Алексее Николаевиче, один-на-один, я знаю, он все-таки плакал. Когда с С. П. Федоровым, ведь он наивно думал, что он может отказаться от престола и остаться простым обывателем в России, и когда С. П. Федоров ему сказал: «Ваше величество, ведь, это совершенно невозможно», — он ответил: «Неужели вы думаете, что я буду интриговать? Я буду жить около Алексея и его воспитывать». Ведь он говорил: «Я должен прямо сказать, я не могу расстаться с Алексеем». Так что дать вам определенный ответ не только я не могу, но я думаю, будут писать об этом многие психологи, и им трудно будет узнать; а вывести, что это равнодушный человек — будет неверно, но сомнение мы выражаем, и вы и я: тут возможна выдержка, или холодное равнодушие ко всему, и к событиям.

Председатель. — Позвольте напомнить вашу запись: «25-го, суббота. Могилев. Из Петрограда тревожные сведения; голодные рабочие требуют хлеба, их разгоняют казаки; забастовали фабрики и заводы; Государственная Дума заседает очень шумно; социал-демократы Керенский и Скобелев взывают к ниспровержению самодержавной власти, а власти нет. Вопрос о продовольствии стоит очень плохо, во многих городах, в том числе в Петрограде и Москве, хлеба нет. Оттого и являются голодные бунты. Плохо очень с топливом, угля доставить спешно, сколько надо, нельзя, поэтому становятся заводы, даже те, которые работают на оборону. Государь как будто встревожен, хотя сегодня по виду был весел. Эти дни он ходит в казачьей кавказской форме, вечером был у всенощной и шел туда и обратно без пальто». Теперь 26-е, воскресенье. Как оно в вашей памяти осталось, с точки зрения событий?

Дубенский. — То же самое. Мы в большой были тревоге, вся свита была в тревоге, мы раз десять говорили друг другу: «Что в Петрограде? Какие известия?» А государь, он все время... Одно, что я за два с половиной года заметил, что когда он встревожен, он всегда сдерживается, он тогда меньше говорит. За завтраком, помимо нас, постоянных, всегда были приглашенные. Он, как человек вежливый, любезный, всегда спрашивал, откуда вы, да как вы, а на этот раз он мало говорил, у нас было даже мало приглашенных. Я лично был в большой тревоге. Нилов говорил всегда одно и то же: «Будет революция, все равно нас всех повесят, а на каком фонаре, все равно».

Председатель. — Скажите, генерал, в субботу 25-го, вы не помните о посылке телеграммы Хабалову, с требованием во что бы то ни стало привести столицу в спокойствие?

Дубенский. — Если это у меня написано . . .

Председатель. — Нет, это у вас не написано.

Дубенский. — В таком случае, не помню. Все эти дни я все выдающиеся факты записывал.

Председатель. — Так что надо думать, что это обстоятельство . . .

Дубенский. — Мне не было известно. Я опять повторяю, что ни о каких частных интимных делах государь никому ничего никогда не говорил. Если он сделал распоряжение сказать Хабалову, то и кончено. Он мнениями делиться не любил.

Председатель. — Вот как у вас записано 26 февраля: «Волнения в Петрограде очень большие, бастуют двести тысяч рабочих, не ходят трамваи, убит пристав . . .

Дубенский. — Это все по слухам и из газет. Я все эти сведения, до отъезда нашего, до ночи 28-го, брал, главным образом, из газет и телеграмм, которые нам посылали. Так что прямых сведений у нас в свите об этом не было.

Председатель. — По слухам и по разговорам с окружающими, которые, вероятно, черпали из тех же источников (читает дальше): «. . .на Знаменской площади. Собралось экстренное заседание в Мариинском дворце, под председательством председателя совета министров, по разрешению вопросов продовольствия Петрограда. Государственная Дума волнуется, требуя передачи продовольственного дела во всей России городскому самоуправлению и земству. Князь Голицын и все министры согласны. Таким образом, вся Россия узнает, что голодный народ будет накормлен распоряжением не царской власти, не царского правительства, а общественными организациями, т.-е. правительство совершенно расписалось в своем бессилии. Как не может понять государь, что он должен проявить свою волю, свою власть? Царем поставленные люди должны накормить народ, кричащий «дайте хлеба». Какая это поддержка нашим врагам — Вильгельму — беспорядки в Петрограде! Какая радость теперь в Берлине! А при государе все то же, многие понимают ужас положения, но «не тревожат» царя».

Дубенский. — Самым искренним образом и откровенно могу сказать: я понимаю, что произошли такие страшные события в Петрограде, но раз был царь, даже в то время самодержавный, нельзя же было передать всю власть — это значило расписаться в полной бездеятельности, что и случилось. Вместо царя начали распоряжаться Родзянко и Керенский; вот, что приводило меня в ужас, потому что я чувствовал, что вследствие этого произойдет. Конечно, я с государем не говорил. Не знаю, отчего не говорили Воейков, Фредерикс, Алексеев или говорили, но не произвели никакого впечатления. Как вы недоумеваете, так и я недоумеваю.

Председатель. — Конечно, имеется некоторое объяснение этому факту, но мне хотелось бы знать, как вы это освещаете. Такая пассивность к происходившему не находилась ли в связи

с некоторой общей чертой окружавших, в той среде, в которой вы находились?

Дубенский. — Безусловно, государь был пассивен, потому что не хотел усугублять положения. Предполагали, что он делал это нарочно, чтобы развились события, но этого никогда не было. Я лично, если бы и был там, я бы сделал скандал, я бы сказал: «Ваше величество, или вы меня увольте, или повесьте, но так нельзя делать». Вот мое убеждение. Я Фредерикса выделяю, это человек безусловно чистый, он старый, конечно, не очень, может быть, бойкий в соображении, но на самом деле не такой глупый, очень тактичный, преисполнен долгом службы царю и родине, и будь он поживее, помоложе, а главное имей он хоть малейшее значение, он только это и мог сделать. Алексеева я хорошо знал, но не знаю, в какой области он соприкасался с государем.

Председатель. — Вы не изволили меня понять в первой части вашего ответа. Я думал, что вы объясните такое пассивное отношение окружающих в такие грозные для личности царя и для династии дни некоторыми общими свойствами этих людей, окружавших его с одной стороны, а с другой стороны, некоторой чертой общепринятого в этой среде. Может быть, как историограф, вы наблюдали, что в среде, окружавшей царя, считалось признаком дурного тона говорить на политические темы?

Дубенский. — Совсем нельзя было говорить.

Председатель. — Можно было говорить о шахматной игре, о чем угодно, но не о политике?

Дубенский. — Можно было только отвечать на вопросы. По истории он со мной говорил, он великолепно историю знает, и очень интересовался, но притти и что-нибудь сказать тому, кто не имел права — было нельзя. Характерной чертой Николая II было то, что он верил только тому, кто им поставлен. Характерный про него анекдот был. Про него говорили, что, если он кушает суп, и ему Долгорукий-гофмаршал скажет: «Ваше величество, суп невкусный», он оставит и не будет есть, если же я ему скажу: «Ваше величество, это суп невкусный», он на меня посмотрит, и будет продолжать есть. Он совершенно отдавался тому лицу, которое он поставил; мы все считали, что это идеальный конституционный монарх: он поставит министров, министры будут приходить, он все будет утверждать. Вот мое искреннее мнение.

Председатель. — Но как это ваше мнение, несомненно, искреннее, вяжется в вашем сознании с громадным влиянием на государственные дела этих безответственных сил? Ведь вы знаете, что многие события большого государственного значения были внушаемы тем же Распутиным, может быть, правда, через посредство Александры Федоровны, — это смягчает положение, но внушались лицом, которое не занимало положения?

Дубенский. — Я объясню это тем, что он всецело доверял своей супруге; он считал, что она человек искренний, добрый, желающий добра и т. д. Поэтому, когда она к нему приходила и говорила: «Ты, Никс, должен сделать то, другое, третье», — он подчинялся.

Председатель. — Но это уже неконституционно?

Дубенский. — Тогда конституции не было. Если бы она была, он бы совершенно устранился.

Председатель. — Будьте добры припомнить (хотелось бы это установить, так как это имеет некоторое значение), каким образом у вас в ставке узнали о роспуске Государственной Думы и государственного совета?

Дубенский. — Лично я узнал из телеграмм. Кажется, 26-го (февраля) Дума была распущена?

Председатель. — 25-го подписан указ, т.-е. не подписан, а был датирован кн. Голицыным.

Дубенский. — Я получил телеграмму «Распущена Дума», и на меня это произвело очень большое впечатление. Я думал, что из-за этого произойдут большие события; затем, что этот роспуск не имеет никакого смысла, так как никто не разойдется, судя по настроению. Так и случилось.

Председатель. — Дальше у вас такая запись: «В вечерних телеграммах стало известно, что именным высочайшим указом распущена Дума и государственный совет, но это уже поздно...» и т. д. Вы были там в довольно тесном кружке, — значит другие тоже, из телеграмм, узнали о роспуске Государственной Думы?

Дубенский. — Я думаю, что Нилов, Федоров, тоже из телеграмм узнали, но Фредерикс, Воейков, Алексеев имели прямое сношение с государем. Государь слушал только тех, которые имели право говорить, — Воейкова, Фредерикса, Алексеева. Больше никто не мог. Долгоруков мог говорить только о гофмаршальском столе, я мог говорить, когда спросят, об историографической записи.

Председатель. — Неужели вы допускаете мысль, что такое крайней важности событие, как роспуск, в такой момент, законодательных учреждений, если бы оно было известно Воейкову, Федорову и Алексееву, не дошло бы до вас? Ведь вы же общались?

Дубенский. — Очень могло быть. Я думаю, что это по части доклада Алексеева. Такие события большой государственной важности докладывал он, как начальник штаба верховного главнокомандующего, а Воейков этого не касался. Сам Фредерикс не знал, что войска перешли на сторону восставших. Я думаю, что все держал в руках Алексеев, и он все это докладывал государю; но это область моих предположений.

Председатель. — Вот что у вас записано: «27-го февраля, понедельник. Могилев. Из Петрограда вести не лучше. Была,

говорят, сильная стрельба у Казанского собора, много убитых со стороны полиции и среди народа. Говорят, по городу ходят броневые автомобили. Слухи стали столь тревожны, что решено завтра, 28-го февраля, отбыть в Петроград. Затем, из Харькова телеграфируют: губернское земство обратилось к населению с просьбой — дайте армии хлеба: «Если ослабим армию сейчас, все равно не сохраним достатка, ибо, проигравши войну, сами приготовим порабощение и разорение. Родина не копейками, а великим будущим отплатит вам. В нашей губернии имеется избыток хлеба. Наше население, без вреда себе, может дать хлеб, не ослабив своих сил. Вследствие... мелких чувств обиды... наше собственное неустройство. В эти дни, когда решается судьба России, дайте хлеб государству. Это наша святая обязанность перед несущими бранный подвиг нашими братьями, наш гражданский долг перед минувшим и перед грядущим...». Дальше вы пишете: «На меня эта телеграмма произвела плохое впечатление, очевидно, что люди потеряли голову и вместо того, чтобы действовать определенно и решительно, совершают... Как всему этому радуются в Берлине! Помощник начальника штаба Трегубов передал мне, что на его вопрос, что делается в Петрограде — Алексеев ответил: «Петроград в восстании». Трегубов дополнил, что была стрельба по улицам, стреляли пулеметами. Первое, что надо сделать, это—убить Протопопова, он ничего не делает, шарлатан. Перед обедом я с Федоровым был в вагоне у генерал-адъютанта Иванова. Долго беседовали на тему петроградских событий и стали убеждать его сказать государю, что необходимо послать в Петроград несколько хороших полков, внушить действовать решительно, и дело можно еще потушить. Иванов начал говорить, что он не в праве сказать государю, что надо вызвать хорошие полки, например, 23 дивизию, и т. д., но в конце концов согласился и обещал говорить с царем. Перед обедом Алексеев приходил к государю в кабинет докладывать срочное сообщение из Петрограда о том, что некоторые части, кажется, лейб-гвардии Павловский полк, отказались действовать против толпы. На вопрос графа Фредерикса Алексееву, — что нового из Петрограда, начальник штаба ответил: «Плохие вести, есть новое явление», намекая на войска. За обедом, который прошел тихо, государь был молчалив, Иванов все-таки успел сказать государю о войсках». Какая же была реакция на это?

Дубенский. — Насколько я помню, Иванов сказал, что нужно войска в Петрограде успокоить, что в Харбине, когда он там был, было тоже волнение; но что он, пославши туда один или два полка, успокоил волнения и привел все к благополучному концу, не сделавши ни одного выстрела. Вообще, должен сказать, что Николай Иудович Иванов — поклонник мягких действий. Он всегда говорил, что войска должны действовать огнем только в крайности, что если вы ведете часть в полном порядке, то совсем не для того,

чтобы она стреляла из пулеметов, а что, когда полк идет в порядке, то это производит впечатление на других, если же открыть огонь, то неизвестно, чем кончится.

Председатель. — «После обеда государь позвал к себе Иванова в кабинет, и около 9 часов стало известно, что Иванов экстренным поездом едет в Петроград». Кому принадлежит мысль этой карательной или успокоительной, вернее, карательной экспедиции в Петроград?

Дубенский. — Нисколько не карательной. Кажется, у него было две роты.

Председатель. — Баталион георгиевских кавалеров.

Дубенский. — Не полный батальон, так как его нельзя было послать, потому что он держал караул, не больше двух рот. Это такая маленькая часть, которая не могла произвести усмирения взбунтовавшегося Петрограда. По приезде туда Иванова, генерала с известным именем, это произвело бы успокоение. Ехать же ему без войска совершенно было невозможно, и он, как приехал в Царское Село, сию же минуту повернул поезд.

Председатель. — Кому же принадлежит мысль об этой поездке?

Дубенский. — Трудно сказать, в это время все говорили. Мысль была не о поездке, а о внесении порядка и успокоения в Петрограде. Там были и другие разговоры. Потом мне стало известно, что вызывают один или два корпуса. Были вызваны некоторые сибирские войска, которые, видимо, перешли на сторону восставших, а это была командировка Иванова под прикрытием баталиона и даже меньше.

Председатель. — «Нарышкин мне сказал, что павловцев окружили преображенцы, и кажется стало тише. Все настроение ставки сразу изменилось. Все говорят, волнуются, спрашивают: «Что нового из Петрограда?» Может быть, это было необычное волнение? Равнодушно старались говорить об этих событиях? Это была подавленность?

Дубенский. — Во всяком случае, этот обед прошел совершенно необычно, все были тихи, государь почти молчал. Я потом узнал, что он говорил с Ивановым. Я даже не заметил, что они разговаривали, а потом вдруг говорят: «Вы знаете, Иванов назначается в Петроград и едет с георгиевским баталионом». Я вас прошу отметить, что он ехал не как карательная экспедиция, он ехал, как посланник царя, а для экспедиции ему было мало войска.

Председатель. — Может быть, вы скажете, зачем он ехал, как посланник царя?

Дубенский. — Просто успокоить, войти в переговоры с Родзянкой и целым рядом лиц, но отнюдь не стрелять, это было бы бессмысленно, и Николай Иудович это понимал.

Председатель. — Почему вы предполагаете, что он это понимал, вы с ним говорили?

Дубенский. — Как же, мы с ним чай пили. Мы говорили, какие идут беспорядки, какие волнения. Николай Иудович говорил: «Эти волнения происходят потому, что не умеют народу объяснить. Я убежден, что можно устроить так, что можно их успокоить». Конечно, я вам передаю только мысль. На это мы говорили ему: «Вы бы переговорили с царем». — «Как же, мне неудобно самому навязываться». Мы говорим: «Но дело серьезное, там кровь льется, нужно успокоить царя». Я даже помню, он категорически отвергал: «Туда не нужно посылать войска, никоим образом, потому что прольется лишняя кровь». Я даже его выражение помню: «Всякая новая часть, которая входит в восставший гарнизон, сейчас же переходит на его сторону». Это я должен подкрепить, я это помню.

Председатель. — Здесь вы записываете относительно известий, которые принесли вечерние телеграммы о роспуске Государственной Думы и государственного совета. Вы замечаете по этому поводу: «Но это уж поздно, уже определилось Временное Правительство, заседающее в Думе под охраной войск, перешедших на сторону революционеров. Войск, верных государю, осталось меньше, чем против него. Гвардейский Литовский полк убил командира. Преображенцы убили баталионного командира Богдановича. Председатель Государственной Думы Родзянко прислал в ставку государю телеграмму, в которой просил его прибыть немедленно в Царское Село, спасать Россию. Все эти страшные сведения идут из Петрограда от графа Бенкендорфа полковнику Ратко. Про министра внутренних дел граф Фредерикс выразил по-французски так: «А о министре внутренних дел нет слухов, как будто он мертвый». Граф Фредерикс держит себя спокойно, хорошо и говорит: «Не надо волноваться». Воейков до 5 часов дня занимался пустяками, устраивал свою квартиру, балаганил и только к вечеру понял трагичность положения и стал ходить красный, тараща глаза». Вас поразило такое непонимание?

Дубенский. — Как же, мы места себе не находили, и вдруг я еду мимо его новой квартиры и вижу, что он прибивает шторки и привешивает картинки. Ведь это были последние минуты монархии! Ведь он дворцовый комендант, у него масса денег, масса средств! Меня это поразило до крайности.

Председатель. — «После вечернего чая, в 12 часов ночи, государь простился со всеми и ушел к себе. Вслед за ним к нему пошел Фредерикс и Воейков, пробыли у царя недолго и вышли, при чем Воейков объявил, что отъезд в Царское Село его величества назначен безотлагательно в эту ночь. Все стали собираться, и уже к 2 часам ночи были в поезде. Государь любезен, ласков, тих и, видимо, волнуется, хотя, как всегда, все скрывает. Всю ночь

шли у нас с Цабелем, Штакельбергом и Сусловым такие разговоры. Свитский поезд отошел в Царское, в 4 часа ночи 28 февраля, а в Царском — в 5 часов. Назначен Иванов диктатором».

Дубенский. — Это появилось, как слух, в поезде, потому что мы уже тогда ехали. За завтраком кто-то сказал, что Иванов назначен диктатором, чему я не верил: раз он поехал с георгиевским баталионом, он поехал не для карательной экспедиции, а приводить в порядок Петроград. Я не знаю, говорили ли об этом назначении или нет, потому что уже дальше, как вы знаете, идут события отречения, и я потерял всякую связь со ставкой, где можно было подтвердить это назначение.

Председатель. — Разве вам диктатор и назначение диктатором рисуется назначением для мягких мер, а не для грубого, а может быть и кровавого воздействия?

Дубенский. — Я отлично понимаю, что значит диктатор. Конечно, диктатор назначается для того, чтобы привести население и войска к полному подчинению; но Иванов ехал в Петроград для того, чтобы привести в порядок город, он взял с собою небольшое количество войск и, на основании его слов и наших с ним разговоров, я отлично знаю, что он не хотел принимать никаких кровавых мер. Был слух, что он назначен диктатором, но я думаю, что Иванов к этому неспособен. Имейте в виду, что когда он был главнокомандующим юго-западного фронта, он почти никогда не подписывал бумаг о казни.

Председатель. — Он вез с собой выписку из положения о военно-полевых судах?

Дубенский. — Вероятно, было, потому что он так быстро собрался; он с этим вагоном и ездил. У него вагон, как домик. Вероятно, все у него было. Я не знаю, какие у него были намерения, я передаю то, что знаю.

Председатель. — Генерал, скажите, вам не известно содержание этой беседы Фредерикса, Воейкова и государя, в 12 часов ночи, и те советы, которые давали Воейков и Фредерикс?

Дубенский. — Нет, я могу добавить к этому, что в 12 часов пришел взволнованный Штакельберг, который рядом со мною жил, я еще не лег спать, и говорит: «Собирайтесь, сейчас уезжаем в Царское Село и в Петроград. Такие произошли ужасные события, что мы уезжаем». Но он мне не сказал, что говорил с Фредериксом.

Председатель. — Может быть, вы сами продолжите рассказ по памяти, и я вам подскажу по вашему дневнику. Вы выехали из ставки в ночь с понедельника на вторник, с 27-го на 28-е, выехали через Смоленск, Вязьму, Ржев и Лихославль. Вы записали: «По всей дороге тихо, о событиях в Петрограде нет известий. Москва, по словам тех, кто был там 27 февраля вечером, спокойна. Значит, пока, слава богу, вспышка мятежа только в Петрограде. Пора-

зительное легкомыслие и полная неосведомленность Воейкова. Он, дворцовый комендант, не знает, не предполагал о беспорядках, которые начались 24-го, через два дня после нашего отъезда. Он, который может сотни тысяч на охрану истратить, не имел должных сведений, и был так пуст, что даже не думал об опасности царской семьи. Чем все это кончится? Военный министр Беляев передал вчера, что он опасается, что волнения народа перейдут на Царское Село, что толпы народа пойдут на Царское Село громить дворец, и полагает, что императрица Александра Федоровна должна уехать; но больны «дети». Он там был в это время?

Дубенский. Нет, это был разговор. Кажется, Беляев сообщил по телефону или, вернее, Бенкендорф сообщил со слов Беляева, что он боится за безопасность семьи в Царском Селе.

Председатель (читает). — «Передавали (повидимому, это результат бесед по прямому проводу), что 27 февраля была перестрелка на Дворцовой площади. Мятежники хотели захватить дворец, а верные войска отбивали их».

Дубенский. — Это оказалось неверно.

Председатель (читает). — «На станции Лихославль получились сведения, что в Петрограде Временное правительство, во главе с Родзянкой. Я сам читал телеграмму члена Государственной Думы Бубликова, занявшего должность министра путей сообщения, с распоряжением по всем дорогам. Убиты градоначальник Балк и его помощник Вендорф. Грабят Зимний дворец. Есть основание предполагать, что поезд наш дальше Тосно не пустят». Эти сведения откуда вы получили?

Дубенский. — Это очень просто мы получили: с нами ехал инженер, и вот во время завтрака наш инженер Эртель сказал коменданту поезда: «Кажется, мы не поедем в Царское Село, наши поезда, кажется, приказано направить туда». Кажется, тот инженер, который с нами ездил, не помню его фамилии, небольшой чин, он это сказал.

Председатель. — Затем, было принято решение ехать во Псков. Вы помните, вы знаете, чем мотивировалось такое решение?

Дубенский. — Видите, когда мы приехали в Малую Вишеру, это было 2 часа ночи, и сначала в Бологом, когда мы узнали, что дальше нельзя ехать, мы в Бологом получили известие, что в Любани стоят войска, которые могут нас не пустить, и поезд царский может подвергнуться опасности. В Малой Вишере к нам подошел офицер 1-го железнодорожного полка, который был без оружия. Он приехал из Любани и сказал, что в Любани находятся две роты с орудиями и пулеметами. Тогда решено было остаться в Малой Вишере, дождаться высочайшего поезда и сказать, чтобы Воейков доложил государю о положении, и как угодно будет ему— продолжать ехать в Петроград или повернуть куда-нибудь?

И вот, в 2 часа ночи, когда мы дождались этого поезда и вошли туда, генерал Саблин вошел в поезд, и, к удивлению, весь поезд спал, кроме Нарышкина. Так что Воейкова пришлось будить. Его разбудили и сказали, что нас ожидает. Он сейчас же пошел к государю, и тогда было решено ехать на Псков. На Псков ехать, сколько я помню, мы говорили все потому, что там Рузский, человек умный, спокойный, имевший большое влияние на государя; потом, он главнокомандующий северного фронта, он мог войти в положение, мог снестись непосредственно с Родзянкой и вообще выяснить положение. Если в Петрограде, как мы думали, простое восстание, он послал бы войска; если это переворот, он вошел бы в какие-нибудь сношения, потому что Рузский лично мне, я его знаю, представлялся человеком, который в этой очень тяжелой обстановке мог дать какие-нибудь подходящие, более соответственные решения. Некоторые говорили, что нужно вернуться в ставку. Трудно сказать, что можно было сделать, но Псков был ближе, чем ставка. И потом наше возвращение подвергалось известному риску. Государь мог не доехать в ставку, а Псков тут ближе. Вот, собственно говоря, причины, почему определен был Псков.

Председатель. — Были, повидимому, несколько другие причины, о которых вы здесь говорите: «Ночью определилось из целого ряда сведений, что высочайший поезд Временное правительство направляет не в Царское Село, а в Петроград, где государю предложены будут условия о дальнейшем управлении. Я убеждал всех и написал даже письмо С. П. Федорову, доложить Воейкову и государю, что в виду создавшегося положения надо ехать в Псков, где штаб фронта. Это старый губернский город. Отсюда, взявши войска, надо итти на Петроград и восстановить спокойствие. После всяких разговоров и промедления, уже доехавши, в 3 часа ночи, до Малой Вишеры, решено было вернуться и через Бологое тянуться к Пскову. Все больше и больше определяется, насколько правильно было решение ехать в Псков и избегнуть поездки в Петроград, где наверное произошли бы события, во всяком случае неожиданные. Теперь Воейков и другие уже явно одобряют мысль ехать на Псков. Все признают, что этот ночной поворот в Вишере есть историческая ночь в дни нашей революции. Государь попрежнему спокоен и мало говорит о событиях. Для меня совершенно ясно, что вопрос о конституции окончен, она будет введена наверное. Царь и не думает спорить и протестовать. Все его приближенные за это: граф Фредерикс, Нилов и другие, граф Граббе, Федоров, Долгорукий, Лейхтенбергский,—все говорят, что надо только сговориться с ними, с членами Временного правительства. Я, свидетель этих исторических событий, должен сказать по совести, что даже попыток протеста не было. Все говорили одно и то же: надо переговорить с Временным правительством

и выработать условия. Уже 1 марта едет к государю Родзянко в Псков для переговоров. Кажется, он выехал экстренным поездом из Петрограда в 3 часа дня; сегодня Царское окружено, но вчера императрица телеграфировала по-английски, что в Царском все спокойно. Старый Псков опять занесет на страницы своей истории великие дни, когда пребывал здесь последний самодержец России, Николай II, и лишился своей власти, как самодержец. После этих слов приходится разговаривать, вернее, рассказывать, вернее, записывать все более грустные и великие события. Поезд государя прибыл в восьмом часу вечера. По прибытии, в вагон государя прошел Рузский и ген. Данилов. Мнение Рузского таково, что надо итти на все уступки и давать полную конституцию. Иначе анархические действия будут продолжаться, и Россия погибнет». На основании чего вы сделали эту запись?

Дубенский. — Просто он пришел в купэ Фредерикса; тут Воейков стоял, и все стояли и, когда спрашивали: «Что же делать?» он сказал: «Нужно на все соглашаться, иначе будет плохо». Дальше, кажется, было написано и, если не записано, то я помню эту фразу: «Надо сдаваться на милость победителя».

Председатель. — Да, это дальше есть: «Государь предполагал послать телеграмму Родзянке, смысл такой: «Ради спасения родины и счастья народа, предлагаю вам составить новое министерство во главе с вами, но министр иностранных дел, военный и морской будут назначаться мной».

Дубенский. — Я не видал этой телеграммы, но были такие разговоры.

Председатель. — Но как это объяснить, генерал? Ведь это некоторая торговля. Все пропало, все кончено, и все-таки министр иностранных дел, военный и морской будут назначаться?

Дубенский. — Эта ночь произвела на меня страшное впечатление. Я увидал этот заснувший царский поезд, за час до кончины. Нас бы взорвали в Любани, это вне всякого сомнения, и из этого поезда выходит Воейков. Ведь можно быть и монархистом и республиканцем, но тут уже перемена строя России. Ведь нельзя так оставаться, нужно быть негодяем, чтобы себя так вести. Тогда я начал говорить: «Господа, нельзя же так, пошлем ему письмо, заставим его подумать, вернемся в Псков, переговорим с Рузским, что-нибудь ведь нужно». Нельзя же было везти прямо в открытую пасть восставших войск. Ведь это самодержец России. Ведь это мы нравственно не имели права. Если бы я был республиканец, я бы и то не повез бывшего императора в возбужденную восставшую толпу. Меня это поражало. А потом Воейков веселый, выходит и говорит: «Мы едем туда, вы теперь довольны?». Я говорю: «Владимир Николаевич, нечего быть довольным. Во-первых, доедем ли мы туда? Что мы с вами доедем, это в высокой степени все равно; но довезем ли мы государя, и что мы ответим

России?» Представьте, если бы государь был убит, какая бы была страшная ответственность на всем Временном правительстве!

Председатель. — Генерал, но тут опять что же, выдержка со стороны государя?

Дубенский. — Я должен сказать, что, конечно, выдержка, он же рисковал. Когда ему сказали: «Ваше величество, как угодно, туда или сюда?» Он встал и сказал Воейкову: «Как же, говорят что в Псков, — ну что же, поедем в Псков». Это опасный был путь, мы в Псков могли не доехать. Вообще он человек в высшей степени мужественный, и никакой физической опасности он безусловно не боится. Я его видел, когда объезжали войска в Галиции. Его даже тянуло к опасности. Так что он безусловно храбрый человек и поклонник какого-то рока. Я поразился, — мы три ночи не спали, он спал, кушал, занимал даже разговорами ближайших лиц свиты. Я не был в это время в вагоне поезда. Он владел собой совершенно. Знаете, это такая загадка, что не только Мережковскому, а, я думаю, и Толстому трудно описать. Натура в высшей степени сложная. Обстановка была удручающая.

Председатель. — Ваша запись продолжается так: «Эту телеграмму хотели послать за подписью Воейкова, но Рузский сказал, что телеграмму пока посылать не надо, а если послать, то за личной подписью государя, так как имя Воейкова очень непопулярно. После многих переговоров рещено, что Рузский по прямому проводу лично переговорит с Родзянкой об условиях конституции, при чем говорил, что надо сдаваться на милость победителя». Это он вам говорил?

Дубенский. — Не мне лично. Это было так. Он в купе налево сидел в уголке. Тут стояли мы все, тут стоял Данилов, начальник штаба, и когда мы говорили: «Николай Константинович, что-нибудь сделайте, придите на помощь, это ужасно, что совершается», он на это сказал. «Ну, господа, поздно, ничего нельзя теперь сделать; теперь нужно сдаваться на милость победителя». Он много говорил, но эту последнюю фразу я записал. Потом тут относительно Фредерикса.

Председатель. — «И согласиться на те условия, кои предложат. Весь вечер шел вызов Петрограда, Родзянко, и разговор окончился только около часа ночи, когда Рузский прошел с докладом к государю. Сейчас я не мог узнать, чем решен этот важнейший вопрос». Относительно Фредерикса?

Дубенский. — Тут дальше сказано, что Фредерикс сказал: «Я много раз предупреждал правительство, и все-таки ничего не делалось», и Рузский сказал: «О вас, граф, никто не говорит». Тут написано очень кратко. Было трудно заставлять себя писать, потому что все толкались из одного вагона в другой. Приходил Рузский, приходил Данилов, посылали Воейкова, проходили к госу-

дарю. Тут в высшей степени было бурливое настроение, и я записал только то, что было необходимо.

Председатель. — Генерал, скажите, пожалуйста, вы, повидимому, хорошо характеризуете Фредерикса. Чем вы объясняете, что ненависть широких кругов на нем так сосредоточилась? Его считали главой центра немецкой партии?

Дубенский. — Это совершенно неверно, просто его фамилия Фредерикс. Он безусловно честный, холодный, если хотите, немного эгоист, но безусловно честный человек, вне всякого сомнения. Это давний проводитель конституции, он сколько раз говорил государю. И должен вам сказать, что среди лиц свиты очень многие были поклонниками, — тот же Нилов, мой большой приятель.

Председатель. — Повидимому, очень равнодушные поклонники... Вы говорите, поклонники конституции. То, что она не осуществлялась, оставляло их равнодушными?

Дубенский. — Что же мы могли? Мы не в силах были сделать. Я должен сказать, я убежден был, что необходимо сделать уступки. Я убедился там на месте, прибывши в феврале, я чувствовал, что без этого мы пропадем. И это было общее мнение всех, до Воейкова включительно.

Председатель. — Генерал, сейчас именно устанавливается стремление некоторых лиц, из числа считающих себя весьма преданными бывшему государю, повернуть обратно, повернуть назад колесо истории и не только не довести положения законодательных учреждений до степени решающего фактора, но повернуть назад и низвести эти законодательные учреждения до степени законосовещательных, при чем имеются указания на то, что и государь в некоторые моменты подымал этот вопрос и даже сам его ставил.

Дубенский. — Я не знаю, поднимал ли он его; но всегда решение было совершенно определенное. Если бы государь обладал большими силами, если бы он проявил известный характер, стремление вести все по своему личному самодержавному указу, к этому многие отнеслись бы сочувственно; но когда мы увидали, что это безнадежно, что от него ничего нельзя ожидать, никаких даже указаний, тогда нужно было итти на это. Без этого мы ничего не могли сделать. Если бы у нас были Петры, если бы был Вильгельм, то я сам до сих пор думал, что лучше строя самодержавного трудно найти, потому что, когда во главе стоит гениальный человек, он может массу сделать. Он накопляет весь тот разум, который может быть распылен в целой палате.

Председатель. — Это общее соображение, неправда ли? Но вы несколько уклонились от вопроса: каким образом, будучи конституционалистом, преданным самодержцу, и будучи поклонником в то же время идеи самодержавия, как можете вы утверждать,

зная неудовлетворительность самой личности самодержца, что сам государь был сторонником?

Дубенский. — Этого я не сказал.

Председатель. — Этого вы не сказали, но каким образом появляются попытки законосовещательных учреждений, попытки вернуть самодержавие?

Дубенский. — Я не знаю, были ли такие попытки, я не знаю, кто же в последнее время говорил, что от Думы надо отнять ее права и передать их в законосовещательное учреждение?

Председатель. — Вы знаете одно имя, которое и мы знаем: Маклаков, Николай.

Дубенский. — Послушайте, ему государь не верил. По крайней мере, он считался человеком недалеким.

Председатель. — Мы в этом отношении знаем несколько больше, чем вы.

Дубенский. — Я с Маклаковым никогда не имел никакого дела. Это бессмысленно, это невозможно сделать. Как же вы сделаете законосовещательное учреждение? Можно сделать, когда во главе станет Вильгельм. Он упразднил рейхстаг, потому что он Вильгельм, рейхстаг ему служит, и то он сделал своим нравственным влиянием.

Председатель. — Вы не изволите знать относительно Маклакова, но может быть, как историк вы интересовались этими попытками, которые представлялись наверх уже от целых коллегиальных коллективов?

Дубенский. — «Земщина», Марков и целый ряд людей. Я сам правый человек, но признаю весь ужас от крайних правых. Это безусловно так. Я правый человек, у меня в деревне устроены великолепные школы. Правые — это значит, что мы сеем мрак и невежество. Ведь это ужас, это нужно петлю себе накинуть.

Председатель. — Мы говорим не о мраке, а о попытках низвести Думу.

Дубенский. — В последнее время эта партия не встречала поддержки среди лиц, окружавших государя.

Председатель. — Однако, перемены в государственном совете были произведены на этой платформе?

Дубенский. — Я думаю, что Нилов и даже Воейков, который был практический и сообразительный человек, и он понял, что это погибель полная. Мы ведь ожидали конституцию 6 декабря.

Председатель. — Что заставляло вас ожидать?

Дубенский. — Вот эти разговоры. Я помню, в канцелярии говорили, что мы поедем к 6-му. Я спрашивал: «Почему?» — «Там будет великий акт», и намекнули, что будет конституция. Все были рады, что с внутренней борьбой кончится, и можно будет кончить войну. Я знаю, что Алексеев умолял государя согласиться на уступки.

Председатель. — Когда?

Дубенский. — 26-го — 27-го, в эти дни, и под влиянием этого он уехал не 1-го марта, а 27-го.

Председатель. — Тут имеется письмо, написанное вами 28 февраля, в 10 час. вечера, С. П. Федорову: «Дальше Тосна поезда не пойдут. По моему глубокому убеждению, надо его величеству из Бологого повернуть на Псков (320 верст), и там, опираясь на фронт ген.-ад. Рузского, начать действовать против Петрограда. Там, в Пскове, скорей можно сделать распоряжение о составе отряда для отправки в Петроград. Псков — старый губернский город, население его не взволновано. Оттуда скорей и лучше можно помочь царской семье. — В Тосне его величество может подвергнуться опасности. Пишу вам все это, считая невозможным скрыть; мне кажется, это мысль, которая в эту страшную минуту может помочь делу спасения государя и его семьи. Если мою мысль не одобрите — разорвите записку. Преданный Д. Дубенский». Это подлинная записка?

Дубенский. — Подлинная. Я прошу обратить внимание и отметить, что мы здесь хлопотали, главным образом, о семье, потому что нам сказали, что она подвергнется опасности, что туда идут войска и хотят убить. Вот почему я и думал, что нужно прежде всего спасти семью. А в отношении военных действий против Петрограда у нас мыслей не было. Мы, главным образом, хотели спасти государя и семью.

Председатель. — Но вы пишете: «Начать действовать против Петрограда». Это как будто противоречит и не значит соглашаться с Временным правительством.

Дубенский. — Мы Временного правительства почти не знали. Я могу сказать, что первый раз мы узнали, что во главе правительства Родзянко, и о составе министерства, кажется, в Пскове, и, помню, ужасно удивились, что в ответственное министерство вошел Керенский. Тут в моем письме сказано: «Спасти государя и царскую семью».

Председатель. — Да. «Делу спасения государя и его семьи». Как он относился к опасности, угрожавшей его семье?

Дубенский. — В этот момент я с ним об этом не говорил, но он волновался. Ожидали телеграмм; было странно, что государь не получал телеграмм из Царского Села. Кажется, получили известие от Рузского о том, что там все благополучно. Я из Пскова послал своего человека в Петроград, чтобы узнать, что там делается. Раньше никто не догадался, и тогда этому человеку дали письма и Фредерикс, и Дрентельн, и Воейков. Мы его переодели в штатское, прямо-таки хулиганом, чтобы он мог доехать в Петроград; он вернулся, и мы получили ответы.

Председатель. — «2 марта, четверг. Псков. Всю ночь до 6 часов утра говорили по прямому проводу Рузский с Родзянкой,

ответы которого неутешительны. Родзянко сказал, что он не может быть уверенным ни за один час; ехать для переговоров не может, о чем он телеграфирует, намекая на изменившееся обстоятельство. Обстоятельство это только-что предположено, а может быть и осуществлено, — избрать регентом Михаила Александровича, т.-е. совершенно упразднить императора Николая II. Рузский находит, что войска посылать в Петроград нельзя, так как они только ухудшат положение, ибо перейдут к мятежникам. Трудно представить весь ужас тех слухов, которые пришлось слышать. В Петрограде анархия, господство черни, жидов, оскорбления офицеров, аресты министров и других видных деятелей правительства. Разграблены ружейные магазины». Вы ознакомлены с содержанием переговоров Рузского с Родзянкой по телефону более детально, чем у вас записано?

Дубенский. — Нет, это просто разговоры, но я думаю, что это более или менее верно.

Председатель. — «2 марта, $4^3/_4$ часа. Сейчас узнал в поезде государя, что события идут все страшнее и неожиданнее. Сегодня ждали и ждут приезда сюда, к государю, членов Государственной Думы Гучкова и Шульгина; государь хочет их принять. Мы должны были выехать в 3 — 4 часа дня, но, в виду этого приезда, отъезд отложен. В это время случилось следующее: государь получил телеграммы от Николая Николаевича, Брусилова, Эверта и заявление Рузского с просьбой, с мольбой на коленях отказаться от престола и передать его Алексею Николаевичу при регентстве великого князя Михаила Александровича. Государь, дабы не делать отказа от престола под давлением Гучкова и Шульгина, неожиданно послал ответ телеграммой, с согласием отказаться от престола. Когда Воейков узнал это от Фредерикса, пославшего эту телеграмму, он попросил у государя разрешения вернуть эту телеграмму. Государь согласился. Воейков быстро вошел в вагон свиты и заявил Нарышкину, чтобы он побежал скорей на телеграф и приостановил телеграмму. Нарышкин пошел на телеграф, но телеграмма ушла, и начальник телеграфа сказал, что он попытается ее остановить. Когда Нарышкин вернулся и сообщил это, то все стоящие здесь, Мордвинов, Штакельберг и я, почти в один голос сказали: «Все кончено». Затем выражали сожаление, что государь так поспешил, все были расстроены, поскольку могут быть расстроены эти пустые, эгоистичные в большинстве люди. Долгое время государь гулял между нашими поездами, на вид спокойный, и сказал только: «Мне стыдно будет увидеть иностранных военных агентов в ставке, и им неловко будет видеть меня». Слабый, безвольный, но хороший и чистый человек, он погиб из-за императрицы, ее безумного увлечения Григорием, — Россия не могла простить этого, создавала протесты, превратившиеся в переворот». Вы не знаете, какого содержания телеграмму, по пору-

чению бывшего императора, послал граф Фредерикс всем главнокомандующим фронтами?

Дубенский. — Кажется, они прислали государю телеграмму.

Председатель. — Что они прислали — это устанавливается, и вы об этом изволите говорить, но какова была ответная телеграмма, которую вы считали в этот момент уже посланной?

Дубенский. — Которую задержали? Это, кажется, была телеграмма Родзянке. Это несколько не так. Оказывается, телеграмму писал Рузский, и сам ее послал, и потом я узнал от Нарышкина, что когда он пошел к Рузскому, Рузский сказал, что он телеграмму не вернет, а сам лично доложит государю императору, и она, кажется, пошла.

Председатель. — Вы в этот момент были за конституцию, но при конституционном государе Николае II?

Дубенский. — Для нас это было так неожиданно. Мы думали, что у нас будет конституция при Николае II, а когда все это так случилось (я не могу сейчас детально рассказать), то мы думали, что, конечно, Алексей Николаевич останется, хотя он больной. Тут было очень много разговоров о том, кто при нем останется. Государь и семья должны уехать. Кто будет воспитывать?

Председатель.—«Оказалось, что телеграмму Рузский не успел передать, она задержана до приезда Гучкова и Шульгина. Долго разговаривали все, и Воейков, по моему настоянию, пошел и сказал государю, что он не имеет права отказываться от престола только по желанию Временного правительства и командующих фронтами— Брусилова, Эверта, Рузского и Николая Николаевича. Я доказывал, что отречение вызовет междоусобицу, погубит войну и затем Россию».

Дубенский. — Я помню, я говорил ему, что так, кустарным образом, нельзя это делать: приехали два или три члена Государственной Думы и сказали. На меня это произвело страшное впечатление. Можно изменять правление, но это должно быть обставлено известной законнностью, обсуждением, а так, второпях, между Псковом и Дном, получить эти сведения, на меня это произвело ужасное впечатление. Должен сказать, что все эти соображения были совершенно не признаны государем императором.

Председатель. — Какие соображения?

Дубенский. — Относительно того, что нужно обсудить, переговорить, кому и как передать. Насколько мне известно, он к этому отнесся довольно спокойно: «Раз этого желают, раз командующие армиями написали, приехали представители, значит, воля божья».

Председатель. — Вам представлялось это в пышных торжественных формах?

Дубенский. — Не пышных и торжественных, а более обставленных. Я к этому акту относился гораздо более серьезно и гово-

рил, что нельзя таким кустарным образом делать, я говорил (может быть, я даже не хорошо выразился), что так можно только эскадрон сдать.

Председатель. — «Оказалось, 27 февраля было экстренное заседание, под председательством государя, Алексеева, Фредерикса и Воейкова. Алексеев, в виду полученных известий из Петрограда, умолял государя согласиться на требования Родзянки и дать конституцию. Гр. Фредерикс молчал, а Воейков настаивал на неприемлемости этого предложения, и затем, думая, что в Петрограде просто беспорядки, убедил государя немедленно выехать в Царское Село. Эта поездка ни к чему не привела». Генерал, как будто эта запись, которую я только-что огласил, несколько противоречит тому, что вы изволили утверждать относительно близости Воейкова и Фредерикса к идее конституции. Воейков, повидимому, высказывался против уступок?

Дубенский. — Я говорил раньше, что я записывал каждый день то, что слышал. Когда происходил переворот, все, как один человек, говорили, что конституция необходима. Но потом мне об этом сказали в заседании, и я счел долгом отметить это. Выходит так, что Воейков сначала как будто был против, а когда случилось это страшное событие, он говорил, что нужно дать конституцию. Так выходит. У меня записано все это совершенно искренно и точно.

Председатель. — Я вас понял так, когда вы говорили о склонности к конституции Фредерикса и Воейкова, что не то, что они были склонны 28 февраля или 1 марта, а что и раньше они были склонны.

Дубенский. — Я могу сказать, что Фредерикс очень часто об этом говорил, что непременно нужно итти на уступки, а о Воейкове я вам, кажется, не говорил, что он был склонен к конституции; мне кажется, в моих показаниях этого нет. Я говорил, что 27-го, 28-го он был за это, а до этого он был противником конституции. 27-го, 28-го все, как один человек, были за это.

Председатель. — Ваша последующая запись относится ко времени после отречения. 4 марта, в субботу, вы опять в Могилеве. «В 12½ дня прибыла из Киева императрица Мария Федоровна. Необычайно грустную картину представляла эта встреча государя Николая II со своею матерью. Был холодный и ветреный день. Открытая платформа, на которой обычно останавливаются императорские поезда, наполнялась встречающими. Прибыл государь, одетый в кавказскую форму, без пальто, только в коричневом башлыке; при нем обычная свита: гр. Фредерикс, Нилов, Воейков, Долгоруков и др. Тут же находился ген.-ад. Алексеев, ген. Клембовский. К встрече прибыли великие князья. . . и принц А. П. Ольденбургский. Поезд государыни запоздал, и все встречающие находились сперва на платформе, а затем государь и все пошли греться

во временный домик, построенный на платформе. Все говорили как-то сдержанно, все чувствовали неловкость. Ведь ожидали проводов царицей-матерью своего сына — государя. Государь был, конечно, спокоен, но все же как-то необычно, — не тот». Почему вы пишете «конечно, спокоен»?

Дубенский. — Он был всегда спокоен. Я бы на его месте не выходил, я бы не знаю, что сделал; но он был спокоен, со всеми нами поздоровался, только немножко отдельно ходил.

Председатель. — Не было ли это равнодушие?

Дубенский. — Не могу сказать.

Председатель.—«Он говорил с Алексеевым, с принцем Ольденбургским, который приехал из Гагр нарочно на свидание с царем. В полушубке, крупная фигура принца обращала на себя внимание. После подхода поезда государь вошел в вагон императрицы, и видно было, как мать и сын крепко, несколько раз поцеловались. Затем императрица с государем вышли из вагона, и ее приветствовали собравшиеся. В ожидании подачи моторов, государь и императрица направились во временный домик и беседовали там. Мария Федоровна выглядела бодро, имела свой обычный вид. В ротонде, в маленькой шапочке, сухонькая, она не имела вида женщины 71 года. Грустно было видеть эту прощальную встречу с матерью русского самодержавного царя, процарствовавшего 23 года и отказавшегося от престола во время великой народной войны. Во время этой встречи, когда шла беседа царицы и государя в домике, в свите много говорили об ожидаемом аресте Фредерикса и Воейкова». Как себе мотивировала этот арест свита?

Дубенский. — Я помню, мне Клембовский первый сказал, что гарнизон возмущен, разговаривают о Фредериксе, что его придется арестовать; но мы не хотим этого делать, потому что это произведет неблагоприятное впечатление на государя.

Председатель. — «Ген. Клембовский говорил, что возбуждение против этих лиц очень велико среди офицеров и солдат ставки. Ген. Алексеев должен был докладывать государю об этом вопросе. Надо сказать, что очень многие признавали вполне соответственным это сделать, ибо гр. Фредерикс, по старости, а Воейков, по своим свойствам, много принесли вреда государю и России своими несомненными симпатиями немецкой партии в России. Все немцы имели оплот у гр. Фредерикса и Воейкова. Сильнейшая и опаснейшая партия имела оплотом этих людей». Генерал, вы опять возвращаетесь к этой мысли. Хотелось бы ее несколько углубить. Хотелось бы, чтобы вы совершенно откровенно, прямо, в виду важности задач Комиссии, которая должна выяснить истину, не глядя на лиц, не щадя отдельных личностей, ради интересов государства, сказали все, что вам известно. Ведь это красной нитью проходит через ваш дневник.

Дубенский. — Я ничего не скрываю. Должен сказать, что я один из страшных противников немцев. Я был с ними не в хороших отношениях. Мой сын ушел из конной гвардии по раздору с немецкой партией; но по долгу совести, именно, сознавая важность моих показаний, я говорю вам то, в чем не сомневаюсь, — граф Фредерикс не предатель России; не он, конечно, очень сочувственно относился к немцам. И, опять-таки, к каким немцам? К разным баронам, к немецким фамилиям; не к шпионам-немцам, но к немецкому влиянию. Он мне часто говорил: «Знаете, какой вздор говорят, что такой-то барон предатель. Совершенно это неверно, все мы очень хорошо служим государю». Что касается Воейкова, то я не большой его поклонник, но должен сказать, по совести, что я не считаю его способным поддерживать немецкий шпионаж. Нет, он этого не делал. Он тоже верил, что русские немцы-бароны не вредны России, что они могут быть даже оплотом царя. Вы задали мне вопрос, и я могу высказать целый ряд соображений, но сказать прямо, чтобы около Фредерикса и Воейкова образовалась такая вредная для нас, русских, партия,—этого я не могу. Она мне была противна в высшей степени. Мы с Орловым и Дрентельном были большими противниками этой партии, мы признавали, что они враги, что дается ход немецким людям, а русские затираются. Но все-таки по совести сказать, чтобы они продавали наши интересы, я не могу. Дмитрий Павлович ушел из конной гвардии из-за немецкой партии. Но опять-таки должен сказать, что там есть немцы-офицеры, которые, может быть, были неприятны Дмитрию Павловичу и моему сыну, но они были прекрасные, строевые, боевые офицеры. Они теснили нас, русских людей, не давали нам ходу. Я, старик генерал, был вызван, без всякого моего желания, сопровождать государя, и я был на четвертом месте после барона Штакельберга — мальчишки. Это неприятное свойство, но я должен по совести сказать, что я голову прозакладую, что Штакельберг не изменял России. Нужно так понять, что они нам очень тяжелы, они нам не соответствовали. . .

Председатель. — Кто это они? Когда вы говорите «партия», вы предполагаете не просто 10 людей с немецкими фамилиями, но 10 немецких людей, которые соединились в нечто единое.

Дубенский. — У нас же была целая комиссия по борьбе с немецким засилием.

Председатель. — Это были специальные цели и задачи совершенно реальные — уничтожить немецкое землевладение. Но, когда вы, говоря о жизни гвардейских полков, о жизни кружка придворных, употребляете это выражение «немецкая партия», тогда естественно напрашивается вопрос.

Дубенский. — Я могу сказать, что они всегда поддерживали друг друга, у них был тесный комплот. Они проходили в министерство двора, получали придворные чины, потом, все они поклонники

большой немецкой культуры. Они нас, русских, до известной степени презирали; но я убежден, что ни один офицер конной гвардии, носящий немецкую фамилию, не изменит, хоть вы его четвертуйте. Точно также я не могу себе представить, чтобы Фредерикс мог изменить России. Он приносил, может быть, большой вред тем, что, вместо того, чтобы на том же месте сидел Петров, Кочубей, сидел Фредерикс. Что он немец по происхождению, это так, но сказать про него, что он сознательный предатель, этого не могу. Если бы сидел русский человек, если бы это Воронцов был, он бы на наших с вами душевных клавишах глубже играл бы. А этот старый 78-летний человек, — сколько раз я приходил к нему с негодованием; сидит — кукла. Виноват не он, что он там был, а те, кто его держали.

Председатель. — Он имел склонность ко всему немецкому, как вы говорите; он, очевидно, и входил в состав этой группы лиц?

Дубенский. — Группа этих лиц огромная. Вы об этом знаете. У нас в Петрограде немецкое засилье было очень развито; но про тех, кого я знаю из немцев, я не могу сказать, что они предатели.

Председатель. — Укажите реальные признаки некоторой организованности, некоторой сплоченности, дайте показания, которые бы позволили нащупать партию.

Дубенский. — Я долгом совести почел бы доложить несколько реальных фактов, но у меня нет ничего, кроме подозрения и неприятных чувств к немцам. Мне было очень досадно, когда произошло все это с моим сыном, но что же я могу сказать, если я не знаю никого из них, кто бы совершил сознательное нарушение долга. Но можно только сидеть и умывать руки, а можно сочувствовать.

Председатель. — Повидимому, всем тем, что вы сейчас изволили изложить, и объясняется это сильное возбуждение среди офицеров и солдат ставки против Фредерикса и Воейкова?

Дубенский.—Конечно, и притом рассказы разные, что у Воейкова шпионы, что женат он на дочери Фредерикса. Возбуждение было, мне Клембовский об этом говорил.

Председатель.—Чем же объясняется, что, несмотря на это возбуждение, арест Фредерикса и Воейкова не был осуществлен, и они уехали?

Дубенский. — Он был осуществлен, но их не хотели арестовать на глазах государя, и им дали уехать, а потом уже арестовали. Дело в том, что на меня министерством двора и комиссаром Головиным возложено поручение закончить описание о пребывании бывшего государя в армии по самый день его выезда из ставки, 8 марта. Это, как вы изволите знать, величайший акт, и я в настоящее время работаю над этим, но у меня взяли эти дневники, и я бы просил мне их вернуть по миновании надобности, или, если вы находите, что вам этот дневник необходим, не будете ли вы так

любезны приказать его перепечатать? Я уже говорил и Головину и кн. Гагарину, что этот дневник будет использован, как материал для описания последних событий, при чем последние события не войдут в прессу. Все это будет представлено комиссару министерства двора, он доложит Временному правительству, и тогда уже будет решено, — отдать ли это в архив, сохранить ли это все, или, может быть, часть опубликовать. Это меня уже не касается; но я обязан это сделать, и обращаюсь к вам с большой просьбой помочь мне, потому что я был свидетелем великого исторического акта и считаю долгом совести добросовестно изложить его, не для того, чтобы он получил оглашение, а просто, чтобы этот акт был записан.

Председатель. — Вы благоволите письменно изложить сущность вашего желания, а также и основания, т.-е. то, что вы от теперешнего правительства имеете известное задание, для исполнения которого вам нужен этот дневник. Я не могу своей властью решить этот вопрос. Я должен повергнуть ваше ходатайство на усмотрение Комиссии, и Комиссия вынесет решение.

Дубенский. — Будьте так добры; если он вам нужен, то вы можете перепечатать.

Председатель. — Так это и будет сделано.

СОДЕРЖАНИЕ.

		стр.
	Предисловие П. Е. Щеголева	III
63.	Допрос гр. П. Н. Игнатьева	1
64.	Допрос гр. С. И. Велепольского, 14 июля 1917 г.	27
65.	Допрос Н. В. Плеве, 14 июля 1917 г.	49
66.	Допрос А. Н. Хвостова, 17 июля 1917 г.	73
67.	Допрос А. А. Рейнбота (Резвого), 17 июля 1917 г.	120
68.	Показания кн. В. М. Волконского, 19 июля 1917 г.	128
69.	Допрос И. Н. Лодыженского, 19 июля 1917 г.	143
70.	Допрос Н. Е. Маркова, 24 июля 1917 г.	175
71.	Допрос А. А. Нератова, 24 июля 1917 г.	206
72.	Допрос А. Н. Веревкина	219
73.	Допрос А. И. Гучкова, 2 августа 1917 г.	248
74.	Показания П. Н. Милюкова, 4 августа 1917 г.	295
75.	Показания П. Н. Милюкова, 7 августа 1917 г.	320
76.	Допрос Д. Н. Дубенского, 9 августа 1917 г.	373